

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ACADEMIA





РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

под общей редакцией
Л. Б. Каменева

Д. В. ВЕНЕВИТНОВ

1805 — 1827



А С А Д Е М И А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Под редакцией и с примечаниями
Б. В. Смиренского
с приложением свода биографических
данных и библиографии
Вступительная статья
Д. Д. Благого



А С А Д Е М И А
1934

*Фронтиспис, суперооложка и виньетки на
титულных листах — гравюры на дереве
Э. Будогоского, переплет по его же рисунку.*



ПОДЛИННЫЙ ВЕНЕВИТИНОВ

Имя Дмитрия Веневитинова дошло до нас в ореоле заманчивой романтической легенды.

Все сколько-нибудь интересовавшиеся нашим литературным прошлым, конечно, не раз слышали о «дивном юноше» — поэте, критике, философе, музыканте, художнике, — о его «безнадежной влюбленности» в прекрасную «Северную Коринну», хозяйку прославленного литературно-художественного салона, знаменитую Зинаиду Волконскую, наконец, о трагически-преждевременной — в возрасте всего двадцати одного года — смерти, почти накликаемой им на себя в результате этой любви.

Таким образ Веневитинова создан был его ближайшими друзьями — будущими славянофилами, установившими особый полумистический культ его памяти, собираясь ежегодно в течение чуть ли не сорока лет на траурный поминальный обед, за которым неизменно оставлялся пустой прибор «для отбывшего друга». Со слов и преданий друзей *таким* образ Веневитинова был воспринят и укреплен в нашем сознании представителями либерально-эстетствующей критики и истории литературы, например, Нестором Котляревским, статья которого о Веневитинове (в книге «Старинные портреты») считалась одной из лучших работ о нем вообще.

В своей статье Нестор Котляревский особенно подчеркивает отвлеченно-«возвышенный» идеализм мыслей и чувств Веневитинова, полную и принципиальную отрешенность его созерцаний и вдохновений от окружающей обстановки, от «толпы» и ее «суеты», от злобы и «пользы» дня. Совет, даваемый Веневитиновым Пушкину в известном стихотворном к нему обращении, — воспеть Гёте, как воспел он Байрона и Шенье, совершенно произвольно, но в полном соответствии

с общей концепцией Котляревского, истолковывается последним в смысле «боязни» поэта-идеалиста, «чтобы Пушкин не подчинил свою песню тревоге страстей», подобно Байрону, «или мыслям о политике, на которые наталкивал его скорбный образ Шенье».

Стилизованный под условные «двадцатые годы» «старинный портрет» вдохновенного юноши-шеллингианда, каким Веневитинов глядит на нас из статьи Котляревского, соблазняет своей обдуманной законченностью, романтической «красивостью» очертаний. Однако, вынутый из подлинной исторической рамы, портрет этот дает весьма одностороннее и потому совершенно неправильное представление о реальном Веневитинове, о действительном месте его в истории нашей литературы и нашей общественности.

В действительности, вопреки мнимому лику Веневитинова, созданному совместными усилиями его славянофильских друзей и либерально-эстетствующей критики — Погодина, Шевырева, Киреевских, Хомякова, Нестора Котляревского — существовал другой, подлинный Веневитинов, о жизненной судьбе и творчестве которого отзывались с горячей симпатией люди совсем другого общественного лагеря, прямо противоположных политических убеждений — Михаил Бакунин, Герцен, Белинский.

В наши дни получила свое окончательное завершение легенда о Дмитрие Веневитинове. Одним из самых романтических моментов в его биографии был эпизод с перстнем, найденным во время раскопок в Помпеях и подаренным ему «в горький час прощанья», во время отъезда, незадолго до смерти, из Москвы в Петербург, все той же Зинаидой Волконской. В одном из самых популярных своих стихотворений «К моему перстню» Веневитинов, завещая друзьям в случае смерти не снимать кольца с его «холодной руки», высказывал надежду, что, может быть, через «века» кто-нибудь «встревожит» его прах и «вновь откроет» в нем магический «талисман любви». Надежде этой суждено было целиком оправдаться. Несколько лет назад, в связи с закрытием кладбища при б. Симоновом монастыре в Москве и перенесением праха Веневитинова в другое место, гроб его был вскрыт, перстень вынут и передан на хранение в Публичную библиотеку СССР имени Ленина, в Москве, где в настоящее время и находится.

Невольно досказав таким образом легенду о Веневитинове мы тем более обязаны дать правильное его изображение, заменить обаятельный романтический призрак бесплотного мечтателя-идеалиста, в течение более ста лет реявший над нашей литературой и критикой, ничуть не менее волнующим, но живым историческим лицом, вписавшим одну из ярких и примечательных страниц в историю русской поэзии и русского общественного сознания.

1

Литературная деятельность Веневитинова приходится на самую середину 20-х годов, располагаясь почти симметрично вокруг кульминационного их острия — «происшествия» 14 декабря 1825 года.

В жизни того социального слоя, к которому принадлежал Веневитинов, — тронутый буржуазными воздействиями дворянской интеллигенции, — это был период напряженного подъема всех сил, лихорадочной работы сознания и воли, короткого но буйного цветения.

Старая феодальная Россия все еще лежала огромным неподвижным чудовищем, «замороженным адом» (Герцен), «вечным полюсом» (Тютчев), покрытым сплошным материковым льдом. Однако после вековой «зимы», после бесконечного полярного мрака на глыбах этих тяжелых ночных льдов словно бы почувлось животворное веянье весны, заиграли первые жаркие лучи, побежали звонкие «вешние воды», раздался дружный и голосистый птичий щебет. Носителями, вестниками этой весны была передовая дворянская молодежь, надышавшаяся во время заграничных походов 1813 — 1814 годов европейским воздухом, освеженным, озонированным могучим грозным разрядом Великой Французской революции.

Мы знаем сейчас всю историческую ограниченность революционного дела этой дворянской молодежи, всю классовую корысть выдвинутых ею эмансипационных программ. Однако эта дворянская молодежь не только субъективно, в стихах Рыльева, переживала себя бордом за весь народ, готовилась принести себя в жертву за «свободу человека», но, выступая с лозунгами уничтожения крепостничества, уничтожения

азиатского самодержавия, и объективно, в рамках своего времени, была самым передовым, по вескому слову современника-разночинца Белинского, «во всех отношениях лучшим» социально-общественным слоем тогдашней России, в котором, по словам того же Белинского, «почти исключительно выразился прогресс русского общества» первой четверти XIX века.

Недаром этот слой дал русской культуре Пушкина, русской революции первых ее борцов — декабристов.

На гребне той же исторической волны, которая вынесла на себе Пушкина и декабристов, взметнулась мгновенным всплеском и литературная деятельность Веневитинова. И он же, когда эта волна ударила о столь воспевавшийся поэтами-монархистами «неподвижный, неизменный, мирозданью современный» гранитный утес самодержавной России, одним из первых разбился о камни.

Веневитинов не был декабристом в точном смысле этого слова, но, по совершенно правильному указанию Герцена, столь противоречащему общепринятому представлению о полной аполитичности Веневитиновского творчества, весь он был «сплош фантазий и идей 1825 года».¹

Еще на университетской скамье Веневитинов начал принимать самое деятельное участие в особом дружеском кружке, возникшем в 1823 году в Москве и присвоившем себе громкое название «Общества любомудрия». Исключительно одаренный, получивший блестящее образование, Веневитинов сразу же занял среди любомудров одно из центральных мест — сделался секретарем общества и присяжным оратором всех его заседаний, «своими речами приводя в восторг» присутствовавших.

«Общество любомудрия» организовалось в пору полного расцвета деятельности тайных обществ. «Тайным», т. е. не имевшим никакой официальной легализации, было и оно само.

¹ В неизданных записках родственницы декабриста Н. М. Муравьева, П. Н. Лаврентьевой, утверждается, что Веневитинов якобы прямо принадлежал к Северному обществу. Однако указание это не находит себе подтверждения ни в одном из документов эпохи.

«Оно собиралось тайно, и о его существовании мы никому не говорили», — рассказывал впоследствии один из его участников. Однако вместе с тем по своему характеру оно несколько не походило на те тайные общества с выраженной политической окраской, в недрах которых выросло революционное выступление декабристов. «Общество любомудрия» было первым русским философским кружком, члены которого объединились на почве увлечения новейшей немецкой идеалистической философией, в особенности философской системой Шеллинга, интерес к которой был привит им московскими профессорами-шеллингианцами — Павловым, Давыдовым. Второй страстью любомудров был пышно развернувшийся на той же почве Шеллинговой метафизики культ искусства, поэзии вообще, в частности творчества Гёте и немецких романтиков, дававших в своих произведениях своеобразный перевод на язык поэтических образов основных положений натурфилософии Шеллинга.

Пушкин, сам всегда явно скептически относившийся к умозрительным отвлеченностям немецкой метафизики, впоследствии, незадолго до смерти, в период своего политического покаяния, сочувственно отозвался о той роли, которую она сыграла в жизни нашего общества середины 20-х годов. Оговаривая, что «немецкая философия» нашла себе в это время в Москве «может быть слишком много молодых последователей», он в то же время подчеркивал, что действие ее на них было все же благотворно, ибо «спасло нашу молодежь от холодного скептицизма и удалило ее от упорных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения». Под этим последним Пушкин, конечно, прямо имел в виду декабристов. Однако он был не совсем прав. «Холодным скептицизмом» московские шеллингианцы, действительно, не грешили, но от «упорных мечтаний», по крайней мере, некоторых из любомудров немецкая философия не убергла.

В кружке любомудров, в состав которого входили в основном представители все той же дворянской интеллигенции — университетские товарищи Веневитинова, позднее сослуживцы его по Архиву министерства иностранных дел, получившие

широкую известность в Москве 20-х годов под полуласковым, полуироническим прозвищем «архивных юношей», — вскоре обозначилось два течения. Часть Любомудров, во главе с председателем кружка, кн. В. Ф. Одоевским, упорно сторонясь от всяких общественных вопросов и интересов, приобретала все более выраженный мистический уклон. Другая часть, к которой принадлежали Дмитрий Веневитинов, А. И. Кошелев, Иван Киреевский, наоборот, при всем своем благоговении к Шеллингу и Гёте, скоро оказалась захваченной в водоворот политического и общественного возбуждения, предшествовавшего бурным событиям конца 1825 года.

В своих мемуарах, вышедших за границей много времени спустя, Кошелев пишет, что он никогда не забудет одного вечера, проведенного им у его дальнего родственника, будущего декабриста М. М. Нарышкина. Это было в самом начале (в феврале или марте) 1825 года. На вечере присутствовали виднейшие деятели 14 декабря — случившийся тогда в Москве глава Северного общества поэт Рылеев, И. И. Пущин, кн. Оболенский и ряд других, «впоследствии сосланных в Сибирь». Навлектризованные «патриотическими думами» Рылеева, присутствующие стали в один голос без всяких стеснений твердить о необходимости свергнуть царское правительство («d'en finir avec ce gouvernement»).

Все это произвело на Кошелева, тогда восемнадцатилетнего юношу (он был годом моложе Веневитинова), сильнейшее впечатление. «Недовольство», по его словам, в это время «было сильное и всеобщее». Все ждали неминуемого переворота. Разница была только в том, что «одни опасались революции, а другие пламенно ее желали, и на нее полагали все надежды». К первым принадлежал кн. Одоевский, ко вторым — левое крыло Любомудров во главе с Веневитиновым.

На другой же день после вечера у Нарышкина Кошелев вместе с Иваном Киреевским отправился к Веневитинову, у которого жил в это время еще один член их «тайного» философского кружка — Рожалин. Под влиянием рассказа Кошелева все четверо в этот день только и толковали, что «о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления». «Вследствие этого, — добавляет Кошелев, —

мы с особенной жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констан, Рое-Коллара и других французских политических писателей. Немецкая философия сошла у нас с первого плана».

К этому периоду увлечения политическими вопросами, очевидно, относится сделанный Веневитиновым перевод отрывка об Европе из немецкого историка Герена. Отрывок представляет собой настоящий диофант «европейскому» строю, «европейской» культуре, противопоставляемой азиатскому «деспотизму». «Народы европейские, — читаем в нем, — превосходят жителей других частей света... Если рабство и водворилось между ними, то, с другой стороны, они одни его уничтожили, познавши его несправедливость. У них преимущественно и почти исключительно образовались правления в таком виде, в каком они должны быть у народов, достигших познания прав своих. Тогда как Азия, при всех переменах великих ее государств, представляет нам вечное возрождение деспотизма, на почве европейской развернулось зерно политической свободы и принесло в самых разнообразных формах в столь многих частях Европы прекраснейшие плоды. Конечно, никакой конкретной политической программы отсюда не вычитаешь, но отрывок, видимо, и пришелся особенно по вкусу Веневитинову и его друзьям своим неопределенным «вольнолюбием», столь характерным для настроений молодых дворянских «либералистов» 20-х годов (в изданиях сочинений Веневитинова отрывок обычно печатался в значительно смягченном виде).

Новое увлечение «политикой» продолжалось у Веневитинова и ближайшего кружка его друзей в течение всего года, вплоть до получения известий о неожиданной смерти Александра I в Таганроге.

Друзья сразу же почувствовали, что приближается решительный момент. «В этот промежуток времени, т. е. между получением известий о кончине императора Александра и о происшествии 14 декабря, — повествует Кошелев, — мы часто, почти ежедневно собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходящие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду

никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве, в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствующих на этих беседах, князь Н. И. Трубецкой, адъютант графа И. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника связанным по рукам и ногам (*avec les mains et les jambes liées*). Предложениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступил великий 1789 год». Рассказывая о событиях 1825 года, Кошелев все время подчеркивает полное единодушие в восприятии их между ним, Веневитиновым и Иваном Киреевским. Безусловно ждал наступления для России «великого 1789 года» и Дмитрий Веневитинов.

Между тем из Петербурга вместо «благоприятных известий» пришло сообщение о разгроме декабристов на Сенатской площади Николаевской картечью. Сообщение это произвело на Веневитиновский кружок «потрясающее действие». В день присяги Николаю, которую во избежание скопления большого количества народа решено было проводить по месту службы каждого, Кошелев, едва рассвело, отправился к Киреевскому и вместе с ним — к братьям Веневитиновым. Все они «много толковали» о предстоящей присяге и «были крайне взволнованы».

Возбужденное настроение «архивных юношей» не укрылось от глаз зоркого начальства. Были приняты чрезвычайные меры: военный караул был утроен, солдат снабдили боевыми патронами. «Воображали, кажется, — пишет Кошелев, — что «архивные юноши» произведут подражание петербургскому возмущению».

Опасения начальства оказались напрасными. Никакого «бунта» «архивных юношей» не последовало. Однако возбуждение Веневитинова и его друзей не улеглось. Несмотря на полный провал петербургского выступления, они все еще не хотели верить в окончательное крушение своей мечты о «великом 1789 годе». В Москве в это время ничего толком не знали. По городу ходили слухи один другого фантастичнее. Уверяли, что вся вторая армия, расквартированная на

юге, также отказалась присягать и идет на Москву, чтобы провозгласить здесь конституцию; что на соединение с ней двинулся известный «либералист» того времени, генерал Ермолов. Веневитинов и его друзья жадно прислушивались ко всем этим слухам, ожидая всякий день появления с юга «новых Мининных и Пожарских».

Намереваясь принять активное боевое участие в неизбежном, как им казалось, государственном перевороте, друзья «начали ежедневно ездить в манеж и фехтовальную залу и таким образом готовились к деятельности, которую себе предназначили».

Сесть на коня и вооружиться мечом новоявленным рыцарям свободы не привелось. Скоро обнаружилось полное торжество правительства, начались аресты причастных в той или иной мере к декабрьскому движению москвичей. Среди схваченных оказалось немало друзей и родственников наших Любомудров. «Крайне озабочены и взволнованы» были и они сами. Мать Кошелева, ожидая ежеминутно ареста сына, укладывала его спать подле своей комнаты, на всякий случай заготовив тут же «теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и проч.». Столь же, вероятно, тревожились и в семье Веневитиновых.

Однако, так как мечты и намерения Веневитинова и его друзей при всей их пламенности ничем себя не проявили, никого из них не тронули. Это почти огорчило их. «Мы, молодежь, — свидетельствует Кошелев, — почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец». «Этих дней, — добавляет он, — или, вернее сказать, этих месяцев (ибо такое положение продолжалось до назначения верховного суда, т. е., кажется, до апреля), кто их пережил, тот, конечно, не забудет».

Мы видим, таким образом, что прямого участия в движении декабристов Веневитинов не принимал. Самая реакция его на них, как и реакция остальных «архивных юношей», носила вообще несколько детски-наивный характер (вспомним их обучение фехтованию и верховой езде). Тем не менее все пережитое и пережитое Веневитиновым во время декабрьских событий оставило в его сознании глубочайшие

следы. С этого именно времени начинается и настоящая зрелость его как поэта. Все до тех пор им написанное не возвышалось над уровнем ученической пробы пера. Наоборот, в течение 1826 и начала 1827 года им создано несколько замечательных произведений, на которых и основаны его права на заметное место в истории нашей литературы.

Восстание декабристов провело резкую межу и в жизненной судьбе Веневитинова. «Общество Любомудрия» прекратило свое существование. При первых же вестях о петербургских «происшествиях» перепуганный председатель его, кн. В. Ф. Одоевский, собрал у себя на квартире наиболее активных членов и в их присутствии бросил в пылающий камин устав и протоколы кружка. Вся первая половина 1826 года прошла под знаком суда над декабристами. Ряд разговоров Веневитинова на эту тему с близким приятелем, Погодиным, отмечен последним в своем дневнике. Казнь декабристов повергла Веневитинова и его друзей в «ужас и уныние», которое, по свидетельству Кошелева, «описать или словами передать нет возможности».

Большое оживление в дружеский Веневитиновский кружок внес проезд в Москву в сентябре 1826 года возвращенного, наконец, из ссылки Пушкина. Между Веневитиновым и Пушкиным завязались тесные отношения. Новые произведения Пушкина с «Борисом Годуновым» во главе были встречены Веневитиновым и всем его кружком с величайшим энтузиазмом. Решено было литературно выступать единым фронтом, путем совместного издания журнала, в результате чего и возник «Московский вестник».

Тем не менее прежняя, юношеская, идилически-восторженная полоса московской жизни — полоса Шеллинга, любомудрия, пылких политических упований — для Веневитинова и его друзей безвозвратно канула в прошлое. С Москвой Веневитинову скоро пришлось и вовсе расстаться. Он получил перевод по службе в Петербург, куда и выехал в конце октября того же 1826 года.

Ехал Веневитинов под сильным впечатлением от героической решимости жен декабристов следовать за своими мужьями-каторжанами в Сибирь. Рассказывая об этом Погодину,

Веневитинов восторженно восклицал: «Это делает честь веку» В Москву, незадолго до отъезда Веневитинова, прибыл некий француз Воше, возвращавшийся в Петербург из Сибири, куда он провожал княгиню Екатерину Трубецкую, первую из жен декабристов движущуюся в Нерчинские рудники. Познакомившись с Воше у Зинаиды Волконской, Веневитинов, конечно, живо интересовался подробностями его сибирского путешествия, охотно согласился довезти его до Петербурга в своем экипаже. С ними же поехал один из ближайших друзей Веневитинова, Ф. С. Хомяков, брат известного поэта и знаменитого впоследствии славянофила.

Веневитинов, видимо, уже был на примете у пресловутого III Отделения. Приезд же его в Петербург в обществе Воше, только что побывавшего в Сибири, очевидно, усугубил подозрения. По крайней мере, тотчас же по приезде он и Воше были арестованы (Хомякова не тронули). На допросах, которые учинил Веневитинову один из следователей по делу декабристов, генерал Потапов, он держался с исключительной твердостью и достоинством, давая, по осторожному свидетельству его благонамеренного биографа, «чересчур прямые и резкие ответы». Так, на самый центральный вопрос, о принадлежности к тайным обществам, Веневитинов, по словам одной из современниц, «вполне разделявшей благородные взгляды» участников восстания, напрямик заявил, «что если он и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему». Тем не менее, так как никаких прямых улик против Веневитинова не было, его, продержав в течение двух или трех суток на одной из петербургских гауптвахт, выпустили на свободу без всяких явных последствий.

Однако последствия оказались, и самые роковые. Примерно месяца через четыре после ареста Веневитинов умер. Непосредственной причиной его смерти была как будто бы простая случайность: Веневитинов простудился, перебежав, разгоряченный после танцев, через двор в свою квартиру в едва накинутой шинели. Но эта «чистая случайность» упала на слишком подготовленную почву.

В уничтожении своих врагов реакционное Николаевское самодержавие действовало самыми разнообразными способами.

Со своими политическими противниками, оказавшимися на Сенатской площади или во главе мятежных батальонов южной армии, оно расправилось непосредственно — виселицами и Сибирью. Затем на протяжении десятилетий началось медленное, систематическое искоренение всех тех, кто хотя и не был прямо связан с декабристами, но в той или иной степени оказался «заражен» «вольномыслием» эпохи. На 30-е и 40-е годы приходится целый ряд преждевременных смертей выдающихся деятелей нашей литературы, прикосновенных так или иначе к дворянской «весне» 20-х годов: смерть Дельвига в 1831 году (в возрасте 32 лет), убийство Пушкина в 1837 году (в возрасте 37 лет), убийство Лермонтова в 1841 году (в возрасте 27 лет) и т. д.

В отдельности каждая из этих смертей выглядит чем-то более или менее случайным. Однако уже самое обилие этих случайностей (приведенный нами перечень можно было бы легко умножить — вспомним Грибоедова, Полежаева, Белинского) говорит о какой-то закономерности. И, действительно, не случайно, что болезни, сведшей в могилу Дельвига, предшествовало сильнейшее нервное потрясение, вызванное изряду вон грубым обращением с ним шефа жандармов и главы III Отделения, печально-известного генерала Бенкендорфа, который запретил ему издание «Литературной газеты» и пригрозил ссылкой в Сибирь. Не случайна травля Пушкина со стороны самых реакционных кругов великосветского общества, в результате которой и вспыхнула его дуэль с Дантесом. Не случайна, конечно, и та по-своему знаменитая «эпитафия», которой отозвался Николай I на известие об убийстве Лермонтова: «собаке — собачья смерть». Ведь и на Кавказ-то Лермонтов был сослан едва ли не в расчете, что смерть его там наступит.

Такой же неслучайной случайностью была и гибель прожившего всего лишь «век соловья и розы» (слова о нем Дельвига), не дожившего до двадцати двух лет Дмитрия Веневитинова.

Близкие прямо связывали смертельную болезнь Веневитинова с его арестом по приезду в Петербург. «Простудился ли Дмитрий Владимирович, — писал впоследствии его племян-

ник, — в том помещении, где был арестован, или подвергся другому какому-нибудь вредному влиянию, — об этом не сохранилось точных семейных преданий, которые ограничиваются указанием на гигиенические условия места заключения, как на главную причину окончательного расстройтва в здоровье моего дяди... Кашель не покидал его, причиняя частые и сильные боли в груди. Доктора заставляли его постоянно носить грудной пластырь».

К вредному действию заключения на физическое состояние Веневитинова присоединилось испытанное им в связи с этим глубочайшее нравственное потрясение. Кошелев удостоверяет, что все случившееся с Веневитиновым в Петербурге «ужасно его поразило, и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него допросом. Он не любил об этом говорить, но видно было — что-то тяжелое лежало у него на душе».

О крайней угнетенности Веневитинова красноречиво свидетельствует тот образ жизни, который он с этого времени повел. Ф. С. Хомяков, поселившийся с ним на одной квартире, писал брату: «На наше житье-бытье смешно смотреть: мы сидим в двух комнатах, одна подле другой, с открытыми дверями, часто в одной, и в целый день иногда двух слов не промолвим, иначе как за обедом или когда придет кто-нибудь к нам в гости. Он редко читает, гулять не ходит, выезжает только по обязанности, то-есть к тем, к кому имел рекомендательные письма». По словам биографа Веневитинова, «на него находили минуты полнейшего отвращения к жизни». Замечательно в этом отношении письмо самого Веневитинова к Погодину, написанное им 7 марта 1827 года — накануне смертельной простуды и ровно за неделю до смерти (в настоящем издании письмо публикуется впервые). Наряду с жалобами на плохое физическое самочувствие, Веневитинов пишет и об охватившей его невыносимой тоске: «Тоска не покидает меня... Пишу мало... Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его свитильник? Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя». «Я уже писал

выше, что тоска замучила меня, — прибавляет он снова. — Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества я — один... Я ни за что не могу взяться».

Письмо это звучит почти как предсмертная исповедь, каковой ему и суждено было стать, — оно последнее из дошедших до нас писем Веневитинова.

Задыхаясь в «холодном, пустом и бездушном» Петербурге, Веневитинов то мечтает вернуться к старым друзьям в родную Москву («Скорее бы отсюда, в Москву, к вам»), то собирается ехать служить в далекую Персию («Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения»), в ту самую Персию, в которой в это же как раз время, в том же 1827 году, искал «уголка» для своих «оскорбленных» современностью чувств другой великий москвич — Грибоедов.

Обычно связывают тяжелое душевное состояние Веневитинова в Петербурге с его безнадежной любовью к Зинаиде Волконской. Позволительно думать, что самая сила этой любви была несколько преувеличена романтически-настроенными друзьями покойного. По крайней мере, почти одновременно с увлечением Волконской Веневитинов увлекался юной ученицей Погодина, княжной А. И. Трубедкой. В Петербурге же, по свидетельству племянника поэта Дельвига, часто встречавшего его у последнего, Веневитинов «по молодости» увлекался почти всеми молодыми женщинами, с которыми сталкивался, за что в очень расположенной к нему семье Дельвигов «подсмеивались над ним почти прямо в лицо». Во всяком случае, если любовь к Волконской, действительно, окрасилась в сознании Веневитинова в столь трагически-безысходные тона, то могло это случиться только в силу его общей крайней подавленности и угнетенности. Только на фоне безнадежного крушения всех его высоких гражданских упований и надежд, в сгущающейся ночи реакции блуждающие огни личной любви могли завести его в ту душевную трясину, из которой он не находил выхода.

В стихотворном обращении к своему большому другу, «любомудру» Рожалину, написанном в этот последний период, Веневитинов призывает его с «душой *булатной*» проходить



Кн. Зинаида Волконская
Портрет Пьетро Бенвенути (Флоренция)

среди «бездушной и пустой» светской «толпы». В другом стихотворении от того же времени он молит о надежной броне для себя самого: «Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета» («Моя молитва»).

Душевной защищенности Веневитинову-то как раз более всего и не доставало. Во впервые публикуемом в настоящем издании отрывке из во поминаний Лаврентьевой мемуаристка красноречиво изображает состояние Веневитинова последнего, петербургского периода его жизни. «Вспоминается мне этот юноша, всегда грустный. Душу его ела тоска. В каждом знакомом доме он видел горе родных и близких», и дальше: «Сколько раз говорил мне молодой Веневитинов, что он тоже должен был быть в Сибири, а не жить в Петербурге... Помню его грустные глаза, его ресницы, какие едва нашлись бы еще в мире, и помню слезы, когда вспоминали о Рылееве».

«Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере. Нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи; нужно было с детства привыкнуть к этому резкому и непрерывному холодному ветру; надо было приспособиться к неразрешимым сомнениям, к горчайшим истинам, к собственной немогущности, к постоянным оскорблениям каждого дня; надо было с самого нежного детства приобрести навык скрывать все, что волнует душу, и не растерять того, что хоронилось в ее недрах, — наоборот, надо было дать вызреть в немом гневом всему, что ложилось на сердце». Ничего этого у Веневитинова, выросшего в «весенней» атмосфере первой половины 20-х годов, не было. «Едва только он произнес несколько благородных слов, как исчез, подобно цветам более теплых небес, умирающим от мерзлого дуновения Балтийского моря». Так писал Герцен о Веневитинове — «чистой поэтической душе, задушенной в двадцать два года грубыми тисками русской жизни», поэте, «убитом обществом» («О развитии революционных идей в России»).

Связывая смерть Веневитинова не с его личной любовной драмой, как это делали почти все остальные, а с тяжелыми общественными условиями реакционной по-декабрьской действительности, Герцен глубже и зорче других постиг его

жизненную судьбу. В этом нас убеждает рассмотрение поэтического творчества Веневитинова.

2

Литературная деятельность Веневитинова продолжалась, в сущности говоря, только три-четыре года, печатался же он лишь год с небольшим. Немудрено поэтому, что из всех наших писателей он оставил по себе едва ли не самое малое количественно литературное наследство. Не считая нескольких набросков, отрывков, двух-трех переводов в прозе, полное собрание сочинений Веневитинова включает в себе всего около пятидесяти стихотворений (из них не больше десяти — пятнадцать можно назвать вполне зрелыми, совершенными произведениями, выражающими его самостоятельное, особое поэтическое лицо) и пять-шесть критических статей да статей-упражнений на философские темы.

Из всего этого весьма небольшого круга произведений критика, в соответствии со своим предвзятым взглядом на Веневитинова, выделяла по преимуществу стихи и мысли о любви и отвлеченно-высоком назначении поэта и поэзии. Широкое общественное содержание и смысл творчества Веневитинова совершенно оставались в тени.

Между тем за последнее время появились некоторые новые публикации стихов Веневитинова, правда, столь же немногочисленные (стихотворения «Кинжал», «Родина», несколько запрещенных цензурой строк из стихотворения «Новгород»), сколь немногочисленно вообще все им написанное, но зато резко подчеркивающие высокую гражданскую направленность его образов и дум.

В свете этих публикаций совсем по-новому воспринимается и многое из старого, всем известного, давно привычного Веневитинова, до сих пор находившегося в руках у читателей, критиков и исследователей.

Как и у большинства его сверстников-поэтов, первые стихотворные опыты Веневитинова относятся, можно думать, к весьма раннему возрасту, когда ему едва исполнилось 14 — 15 лет (1819 — 1820 годы). Но систематически Веневитинов начинает писать, примерно, с 1823 года.

По стихам этого первого периода (1823 — 1825 годы) Веневитинов целиком может быть отнесен к тем многочисленным поэтам начала 20-х годов, которые, по известным словам Гоголя, «были зажжены огнем поэзии Пушкина». Не будучи в состоянии приблизиться к замечательному формальному мастерству своего образца, Веневитинов в основном довольно быстро овладел механизмом того нового стиха, который принес в русскую поэзию молодой Пушкин. В значительной мере повторяет он и его тематику.

В двух стихотворениях «К друзьям» встречаемся с обычными мотивами дружеских признаний лидейского Пушкина, непосредственно примыкающими к традиции Батюшковской школы. Дошедшие до нас отрывки из задуманной Веневитиновым исторической поэмы не могли бы быть написаны без «Руслана и Людмилы».

Как и Пушкин, юноша Веневитинов находился под большим обаянием Байроновской поэзии и в особенности легендарно-героической личности самого ее творца. Он называет себя в это время «смелым учеником» Байрона («К Скарятину», 1825 год), пишет восторженный «пролог» на его смерть («На смерть Байрона», 1824 — 1825 годы).

В одном из посланий к своему другу, «любомудру» Рожалину (1824 год), Веневитинов развертывает и всю траурную ленту традиционных байронических мотивов: жалуется на свой ранний душевный опыт, на разочарование в жизни, заявляет, что «обманут небом и мечтой», он «проклял жребий и мечты» и т. д. и т. д. Но в основном Веневитинову близок не столько «демонизм» Байроновского творчества, сколько вольнолюбивый пафос английского поэта, героика его личной судьбы. Недаром в более позднем послании к Пушкину он придает Байрону выразительный эпитет — «пророк свободы смелый».

Боевые, героические ноты звучат в это время в стихах и самого Веневитинова. Критика особенно подчеркивала, что в завещанном Веневитиновым образе поэта он высоко поднимает его над всеми обычно человеческими заботами и интересами, над всеми людскими волнениями и битвами. Однако, на самом деле, в одной из первых же своих вещей — «скаж-

динавской повести» в стихах, «Освобождение скальда», Веневитинов дает красноречивый образ поэта-бойца, не хуже, чем арфой, владеющего «булатом». На совет скандинавского царевича сложить с себя «тяжелый меч», который не пристал «бессильной длани» певца, вдохновенный скальд Эгил отвечает решительным отказом:

Прости мне, о сын скандинавских дарей!
В деснице певца сей булат не бесчестен.
Ты помни, что Рекнер был арфой известен.
И храбрым пример среди бранных полей.

В возникшем вслед за тем споре, закончившемся яростным поединком между царевичем и певцом, последний доказывает свое право на меч, убивая прославленного в боях, могучего противника.

Тот же «меч мщенья» в руках мирного певца-оратора снова воспевается Веневитиновым в его «Песне грека», подсказанной как будто событиями греческого восстания в 1823 году, однако в первом собрании сочинений Веневитинова, вышедшем вскоре после его смерти, знаменательно датированной 1825 годом.

В период 1826—1827 годов, как мы уже указывали, поэтическое мастерство Веневитинова делает крутой скачок вверх. К этому небольшому периоду времени относятся все наиболее прославленные и, действительно, самые значительные его стихотворения: «Элегия», «Италия», «К любителю музыки», «Поэт», «К Пушкину», «На новый (1827) год», «Жизнь», «Последние стихи», «К моему перстню», «Поэт и друг», «Завещание» и некоторые другие.

Если на подавляющем большинстве его вещей 1823—1825 годов сказывалось прямое ученичество у Пушкина, в стихах второго и последнего периода его творчества мы сталкиваемся с весьма показательным фактом обратного воздействия ученика на учителя.

Правда, то, что обычно приводится как пример влияния Веневитинова на Пушкина, на самом деле таковым как раз не является. Так, указывают, что Пушкин написал свою замечательную «Сцену из Фауста» в ответ на призывы Вене-

витинова — и в личных беседах и в стихотворном послании — обратить внимание на творчество Гёте. Указание это совершенно неосновательно. «Сцена» была написана еще в 1825 году в Михайловском, т. е. задолго до первой встречи Пушкина с Веневитиновым. Веневитинов на другой же день после этой встречи говорит Погодину, что в портфеле Пушкина уже имеется «продолжение Фауста».

В связи с этим понятно и то, что Веневитинов в послании к Пушкину, говоря о Гёте, называет его «наставник наш, *наставник твой*».

Не более убедительна и та связь, которую принято устанавливать между взглядом Веневитинова на поэта и его назначение и стихотворением Пушкина «Чернь». Как ни высоко Веневитинов ставит «сына богов» — поэта — над остальными «земными сынами», ни в одном из его высказываний нет ни малейшего намека на ту проповедь «мирного», принципиально-чуждого всяческим «житейским влечениям» и «битвам» общественно-бесполезного искусства, которая составляет основной пафос Пушкинской «Черни». Уж если говорить о сходствах ближе всего, как дальше увидим, к Веневитиновской концепции, поэт не поэт из «Черни», а Пушкинский же поэт-«пророк», «глаголом жгущий сердца людей». Но ставить здесь вопрос о влиянии (и уж, конечно, Пушкина на Веневитинова, а не наоборот) нет никаких оснований. Что касается «Черни», она глубоко уходит корнями в личный и социальный опыт самого Пушкина. Если же помимо того нужно искать еще каких-то внешних воздействий, правильнее усматривать их в некотором возможном влиянии на Пушкина взглядов не столько Веневитинова, сколько всего кружка московских шеллингианцев вообще.

Однако гораздо существеннее всех этих, в лучшем случае весьма неопределенных и трудно поддающихся учету, общих идеологических влияний несомненно имеющиеся, хотя и не замеченные исследователями (см. хотя бы новейшую статью В. В. Стратена «Пушкин и Веневитинов» в «Пушкине и его современниках», вып. 38—39, Л. 1930) факты прямого, чисто художественного воздействия на поэзию Пушкина некоторых стихов Веневитинова.

Так Веневитиновым было написано в 1826 году стихотворение «Три розы» (напечатано в «Северных цветах» на 1827 год). Под непосредственным впечатлением этих стихов, через несколько дней по выходе «Северных цветов» из печати (разрешены цензурой в январе, вышли в свет в конце марта), Пушкин начинает набрасывать сонет «Три розы на свете цветут». Сонет этот не был написан: взамен его Пушкин сложил свое известное восьмистишие, отнюдь не дифирамбного, как это на первый взгляд кажется, а (судя по дате — 1 апреля, поставленной, очевидно, с намерением) явно шутивно-иронического характера: «Есть роза дивная...», где всякого рода «минутным розам» противопоставляется одна — «неувядаемая» (о возможной связи неосуществленного наброска Пушкина с «Тремя розами» Веневитинова бегло упомянул Лернер). Однако стихи Веневитинова, обратившие на себя внимание Пушкина, запали в его сознание и спустя некоторое время снова вышли на поверхность в знаменитом стихотворении «Три ключа», написанном через несколько месяцев после стихов о розе (27 июля 1827 года). Помимо сходства обеих пьес в их названиях и общей композиции, между пьесой Веневитинова и стихотворением Пушкина существует и несомненное совпадение начальных строк. У Веневитинова: «В глухую степь земной дороги, эмблемой райской красоты, три розы бросили нам боги...» и т. д. У Пушкина: «В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробилась три ключа...»

Еще более отчетлив другой случай несомненной близости между уже неоднократно упоминавшимся нами стихотворением Веневитинова «К моему перстню» и Пушкинской пьесой «Талисман» (в особенности в ее втором, совершенно самостоятельном и только недавно появившемся в печати варианте; см. «Полное собрание сочинений Пушкина», ГИХЛ, 1931, т. II, стр. 60). Оба стихотворения Пушкина написаны через несколько месяцев после пьесы Веневитинова, в связи со смертью поэта получившей самую широкую популярность и, конечно, хорошо известной Пушкину. Близость между стихами Веневитинова и Пушкина заключается не только в их общей теме — заклинательном обращении к перстню-талисмани, подаренному обоим поэтам любимой женщиной, но и в почти

буквальном совпадении отдельных строк. Веневитинов: «О, будь мой верный талисман! Храни меня от тяжких ран». Пушкин: «Храни меня, мой талисман» (в дальнейшем у Пушкина и та же рифмовка слова «ран», и повторенной строки «Храни меня, мой талисман»). Веневитинов: «Дружба в горький час прощанья любви рыдающей дала тебя залогом состраданья». Пушкин: «Ты в день печали был мне дан».

Приведенные примеры прямых реминисценций Пушкина из стихов Веневитинова наглядно свидетельствуют о достигнутом последним высоком уровне своего поэтического мастерства. Но особенно важно, что прекрасной художественной форме стихов Веневитинова 1826—1827 года соответствует значительность их содержания.

Основным тоном всего цикла последних стихов Веневитинова является их глубокий пессимизм, свойственный почти всем им явно-выраженный «смертнический» характер.

Ключом ко всем этим переживаниям являются два замечательных стихотворения Веневитинова, стоящие как бы в преддверии всего цикла и начинающие собой линию его высокого поэтического мастерства, обретенной художественной зрелости.

Оба стихотворения написаны Веневитиновым под влиянием дорожных впечатлений по пути из Москвы в Петербург, вместе со спутником Трубежкой, Воше, в октябре 1826 года, и ярко свидетельствуют об общей душевной настроенности их автора. Оба носят заостренно-политический характер.

Первое из них написано в связи с проездом через Новгород и посвящено воспоминаниям о славном республиканском прошлом «древнего», «величавого» «града свободы, славы и торговли» — типичнейший мотив дворянских «вольнолюбцев» 20-х годов. Когда ямщик, показывая на «вечевую площадь», говорит, что «по сказкам стариков» здесь некогда висел «огромный колокол» — «бич князей», поэт в каком-то иступлении печали восклицает:

Молчи, мой друг; Здесь место свято;
Здесь воздух чище и вольней!
Потише!.. Нет, ступай скорей:
Чего ищу я здесь, безумной?

Заканчиваются стихи тяжким вздохом о безвозвратно минувших «вольных» временах: «Скажи, где эти времена? Они далеко, ах далеко!»

Цензура, в которую попало это стихотворение в связи с подготовкой посмертного собрания сочинений Веневитинова, несмотря на то что посланный на цензурный просмотр текст был заранее смягчен предусмотрительными друзьями, сразу же разгадала тот дух, в котором оно было написано, безошибочно подведя его под действие 168-го параграфа пресловутого «чугунного» Шишковского устава о цензуре 1826 года: 168-й параграф безусловно запрещал «всякое сочинение или перевод, в котором прямо или косвенно прицедается монархический образ правления». Сам Шишков, стоявший тогда во главе министерства народного просвещения, категорически распорядился «не пропускать к печатанию» «Новгорода». Смог появиться «Новгород» в печати только в 1829 году, после отставки Шишкова, причем, помимо уже указанных предварительных смягчений, из него были выкинуты четыре строки приведенных нами слов поэта к ямщику. Однако, несмотря на смягченные и выпущенные строки, стихотворение продолжало звучать столь смелым голосом, что при новом издании сочинений Веневитинова, почти целых двадцать пять лет спустя, т. е. уже в 1853 году, оно снова вызвало опасливые возражения цензоров, полагавших в своих отзывах все его «неудобным к печатанию». Как это было и при первом издании, приговор цензоров на два года задержал появление в свет нового издания сочинений Веневитинова, которое, несмотря на то что оно являлось всего лишь перепечаткой издания 1829 года, смогло выйти только в 1855 году, в эпоху новой политической «весны», наступившей после позорного крушения под Севастополем всего Николаевского режима.

В «Новгороде» Веневитинов тоскует о «вольном» прошлом. В другом стихотворении, явно подсказанном теми же дорожными впечатлениями, он дает беспощадную по своему горькому и бичующему натурализму картину настоящего — современной ему рабской Николаевской России.

Вот это стихотворение:

Родина

Природа наша, точно, мерзость:
Смиренно-плоские поля —
В России самая земля
Считает высоту за дерзость —
Дрянные избы, кабаки,
Брюхатых баб босые ноги,
В лаптях дырявых мужики,
Непроходимые дороги,
Да шпида вечные дерквей —
С клистирных трубок снимок верный,
С домов господских вид мизерный
Следов помещичьих затей,
Грязь, мерзость, вонь и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут —
И вот что многие болваны
«Священной родиной» зовут.

Это стихотворение, которое, естественно, смогло появиться в печати только после революции (опубликовано впервые С. Шпидером в 1924 году), представляет собой совершенно исключительное явление не только в творчестве Веневитинова, но и в истории нашей поэзии вообще.

После знаменитого Радищевского изображения крепостного русского «чудища», изображения, навеянного, кстати сказать, тем же путем между Петербургом и Москвой, в нашей литературе конца XVIII — первой трети XIX века нет произведения, которое бы равнялось Веневитиновской «Родине» по яркости и силе обличения. И все это море гнева, боли и печали сгущено, сжато в шестнадцать предельных по своей лаконической энергии строк! Замечательна «Родина» и резким натурализмом рисунка. А ведь она написана не только за несколько десятилетий до стихов в этом роде Огарева и Некрасова, но и четырьмя годами ранее Пушкинской болдинской «Шалости» («Румяный критик мой...»), справедливо почитавшейся до сих пор первым у нас предварением Некрасовского стиля. Перед этой безотраднейшей картиной крепостной, иссеченной «хозяйским кнутом» родины бледнеет известное

Лермонтовское восьмистишие «Прощай, немытая Россия...», напечатанное в 1841 году, т. е. только пятнадцать лет спустя.

Читая «Родину», начинаешь понимать, в какую громадную величину мог бы вырасти Веневитинов, проживи он еще хотя бы пять — десять лет.

«Родина» до такой степени идет в разрез со всеми нашими привычными представлениями о Веневитинове, что невольно закрадывается сомнение в самой принадлежности ему этого стихотворения. К сожалению, публикатор, имевший доступ к бумагам Веневитинова и напечатавший в разное время ряд новых бесспорно Веневитиновских текстов, не сделал ничего, чтобы эти сомнения устранить: им даже не указано, по автографу или по списку публикуется «Родина».

Однако мы уже говорили о крайней односторонности, а следовательно и ошибочности наших привычных восприятий личности и творчества Веневитинова. Во всяком случае психологически «Родина» вполне соответствует состоянию той крайней гражданской угнетенности, в котором Веневитинов пребывал после гибели всех его «безумных» чаяний и надежд на «новых Мининых и Пожарских», т. е. на декабристов, угнетенности, ярким выражением которой является «Новгород», хронологически весьма близкий к «Родине», хотя и написанный совсем в ином стилевом плане.

С другой стороны, самый натурализм «Родины», сколь он ни поразителен, имеет некоторые соответствия в других безусловно Веневитиновских вещах. Так, например, резкую натуралистическую концовку имеем в замечательном по своему трагическому лиризму «Завещании». Поэт угрожает возлюбленной, в случае, если она забудет его, могильным червем прилипнуть к ее душе:

...если памятью преступной
Ты изменишь... Беда с тех пор!
Я тайно облекусь в укор;
К душе прилипну вероломной,
В ней пишу мщению найду.
И будет сердцу грустно, томно,
Но я, как червь, не отпаду.

Конечно, это еще натурализм совсем другого рода, натурализм не реалиста, а типичного поэта-романтика, но наличие и такого натурализма в «неземном» Веневитинове, как обычно изображает его критика, весьма примечательно. Мало того, около этого же времени, в период нескольких месяцев, отделяющих «Родину» от «Завещания», Веневитиновым, года за два до «простонародной сказки» Пушкина «Утопленник», была написана весьма характерная «простонародная» баллада «Домовой», натуралистически-снижающая, пародирующая традиционно-балладную ситуацию: «проклятый домовый», пугавший по почам молодую девицу, на поверку оказывается жарко дышащим матерым парнем, в «лохматых» лапах которого спится, как никогда, сладко.

Правда, все эти натуралистические элементы стихов Веневитинова в значительной степени зачаточны, как зачаточно, строго говоря, все его творчество вообще, но, во всяком случае, несколько неожиданное по своей нарочитой грубости уподобление церковных шпицей не является в его поэзии таким уж вовсе одиноким.¹ Что же касается этого уподобления по существу, то надо сказать, что настроения московских любомудров с самого начала носили выражено «антихристианский» характер. «Христианское учение, — вспоминает уже известный нам А. И. Кошелев, — казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангельских и других священных писаний». Через несколько месяцев по приезде в Петербург Веневитинов пишет сестре: «Ты спрашиваешь меня, к какому приходу

¹ Кстати, по поводу «грубости» словаря «Родины» («И вот что многие *болваны*...»). В литературном салоне Дельвига, где Веневитинов, по приезде в Петербург, стал завсегдаем, в шуточных стихах, экспромптах, эпиграммах и т. п., которые изобильно слагались Дельвигом и его друзьями (принимал в этом оживленное участие и Веневитинов), подобная грубость была не в диковинку. Вот, например, строки о неперменном секретаре Российской академии, П. И. Соколове: «Неперменный секретарь Соколов Рассейской, О, запачканная *тварь* с *харей* фарисейской» и т. п. («Полвека русской жизни». Воспоминания А. И. Дельвига. М. — Л. 1930, стр. 74).

я принадлежу; признаюсь тебе, что я не сумею ответить на этот вопрос. Правда, дальше он сообщает, что бывает в Казанском соборе, но и там его привлекают моменты совсем не религиозного порядка. Он любит рассматривать старые иконы; особенно же пленяет его зрелище огромной толпы, которая после службы «вырывается через три двери в течение полчаса, наводняя всю площадь».

То исключительно мрачное и безнадежное созерцание действительности, которым проникнута «Родина», не могло пройти даром и бесследно по душе поэта. Им объясняются почти все последующие мотивы его творчества.

Естественным отталкиванием от *такой* родины являются страстные порывы двух его стихотворений, посвященных Италии («Элегия» и «Италия»), в иной, «неизвестный край», «отчизну вдохновенья», «дивную страну очарованья», «жаркую отчизну красоты», где поэт мечтает «по воле разыграться» своей замороженной «северной душой». Как мы уже указывали, одновременно с этими поэтическими порывами Веневитинов и впрямь хочет уехать в Персию: «Молю бога, чтобы поскорее был мир с Персией, — пишет он брату вскоре по приезде в Петербург, — хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями».

Естественно «мрачное одиночество», которое ощущает поэт на *такой* родине, в «многолюдной пустыне», петербургской по-декабрьской действительности. Понятен и тот образ поэта, то одинокого («всё чуждо, дико для него»), сосредоточенного, замкнутого в себе, с «непокорным, воспитанным свободой умом», с «печатью молчания на устах», с «раздумьем на суровом челе», то всего во власти налетающих на него «неразгаданных чувств» и «невозвратных порывов», с внезапно воспламененными очами, с огненной речью, — образ, который Веневитинов дает в одном из наиболее прославленных своих стихотворений («Поэт»).

Здесь кстати покончить с одним явным и весьма существенным недоразумением. Как мы уже отмечали, критика обычно указывает, что Веневитинов решительно настаивает на полной аполитичности искусства, на совершенной его общественной неположности. В доказательство ссылаются на студенческую

работу Веневитинова — критический разбор им «рассуждения» его университетского учителя, профессора Мерзлякова, «О начале и духе древней трагедии». «Кто ожидал бы, чтоб в нашем веке на поэзию взирали, как на орудие политики?» — восклицает в ней Веневитинов. Так взятая, цитата эта выглядит в самом деле весьма убедительной. Однако в контексте она имеет совсем иной смысл. Мерзляков в своем рассуждении утверждает, что трагедия обязана своим происхождением «мудрым *правителям* первобытных обществ», которые пользовались ею с целью пропаганды своих политических целей. В переводе на современность это значило, в полном соответствии со взглядом на поэзию, свойственным нашему «классическому» XVIII веку, что литература должна быть послушным инструментом в руках всероссийских самодержцев. Именно против этого-то и ополчается Веневитинов, решительно не соглашаясь с тем, что поэзия должна быть «орудием правителей», должна «влачить оковы рабства». Однако из того, что Веневитинов не желает служить своим творчеством «правителям», не значит, что он является проповедником общественно-бесполезного искусства вообще. Наоборот, тенденциям Мерзлякова, стоящего целиком на теоретических позициях «рабской» поэтики XVIII века, Веневитинов противопоставляет «новейшую» романтическую поэзию, поэзию Гёте и Байрона — «плод глубокой мысли», «сильный голос, который с высока взывая к небу, пробуждает со всех сторон отголоски и усиливается в своем порыве». Поэзию, которая способна «пробуждать со всех сторон отголоски», собирать вокруг себя коллектив, конечно, никак нельзя назвать общественно-бесполезной. А именно о такой роли «пророка», владеющего «дарами высших уроков» («Последние стихи») — глашатая «сильных слов», «зажигателя» сердец своим «смелым стихом» мечтает Веневитинов для себя, как для поэта:

... Мне было в жизни утешенье,
Мне тайный голос обещал,
Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «Когда-нибудь

Созреет плод сей муки тайной,
 И слово сильное случайно
 Из груди вырвется твоей;
 Уронишь ты его не даром;
 Оно чужую грудь зажжет:
 В нее как искра упадет,
 А в ней пробудится пожаром».

Заслуживает быть отмеченным почти полное совпадение двух последних строк этого стихотворения со знаменитой строкой из ответа Пушкину декабриста-каторжанина Александра Одоевского: «Из искры возгорится пламя». Стихи Веневитинова и Одоевского написаны почти в одно время — в одном и том же 1827 году — и, безусловно, вне всякой прямой зависимости друг от друга (Одоевский в это время находился в Сибири), между тем сходство между ними идет значительно дальше совпадения в одном (хотя и весьма выразительном самом по себе) образе. Стихотворение Веневитинова, правда, совершенно лишено политической заостренности «Ответа» Одоевского, но чувство, его проникающее, вполне аналогично нафосу последнего. Оба поэта выражают равно утешающую обоим в их личных страданиях веру, что «скорбный труд» (Одоевский), «тайная мука» (Веневитинов) «не напрасны» (Веневитинов), «не пропадут» (Одоевский), принесут свой «плод» «шроду», обществу. Оба стихотворения отличаются друг от друга в такой же мере, в какой были различны судьбы их творцов, но общая их настроенность красноречиво свидетельствует, что сердца умирающего в последекабрьском Николаевском Петербурге Веневитинова и закованного в кандалы в каторжной сибирской тюрьме декабриста Одоевского бились почти в унисон.

И, надо сказать, чаяния Веневитинова оправдались. Его стихи искрами от затоптанного костра декабризма запали в сознание таких людей, как Герцен, как Бакунин. Отзыв Герцена мы уже привели. Бакунин, в свою очередь, писал отцу об одной бессонной ночи, проведенной им за чтением стихов Веневитинова: «Стихи этого высокого благородного поэта потрясли меня совершенно».

А значительно позже, в самом конце 50-х годов, горячий поклонник Герцена, воспитатель кадетского корпуса Александр Кропоткин, в письме к младшему брату, знаменитому впоследствии анархисту Петру Кропоткину, высказывал свою «задушевнейшую» мечту — раскрыть глаза читателям на любимейшего своего поэта: «О Веневитинове у нас ничего почти не писали, его не знают. Но придет время, его узнают... До тех пор не буду спокоен, пока не напишу статью о Веневитинове. Вместе с мечтой о поступлении в университет мечта написать статью о Веневитинове есть моя мысль задушевнейшая» (Переписка П. и А. Кропоткиных, т. I, «Academia», 1932, стр. 45).

Однако разожглись «искры» стихов Веневитинова в «чужой груди» лишь много времени спустя после смерти поэта. Жесточайший правительственный террор, последовавший за разгромом декабристов, исключал всякую возможность как «ронять» «сильные слова», так, в особенности, вспыхивать от их пламени.

В связи с этим Веневитинов в последние месяцы своей жизни и впрямь начинает сомневаться в том, чтобы посредством писания стихов можно было принести какую-нибудь «пользу России» в ее настоящем «нравственном положении» (статья «Несколько мыслей в план журнала»), даже больше того, начинает выражать сомнение в какой бы то ни было социальной функции поэзии вообще («Анаксагор»). Однако и тут, в прямую противоположность Пушкину, он отнюдь не становится апологетом, боевым провозвестником «чистого искусства» — «звуков сладких и молитв», — а, наоборот, разуверившись в общественной значимости стихов, не только устами Платона изгоняет поэтов из идеального государства но и сам почти готов, как скоро увидим, вовсе отказаться от поэтического творчества.

Безнадежность созерцаний и настроений Веневитинова последнего, петербургского, периода его жизни логически приводит к появлению в его стихах упадочных, «смертнических» мотивов. Поэт начинает твердить о неизменно надвигающейся на него неминуемой гибели («Завещание», «Утешение», «Поэт и друг» и др.). Мысль о близкой смерти таит для него

особое очарование: «С каким восторгом сладострастья я жду губительного дня и торжества судьбы коварной» («К моей богине»). Он начинает лелеять в душе «коварную мечту» о самоубийстве («Кинжал», «К моему перстню» и др.).

Обычно предсмертные мотивы последних стихов Веневитинова объясняют все той же «безотрадной страстью» к Зинаиде Волконской. Страсть эта, как мы уже говорили, очевидно, сыграла здесь свою роль. Недаром большинство этих стихов обращено к некоей возлюбленной поэта. Однако вместе с тем желанию умереть дается в них совсем иная — отнюдь не любовная — мотивировка. Поэт говорит в них о «скорби» и «муках» «земного житья», о том, что жизнь «скучна» и «посыла» ему, как «пересказанная сказка», что «ужасна» не смерть, а жизнь, что ад не на том свете, а на этом: «Ах, не дрожи: смерть не ужасна; ах, не шепчи ты мне про ад: верь, ад на свете, друг прекрасной!» (строки, послужившие, кстати сказать, поводом к запрещению стихотворения, которое, по отзыву цензора, не могло быть «дозволено к напечатанию, потому что автор, представляя человека, преднамеривающегося совершить самоубийство, заставляет его произносить ложные мысли об аде»). Больше того, в том же стихотворении «Кинжал», из которого мы заимствовали только что приведенные строки, поэт прямо указывает, что к смерти его толкают отнюдь не «мучения любви», которых он попросту никогда не испытывал: «Я много в жизни распознал, в одной любви не знал мученья».

«Кинжал» Веневитинова невольно приводит на память одноименное стихотворение Пушкина. Замечательна тематическая разница этих двух стихотворений. Для Пушкина, писавшего стихи в период максимального общественного подъема начала 20-х годов (стихотворение написано в июле 1821 года), кинжал — «страж свободы», орудие мести тиранам. Через пять лет, в эпоху наступившей реакции, тот же «кинжал» превращается в руках Веневитинова в орудие самоистребления.

В одной из своих стихотворных импровизаций в дружеском кругу за традиционным бокалом шампанского, столь часто фигурирующим и в вольнолюбивых стихах Пушкина, импро-

визации, произнесенной скорее всего в период возбуждения, охватившего группу «левых» Любомудров в связи с движением декабристов, Веневитинов «пророчески» восклицал:

Недаром шампанское пеной играет,
Недаром кипит чрез края:
Оно наслажденье нам в душу вливает
И сердце нам греет, друзья!
Оно мне внушило предчувствие святое!
Так! счастье нам всем суждено:
Мне — пеною выкипеть в праведном бое,
А вам — для свободы созреть, как вино!

«Святое предчувствие» обмануло поэта. Погибнуть в «праведном бою» ему не удалось. Наоборот, он погиб именно от отсутствия «боя», от невозможности сделать что-либо «хорошее, высокое» в «замороженном» Николаевском «аду»:

Верь, ад на свете, друг прекрасный!

Белинский ставил поэтическое творчество Веневитинова на исключительную высоту: «Из всех поэтов, появившихся в перое время Пушкина, — писал он, — исключая гениального Грибоедова, несравненно выше всех других и достойнее памяти Веневитинов и Полежаев».

Самое название Веневитинова рядом с Полежаевым — другой, непосредственной жертвой Николаевской реакции — весьма характерно и прямо показывает, в каком направлении двигалась в данном случае мысль Белинского, превыше всего деинившего, видимо, общественный пафос обоих поэтов. Но критик едва ли не прав здесь и по существу. Правда, рядом с Пушкиным выросли два других великих имени нашей поэзии — Баратынский и Тютчев, однако творчество того и другого, несмотря на то что оба они были несколькими годами старше Веневитинова, развернулось в полном своем блеске только в 30-е годы, много спустя после смерти последнего.

Веневитинов же в лучших своих созданиях уже в середине 20-х годов писал стихом, по трагической энергии, стремительной звучности, патетической приподнятости не уступающим

Лермонтовскому. Имя Лермонтова вообще как-то само собой приходит на мысль, как наиболее конгеннальное имя, когда хочешь представить себе, во что бы могли развиться те исключительные возможности, которые были заложены в Веневитинова природой, жизнью и историей, — возможности, которым смерть сказала свое властное и беспощадное «нет».

А ведь в Веневитинове с замечательным поэтическим даром уживалось не менее значительное дарование критика-мыслителя.

3

Известно, что из всех многочисленных статей о первой главе «Евгения Онегина» сам Пушкин выделил, как едва ли не единственно заслуживающую внимания, статью Веневитинова, являющуюся ответом на оценку первой главы Полевым. Биографы обоих поэтов указывают даже, что именно эта статья и послужила поводом к их знакомству и последовавшему личному и литературному сближению — факт, тем более знаменательный, что отзыв Веневитинова, как дальше увидим, носил в общем явно отрицательный по отношению к роману Пушкина характер.

Статья Веневитинова, действительно, была необычна и всецело оправдывала внимание к себе содержащимися в ней теоретическими и методологическими высказываниями, касающимися самого существа критики. Наша критика первой половины 20-х годов находилась, по справедливому отзыву того же Пушкина, в подлинно «младенческом» состоянии, ограничиваясь законническими и безапелляционными вкусовыми оценками (то — «хорошо», это — «худо»), мало что говорящими сближениями русских писателей с европейскими и мировыми знаменитостями («наш Пиндар», «наш Тибулл», «наш Байрон» и т. п.) и привязчивым лингвистическим разбором, производимым с точки зрения чистоты и правильности «слога».

Веневитинов, в соответствии со своими общими философскими устремлениями и интересами, окрепшими в школе Шеллинга, требует, чтобы критика основывалась на неких «положительных правилах», исходящих из определенной «си-

стемы литературы», была выражением продуманного мирозердания.

Уже в упоминавшемся нами студенческом разборе «Рассуждения» Мерзлякова Веневитинов прямо ставит ему в упрек «недостаток теории», «ибо, — поясняет он, — нельзя назвать сим именем искры чувств, разбросанные понятия о поэзии, часто облеченные прелестью живописного слога, но не связанные между собой, не озаренные *общим взглядом* и перебитые явными противоречиями». Между тем, «чтобы произнести общее суждение о поэзии, чтобы оправдать достоинство поэта, надобно основать свой приговор на *мысли* определенной» (курсив везде наш. — Д. Б.).

Мысль тем более должна руководить критиком в его анализе, что вся художественная литература, по Веневитинову, — не что иное, как орудие и средство «самопознания» человечества, как мирозердание (мы бы сейчас сказали — идеология) в образах. Так «аллегории Гомера» заключали в себе «всю философию его времени», Эсхил «воскресил на сцене забытые мысли древней философии». Вслед за теоретиком немедкого романтизма Августом Шлегелем самую форму «трилога» (трилогии), свойственную греческим трагикам, Веневитинов склонен связывать с диалектической триадой, усматривая в ней «развитие полной философической мысли». Словом, история литературы должна рассматриваться в тесной связи с историей философии. Отсюда и критик обязан быть «литератором-философом».

В своих дальнейших критических статьях Веневитинов формулирует эти положения с еще большей определенностью. «В критике должно быть основание положительное... Всякая наука положительная заимствует свою силу из философии... Поэзия неразлучна с философией» («Разбор статьи о Евгении Онегине»). «Истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, вендом просвещения» («Несколько мыслей в план журнала»).

«Чувство никогда не творит, и не может творить, — пишет он там же, — потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая развивается

в борьбе и тогда, уже снова обратившись в чувство, является в произведении».

Это последнее высказывание интересно не только по существу, но и потому, что в нем мы имеем хотя и первые, и весьма еще робкие, но уже явные зачатки у нас диалектического мышления. Такие зачатки, то там, то тут, разбросаны по статьям Веневитинова. Например, в другом месте той же статьи он пишет: «Легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению, нежели когда он равнодушен к истине. Ложные мнения не могут всегда состояться; они порождают другие; таким образом вкрадывается несогласие, и самое противоречие производит некоторого рода движение, из которого наконец возникает истина».

Во взгляде на литературу, как на орудие «самопознания», в требовании от критики твердой философской основы, наконец, в первых попытках мыслить диалектически Веневитинов уже стоит на той почве, на которой возникает критическая деятельность Белинского его раннего шеллинговского периода. А ведь первые статьи Белинского появились только почти десять лет спустя.

Замечательно совпадение Веневитинова с Белинским и в его резко отрицательном отношении к современной ему литературе. Подобно тому как Белинский выставил в своих знаменитых «Литературных мечтаниях» 1834 году парадоксальное положение, что у нас есть немногие отдельные великие писатели, но что литературы в настоящем смысле этого слова, как выражения «народного духа», у нас еще нет, — Веневитинов в своей статье 1826 года «Несколько мыслей в план журнала» прямо заявляет, что «положение наше в литературном мире — положение совершенно отрицательное». В особенности это относится к нашей поэзии. Самое изобилие у нас стихотворцев, — «всеобщая страсть выражаться в стихах», — по мнению Веневитинова, представляет собой вполне отрицательное явление: «У нас язык поэзии превращается в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка». Для «пользы России» требовалось бы, — по решительному заявлению Веневитинова, — «совершенно оставить нынешний ход ее слю-

вестности и заставить ее более думать, нежели производить». Для самого себя Веневитинов почти способен решить вопрос именно таким образом. Несмотря на лихорадочный подъем поэтического творчества в последние месяцы его жизни, он не только начинает подумывать о том, чтобы от стихов перейти к прозе (замышляет обширный роман), но и вообще, имея в виду «пользу России», готов свою деятельность как поэта заменить деятельностью журналиста-мыслителя. «Авось окончу в скором времени большое сочинение, которое решит, должен ли я следовать влечению к поэзии или побороть в себе эту страсть», — пишет он брату за три недели до смерти, имея, очевидно, в виду как раз только что упомянутый нами роман.

«Побороть в себе страсть» к столь чтимой Веневитиновым поэзии, как к деятельности «бесполезной для общества», долженствующей состоять «из людей мыслящих и потому действующих» (слова Платона в философическом отрывке Веневитинова «Анаксагор»), конечно, высшее из всех жертвоприношений, которые он мог бы принести на алтарь общественной пользы, «пользы России». И в таком человеке критики типа Н. Котляревского отрицали наличие какого бы то ни было общественного чувства!

Свои возражения Полевому в связи с первой главой «Онегина» Веневитинов заканчивает указанием, что в них он «изложил некоторую систему литературы». Эта система, образующая собой философско-критическое миросозерцание Веневитинова, находится в полном соответствии с его общественными взглядами, приближающимися к позиции деятелей Северного общества декабристов.

Веневитинов — убежденный романтик, горячий поклонник Гёте и Байрона. Уже в своей полемической статье против Мерзлякова он решительно возражает последнему, усматривавшему в «затейливом воображении романтиков», в их «весьма сомнительных временных мнениях» признаки явного вырождения искусства, его декаданса, упадка. «Я о мелочь вступить за честь нашего века... — пишет Веневитинов. — Поэзия древних... превосходит новейшую в совершенстве соразмерностей, но уступает ей в силе стремления и в обширности

объема. Поэзия Гёте, Байрона есть плод глубокой мысли, раздробившейся на всевозможные чувства. Поэзия Гомера есть верная картина разнообразных чувств, сливающихся как бы невольно в мысль полную. Первая, как поток, рвется к бесконечному; вторая, как ясное озеро, отражает небо, эмблему бесконечного. Всякий век, — примирительно добавляет Веневитинов, — имеет свой отличительный характер, выражающийся во всех умственных произведениях; на всё равно распространяется наблюдение истинного филолога, и заметим, что науки и искусства еще не близки к своему падению, когда умы находятся в сильном брожении, стремятся к цели определенной, и действуют по врожденному побуждению к действию». Веневитинов хочет стать здесь в позу объективности, позу «истинного филолога», воздать каждому веку свое, но эмоциональная окраска фраз, посвященных «новейшей», романтической поэзии, поэзии Гёте и Байрона, безошибочно выдает, кому всецело принадлежат его личные симпатии. Не мирно глядеться в спокойное зеркало вод, а безоглядно мчаться в бурном потоке, ломающем все преграды, — таков пафос Веневитиновской мысли и Веневитиновского творчества.

Критики особенно любят подчеркивать «гётеанство» Веневитинова, противопоставляя его байронизму Пушкина. Однако это в корне неверно. Как мы видим, Веневитинов не противопоставляет Гёте Байрону, а, наоборот, объединяет их. И симпатии к Байрону остаются в нем неизменными. Так, в первой статье об «Онегине» он снова дает восторженную характеристику Байрона как поэта, «который, духом принадлежа не одной Англии, а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века». Да и в Гёте Веневитинов ценит вовсе не его позднейшую успокоенность, «объективизм», прославленное «олимпийское» бесстрашие, а страстный, мятущийся, фаустовский дух, именно то, что в нем было не от «озера», а от «потока». Недаром, наряду с переводом двух драматических отрывков из Гёте на тему об «участи художника», Веневитинов начал переводить мятежного Гётевского «Эгмонта», долгое время запрещавшегося Николаевской цензурой, а из «Фауста» выбрал именно те сцены, в которых с наибольшей силой выражены тоска по «могучим

крыльям», жажда «полета», мятежные «порывы» в «эфир», в бесконечность (даже в песенке Маргариты дышит то же неутоленное стремление).

И совсем по-фаустовски звучит тот призыв, который Веневитинов обращает к самому себе в этих столь часто цитируемых и действительно прекрасных строках:

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной —
Отзывной песнью отвечай!

Но с особенной силой общественная настроенность Веневитинова выразилась в его первой статье об «Евгении Онегине».

Декабристы, высоко ценившие «вольные стихи» Пушкина и «сходившие с ума» от его романтических поэм, к появлению первой главы «Онегина» отнеслись не только сдержанно, но, в сущности, и прямо отрицательно. В образе «Онегина» они правильно усматривали прозаизацию, реалистическое снижение, пересмеивание «высоких» байронических героев романтических поэм; осуждали отсутствие в романе «поэтических форм», «прозаичность» предмета; находили, что роман больше плод «искусства», чем «вдохновения», и т. п. Критических статей о романе декабристы не дали, но точка зрения их с отчетливостью проступает в письмах к Пушкину Рылеева и Бестужева, писанных незадолго до восстания, в том же 1825 году.

Статья Веневитинова во всех своих основных положениях с этой точкой зрения почти целиком совпадает. Как и Бестужев, Веневитинов находит в «Онегине» «недостаток истинного пиитизма». Подобно тому как Бестужев сочувственно противопоставляет описательной и повествовательной части романа его «мечтательную часть», — Веневитинов предпочитает «Онегину» пламенные романтические тирады «поэта» из «Разговора поэта с книгопродавцем», предпосланного Пушкиным первой главе, в качестве своеобразного пролога к роману: «В словах поэта видна душа, свободная, пылкая, способная к сильным порывам; признаюсь, я нахожу в этом

разговоре более истинного патризма, нежели в самом «Онегине». Рылеев не устал твердить, что «Евгений Онегин» «ниже» романтических поэм Пушкина и вместе с Бестужевым настойчиво призывал его снова вернуться к созданию произведений, которые «колеблют душу, ее возвышают, трогают русское сердце», вроде поэмы о борьбе псковитян за «русскую свободу». Равным образом Веневитинов склонен считать «Онегина» «ошибкой» Пушкинского дарования, считать, что в своем романе поэт сошел с истинного пути. Как и Бестужев, не отказывая роману в «искусстве» («в нем нет описания, в котором бы не видна была искусная кисть, управляемая живым, резвым воображением; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого остроумия, или очаровательного таланта в красоте выражения»), — Веневитинов отказывает ему в истинной «народности», сочувственно противопоставляя Шиллеровского «Вильгельма Теля» с той же темой борьбы за свободу, что и рекомендуемая Рылеевым псковская поэма: «Шиллер в «Вильгельме Теле» переносит нас... в новую сферу идей: он увлекает потому, что пламенным восторгом сам принадлежит Швейцарии».

Статья Веневитинова, ценная и сама по себе, в истории русской критики приобретает особое значение, как почти полное выражение непосредственно в ней отсутствующего мнения об «Онегине» декабристов.

Трудно сказать, как пошло бы дальше развитие Веневитинова как критика и идеолога. Русское шеллингианство было тем историческим перекрестком, на котором сошлись на короткое время люди самых различных социально-политических и общественных взглядов и направлений — будущие «славянофилы» и будущие «западники», Киреевские, Хомяков и Белинский, — сошлись, чтобы навсегда разойтись в прямо противоположные стороны. Трудно сказать, с кем бы оказался в конце концов Веневитинов. Классово-общественная среда как будто бы толкала его к славянофильству. Недаром славянофилами оказались все его ближайшие друзья, в том числе и мечтавший некогда вместе с ним о наступлении для России «великого 1789 года» А. И. Кошелев. Зачатки славянофильских идей несомненно имеем и в ряде высказываний самого Веневитинова.

В то же время вспомним его резкое отталкивание от «грязи и смерзости» «священной родины». Да и недаром творчество Веневитинова так сочувственно звучало Белинскому и Герцену.

В своей уже неоднократно цитировавшейся нами работе «О развитии революционных идей в России» Герцен, вскрывая общественное содержание образов Пушкинского «романа в стихах», называет Веневитинова «другим Ленским» — «чистой поэтической душой, задуманной в двадцать два года грубыми тисками русской жизни». Параллель эта невольно напрашивается. Глубокое воздействие на Веневитинова немецкой философии и литературы, его высокие романтические порывы, наконец, в особенности, его трагически ранняя гибель — все это черты, настолько роднящие его с образом Ленского, что некоторые не слишком осведомленные критики готовы были утверждать, что Пушкин прямо с Веневитинова и списал своего «юношу-поэта».

Утверждение это совершенно противоречит хронологии создания романа. Образ Ленского сложился в сознании Пушкина во всех его основных чертах задолго до встречи с Веневитиновым (вторая глава «Онегида», содержащая развернутую характеристику Ленского, была написана еще в Одессе в 1823 году). Да выяснение прообраза Ленского (делались попытки связать его с лицейским товарищем Пушкина декабристом Кюхельбекером и т. д.) и не имеет существенного значения. Наоборот, отсутствие в Ленском непосредственной «портретности», при столь разительном *сходстве* его с Веневитиновым, только лишний раз свидетельствует о глубокой жизненности Пушкинского образа, о том, что поэту с изумительной силой художественного проникновения удалось воплотить в нем подлинно типическое явление русской действительности 20-х годов прошлого века.

В нашей трактовке личности Веневитинова и его творчества мы решительно отказались от традиционных взглядов на ту и другое, укоренившихся в нашей литературной историографии. Но Герценовскую параллель Веневитинова с Ленским мы вполне можем за ним сохранить. Веневитинов и в самом деле прошел по нашей жизни и литературе «другим Ленским», но не тем несколько оперным персонажем (как мы упрощенно

привыкли воспринимать этот образ Пушкина), который по-пел, повздыхал и умер, а Ленским подлинного Пушкинского замысла, раскрывающегося как по законченному тексту романа, так и на основании подготовительных набросков, черновиков, опущенных строк; Ленским, который привез «из Германии туманной» не только «учености плоды», но и «вольнолюбивые мечты», который был не только «поэтом», но, потенциально, и «мятежником», который, по слову Пушкина в одной из цензурных строк 6-й главы, «мог быть повешен, как Рылеев».

Д. Благой.

P. S. Уже после того, как настоящая статья была сверстана, удалось выяснить, что «Родина» опубликована С. Шпидером не по автографу, а по списку, сделанному будущим редактором «Русской Старины» М. И. Семевским в 1857 году в одном из составленных им рукописных сборников «вольных» и цензурных произведений различных русских авторов. Сборник этот был передан после публикации вместе со всем архивом Семевского в Институт русской литературы Академии Наук. К сожалению, несмотря на все мои усилия, во время двукратной поездки в Ленинград, получить его на просмотр, ввиду неразобранности архива Семевского, мне не удалось. В силу всего этого осторожнее, впредь до получения более твердых доказательств, считать «Родину» не в основном корпусе стихов Веневитинова, а в «dibia», хотя, приписывая ему это стихотворение, столь идущее в разрез обычным представлениям об его творчестве, Семевский, надо думать, имел к тому веские основания. Но если даже «Родина» Веневитинову и не принадлежала бы, это несколько не меняет общей концепции его жизненной и литературной судьбы, сообщая только образу «подлинного Веневитинова», как он возникает в результате анализа, большую «притушенность», меньшую резкость.

Д. Б

ОТ РЕДАКТОРА ТЕКСТА

Последнее издание сочинений Д. В. Веневитинова вышло двадцать лет тому назад, причем оно повторяло ошибки предыдущих изданий: прежде всего оно было неполным. В нем имели место небрежные искажения текста, иногда довольно значительные, и т. п.

В отличие от предыдущих изданий, нами присоединены к собранию сочинений Веневитинова его письма, свод биографических данных о нем, комментарии и библиография.

Кроме произведений Д. В. Веневитинова, вошедших в наиболее полное, хотя и не научное издание его сочинений 1862 года, под редакцией А. П. Пятковского, в настоящее собрание включены: девять поэтических произведений, опубликованных в разное время, в том числе «Освобождение скальда» — скандинавская повесть в 238 стихов, ряд прозаических вещей, не входивших в прежние собрания, и четыре неопубликованных произведения: статья «О математической философии», пьеса «Нежданный праздник», отрывок «Четыре богини» и сказка «13 август». Так же впервые собраны письма Д. Веневитинова, среди которых девятнадцать писем публикуются впервые.

Необходимо подчеркнуть чрезвычайную небрежность прежних публикаций писем Д. Веневитинова: отрывки из различных писем соединялись в одно, адресаты и даты перепутывались и т. д. Многие фразы из писем, проливающие свет на неясные места биографии Веневитинова, тщательно вычеркивались усердием царской цензуры. Проверка писем по сохранившимся подлинникам позволила теперь до некоторой степени исправить эти искажения.

Особенную помощь в изучении эпистолярного наследия Веневитинова оказал И. А. Кубасов, сообщивший ряд фран-

цужских текстов, за что считаем своим долгом выразить нашу глубокую признательность.

Наша работа была сильно затруднена почти полным отсутствием рукописей поэта. Вследствие этого тексты сверялись с первопечатными источниками, за исключением весьма немногих, выверенных по автографам. Текст Веневитинова дан с сохранением особенностей правописания его эпохи.

Все сочинения Веневитинова распределены нами по трем основным разделам: I. *Художественные произведения*, с подотделами: 1) стихи, 2) проза, 3) переводы в стихах и прозе, 4) наброски и отрывки; II. *Статьи*, с подотделами: 1) критические статьи, 2) статьи философского содержания, 3) переводные отрывки; III. *Письма*. Внутри каждого из подотделов материал расположен по возможности в хронологическом порядке. Даты и названия, взятые в прямые скобки, самому Веневитинову не принадлежат.

Каждую из частей книги (собрание сочинений, биографическую канву и библиографию) предваряет необходимое вступление. Книга, в особенности вторая часть ее, снабжена иллюстрациями, из которых большая часть публикуется впервые.

Выражаем нашу искреннюю благодарность С. Я. Штрайху, М. Ю. Барановской за ряд любезно сообщенных сведений и О. И. Поповой — за помощь в нашей работе.

Бор. Смиренский



Д. В. Веневитинов
Портрет неизвестного художника

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

Х У Д О Ж Е Ш Т В Е Н Н Ы Е П Р О И З В Е Д Е Н И Я



С Т И Х И

1. К друзьям

Пусть искатель гордой славы
Жертвует покоем ей!
Пусть летит он в бой кровавый
За толпой богатырей!
Но надменными венцами
Не прельщен певец лесов:
Я счастлив и без венцов,
С лирой, с верными друзьями.

Пусть богатства страсть терзает
Алчущих рабов своих!
Пусть их златом осыпает,
Пусть они из стран чужих
С нагруженными судами
Волны ярые дробят:
Я без золота богат
С лирой, с верными друзьями.

Пусть веселий рой шумящий
За собой толпы влечет!
Пусть на их олтарь блестящий
Каждый жертву понесет!
Не стремлюсь за их толпами —
Я без шумных их страстей
Весел участью своей
С лирой, с верными друзьями.

[1821 г.]

2. Два отрывка из неконченной поэмы

I

Шуми, Остр! Твой берег украшен
Делами славной старины;
Ты роешь камни мшистых башен
И древней твердыя стены,
Обросшей давнею травою.
Но кто над древною рекою
Разбросил груды кирпичей,
Остатки древних укреплений,
Развалины минувших дней?
Иль для грядущих поколений,
Как памятник, стоят опе
Воицких, громких приключений?
Так, — брань пылала в сей стране;
Но бранных пет уже: могила
Могучих с слабыми сравнила.
На поле битв — глубокий сон.
Прошло победы ликование,
Умолкнул побежденных стон;
Одно лишь темное преданье
Вещает о делах веков
И веет вокруг немых гробов.

Взгляни, как новое светило,
Грозя пылающим хвостом,
Поля рязански озарило
Зловещим пурпурным лучом.
Небесный свод от метеора
Багровым заревом горит.

Толпа средь княжеского двора
Растет, теснится и шумит;
Младые старцев окружают
И жадно ловят их слова;
Несется разная молва,
Из них иные предвещают
Войну кровавую иль глад;
Другие даже говорят,
Что скоро, в ужасу вселенной,
Раздастся звук трубы священной
И с пламенным мечом в руках
Промчится ангел истребленья.
На лицах суеверный страх,
И с хладным трепетом смятенья
Власы поднялись на челах.

II

Средь терема, в покое темном,
Под сводом мрачным и огромным,
Где тускло, меж столбов, мелькал
Светильник бледный, одинокий,
И слабым светом озарял
И лики стен, и свод высокий
С изображеньями святых, —
Князь Федор окружен толпою
Бояр и братьев молодых.
Но нет веселия меж них:
В борьбе с тревогою немой,
Глубокой думой томясь,
На длань склонился юный князь.
И на челе его прекрасном
Блуждали мысли, как весной
Блуждают тучи в небе ясном.
За часом длился час, другой;
Князь, бояре все молчали —
Лишь чаши звонкие стучали.
И в них шпел кипящий мед.
Но мед, сердец славянских радость,

Душа пиров и враг забот,
Для князя потерял всю сладость,
И Федор без отрады пьет.
В нем сердце к радости остыло:

.....

Ты улетел, восторг счастливый,
И вы, прелестные мечты,
Весенней жизни красоты,
Ах! вы увяли, как средь нивы
На миг блеснувшие цветы!
За чем, за чем тоске унылой,
Младое сердце он отдал?
Давно ли он с супругой милой
Одну лишь радость в жизни знал?
Бывало, братья удалые
Сбирались шумною толпой:
Меж них младая Евпраксия
Была веселости душой;
И час вечернего досуга
В беседе дружеского круга,
Как чистый, быстрый миг летел.

[1822 г.]

3. К друзьям на новый год

Друзья! настал и *новый год!*
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья,
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
Попрежнему в год новый сей
Любите муз и песен сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных
И старых, искренних друзей.

[1823 г.]

4. Освобождение скальда

(Скандинавская повесть)

Эльмор

Сложи меч тяжелый. Бессильной ли длани
Владеть сим булатом, 'о мирный певец!
Нам слава в боях, нам опасные брани;
Тебе — сладкозвучного пенья венец.

Эгил

Прости мне, о сын скандинавских царей!
В деснице певца сей булат не бесчестен.
Ты помни, что Рекнер был арфой известен
И храбрым пример среди бранных полей.

Эльмор

Прости, юный скальд, ты певец вдохновенный,
Но если ты хочешь, Эгил, нам вещать
О славе, лишь в битвах тобой обретенной,
То долго и долго ты будешь молчать.

Эгил

Эльмор! иль забыл, что, гордясь багрянницей,
Царь скальда обидел, и с ближней денницей
Прискорбная мать его, в горьких слезах,
Рыдала над хладною сына гробницей...
Так, с твердостью духа, с угрозой в устах,
Эгил отвечает, — и, быстрой стопою,
Безмолвуя, оба, с киченьем в сердцах,
Сокрылись в дубраве под лиственной тьмою.
Час целый в безмолвии ночи густой
Гремел меч о меч среди рощи глухой.

Обрызгаиный кровью и весь пзпуренный,
Эгил! из дубравы ты вышел один.
О храбрый Эльмор! Тебя тщетно Армин,
В чертогах семьею своею окруженный,
На пир ждет вечерний под кровлей родной.
Тебе уж из чаши не пить круговой.
Без жизни, без славы, твой труп искаженный
Лежит средь дубравы на дерне сухом.
Ты в прах преклонился надменным челом.
Окрест всё молчит, как немая могила,
И смерть скандинавца за скальда отмстила.

Но утром, едва лишь меж сизых паров
Холодная в небе зарделась Аврора,
В дремучей дубраве, при лаяннх псов,
Узнали кровавое тело Эльмора.
Узнавши Эльмора черты искаженны,
Незашным ударом Армин пораженный
Не плачет, но грудь раздрает рукой,
Меж тем всё восстало, во граде волненье,
Всё ищут убийцы, всё требуют мщенья.
«Я знаю, — воскликнул Армин, — Ингисфал
Всегдашнюю злобу к Эльмору питал.
Спешите, спешите постигнуть злодея,
Стремитесь, о други, стремитесь быстрее,
Чем молнии зубчатый блеск в небесах.
Готовьте орудья ко смерти убийцы,
Меж тем пусть врата неприступной темницы
По нем загремят на чугунных крюках».
И все устремились. Эгил на берегах
У моря скитался печальной стоною.
Как туча, из коей огнистой стрелою
Перун быстротечный блеснул в небесах,
На крыльях черных с останками бури
Плывет чуть подвижна в небесной лазури, —
Так мрачен Эгил и задумчив блуждал.
Как вдруг перед ним, окруженный толпою,
К чертогам невинный идет Ингисфал.

«Эльмор торжествует, и месть над убийцей!» —
Так в ярости целый народ повторял.
Но скальд, устремившись в толпу, восклицал:
«Народ! он невинен; моею десницею
Погиб среди боя царевич молодой.
Но я не убийца, о царь скандинавия!
Твой сын дерзновенный сразился со мной,
Он пал и геройскою смертью славен».

Трепеща от гнева, Арми повелел
В темницу глубокую свергнуть Эгила.
Невинный свободен, смерть — скальда удел.
Но скальда ни плен не страшит, ни могила,
И тихо, безмолствуя, мощный певец
Идет среди воплей свирепого мщенья.
Идет, — как бы ждал его славный венец
Наградой его сладкозвучного пенья.

«О горе тебе! — восклицал весь народ, —
О горе тебе! горе, скальд величавый.
Здесь барды не будут вещать твоей славы.
Как тень, твоя память без шума пройдет,
И с жизнью имя исчезнет злодея».
И тяжко, на верях медных кружась,
Темницы чугунная дверь заперлась,
И скрип ее слился со свистом Борея.

И так он один, без утехи; но нет, —
С ним арфа, в несчастье подруга драгая.
Эгил, среди мрака темницы бряцая,
Последнюю песнью Эльмора поет.
«Счастливец! ты пал среди родины милой,
Твой прах будет тлеть под землею родной,
Во гроб не сошла твоя память с тобой,
И часто над холодной твоею могилой
Придет прослезиться отец твой унылый!
И друг не забудет тебя посещать.
А я погибаю в заре моей жизни,
Вдали от родных и от милой отчизны.

Сестра молодая и нежная мать
Не придут слезами мой гроб орошать.
Прощай, моя арфа, прошли наши пеня.
И скальда младого счастливые дни —
Как быстрые волпы промчались они.
И скоро, исполнен ужасного мщенья,
Неистовый варвар мой век пресечет,
И злой скандинавед свирепой рукою
Созвучные струны твои оборвет.
Греми же, греми! разлучаясь с тобою,
Да внемлю последней я песне твоей! —
Я жил и в течение жизни своей
Тобою был счастлив, тобою был славен».

Но барды, свершая обряд скандинаван,
Меж тем начинали суровый напев
И громко гремели средь дикого хора:
«Да гибнет, да гибнет убийца Эльмора!»
В их пламенных взорах неистовый гнев
И все, в круговой съединившись руками,
Эльмора пестройными пели хвалами
И, труп обступивши, ходили кругом.
Уже средь обширного поля близ леса
Огромный и дикий обломок утеса
К убийству певца утвержден олтарем.
Булатна секира лежала на нем,
И возле, ждав жертвы, стояли убийцы.
И вдруг, заскрипевши, глубокой темницы
Отверзлись двери, стремится народ.
Увы! все готово ко смерти Эгила,
Несчастному скальду отверста могила,
Но скальд без боязни ко смерти идет.
Ни вопли народа, кипящего мщеньем,
Ни грозная сталь, ни олтарь, ни костер
Певца не колеблют, лишь он с отвращеньем
Внимает, как бардов неистовый хор
Гремит, недостойным Эльмора, хваленьем.
«О царь! — воскликнул вдохновенный Эгил, —

Позволь, чтоб, прощаяся с миром и пеньем,
Пред смертью я песни свои повторил
И тихо прославил на арфе согласной
Эльмора, которого в битве несчастной
Сразил я, но так, как героя сразил».
Он рек; но при имени сына Эльмора,
От ярости сердце царя потряслось.
Возрев на Эггла с свирепостью взора,
Уже произнес он... Как вдруг раздалось
Унылое, нежное арфы звучанье.
Армин при гармонии струн онемел,
Шумящей толпе он умолкнуть велел,
И целый народ стал в немом ожиданье.
Певец наклонился на дикой утес,
Взял верную арфу, подругу в печали,
И персты его по струнам заиграли,
И ветр его песню в долине разнес.

«Где храбрый юноша, который
Врагов отчизны отражал
И край отцов, родные горы
Могучей мышцей защищал?
Эльмор, никем не побежденный,
Ты пал, тебя уж боле нет.
Ты пал — как сильный волк падет
Бессильным пастырем сраженный.

«Где дни, когда к войне кровавой,
Герой, дружины ты водил,
И возвращался к Эльве с славой,
И с Эльвой счастье делил?
Ах, скоро трепетной девице
Слезами мать возвестит,
Что верный друг ее лежит
В сырой земле, в немой гробнице.

«Но сильных чтят благие боги,
И он на крыльях облаков
Пронесся в горные чертоги
Геройских жительство духов.

А я вдоль тайнственного брѣга,
Ночным туманом окружен,
Всегда скпаться осужден
Под хладными волнами Лега.¹

«О скальд, какой враждебный бог,
Среди отчаянного боя,
Тебе невидимо помог
Сразить отважного геря?
И управляя рукой твоей?
Ты победил судьбой жестокой
Увы! от родины далеко
Могла будет твой трофей!

«Уже я вижу пред собою,
Я вижу алчущую смерть,
Готову над моею главою
Ужасную косу простерть,
Уже железною рукою
Она меня во гроб влечет.
Прощай, прощай, красивый свет,
Навеки расстаюсь с тобою,

«А ты, игривый ветерок,
Лети к возлюбленной отчизне,
Скажи родным, что лютый рок
Велед певцу расстаться с жизнью
Далеко от страны родной!
Но что перед смертью, погибая,
Он пел, о них вспоминая,
И к ним перелетал душой.

«Уже настал мой час последний,
Приди, убийца, я готов.
Приди, рази, пусть труп мой бледный
Падет пред взорами врагов.

¹ Остров Лего Гы, по мнению каледонцев, местом пребывания всех умерших, не воспетых бардами. *Прим. Д. Веневитинова.*

Пусть мак с травкою ароматной
Растут могилы вокруг моей.
А ты, сын севера, над ней
Шуми прохладою приятной».

Умолкнул, но долго и сами собой
Прелестной гармонией струны звучали,
И медленно в поле исчез глас печали.
Армин, вне себя, с наклоненной главою,
Безмолвен сидел среди толпы пзумленной, —
Но вдруг, как от долгого сна пробужденный:
«О скальд! что за песнь? что за сладостный глас? —
Всклидал он. — Какая волшебная сила
Мне нежные чувства незапно внушила?
Он пел — и жесткое сердце потряс.
Он пел — и его сладкозвучное пенье,
Казалось, мою утоляло печаль.
О скальд! .. О Эльмор мой... нет. Мщение, мщение!
Убийца! возьми смертоносную сталь...
Низвергни алтарь... пусть родные Эгила
Счастливей будут, чем горький отец.
Иди. Ты свободен, волшебный певец».
И с радостным воплем толпа повторила:
«Свободен певец!» Благодарный Эгил
Десницу Армина слезами омыл
И пред благодетелем пал умиленный.
Эгил возвратился на берег родной,
Куда с нетерпением, под кровлей смиренной,
Ждала его мать с молодою сестрой.
Унылый, терзаемый памятью злою,
Он проклял свой меч и сокрыл под скалою.
Когда же, задумчив, вечерней порой,
Певец любовался волнением моря,
Унылая тень молодого Эльмора
Являлась ему на туманных берегах.
Но лишь на востоке краснела Аврора,
Сей призрак, как сон, исчезал в облаках.

[1822—1823 г.]

5. К. И. Герке

(При послании трагедии Вернера)

В вечерний час уединенья,
Когда, свободный от трудов,
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармонии сладостной стихов,

Читай, мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!

Взгляни! уже могучий гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже, собрав героев теней,
Тебя их сонмом окружил —

Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах...

Но ты во храме — вокруг гробницы,¹
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы
И к небу стройный плач летит:

¹ Здесь берется на выдержку одна картина из пьесы. *Прим. Д. В. Веневитинова.*

«За чем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотой,
Оставила так рано свет,
И радость унесла с собою!»

Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит.

Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.

Кому небесное — родное,
Кто сочетает с сединой
Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.

В волшебной чаше наслажденья
Он дна пуста не найдет,
И воскликнет, в чувствах упоенья:
«Прекрасному пределов нет».

[1824 г.]

6. Послание к Рожалину

Я молод, друг мой, в цвете лет,
Но я изведал жизни море,
И для меня уж тайны нет
Ни в пылкой радости, ни в горе.
Я долго тешился мечтой,
Звездам небесным слепо верил
И океан безбрежный мерил
Своею утлою ладьей.
С надменной радостью, бывало,
Глядел я, как мой смелый чолп
Печатал след свой в бездне волн.
Меня пучина не пугала:
«Чего страшиться? — думал я, —
Бывало ль зеркало так ясно,
Как зыбь морей?» Так думал я
И гордо плыл, забыв края.
И что ж скрывалось под волною?
О камень грянул я ладьей,
И вдребезги моя ладья!
Обманут небом и мечтою,
Я проклял жребий и мечты...
Но издали маня мне ты,
Как брег призывный улыбался,
Тебя с восторгом я обнял,
Поверил снова наслажденьям,
И с хладной жизнью сочетал
Души горячей сновиденья.

[1824 г.]

7. Смерть Байрона

(Четыре отрывка из несовершенного пролога)

I

Б а й р о н

К тебе стремился я, страна очарованнй!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ твой,
В волшебные часы мечтаний,
На крыльях радужных летал передо мной.
Ты обещала мне отдать восторг дельбной,
Насытить жадный дух добычею веков,
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,
Мне издали манил с полуденных берегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,
Узнать вблизи сокрытые черты
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы.

II

В о ж д ь г р е к о в

Сын севера! Взгляни на волны:
Их вражьи покрыли корабли,
Но час пройдет — и наши чолны
Им смерть навстречу попесли!
Они еще сокрыты за скалою;
Но скоро вылетят на произвол валов.
Сын севера! готовься к бою.

Байрон

Я умереть всегда готов.

Вождь

Да! Смерть сладка, когда цвет жизни
Привносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз се встречал
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и все вверял.
Я помню славный берег Хио —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани почую,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
Взвились молнии роковые,
И вмиг зажглись валы морскпе.
Громады кораблей взлетели, —
И все затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра?
Лишь опустелый океан,
Где взредка обломок судна
К зеленым неся берегам,
Иль труп холодный, и с чалмою
Качался тихо над волною.

III

Хор

Валы Архипелага
Кипят под злой ватагой;
Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают,

И месяцы сверкают
На белых парусах.

Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага
Им смерть пошлют вослед.

IV

Х о р

Орел! Какой перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр! вей вестню печальной!
Ревн уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальней
Трепеща слышит, что он пал.

Стекайтесь, племена Элады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою,
Луну поблекшую_принести!

[1825 г.]

8. Песнь грека

Под небом Аттики богатой,
Цвела счастливая семья.
Как мой отец, простой оратай,
За плугом шел свободу я.
Но турков злые ополченья
На наши хлынули владенья...
Погибла мать, отец убит,
Со мной снаслась сестра младая,
Я с нею скрылся, повторяя:
За всё мой меч вам отомстит.

Не был я слез в жестоком горе,
Но грудь стеснило и светло;
Наш легкий чолн помчал нас в море,
Пылало бедное село,
И дым столбом чернел над валом.
Сестра рыдала, — покрывалом
Печальный взор полузакрит;
Но, слыша тихое моление,
Я припевал ей в утешенье:
За всё мой меч им отомстит.

Плывем, и при луне серебристой
Мы видим крепость над скалой.
Вверху, как тень, на башне мшистой
Шагал турецкой часовой;
Чалма склонилась к пищалям —
Внезапно волны засверкали,
И вот — в руках моих лежит

Без жизни дева молодая.
Я обнял тело, повторяя:
За всё мой меч вам отомстит.

Восток румянился зарею,
Пристала к берегу ладья,
И над шумящею волною
Сестре могилу вырыл я.
Не мрамор с надписью унылою
Скрывает тело девы милой, —
Нет, под скалою труп зарыт;
Но на скале сей неизменной
Я начертал обет священной:
За всё мой меч вам отомстит.

С тех пор меня магометапе
Узнали в стычке боевой,
С тех пор, как часто в шуме браней
Обет я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Всё, всё припомню в час ужасной;
И всякий раз, как меч блеснит
И падает глава с чалмою,
Я говорю с улыбкой злою:
За всё мой меч вам отомстит.

[1825 г.]

9. Любимый цвет

Посвящено Софье Владимировне Веневитиновой.

На небе все цветы прекрасны.
Все мило светят над землей,
Все дышат горней красотой.
Люблю я цвет лазури ясной;
Он часто томностью пленял
Мои задумчивые вежды,
И в сердце робкое вливал
Отрадный луч благой надежды.
Люблю, люблю я цвет луны,
Когда она в полях эфира,
С дарами сладостного мира
Плывет как ангел тишины.
Люблю цвет радуги прозрачной, —
Но из цветов любимый мой
Есть цвет денницы молодой:
В сем цветке, как в одежде брачной,
Сияет утром небосклон.
Он цвет невинности счастливой,
Он чист, как девы взор стыдливой
И ясен, как младенца сон.
Когда и страх и рой веселый —
Все было чуждо для тебя
В пределах тесной колыбели;
Посланнык неба, возлюбя
Младенца милую беспечность,
Тебя лелеял в тишине,
Ты почивала — но во сне,
Душой разгадывая вечность,

Встречала ясную мечту
Улыбкой пезною, прелестной.
Что сорвало улыбку ту?
Что зрела ты? — мне неизвестно —
Но твой храпитель, гость небесной
Взмахнул таинственным крылом, —
И тень ночная пробежала,
На небосклоне заирала
Дешница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил
Сей луч румяного рассвета.
Храни его — не даром он
На девственных щеках возжен,
Не отблеск красоты напрасной,
Нет — он печать минуты ясной
Залог он тайный, неземной.
На небе все цветы прекрасны,
Все дышат горней красотой;
Но меж цветов есть цвет святой —
Он цвет дешницы молодой.

1825 г. Августа 13.

10. Сонет

К тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья,
На крыльях любви несется мысль моя;
Она затеряна в юдоли заточенья,
И всё зовет ее в небесные края.
Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталось надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверьи вечности, греми его хвалою!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира
И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сгуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!

[1825 г.]

11. Сонет

Спокойно дни мои цвели в долине жизни;
Меня лелеяли веселие с мечтой;
Мне мир фантазии был ясный край отчизны,
Он привлекал меня знакомой красотой.

Но рапо пламень чувств, душевные порывы
Волшебной силою разрушили меня:
Я жизни сладостной теряю луч счастливый,
Лишь воспоминание от прежнего храня.

О муза! я познал твое очарованье!
Я видел молний блеск, свирепость ярых волн;
Я слышал треск громов и бурей завыванье:
Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн?
Прости? питомец твой тобою погибает
И, погибающий, тебя благословляет.

[1825 г.]

12. К Скарятину

(При посылке ему водевиля)

Не плод высоких вдохновений
Певец и друг тебе приносит в дар;
Не Пиэрид небесный жар,
Не пламенный восторг; не гений
Моей душою обладал:
Нестройной песнью моя звучала лира.
И я в безумьи променял
Улыбку муз на смех сатира.
Но ты простишь мне грех безвинный мой;
Ты сам, прекрасного искатель,
Искусств счастливый обожатель,
Нередко для проказ забыв восторг живой,
Кидая кисть — орудье дарованья,
Пред музами грешил насадине
И смелым углем на стене
Чертил фантазии игривые созданья.
Воображенье без оков,
Оно как бабочка игриво:
То любит над блестящей нивой
Порхать в кругу земных цветов,
То к радуге, к цветам небесным мчится,
Не думай, чтоб во мне погас
К высоким песням жар! Нет, он в душе таится,
Его пробудит вновь поэта мощный глас,
И смелый ученик Байрона,
Я устремлюсь на крыльях мечты
К волшебной стороне, где лебедь Альбиона
Срывал забытые цветы.

Пусть это сон! меня он утешает,
И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять.
О друг! мы разными стезями
Пройдем определенный путь:
Ты избрал поприще покрытое трудами,
Я захотел зараней отдохнуть;
Под мирной сению оливы
Я избрал свой приют; но жребий мой счастливый
Не должен славою мелькнуть:
У скромной тишины на лоне
Прокрадется безвестно жизнь моя,
Как тихая вода пустынного ручья.
Ты бодрый дух обрек Беллоне
И, доблесть сильных возлюбя,
Обрек свой меч кумиру громкой славы —
Иди! — Но стана шум, воинские забавы,
Все будет чуждо для тебя,
Как сна неожиданные виденья,
Как мира нового явленья.
Быть может, на берегу Днепра,
Когда в тени подвижного шатра
Твои товарищи, драгуны удалые,
Кипят отвагой боевой,
Сберутся вокруг тебя шумящею толпой,
И громко зазвучат бокалы круговые, —
Жалея мыслю о прежней тишине,
Ты вспомнишь о друзьях, ты вспомнишь обо мне;
Чуждаясь новых сих веселий,
О сниске вспомнишь ты моем,
Иль, взор печально остановив на пем,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Шалить с пристойностью, проказничать с умом.
[1825 г.]

13. Импровизация

Не даром шампанское пеной играет,
Не даром кипит чрез края:
Оно наслажденье нам в душу вливает
И сердце нам греет, друзья!

Оно мне впушило предчувствие святое!
Так! счастье нам всем суждено:
Мне — пеною выкипеть в праведном бое,
А вам — для свободы созреть, как вино!

[1825 г.]

14. Новгород

(Посвящено княжне А. И. Трубецкой)

— Валяй, ямщик, да говори,
Далеко ль Новгород? Не далеко,
Версты четыре или три.
Вон видишь что-то там высоко,
Как черный лес издаюка...
Ну, вижу; это облака. —
— Нет! Это Новгородские кровли.
Ты ль предо мной, о древний град.
Свободы, славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков
— Ну, тройка! духом донесла.
Потише. Где собор Софийской?
— Собор отсюда, барин, близко.
Вот улица, да влево две,
А там найдешь уж сам собою,
И крест на золотой главе
Уж будет прямо пред тобою. —
Везде былого свежий след!
Века прошли... но их полет
Промчался здесь, не разрушая.
Ямщик! Где площадь вечевая?
— Прозванья этого здесь нет... —
Как нет? — А площадь? Недалеко:
За этой улицей широкой.

Вот площадь. Видишь шесть столбов?
По сказкам наших стариков
На сих столбах висел когда-то
Огромный колокол, но он
Давно отсюда увезен. —
Молчи, мой друг; здесь место свято;
Здесь воздух чище и вольней!
Потише!.. Нет, ступай скорей:
Чего ищешь я здесь, безумной?
Где Волхов? — Вот перед тобой
Течет под этою горой... —
Все также он волною шумной,
Играя, весело бежит!
Он о минувшем не грустит.
Так все здесь близко, как и прежде...
Теперь ты сам ответствуй мне,
О Новград! В вековой одежде
Ты предо мной как в седине,
Бессмертных витязей ровесник.
Твой прах гласит, как бдящий вестник,
О непробудной старине.
Ответствуй, город величавый:
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече,
Сзывал послушных сыновей?
Когда твой меч, гроза соседа,
Карал и рыцарей и шведа,
И эта горячая волна
Носила дань войны жестокой?
Скажи, где эти времена?
Они далеко, ах далеко!

[1826 г.]

15. Родина

Природа наша, точно, мерзость:
Смиренно плоские поля —
В России самая земля
Считает высоту за дерзость —
Дрянные избы, кабаки,
Брюхатых баб босые ноги,
В лаптях дырявых мужики,
Непроходимые дороги,
Да шпицы вечные церквей —
С клистирных трубок снимок верный,
С домов господских вид мизерный
Следов помещичьих затей,
Грязь, мерзость, вонь и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут —
И вот что многие болваны
«Священной родиной» зовут.

[1826 г.]

16. Послание к Рожалину

Оставь, о друг мой, ропот твой;
Смири преступные волненья;
Не ищет вчуже утешенья
Душа богатая собой.
Не верь, чтоб люди разгоняли
Сердец возвышенных печали.
Скупая дружба их дарит
Пустые ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забыт, —
Их равнодушное бесстрастье
Тебе да будет похвалой.
Заре не улыбался камень;
Так и сердец небесный пламень
Толпе бездушной и пустой
Всегда был тайной непонятной!
Встречай ее с душой бвлатной
И не страшись от слабых рук
Ни сильных ран, ни тяжких мук.
О если б мог ты быстрым взором
Мой новый жребий пробежать,
Ты перестал бы искушать
Судьбу несправедным укором.
Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован,
И где тщеславие — гумир;
Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной, —
Поверь, ты б навсегда, друг мой,

Забыл свой ропот безрассудной...
Как часто в пламени речей,
Носясь мыслью средь друзей,
Мечте обманчивой послушной,
Давал я руку простодушно —
Никто не жал руки моей.
Здесь лаской жаркого привета
Душа молодая не согрета.
Не нахожу я здесь в очах
Огня, возжепного в них чувством,
И слово, сжатое искусством,
Невольню мрет в моих устах.
О, если бы могли моления
Достигнуть до небес скупых,
Не новой чашки наслажденья,
Я б прежних дней проспал у них.
Отдайте мне друзей моих,
Отдайте пламень их объятий,
Их тихий, но горячий взор,
Язык безмолвных рукожатий
И вдохновенный разговор.
Отдайте сладостные звуки:
Они мне счастья поруки, —
Так тихо веяли они
Огнем любви в душе невежды
И светлой радугой надежды
Мои расписывали дни.
Но нет! не все мне изменило:
Еще один мне верен друг,
Один он для души унылой
Друзей здесь заменяет круг.
Его беседы и уроки
Ловлю вниманьем жадным я;
Они и ясны, и глубоки,
Как будто волны бытия;
В его фантазии богатой
Я полной жизнью ожил
И ранний опыт не купил.

Восторгов раннею утратой.
Он сам не жертвует страстям,
Он сам не верит их мечтам;
Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань.
Ему порок и добродетель
Равно несут покорно дань,
Как гордому владыке мира:
Мой друг, узнал ли ты Шекспира?

[1826 г.]

17. К моей богине

Не думы гордые вздымают
Страстей псполненную грудь,
Не волны певские мешают
Душе усталой отдохнуть, —
Когда я вдоль реки широкой
Считаюсь мрачный, одинокой
И взор блуждает по брегам,
Язык невнятное лепечет,
И тихо плещущим волнам
Слова прерывистые мечет.
Тогда от мыслей далека
И гордая надежда славы,
И тихоструйная река,
И невский берег величавый;
Тогда не робкая тоска
Бессильным сердцем обладает
И тайный ропот мне внушает...
Тебе понятен ропот сей,
О божество души моей!
Холодной жизнью бесстрастья
Ты знаешь, мне ль дышать и жить?
Ты знаешь, мне ль боготворить
Душой, не созданной для счастья,
Толпы привычные мечты,
И дани раболепной службы,
Носить кумиру суеты.
Нет, нет! и теплые дни дружбы,
И дни горячие любви
К другому сердце приучили:

Другой огонь они в крови,
Другие чувства поселили.
Что счастье мне? Зачем оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь робким здесь дано,
Что счастья с пламенной душою
Нельзя в сем мире сочетать,
Что для него мне не дышать...

О, будь благословенна мною!
Оно священо для меня,
Твое пророчество несчастья,
И, как завет, его храня,
С каким восторгом сладострастья
Я жду губительного дня
И торжества судьбы коварной!
И, если б ум неблагодарной
На небо возроптал в бедах,
Твое б явленье, ангел милой,
Как дар небес, остановило
Проклятье на моих устах.
Мою бы грудь исполнил снова
Благоговения святого
Целебный взгляд твоих очей,
И снова бы в душе моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презренье,
И сладостная тишина.
Вот, вот, что грудь мою вздымает
И тайный ропот мне внушает!
Вот, чем душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Считаюсь мрачный, одинокой.

[1826 г.]

18. Элегия

(Кн. Э. Волконской)

Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам принесла.
Душа твоя так ясно разгорелась
И новый огонь в груди моей зажгла.
И этот огонь томительный, мятежной,
Он не горит любовью тихой, нежной,—
Нет! он и жжет, и мучит, и мертвит,
Волнуется изменчивым желаньем,
То стихнет вдруг, то бурно закипит,
И сердце вновь пробудится страданьем.
За чем, за чем так сладко пела ты?
За чем и я внимал тебе так жадно
И с уст твоих, певичка красоты,
Шел яд мечты и страсти безотрадной?

[1826 г.]

19. Италия

Италия, отчизна вдохновенья!
Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я любил твой образ в светлом сне.
Без горя я с мечтами распрощаюсь,
И на яву, в кругу твоих чудес,
Под яхонтом сверкающих небес,
Младой душой по воле разыграюсь.
Там радостно я буду петь зарю
И поздравлять царя светил с восходом,
Там гордо я душою воспарю
Под пламенным необозримым сводом.
Как весело в нем утро золотое,
И сладостна серебряная ночь!
О мир сует! тогда от мыслей прочь!
В объятьях пег и в творческом покое,
Я буду жить в минувшем средь певцов,
Я вызову их сонмы из гробов!
Тогда, о Тассе! твой мирный сон нарушу,
И твой восторг, полуденный твой жар
Прольет и жизнь, и песней сладких дар
В холодный ум и в северную душу.

[1826 г.]

20. Моя молитва

Души невидимый хранитель,
Услышь моление мое!
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат ее,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надежною броней
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.
Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям;
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени,
Да взор холодный их не встретит,
Да луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость
Посей надежды семена,
И отжени от сердца радость:
Она — неверная жена.

[1826 г.]

21. Домовой

— Что ты, Параша, так бледна?

«Родная, домовый проклятый

Меня звал нынче у окна.

Весь в черном, как медведь лохматый,

С усами, да какой большой!

Век не видать тебе такого».

— Перекрестися, ангел мой!

Тебе ли видеть домового?

— Ты не спала, Параша, ночь?

«Родная! страшно; не отходит

Проклятый бес от двери прочь;

Стучит задвижкой, дышет, бродит,

В сенях мне шепчет: «отопри!»

— Ну, что же ты? — «Да я ни слова».

— Э, полно, ангел мой, не ври:

Тебе ли слышать домового?

— Параша, ты не весела;

Опять всю ночь ты протрадала?

— «Нет, ничего: я ночь спала».

— Как ночь спала! ты тосковала,

Ходила, отпирала дверь;

Ты, верно, испугалась снова?

«Нет, нет, родимая, поверь!

Я не видала домового».

[1826 г.]

22. Три розы

В глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросил нам боги,
Эдема лучшие цветы.
Одна под небом Кашемпра
Цветет близ светлого ручья;
Она любовница зефира
И вдохновење соловья.
Ни день, ни ночь она не вянет,
И если кто ее сорвет,
Лишь только утра луч проглянет,
Свежее роза расцветет.

Еще прелестнее другая: -
Она, румяною зарей
На раннем небе расцветая,
Пленяет яркой красотой.
Свежей от этой розы веет
И веселей ее встречать:
На миг один она алеет,
Но с каждым днем цветет опять.

Еще свежей от третьей веет,
Хотя она не в небесах;
Ее для жарких уст лелеет
Любовь на девственных щеках.
Но эта роза скоро вянет:
Она пуглива и нежна,
И тщетно утра луч проглянет —
Не расцветет опять она.

[1826 г.]

23. К любителю музыки

Молю тебя, не мучь меня:
Твой шум, твои рукоплесканья
Язык притворного огня,
Бессмысленные восклицанья
Противны, ненавистны мне.
Поверь, привычки раб холодный,
Не так, не так восторг свободный
Горит в сердечной глубине.
Когда б ты знал, что эти звуки,
Когда бы тайный их язык
Ты чувством пламенным проник, —
Поверь, уста твои и руки
Сковались бы как в час святой,
Благоговейной тишиной.
Тогда б душа твоя немея,
Вполне бы радость поняла,
Тогда б она живей, вольнее
Родную душу обняла.
Тогда б мятежные волненья
И бури тяжкие страстей
Все бы утихло, смолкло в ней
Перед святыней наслажденья!
Тогда б ты не желал блеснуть
Личной страсти принужденной,
Но ты б в углу, уединенной,
Танц вселюбящую грудь.
Тебе бы люди были братья,
Ты б тайно слезы проливал
И к ним горячие объятья,
Как друг вселенной, простирал.

[1826 г.]

24. К изображению Урании

(В альбом)

Пять звезд увенчали чело вдохновенной:
Поэзии дивной звезда,
Звезда благодатная милой надежды,
Звезда беззакатной любви,
Звезда лучезарная искренней дружбы.
Что пятая будет звезда?
Да будет она, благотворные боги,
Душевного счастья звездой.

[1826 г.]

25. Поэт

Тебе знаком ли сын богов,
Любимец муз и вдохновенья?
Узнал ли б меж земных сынов
Ты речь его, — его движенья?
Не вспылыв он, и строгий ум
Не блещет в шумном разговоре:
Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.
Пусть вокруг него, в чаду утех,
Бушует ветреная младость;
Безумный крик, нескромный смех
И необузданная радость,
Все чуждо, дико для него.
На все спокойно он взирает,
Лишь редко что-то с уст его
Улыбку беглую срывает.
Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.
Его мечты, его желанья,
Его боязни, упованья,
Все тайна в нем, все в нем молчит:
В душе заботливо хранит
Он неразгаданные чувства...
Когда ж внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь, —
Душа, без страха, без искусства,
Готова вылиться в речах

И блещет в пламенных очах...
И снова тих он, и стыдливый
К земле он опускает взор,
Как будто слышит он укор
За невозвратные порывы.
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом, —
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов;
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это сын богов.
Любимец муз и вдохновенья.

[1826 г.]

26. К Пушкину

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.
Когда пророк свободы смелой
Тоской измученный поэт,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирные печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе
И славе на его могиле
Другое имя завещал.
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного Галла.
Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец:
Он наш, — жилец того же света,

Давно блеснит его венец ;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой,
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоеет
И, к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

[1826 г.]

27. На новый (1827) год

Так снова год, как тень, мелькнул,
Сокрылся в сумрачную вечность
И быстрым бегом упрекнул
Мою ленивую беспечность.
О, если б он меня спросил:
«Где плод горячих обещаний?
Чем ты меня остановил?»
Я не нашел бы оправданий
В мечтах рассеянных моих!
Мне нечем заглушить упрека!
Но слушай ты, беглец жестокой!
Клянусь тебе в прощальный миг:
Ты не умчался без возврата;
Я за тобою полечу
И наступающему брату
Весь тяжкий долг свой доплачу.
Полночь на 1 января 1827 г.

28. Три участи

Три участи в мире завидны, друзья.
Счастливец, кто века судьбой управляет,
В душе неразгаданной думы тая.
Он сеет для жатвы, но жатв не собирает:
Народов признанья ему не хвала,
Народов проклятья ему не упреки.
Векам завещает он замысл глубокий;
По смерти бессмертного зреют дела.

Завидней поэта удел на земли.
С младенческих лет он сдружился с природой,
И сердце Камены от хлада спасли,
И ум непокорный воспитан свободой,
И луч вдохновенья зажегся в очах.
Весь мир облакает он в стройные звуки;
Стеснится ли сердце волнением муки —
Он выплачет горе в горючих стихах.

Но верьте, о други! счастливей стократ
Беспечный питомец забавы и лени.
Глубокие думы души не мутят,
Не знает он слез и огня вдохновений,
И день для него, как другой, пролетел,
И будущий снова он встретит беспечно,
И сердце увянет без муки сердечной —
О рок! что ты не дал мне этот удел?

[1827 г.]

29. [Экспромпт]

**Ты будешь славный полицейской,
Совет запомни только мой:
Умей на всех смотреть злодейски,
Стой прямо, но криви душой...**

[1827 г.]

30. * * *

Она мила, о том ни слова,
Но вянет прелесть красоты,
И позабыл, конечно, ты,
Что мило только то, что ново.
Нет, красота ее не вянет,
Кто на нее лишь только взглянет,
В чертах возлюбленной моей
Прочтет, что жар ее очей,
Красою прочною пылает,
Что с ней век счастлив будет муж,
И что прелестница вмещает
В себе одной сот восемь душ.

[1827 г.]

31. [Эпиграмма. На историка Н. С. Ардыбашева]

Ардыбашев — историк чудный,
Так говорит журналик нам:
Ей-ей сидит он по годам
Над строчкой летописи трудной.
Его терпенье, верный взор
Из мрака извлекли бывшее,
А мы все говорили вздор,
Хваля творение пустое.
Историки! Он вам гроза!
На хартиях он пыль стряхая,
Ее пускает вам в глаза,
«Я вас!» с угрозой прибавляя,
[1827 г.]

32. Четверостишие

[На И. И. Дмитриева]

Я слышал, Камены тебя воспитали
Дитя, засыпал ты под басенки их.
Бессмертные дар свой тебе передали —
И мы засыпаем на баснях твоих.

[1827 г.]

.

33. * * *

Я чувствую, во мне горит
Святое пламя вдохновенья,
Но к темной цели дух парит...
Кто мне укажет путь спасенья?
Я вижу, жизнь передо мной
Кипит, как океан безбрежной...
Найду ли я утес надежной,
Где твердой обопрусь ногой?
Иль, вечною сомненья полный,
Я буду горестно глядеть
На переменчивые волны,
Не зная, что любить, что петь?

Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал, —
Но дай им выбор и свободу,
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной —
Отзывной песнью отвечай!
Когда ж минуты удивленья,
Как сон туманный, пролетят,
И тайны вечного творенья
Ясней прочтет спокойный взгляд;
Смирится гордое желанье
Обнять весь мир в единый миг,
И звуки тихих струн твоих
Сольются в стройные созданья,

Не лжив сей голос прорицанья,
И струны верные мои
С тех пор душе не изменяли.
Пою то радость, то печали,
То пыл страстей, то жар любви,
И беглым мыслям простодушно
Вверяюсь в пламени стихов.
Так соловей в тени дубров,
Восторгу краткому послушной,
Когда на доли ляжет тень,
Уныло вечер воспевает,
И утром весело встречает
В румянном небе ясный день.

[1827 г.]

34. Жертвоприношение

О жизнь, коварная сирена,
Как сильно ты к себе влечешь!
Ты из цветов блестящих вьешь
Оковы гибельного плена.
Ты кубок счастья подаешь,
Ты песни радости поешь;
Но в кубке счастья — лишь измена,
И в песнях радости — все ложь.
Не мучь напрасным искушеньем
Груди истерзанной моей
И не лови моих очей
Каким-то светлым привиденьем.
Тебе мои скудные дани
Не принесут покорной дани,
И не тебе я обречен.
Твоей пленительной изменой
Ты можешь в сердце поселить
Минутный огонь, раздор мгновенный,
Ланиты бледностью покрыть,
Отнять покой, беспечность, радость
И осенить печалью младость,
Но не отынешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой
И с страшной клятвой и с мольбой
Кладу на жертвенник богини.

[1827 г.]

35. Крылья жизни

На легких крылышках
Летают ласточки;
Но легче крылышки
У жизни ветреной,
Не знает в юности
Она усталости
И радость резвую
Берет доверчиво
К себе на крылья.
Летит, любит
Прекрасной ношею...
Но скоро тягостна
Ей гостья милая;
Устали крылышки,
И радость резвую
Она стряхает с них.
Печаль ей кажется
Не столь тяжелою,
И, прихотливая,
Печаль туманную
Берет на крылья
И в даль пускается
С подругой новою.
Но крылья легкие
Все боле, более
Под ношей клонятся,
И вскоре падает
С них гостья новая,
И жизнь усталая

Одна без бремени,
Летит свободнее;
Лишь только в крыльях,
Едва заметные,
От ношей брошенных
Следы остались —
И отпечатались
На легких перышках
Два цвета бледные:
Немного светлого
От резвой радости,
Немного темного
От гостыи сумрачной.

[1827 г.]

36. Жизнь

Сначала жизнь пленяет нас;
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый делает.
Кой-что страшит издалика, —
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам —
Потом на все глядим лениво,
Потом и жизнь постыда нам:
Ее загадка и завязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

[1827 г.]

37. Кинжал

Оставь меня, забудь меня!
Тебя одну любил я в мире,
Но я любил тебя как друг,
Как любят звездочку в эфире.
Как любят светлый идеал
Иль ясный сон воображенья.
Я много в жизни распознал,
В одной любви не знал мученья,
И я хочу сойти во гроб,
Как очарованный невежда.
Оставь меня, забудь меня!
Взгляни — вот где моя надежда;
Взгляни — но что вздрогнула ты?
Ах, не дрожи: смерть не ужасна;
Ах, не шепчи ты мне про ад:
Верь, ад на свете, друг прекрасной!
Где жизни нет, там муки нет.
Дай поделуй в залог прощанья...
Зачем дрожат твои лобзанья?
Зачем в слезах горит твой взор?
Оставь меня, люби другого!
Забудь меня, я скоро сам
Забуду скорбь житья земного.

[1827 г.]

38. К моему перстню

Ты был открыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.
Но не любовь теперь тобой
Благословла пламень вечной
И над тобой, в тоске сердечной,
Святой обет произнесла...
Нет! дружба в горький час прощанья
Любви рыдающей дала
Тебя залогом состраданья.
О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран
И света, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.
В часы холодного сомненья
Надеждой сердце оживи,
И если в скорбях заточенья,
Вдали от ангела любви,
Оно замыслит преступленье, —
Ты ливной силой укроти
Порывы страсти безнадежной
И от груди моей мятежной
Свищ безумства отврати,
Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тогда я друга умолю,

Чтоб он с моей руки холодной
Тебя, мой перстень, не снимал.
Чтоб нас и гроб не разлучал.
И просьба будет не бесплодна:
Он подтвердит обет мне свой
Словами клятвы роковой.
Века промчатся, и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей.
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верной.

[1827 г.]



Перстень Д. В. Веневитинова

39. Завещание

Вот час последнего страданья.
Внимайте — воля мертвеца
Страшна, как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали:
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
Друзьям привет и утешенье:
Восторгов лучше мгновенья
Мной были им посвящены.
Внимай и ты, моя богиня:
Теперь души твоей святыня
Мне и доступней, и ясней;
Во мне умолкнул глас страстей,
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Приблизься: вот могилы дверь!
Мне все позволено теперь:
Я не боюсь суждений света.
Теперь могу тебя обнять,
Теперь могу тебя лобзать,
Как с первой радостью привета
В раю лик ангелов святых
Устами б чистыми лобзали,
Когда бы мы в восторге их
За гробом сумрачным встречали.
Но эту речь ты позабуди:

В ней темный ропот истощенья;
Зачем холодные сомненья
Я вылью в пламенную грудь?
К тебе одно, одно моленье!
Не забывай!.. прочь уверенья —
Клянись!.. Ты веришь, милый друг,
Что за могильным сим пределом
Душа моя простится с телом
И будет жить как вольный дух,
Без образа, без тьмы и света,
Одним нетлением одета.
Сей дух, как вечно блящий взор,
Твой будет спутник неотступной,
И если память преступной
Ты изменишь... Беда с тех пор!
Я тайно облечусь в укор;
К душе прилиплю вероломной,
В ней пишу мщению найду
И будет сердцу грустно, томно,
Но я, как червь, не отпаду.

[1827 г.]

40. Утешение

Блажен, кому судьба вложила
В уста высокий дар речей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила;
Как Прометей, похитил он
Творящий луч, небесный пламень,
И вокруг себя, как Пигмалюн,
Одушевляет хладный камень,
Не многие сей дивный дар —
В удел счастливый получают,
И редко, редко сердца жар
Уста послушно выражают.
Но если в душу вложена
Хоть искра страсти благородной, —
Поверь, не даром в ней она;
Не теплится она бесплодно...
Не с тем судьба ее зажгла,
Чтоб смерти хладная зола
Ее навеки потушила:
Нет! — что в душевной глубине,
Того не унесет могилла:
Оно останется во мне.

Души пророчества правдивы.
Я знал сердечные порывы,
Я был их жертвой, я страдал
И на страданья не роптал;
Мне было в жизни утешенье,
Мне тайный голос обещал,

Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной,
И слово сильное случайно
Из груди вырвется твоей:
Уронив ты его не даром;
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром».

[1827 г.]

41. Поэт и друг

(Элегия)

Д р у г

Ты в жизни только расцветаешь.
И ясен мир перед тобой, —
За чем же ты в душе молодой
Мечту коварную питаешь?
Кто близок к двери гробовой,
Того уста не пламенют,
Не так душа его пылка,
В приветях взоры не светлеют,
И так ли жмет его рука?

П о э т

Мой друг! слова твои напрасны.
Не лгут мне чувства — их язык
Я понимать давно привык,
И их пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Д р у г

Не так природы строг завет.
Не презирай ее дарамп:
Опа на радость юных лет
Дает надежды нам с мечтами.

Ты часто слышал их привет;
Она желанье святое
Сама зажгла в твоей крови
И в грудь для сладостной любви
Вложила сердце молодое.

П о э т

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизнь не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом,
И сердца трепет жадным слухом,
Как ведший голос, изловил! —
Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата —
Без страха мир покинет он!
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому — процвести развитой силой
И смертью жизни след стереть.
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!

Д р у г

Мой друг! зачем обман питать?
Нет! дважды жизнь нас не лелеет.
Я то люблю, что сердце греет,
Что я своим могу назвать,
Что наслажденье в полной чаше
Нам предлагает каждый день.
А что за гробом, то не наше:
Пусть величают нашу тень,

Наш голый остов отрывают,
По воле ветреной мечты
Дают ему лицо, черты,
И призрак славой называют!

Поэт

Нет, друг мой! славы не брани:
Душа сроднилася с мечтою;
Она надеждою благою
Печали озаряла дни.
Мне сладко верить, что со мною
Не все, не все погибнет вдруг,
И что уста мои вещали —
Веселья мимолетный звук...
Напев задумчивой печали
Еще напомнит обо мне,
И смелый стих не раз встревожит
Ум пылкий юноши во сне,
И старец со слезой, быть может,
Труды неживые прочтет —
Он в них души печать найдет
И молвит слово состраданья:
«Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные послылись
На легких крыльях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!»

Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил...
Как знал он жизнь! как мало жил!

[1827 г.]

42. [Последние стихи]

Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Немного истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарамъ выпренных уроков,
С глаголом неба на земле.

[1827 г.]

П Р О З А

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Откуда слетели вы к нам, божественные девы? не небо ли было вашей колыбелью? и для чего променяли вы жилище красоты и наслаждения на долину желаний и усилий? Ваши пламенные взоры горят огнем неземным. Вы расточаете ласки свой смертным; но черты вашего лица, как бы предназначенного вечной юности, сохранили всю прелесть красоты девственной. Кто вы, небесные, откройтесь. Вы мне уже знакомы; не ваши ли волшебные образы летали предо мною в те счастливые часы, в которые я мечтал о лучшем мире? не вас ли везде ищет мое воображение?

— Мы сестры, — отвечала первая богиня, — и все трое дарствуем во вселенной; но не нам принадлежит венец бессмертной славы, — он будет вечно сиять на главе нашей матери. О смертный, ты часто восхищался этим миром, с восторгом взирал на все, тебя окружающее: мы все видимое тобою украсили. Я — старшая из сестер, и меня первую послала мать для того, чтоб оживить вселенную в очах твоих; я указала тебе этот круглый шар, который плывет в воздухе; я вознесла взоры твои на сне небо, которое, как свод, его обнимает; я рассеяла эти горы с утесами, которые, как великаны возвышаются над долинами; мой искусный резец обрзовал каждое дерево, каждый лист, каждую жемчужину, сокровенную на глубине раковины.

— Прелестно, — воскликнула вторая богиня, — прелестно было произведение сестры моей, когда я слетела с неба; но взор напрасно искал разнообразия на земле бесцветной. Все было хладно, безжизненно, как

те образы, которые представляют серые тучи в день пасмурный. Я взмахнула поясом, и радуги со всех сторон посыпались на землю, ясное светило загорелось в воздухе, по небу разлилась чистая лазурь, и море отразило небо; долины и леса оделись зеленым цветом и я, довольная новым миром, возвратилась к престолу нашей матери.

— Тогда и я слетела на землю, — сказала третья богиня; — прелестны были произведения сестер моих; но я напрасно искала в них жизни; ничто не улыбалось мне в природе, мертвая тишина царствовала на земле и стесняла мои чувства; я вздохнула, и вздох мой повторился во вселенной; чувство жизни разлилось повсюду; все огласилось звуками радости, и все эти звуки слились в общую волшебную гармонию.

— С тех пор, — продолжала первая богиня, — с тех пор воздвигнулись три алтаря на земле; я первая встретила смертного и мне первой принес он дары свои. Он был еще странником на новой земле; все поражало его удивлением; все питало в нем то чувство гордости, которое невольно пробуждает первая встреча с незнакомым. Где найду я, говорил он, удовлетворение бесконечным моим желаньям, где найду предмет, достойный моих усилий? Я услышала сетования смертного, и пергач внушила ему смелую мысль похитить у бессмертных огонь, дающий жизнь. Я вручила ему резец, и вскоре мрамор оживился под его руками, и человек окружил себя собственным миром. Они еще живы, священные памятники его усилий — его славы. Их не коснулась все истребляющая коса времени. О смертный, стремись туда, где на развалинах столицы мира гений минувшего основал свое владычество, и, вызывая из праха протекшие столетия, кажется, посмеивается над настоящим. Вступи в сей храм бессмертный, где герои древности, бледные, как произведения сна, в красноречивом безмолвии, возвышаются около стен; вступи в сей храм, когда утренний луч солнца озарит сие величественное сонмище и

будет скользнуть на белом мраморе; тогда ты познаешь мое владычество, и присутствие тайного божества поразит тебя благоговением.

— И мне повиновался смертный, — воскликнула вторая богиня, — и я была его сопутницей. Когда любовь пролила в сердце его свою очаровательную влагу, напрасно сплился он резцом сестры моей изобразить предмет своих желаний. Взор его напрасно искал в очах изображения того же неба, которое таилось под ресницами прекрасной его подруги; напрасно искал краски стыдливости на мертвых лапитах мрамора; напрасно хотел он окружить образ возлюбленной очарованием бесконечного, к которому стремилась душа его и в котором являлся ему идеал прекрасной. И что ж? я дала ему кисть, и чувства его вполне вылились на мертвый холст, и мысль о бесконечном сделалась для него понятною. О смертный, хочешь ли видеть небо на земле, взгляни на сию картину, взгляни, когда яркий луч полдня пролетит на нее свет свой, — ты невольно падешь на колена и тогда познаешь мое владычество.

— Настало и мое царствование, — промолвила последняя богиня. — Случалось ли тебе в безмолвии ночи слышать волшебные звуки, которые тайною силой увлекают душу, тешат ее надеждою и заставляют забывать все окружающее? Это торжество мое. Ты переносишься тогда в новый мир, ты думаешь быть далеко от земли, и ты в самом себе. В тебя вложила я таинственную арфу, которой струны дрожат при каждом впечатлении и служат как бы дополнением всего, что ты чувствуешь в природе. Не пламенная радость, не улыбка гордости выражают мое владычество: нет! слезы тихого восторга напоминают смертному, что мне покорено его сердце.

— Мой слух прикован к устам вашим, бессмертные богини; но где та, которой вы уготовляете венец славы, где храм, в котором возвышается престол ее, из которого она предписывает законы свои вселенной?

— О смертный! весь мир — престол нашей матери. Ее изображал и мрамор, и холст на земле; ее прославляли лиры песнопевцев; но она останется недостигаемой для чувств смертного; наша мать — поэзия; вечность — ее слава; вселенная — ее изображение.

УТРО, ПОДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ

Кто из нас, друзья мой, не погружался в море минувших столетий? Кто из нас не ускорял полета времени и не мечтал о будущем? Эти два чувства, верные спутники человека в жизни, составляют источник и вместе предмет всех его мыслей. Что нам настоящее? Оно ежеминутно пред нами исчезает, разрушая все надежды, на нем основанные. Между тем мысль о разрушении, об уничтожении так противоречит всем нашим чувствам, так убийственна для врожденной в нас любви к существованию, к устройству, что мы хоть памятью стараемся оживлять былое, вызываем из гроба тех героев человечества, в коих более отразилось чувство жизни и силы, и, с горестью собирая прах их, рассеянный крылами времени, образуем новый мир и обещаем ему бессмертие. С этим миром бессмертия, с этим лучшим из наших упований сливаем мы все понятия о будущем. Этой мысли посвящаем всю жизнь, в ней видим свою цель и награду. Что может быть утешительнее для поэта, который в ней направляет беспредельный полет свой? Что назидательнее для мыслителя, который в ней открывает желание бесконечного, всеобщей гармонии? Не изгоняйте, друзья мой, из области рассудка фантазии, этой волшебницы, которой мы обязаны прелестнейшими минутами в жизни и которая, облекая высокое в свою радужную одежду, не искажает светлого луча истины, но дробит его на всевозможные цветы. Не то же ли самое делает природа? Но ежели в ней все явления, все причины и действия сливаются в одно целое, в один закон неиз-

менный, — не для того ли созданы все чувства человека, чтоб на богатом древе жизни породить мысль, сей божественный плод, приготавливаемый цветами фантазии?

Приятно с верным понятием о природе обратиться в самой же природе, в ней самой искать выражения для того, что она же нам внушила. Все для нас поясняется; всякое явление — эмблема; всякая эмблема — самое целое... Так думал я, пробегая однажды те священные памятники, которые век передает другому и которые, свидетельствуя о жизни и усилиях человечества, возрастают с каждым столетием, и всегда завещанные потомству, всегда представляют новое развитие. Так думал я, пробегая эту цепь превратностей и разнообразия, в которой каждое звено необходимо, которой направление неизменно. И что же представилось разгоряченной фантазии. — Простите ли вы, друзья мои, сон воображения, быть может, слишком любопытного, и потому, быть может, обманутого?

Врата востока открываются пред нами — все в природе с улыбкою встречает первое утро; луч денницы отражается светом, и озаряет одно — беспредельное — вселенную. Как пленителен в эту минуту юный житель юной земли; первое его чувство — созерцание, чувство младенческое, всем довольное, ничего не исключющее. Послушаем первую песнь его, песнь восторга безотчетного; она так же проста, так же очаровательна, как первый луч света, как первое чувство любви. Но он простирает руку к светилу, его поразившему, и оно для него недостигаемо. Он подымает взор к небу, душа его горит желанием погрузиться в это ясное море; но оно беспредельным сводом простирается высоко, высоко над его главою. Очарование прекратилось; он изгнан из этого рая, — два серафима, память и желание, с пламенными мечами воздвигаются у заветных врат и тайный голос произносит неизбежный приговор: «сам создай мир свой». И все оживилось в фантазии

раздраженного человека. Чувства гордости и желание действовать в одно время пробудились в душе его. Он отделяется от природы и везде ищет самого себя. Всякий предмет делается выражением его особенной мысли. Горы, леса, воды, — все населяется произведениями его воображения, и обманутое усилие выразиться совершенно везде открывает строгий закон необходимости, слепо управляющий миром.

Настает полдень. Чувствуя в себе силу, чувствуя волю, человек покидает колыбель свою; обманутый надеждой поработить себе природу, он хочет властвовать на земле и обоготворить силу. Стихии для него не страшны, океан — не граница; он лютиб испытывать себя и ищет противоборника в природе. Каждой страсти воздвигнут алтарь, но и в бури страстей человек не забывает своего высокого предназначения. Небо, утром безмятежное, покрылось в полдень тучами, но природа не узнала тьмы; ибо молния в замену солнца, хотя мигновым блеском, рассекала густой мрак.

Все утихает под вечер дня: страсти гаснут в сердце, как следы солнца на небосклоне. Один луч ярким цветом брезжит на западе; одно чувство, но сильнейшее, воспламеняет человека. Вечером соловей воспевает любовь в тени дубрав, и песнь любви повторяется во всей природе. Любви жертвует сила своими подвигами. Небо говорит человеку голосом любви; а на земле цветок из рук прекрасной подруги — венед для героя.

Но долго взоры смертного перебежали все предметы... Наконец усталые вежды сокрыли от него все явления; тишина ночи склонила его ко сну — к воззрению на самого себя. Только теперь душа его свободна. Предметы, пробудившие его к существованию, быстро не останавливают ее более; они быстро исчезают перед нею и она создает свой собственный мир, независимый от того мира, где все ей казалось разноречием. Только теперь познает человек истинную гармонию. Уста его открываются, и он шепчет такие

звуки, которые привели бы в трепет младенца, по которым мыслящий старец записал бы в книгу премудрости. О, с каким восторгом пробудится он, когда новый луч денницы воззовет его к новой жизни, — когда довольный тем, что он нашел в самом себе, он перенесет чувство из мира желаний в мир наслаждения!

АНАКСАГОР

Беседа Платона

Анаксагор. Давно, Платон, давно уроки божественного Сократа не повторялись в наших беседах, и я по сих пор напрасно искал случая предложить тебе несколько вопросов о любимых наших науках.

Платон. Готов удовлетворить твоим вопросам, любезный Анаксагор, если силы мои мне это позволят.

Анаксагор. Ты всегда решал мои сомнения, Платон, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь оставил хоть один из наших вопросов без удовлетворительного ответа.

Платон. Если и так, Анаксагор, то не я производил такие чудеса, но наука, божественная наука, которая внушала речи Сократа и которой я решился посвятить всю жизнь свою.

Анаксагор. Недавно читал я в одном из наших поэтов описание золотого века, и признаюсь тебе, Платон, в моей слабости: эта картина восхитила меня. Но когда я на несколько времени перенесся в этот мир совершенного блаженства и потом снова обратился к нашим временам, тогда очарование прекратилось, и у меня невольно вырвался горестный вопрос: для чего дано человеку понятие о таком счастье, которого он достигнуть не может? Для чего имеет он несчастную способность мучить себя игрою воображения, прекрасными вымыслами?

Платон. Как? неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэта, игрою воображения?

Неужели ты полагаешь, что поэт может что-либо вымышлять?

Анаксагор. Без сомнения; и я думал в этом случае быть с тобою согласным.

Платон. Ты ошибаешься, Анаксагор. Поэт выражает свои чувства, а все чувства не в воображении его, но в самой его природе.

Анаксагор. Если так, то для чего же изгоняешь ты поэтов из твоей республики?

Платон. Я не изгоняю истинных поэтов, но, увенчав их цветами, прошу оставить наши пределы.

Анаксагор. Конечно, Платон; кто из поэтов не согласился бы посетить твою республику, чтоб подвергнуться такому изгнанию? Но не менее того это не доказывает ли, что ты считаешь поэзию вредною для общества и следовательно для человека?

Платон. Не вредною, но бесполезною. Моя республика должна быть составлена из людей мыслящих, и потому действующих. К такому обществу может ли принадлежать поэт, который наслаждается в собственном своем мире, которого мысль вне себя ничего не ищет и следовательно уклоняется от цели всеобщего усовершенствования? Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия.

Анаксагор. Я охотно соглашусь с твоею мыслью, Платон, когда ты покажешь мне, как философия может объяснить, что такое золотой век.

Платон. Помнишь ли, Анаксагор, слово Сократа о человеке? Как называл он человека?

Анаксагор. Малым миром.

Платон. Так точно, и эти слова должны объяснить твой вопрос. Что понимаешь ты под выражением малый мир?

Анаксагор. Верное изображение вселенной.

Платон. Вообще эмблему всякого целого и следовательно всего человечества. Теперь рассмотрим человека в отдельности и применим мысль о человеке ко всему человечеству. Случалось ли тебе знать старца,

свершившего в добродетели путь, предназначенный ему природою, и приближающегося к концу с богатыми плодами мудрой жизни?

Анаксагор. Кто из нас, Платон, забудет добродетельного Форбиаса, который, посвятив почти целый век любомудрию, на старости лет, казалось, возвратился к счастливому возрасту младенчества?

Платон. Ты сам, Анаксагор, развиваешь мысль мою. Так! всякий человек рожден счастливым, но чтобы познать свое счастье, душа его осуждена к борьбе с противоречиями мира. Взгляни на младенца — душа его в совершенном согласии с природою; но он не улыбается природе, ибо ему недостает еще одного чувства — совершенного самопознания. Это музыка, но музыка еще скрытая в чувстве, не проявившаяся в разнообразии звуков. Взгляни на юношу и на человека возмужалого. Что значит желание опытности? где причина всех его покушений, всех его действий, как не в идее счастья, как не в надежде достигнуть той степени, на которой человек познает самого себя? Взгляни, наконец, на старца; он, кажется, вдохновенным взором окидывает минувшее поприще, и видит, что все бури мира для него утикли, что путь трудов привел его к желанной цели — к независимости и самодовольству. Вот жизнь человека! она снова возвращается к своему началу. Рассмотрим теперь ход человечества, и тогда загадка совершенно для нас разрешится. В каком виде представляется тебе золотой век?

Анаксагор. Древние наши поэты посвятили свое искусство описанию какого-то утраченного блаженства и слова мои не могут выразить моего чувства.

Платон. Не требую от тебя картины; но скажи мне, как представляешь ты себе первобытного человека в отношении к самой природе?

Анаксагор. Он был, как уверяют, царем природы.

Платон. Царем природы может назваться только тот, кто покорил природу; и следовательно, чтоб познать

свою силу, человек принужден испытать ее в противоречиях — отсюда раскол между мыслию и чувством. Объясню тебе эти слова примером. Представим себе Фидиаса, пораженного идеею Аполлона. В душе его совершенное спокойствие, совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством! Если б наслаждение его было полное, для чего бы он взял резец? Если б идеал его был ясен, для чего старался бы он его выразить? Нет Анаксагор! эта тишина — предвестница бури. Но когда вдохновенный художник, победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бесчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется в душу его — он познал свою силу и наслаждается в мире, ему уже знакомом.

Анаксагор. Конечно, Платон, это можно сказать о художнике, потому что он творит и для того своевольно борется с трудностями искусства.

Платон. Не только о художнике, но и о всяком человеке, о всем человечестве. Жить — не что иное как творить будущее — наш идеал. Но будущее есть произведение настоящего, то есть нашей собственной мысли.

Анаксагор. Итак, Платон, если я понял твою мысль, то золотой век точно существовал и снова ожидает смертных.

Платон. Верь мне, Анаксагор, верь: она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом; все познания человека сольются в одну идею о человеке; все отрасли наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени? Нас давно не станет, — но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что ее признавал и, может быть, ускорил будущее. Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество. Пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее составляющие! Она исчезнет, но совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной!

П Е Р Е В О Д Ы

ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ

Знамения перед смертью Цезаря

(Отрывок из *Виргилиевых Георгик*)

О Феб! тебя ль дерзнем обманчивым пазвать?
Не твой ли быстрый взор умеет проникать
До глубины сердец, где возникают мщенья
И злобы бурные, но тайные волненья?
По смерти Цезаря ты с Римом скорбь делил,
Кровавым облаком чело твое покрыл;
Ты отвратил от нас разгневанные очи,
И мир, преступный мир, страшился вечной ночи.
Но все грозило нам — и рев морских валов,
И вранов томный клик, и лай ужасных псов.
Колькраты зрели мы, как Этны горн кремнистой
Расплавленны скалы вращал рекой огнистой
И пламя клубами на поле изрыгал.
Германец трепетный на небеса взирал;
Со треском облака сражались с облаками
И Альпы двигались под вечными снегами.
Священный лес стонал во мгле густой почей,
Скитался бледный сонм мелькающих теней.
Медь потом залилась (чудесный знак печали!),
На мраморах богов мы слезы примечали.
Земля отверзлася, Тибр устремился вспять,
И звери, к ужасу, могли слова вещать;
Разлитый Эридан кипящими волнами

Увлеч дремучий лес и пастырей с стадами.
Во внутренности жертв священный взор жрецов
Читал лишь бедствия и грозный гнев богов;
В кровавые струи потоки обращались;
Волки, ревушие среди стоги, во мгле скитались;
Мы зрели в ясный день и молнию, и гром,
И страшную звезду с пылающим хвостом.
И так вторичею орлы дрались с орлами.
В полях Филипповых под теми ж знаменами
Родные меж собой сражались вновь полки,
И в битве падал брат от братниной руки;
Двукраты рок велел, чтоб римские дружины
Питали кровию фракийские долины,
Быть может, некогда в обширных сих полях,
Где наших воинов лежит бездушный прах,
Спокойный селянин тяжелой бороною
Ударит в шлем пустой и трепетной рукою
Поднимет ржавый щит, затупленный булат, —
И кости под его стопами загремят.

[1819 г.]

Веточка

(Грессе)

В бесденный час уединенья,
Когда пустышную тропой
С живым восторгом упоенья
Ты бродишь с милою мечтой
В тени дубравы молчаливой, —
Видал ли ты, как ветер игривой
Младую веточку сорвет?
Родной кустарник оставляя,
Она вьется, упавая
На зеркало ручейных вод,
И, новый житель влаги чистой,
С потоком плыть принуждена.
То над струею серебристой

Спокойно носится она,
То вдруг пред взором исчезает
И кроется на дне ручья;
Плывет — все новое встречает,
Все незнакомые края;
Усеян нежными цветами
Здесь улыбающийся брег,
А там пустыни, вечный снег,
Иль горы с грозными скалами.
Так далее веточка плывет
И путь неверный свой свершает,
Пока она не утопает
В пучине беспредельных вод.
Вот наша жизнь! — так к верной цели
Необоримою волной
Поток нас всех от колыбели
Влечет до двери гробовой.

[1821 — 1822 г.]

Песнь Кольмы

(Макферсон)

Ужасна ночь, а я одна
Здесь на вершине одинокой.
Вокруг меня стихий война.
В ущельях горы высокой
Я слышу ветров свист глухой.
Здесь по скалам с горы крутой
Стремится вниз поток ревучий,
Ужасно над моей главой
Гремит Перун, несутся тучи.
Куда бежать? где милый мой?
Увы, под бурюю почною
Я без убежища, одна!
Блесни на высоте, луна,
Восстань, явися над горою!
Быть может, благодатный свет

Меня к Сальгару приведет.
Он, верно, ловлей изнуренный,
Своими псами окруженный.
В дубраве иль в степи глухой,
Сложивши с плеч свой лук могучий,
С опущенною тетивой,
И презирая гром и тучи,
Ему знакомый бури вой,
Лежит на мураве сырой.
Иль ждет он на горе пустынной,
Доколе не наступит день
И не рассеет ночи длинной.
Ужасней гром; ужасней тень;
Сильнее ветров завыванье;
Сильнее волн седых плесканье!
И гласа не слышать!
О верный друг! Сальгар мой милый.
Где ты? Ах, долго ль мне унылой
Среди пустыни сей страдать?
Вот дуб, поток, о брег дробимый,
Где ты клялся до ночи быть!
И для тебя мой кров родимый
И брат любезный мной забыт.
Семейства наши знают мщенье,
Они враги между собой.
Мы не враги, Сальгар, с тобой!
Умолкни, ветер, хоть на мгновенье!
Остановись, поток седой!
Быть может, что любовник мой
Услышит голос, им любимый!
Сальгар! здесь Кольма ждет;
Здесь дуб, поток, о брег дробимый;
Здесь все: лишь милого здесь нет.

[1822 г.]

Земная участь художника

(Гёте)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Перед восходом солнечным

Художник за своим станком. Он только что поставил на него портрет толстой, дурной собою кокетки.

Художник (*дотронулся кистью и останавливается*)

Что за лицо! совсем без выраженья!

Долой! нет более терпенья. (*Снимает портрет*)

Нет! я не отравлю сих сладостных мгновений,

Пока вы нежитесь в объятьях сна,

Предметы милые трудов и попечений,

Малютки, добрая жена! (*Подходит к окну*)

Как щедро льешь ты жизнь, прекрасная денница!

Как юно бьется грудь перед тобой!

Какою сладкою слезой

Туманится моя зеница! (*Ставит на станок картин представляющую во весь рост Венеру Уранию*)

Небесная! для сердца образ твой —

Как первая улыбка счастья.

(жест)

Я чувствами, душой могу обнять тебя,

Как радостный жених с восторгом сладострасть.

Я твой создатель; ты моя;

Богиня! ты — я сам, ты более, чем я;

Я твой, владычица вселенной!

И я лишусь тебя! я за метал презренной

Отдам тебя глупцу, чтоб на его стене

Служила ты болтливости надменной

И не запомнила, быть может, обо мне!..

(Он смотрит в комнату, где спят его дети)

О дети!.. Будь для них богиней пропитанья!

Я понесу тебя к соседу-богачу

И за тебя, предмет очарованья,

На хлеб малюткам получу...

Но он не будет обладать тобою,

Природы радость и душа!
Ты будешь здесь, ты будешь век со мною,
Ты вся во мне: тобой дыша,
Я счастлив, я живу твоею красоюю.

(Ребенок кричит в комнате)

Х у д о ж н и к

О боже!

Ж е н а х у д о ж н и к а (*просыпается*)

Рассвело. Ты встал уже, друг мой!
Сходи ж скорее за водой,
Да разведи огонь, чтоб воду вскипятить:
Пора ребенку суп варить.

Х у д о ж н и к (*останавливается еще на минуту
перед своей картиной*)

Г е б е с н а я !

С т а р ш и й с ы н е г о (*вскочил с постели
и босой подбегает к нему*)

И я тебе, пожалуй, помогу.

Х у д о ж н и к

Г ы !

С ы н

Да, я.

Х у д о ж н и к

Беги ж за щепками!

С ы н

у.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Х у д о ж н и к

Кто там стучится у дверей?

С ы н

Вчерашний господин с женою.

Художник (*ставит опять на станок
отвратительный портрет*)

Так за портрет возьмуся поскорей.

Жена

Пиши, и деньги за тобою.

(Господин и госпожа входят)

Господин

Вот кстати мы!

Госпожа

А я как дурно ночь спала!

Жена

А как свежи! нельзя не подивиться.

Господин

Что это за картина близ угла?

Художник

Смотрите, как бы вам не запылиться. (*К госпоже*)
Прошу, сударыня, садиться.

Господин (*смотрит на портрет*)

Характер-то, характер-то не тот,
Портрет хорош, конечно так,
Но все нельзя сказать никак,
Что это полотно живет.

Художник (*про себя*)

Чего он ищет в этой роже?

Господин (*берет картину из угла*)

А! вот ваш собственный портрет.

Художник

Он был похож: ему уж десять лет.

Г о с п о д и н

Нет, можно и теперь узнать.

Г о с п о ж а (*будто бы взглянув на него*)
Похоже.

Г о с п о д и н

Тогда вы были помоложе.

Ж е н а (*подходит с корзиной на руке и
говорит тихонько мужу*)

Иду на рынок я: дай рубль.

Х у д о ж н и к

Да нет его.

Ж е н а

Без денег, милый друг, не купишь ничего.

Х у д о ж н и к

Пошла!

Г о с п о д и н

Но ваша кисть теперь смелей.

Х у д о ж н и к

Пишу, как пишется: что лучше, что похуже.

Г о с п о д и н (*подходит к станку*)

Вот bravo! ноздри-то поуже,
Да взгляд, пожалуста, живей!

Х у д о ж н и к (*про себя*)

О боже мой! что за мученье!

Муза (*невидимо для других подходит к нему*)

Уже, мой сын, теряешь ты терпенье?

Но участь смертных всех равна.

Ты говоришь: она дурна!

Зато платить она должна.

Пусть этот сумасброд болтает —
Тебя живой восторг, художник, награждает.
Твой дар не купленный, источник красоты —
Он счастье твое, им утешайся ты.
Поверь: лишь тот знаком с душевным наслажденьем,
Кто приобрел его трудами и терпеньем,
И небо без земли наскучило б богам.
Зачем же ты взываешь к небесам?
Тебе любовь верна, твой сон всегда приятен,
И честью ты богат, хотя ты и не знатен.

Апофеоза художника (Гёте)

Театр представляет великолепную картинную галерею. Картины всех школ висят в широких золотых рамах. Много любопытных посетителей. Они ходят взад и вперед. На одной стороне сидит ученик и списывает картину.

Ученик (встает, кладет на стул палитру и кисть, а сам становится позади стула)

По целым дням я здесь сижу!
Я весь горю, я весь дрожу.
Пишу, мараю, так что сам
Не верю собственным глазам.
Все правила припоминал,
Всё вымерял, всё рассчитал,
И жадно взор гонялся мой
За каждой краской и чертой.
То вдруг кидаю кисть свою;
Как полубешеный встаю
В поту, усталый от труда.
Гляжу туда, гляжу сюда,
С картины не спускаю глаз,
Стою за стулом битый час —
И что же? для беды моей,
Никак я копии своей
Не превращу в оригинал.

Там жизнь холсту художник дал,
Свободой дышит кисть его, —
Здесь все и сухо, и мертво.
Там страстью все оживлено —
Здесь принуждение одно;
Что там горит прозрачной дня —
То вяло, грязно у меня.
Я вижу, даром я тружусь
И с жаром вновь за кисть берусь!
Но что ужаснее всего,
Что верх мученья моего:
Ошибки ясны мне как свет,
А их поправить силы нет.

М а с т е р (*подходит*)

Мой друг, за это похваляю:
Твое старанье я люблю.
Не даром я твержу всегда,
Что нет успеха без труда.
Трудись! запомни мой урок —
Ты сам увидишь в этом прок;
Я это знаю по себе:
Что ныне кажется тебе
Непостижимо, высоко,
То нечувствительно, легко
Рождаться будет под рукой;
И, наконец, любезный мой,
Искусство, весь науки плод,
Тебе в пять пальцев перейдет.

У ч е н и к

Увы! как много здесь дурного,
А об ошибках вы ни слова.

М а с т е р

Кому же все дается вдруг?
Я вижу с радостью, мой друг,
Что с каждым днем твой дар растет.
Ты сам собой пойдешь вперед.

Кой-что со временем поправим,
Но это мы теперь оставим. (*Уходит*)

Ученик (*смотря на картину*)

Нет, нет покоя для меня,
Пока не все постигнул я!

Любитель (*подходит к нему*)

Мне жалко видеть, сударь мой,
Что вы так трудитесь напрасно,
Идете темною тропой
И позабыли путь прямой:
Натура — вот источник ясный,
Откуда черпать вы должны.
В ней тайны все обнажены:
И жизнь телес, и жизнь духов.
Натура — школа мастеров.
Примите ж искренний совет:
Зачем топтать избитый след,
Чтоб быть копьем наконец?
Натура — вот вам образец!
Одна натура, сударь мой,
Наставит вас на путь прямой.

Ученик

Все это часто слышал я,
Все испытала кисть моя.
Я за природою гонялся,
Случайно успеваю кой в чем,
Но большей частью возвращался
С укором, мукой и стыдом.
Нет! это труд несовершенный!
Природы книга не по нас:
Ее листы необозримы,
И мелок шрифт для наших глаз.

Любитель (*отворачивается*)

Теперь я вижу в чем секрет:
В нем гения нимаго нет.

Ученик (*опять садится*)

Совсем не то! хочу опять
Картину всю перемарать.

(Другой мастер подходит к нему, смотрит на работу
и отворачивается, не сказав ни слова)

Ученик

Нет! вы не с тем пришли, чтоб молча заглянуть.
Я вас прошу, скажите что-нибудь.
Вы можете одни понять мои мученья.
Хотя мой труд не стопт слов,
Но трудолюбие достойно снисхожденья;
Я верить вам во всем готов.

Мастер

Я, признаюсь, гляжу на все твои страданья
И с чувством радости, и с чувством состраданья.
Я вижу: ты, любезный мой,
Природой создан для искусства;
Тебе открыты тайны чувства;
Ты ловишь взором и душой
В прекрасном мире впечатленья;
Ты бы хотел обнять в нем красоту
И кистью приковать к холсту
Его мимолетные явленья;
Ты прилежанием талант возвысил свой
И быстро ловкою рукой
За мыслью следовать умешь;
Во многом ты успел и более успеешь —
Но...

Ученик

Не скрывайте ничего.

Мастер

Ты упражнял и глаз, и руку,
Но ты не упражнял рассудка своего.

Чтоб быть художником, обдумывай науку!
Без мыслией гений не творит,
И самый редкий ум с одним природным чувством
К высокому едва ли воспарит.
Искусство навсегда останется искусством;
Здесь ошущью нельзя идти вперед,
И только знание к успеху приведет.

Ученик

Я знаю, к красотам природы и картин
Не трудно приучить и глаз, и руку,
Не то с наукою; ученый лишь один
Нам может передать науку,
Кто может знанием полезен быть другим,
Не должен бы один им наслаждаться.
Зачем же вам от всех скрыватьсь
И с многими не подслиться им?

Мастер

Нет! в наши времена все любят путь широкий,
Не трудную стезю, не строгие уроки.
Я завсегда одно и то ж пою,
Но всякий ли полюбит песнь мою?

Ученик

Скажите только мне, ошибся ли я в том,
Что перед прочими я выбрал образцом
Сего художника? (*Указывает на картину, которую
списывает*)

Что весь живу я в нем?

Что я люблю его, люблю, как бы живого,
Над ним всегда тружусь и не хочу другого.

Мастер

Его чудесный дар и молодость твоя —
Вот что твой выбор извиняет.
Всегда охотно вижу я,

Как смелый юноша свободно рассуждает,
Без меры хвалит, порицает.
Твой идеал, твой образец —
Великий ум, разнообразный гений.
Учися красотам его произведений,
Трудились над ними, — наконец,
Познай ошибки и умей
Любить в творениях искусство, не людей.

Ученик

Его картинами давно уж я пленился.
Поверьте, не проходит дня,
Чтоб я над ними не трудился.
И с каждым днем они все новы для меня.

Мастер

Ты рассмотри с рассудком, беспристрастно,
И чем он был, и чем хотел он быть;
Люби его, но сам учись его судить.
Тогда твой труд не будет труд напрасной.
Обняв науку красоты,
Не все пред ним забудешь ты.
Для добродетели телесной груди мало;
Ужиться ей нельзя в душе одной:
С искусством точно то ж, и никогда, друг мой,
Одна душа его не поглощала.

Ученик

Так я был слеп до этих пор.

Мастер

Теперь оставим разговор.

Смотритель галлерей (*подходит к ним*)

Какой счастливый день для нас!
Картину к нам внесут тотчас.

Давно на свете я живу,
Но ни во сне, ни наяву
Другой подобной не видал.

М а с т е р

А чья?

У ч е н и к

Его же? (*Указывает на картину,
которую списывал*)

С м о т р и т е л ь

У га да л.

У ч е н и к

Я угадал! мне это
Шепнула тайная любовь.
Какой восторг волнует кровь!
Каким огнем душа согрета!
Куда бежать мне с ней? куда? .

С м о т р и т е л ь

Ее сейчас внесут сюда.
Нельзя взглянуть, не подивясь...
Зато не дешево купил ее наш князь.

П р о д а в е ц (*входит*)

Ну, господа! теперь я смею
Поздравить вашу галерею.
Теперь узнает целый свет,
Как князь искусства ободряет:
Он вам картину покупает,
Какой нигде, ручаюсь, нет.
Ее несут уж в галерею.
Мне прямо жаль расстаться с нею.
Я не обманываю вас —
Цена, конечно, дорогая,
Но редкость, господа, такая
Дороже стоит во сто раз.

(Тут вносят изображение Венеры Урании и ставят на станок)

Теперь взгляните: вот она!
Без рамки, вся запылена.
Я продаю, как получил,
И даже лаком не покрыл.

(Все собираются перед картиной)

Первый мастер
Какое мастерство во всем!

Второй мастер
Вот зрелый ум! какой объем!

Ученик
Какою силою чудесной
Бунтует страсть в груди моей!

Любитель
Как натурально! как небесно!

Продавец
Я, словом, всем пленился в ней,
И самой мыслью, и работой.

Смотритель
Вот к ней и рама с позолотой!
Скорей! Князь скоро будет сам.
Вбивайте гвозди по углам!

(Картину вставляют в раму и вешают)

• **Князь** (*входит в залу и рассматривает картину*)
Картина точно превосходна,
И не торгуюсь я в цене.

(Казначей кладет кошелек с червонцами на стол и вздыхает)

Продавец
Нельзя ли взвесить?

К а з н а ч е й (считая деньги)

Как угодно,
Но лишний труд, поверьте мне.

(Князь стоит перед картиною. Прочие в некотором отдалении. Потолок открывается. Муза, держа художника за руку, является на облаке)

Х у д о ж н и к

Куда летим? в какой далекий край?

М у з а

Взгляни, мой друг, и сам себя узнай!
Упейся счастьем в полной мере.

Х у д о ж н и к

Мне душно здесь, в тяжелой атмосфере.

М у з а

Твое создание пред тобой!
Оно все прочие затмило красотой
И здесь, как Сириус меж ясными звездами,
Блестит бессмертными лучами.
Взгляни, мой друг! Сей плод свободы и трудов —
Он твой! он плод твоих счастливейших часов.
Твоя душа в себе его носила
В минуты тихих, чистых дум:
Его зачал твой зрелый ум,
А трудолюбие спокойно довершило.
Взгляни, ученый перед ним
Стоит и скромно наблюдает.
Здесь покровитель муз твой дар благославляет,
Он восхищен творением твоим.
А этот юноша! взгляни, как он пылает!
Какая страсть в душе его молодой!
Прочти в глазах его желанье:
Вполне испить твоё влияние
И жажду утолить тобой!

Так человек с возвышенной душой
Преходит в поздние века и поколения.
Ему нельзя свое предназначенье
В пределах жизни совершить:
Он доживает за могилой
И мертвый дышит прежней силой.
Свершив конечный свой удел,
Он в жизни слов своих и дел
Путь начинает бесконечной.
Так будешь жить и ты в бессмертье, в славе
вечной!

Х у д о ж н и к

Я чувствую все, что мне дал Зевес:
И радость жизни быстротечной,
И радость вечную обителя небес.
Но он простит мне ропот мой печальной.
Спроси любовника: счастлив ли он,
Когда он с милою подругой разлучен,
Когда она в стране тоскует дальшой?
Скажи, что он лишился не всего,
Что тот же свет их озаряет,
Что то же солнце согревает
И эта мысль утешит ли его?
Пусть славят все мои творенья!
Но в жизни славу знал ли я?
Скажи, небесная моя,
Что мне теперь за утешенье,
Что златом платят за меня?
О, если б иногда имел я сам
Так много золота, как там,
Вокруг картин моих блестит для украшения!
Когда я в бедности с семейством хлеб делил,
Я счастлив, я доволен был
И не имел другого наслажденья.
Увы! судьба мне не дала
Ни друга, чтоб делить с ним чувства,
Ни покровителя искусства.
До дна я выпил чашу зла.

Лишь изредка хвалы певежды
Гремели мне в глуши монастырей,
Так я трудился без судей
И мир покинул без надежды. (*Указывая
на ученика*).

О, если ты для юноши сего
Во мзду заслуг готовишь славу рая,
Молю тебя, подруга неземная,
Здесь на земле не забывай его.
Пока уста дрожат еще с лобзаньем,
Пока душа волнуется желаньем,
Да вкусит он вполне твою любовь!
Венок ему на небе уготовь,
Но здесь подай сосуд очарованья,
Без яда слез, без примеси страданья!

Отрывки из Фауста

(Гёте)

I

Фауст и Вагнер за городом

Фауст

Блажен, кто не отверг надежды
Раздрать покров душевной тьмы!
Во всем, что нужно мы невежды
Но нет! печальными речами
Не отравляй даров небес.
Смотри, как кровли меж деревьев
Горят вечерними лучами...
Светило к западу течет,
И новый день мы схоронили —
К другим странам оно придет
И там жизнь новую прольет.
Что нет у нас могучих крылий?
За ним, за ним помчался б я;
Зарею б вечною блистали
Передо мной земли края,

Холмы в пожаре бы пылали,
Дремали доли в мирном сне,
И волны золотом играли,
Переливаясь в огне.
Тогда, утесы и вершины,
Вы мне бы не были предел:
Богopodobный, я б летел
Через эфирные равнины,
И скоро б зрел смущенный взгляд,
Как моря жаркие пучины
В заливах зеркалом лежат...
Но солнце к западу скатилось
И вновь желанье пробудилось,
И я стремлю ему вослед,
Меж ношью и днем, меж небом и морями,
Неутомимый свой полет,
И упиваюсь бессмертными лучами.
Мой друг! прекрасны эти сны...
А солнце скрылось за горою...
Увы! летаем мы мечтою,
Но крылья телу не даны.
И у кого душа в груди не бьется
И, жадная, не рвется от земли,
Когда над ним, невидимый, вдали
Веселый жаворонок вьется
И тонет в зыбях голубых,
По ветру песни рассыпая!
Когда парит орел над высью скал крутых,
Широкие ветрила расстилая,
И через степь, чрез бездны вод
Станица журавлей на родину плывет
К весне полуденного края!..

Вагнер

Признаться, и во мне подчас
Затейливо шалит воображенье:
Но не понятно мне твое стремленье,
На поле, на леса намотришься как раз;

Мне не завидны крылья птицы,
И то ль веселье для души —
Перелетать листы, страницы
Зимой, в полуночной тиши!
Тогда и ночь как будто бы светлее,
Но жилам жизнь бежит теплее...
Не даром иногда пороешься в пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбец, что сам ты на земли
А будто небо открывалось.

Фауст

Мой друг! из сильных двух страстей
Одна лишь властвует тобою:
О, не знакомься ты с другою!
Но две души живут в груди моей,
Всегда враждуя меж собою.
Одна, обнявши прах земной,
Сковалась с ним любовью земною,
Другая прочь от персти холодной
Летит в эфир, к обители родной.
Когда меж небом и землею
Витаешь ты, веселый рой духов,
Из недра туч, из радужных паров
Спустишь ко мне! за жизнью молодой
Неси меня к другой стране!
О, дайте плащ волшебный мне!
Когда б меня к другому миру
Он дивной силою помчал,
Я бы его не променял
На блеск венца, на царскую порфиру.

Вагнер

Не призывай изведанных врагов:
Их сонм в изгибах облаков
Везде разлился по вселенной
И смертному в вражде неутоленной
Беду несет со всех сторон.

Подует с севера — и острыми зубами,
Как иглами тебя пронзает он;
С востока налетит — и под его крылами
Иссохнет жизнь в груди твоей.
То с юга, с пламенных степей,
Он зной и огонь скопляет над тобою,
То с запада мгновенно освежит
И вдруг губительной волною
Поля, луга опустошит.
Он внемлет нам, но, обольститель жадный,
Покорствуя, он манит нас к бедам
И, словно ангел, так отрадно
Он ложь нашептывает нам.

II

Песнь Маргариты

Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
Где нет его,
Там все мертво!
Мне день не мил
И мнр постыл.
О бедная девица!
Что сбылось с тобой?
О бедная девица!
Где рассудок твой?
Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
В окно ли гляжу —
Его я ищу.
Из дома ль иду я —
За ним я иду.

Высок он и ловок;
Величествен взгляд;
Какая улыбка!
Как очи горят!
И речь, как звон
Волшебных струй!
И жар руки!
И что за поделуй!
Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
Все тянет меня,
Вся тянет к нему.
И душно, и грустно.
Ах, что не могу
Обнять его, держать его,
Лобзать его, лобзать
И, умирая, с уст его
Еще лобзанья рвать!

III

Монолог Фауста

В пещере

Всевышний дух! ты все, ты все мне дал,
О чем тебя я умолял.
Не даром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее, и силу наслажденья.
Другой едва скользит по ней
Холодным взглядом удивленья;
Но я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.

Ты протянул передо мною
Созданий цепь, — я узнаю
В водах, в лесах, под твердью голубою
Одну благую мать, одну ее семью.
Когда бушует ветер в дубраве темной,
И лес качается, и рухнет дуб огромной,
И ветви ближние ломаются, трещат,
И стук, и грохот заунывный
В долине будят гул отзывный, —
Ты путь в пещеру кажешь мне,
И там, среди уединенья,
Я вижу новый мир и новые явленья
И созерцаю в тишине
Души чудесные, и тайные виденья.
Когда же ветры замолчат
И тихо на полях эфира
Всплывет луна, как светлый вестник мира,
Тогда подымется передо мной
Веков туманная завеса,
И с грозных скал, из дремлющего леса
Встают блестящею толпой
Минувшего серебряные тени
И светят в сумраке суровых размышлений.
Но, ах! теперь я испытал,
Что нет для смертных совершенства.
Напрасно я, в мечтах душевного блаженства,
Себя с бессмертными ровнял.
Ты к страшному врагу меня здесь приковал.
Как тень моя, спутник неотлучной,
Холодной злобою, насмешкою докучной
Он отравил дары небес:
Дыханье слов его сильнее твоих чудес.
Он в прах меня унизил передо мною,
Разрушил в миг мир, созданный тобой,
В груди моей зажег он пламень роковой,
Вдохнул любовь к несчастному созданию,
И я стремлюсь несытою душой
В желаньи к счастью и в счастье к желанью.

ПЕРЕВОДЫ В ПРОЗЕ

СЦЕНЫ ИЗ ЭГМОНТА

(Гёте)

ДВОРЕЦ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ

Маргарита Пармская, в охотничьей одежде. Придворные. Паж. Слуги.

Правительница. Распустите охотников: я сегодня не выезжаю. Скажите Махиаветю, чтоб он пришел ко мне.

(Все удаляются)

Мысль об этих ужасных происшествиях не дает мне покоя. Ничто меня не тешит, ничто не рассеет; все те же картины предо мной, все те же заботы. Знаю вперед, король скажет, что это следствие моего добросердечия, моей слабости, а совесть ежеминутно говорит мне, что я сделала все нужное, все лучшее. И что ж было мне делать? Усилить, разнести повсюду этот пламень бурею гнева? Я думала поставить пожару границы и этим потушить его. Так! то, что я повторяю себе самой, то, в чем я убедилась, конечно, в глазах моих меня оправдывает; но брат мой — как примет он такие известия? А можно ли скрыть их? С каждым днем возрастала гордыня пришельцев — учителей; они ругались над нашею святыней, обворожили грубые чувства народа; предали его духу блуждания. Духи нечистые поселились между возмутителями, и что ж? Мы были свидетелями дел ужасных, о которых и думать нельзя

без содрогания. Я должна подробно уведомить о них двор — подробно, не теряя времени — не то предупредит меня всеобщая молва, и король подумает, что мы от него скрываем еще большие ужасы. Не вижу никакого средства, ни строгого, ни кроткого, отвратить зло.

(Входит Махивель)

Правительница. Готовы ли письма к королю?

Махивель. Через час я представлю их вам для подписания.

Правительница. Обстоятельно ли описал ты происшествия?

Махивель. Подробно и обстоятельно, как любит король. Рассказываю, как сперва в С. Омене открылся гнусный замысел истребить иконы; как бешеные толпы с палками, топорами, молотами, лестницами, веревками, сопровождаемые немногими вооруженными людьми, нападали на часовни, на церкви и монастыри, разгоняли молещиков, выламывали ворота, опрокидывали алтари, разбивали святые лики, обдирали иконы, ловили, рвали, топтали все, принадлежащее к святыне; как между тем возрастало число бунтующих, и жители Иперна открыли им ворота города; как они с невероятной быстротою опустошили соборную церковь и сожгли библиотеку епископа; как потом многочисленная толпа народа, влекомая тем же безумием, устремилась на Менин, Коминес, Фервик, Лилль, нигде не встречая сопротивления, и как в одно мгновение почти во всей Фландрии обнаружился и исполнился ужаснейший заговор.

Правительница. Ах! описание твое возобновило все мое горе! К тому же мучит меня и страх, что зло будет возрастать более и более. Скажи, Махивель, что ты думаешь?

Махивель. Извините, ваше высочество: мои мысли так похожи на бред. Вы всегда были довольны моими услугами, но весьма редко следовали моим со-

ветам. Часто говорили вы мне в шутку: «Ты слишком смотришь вдаль, Махнавель. Тебе быть бы историком. Кто действует, тот заботится только о настоящем». И что ж? Не предвидел ли я, не предсказывал ли всех этих ужасов?

Правительница. Я тоже многое предвижу и не нахожу способа отвратить зло.

Махнавель. Одним словом: вам не подавить нового учения. Не гоните его приверженцев, отделите их от правоверных, дайте им церкви, примите их в число граждан, ограничьте права их, и таким образом вы одним разом усмирите возмутителей. Все прочие средства будут напрасны, и вы без пользы опустошите землю.

Правительница. Разве ты забыл, в какое негодование привел брата моего один вопрос: можно ли терпеть новое учение? Ты знаешь, что он в каждом письме поручает мне всеми силами поддерживать истинное вероисповедание? Что он не хочет приобрести спокойствие и согласие на счет религии. Разве в провинциях у него нет шпионов, которых мы совсем не знаем, и которые разыскивают, кто именно склоняется к новым мнениям? Не изумлял ли он нас часто, открывая нам внезапно, что люди, к нам близкие, тайно приставали к ереси? Не приказывал ли он мне быть строгою, непреклонною? — А я буду употреблять меры кротости? Я буду советовать ему терпеть, миловать? Не лучший ли это способ лишиться его доверенности?

Махнавель. Я очень знаю, король приказывает, король сообщает вам свои намерения. Вы должны восстановить мир и тишину такими средствами, которые еще более ожесточат умы и зажгут неизбежно войну повсеместную. Подумайте о том, что вы делаете. Купечество заражено; дворянство, народ, солдаты — также. К чему упорствовать в своих мыслях, когда все вокруг нас изменяется? Ах! если бы добрый гений шепнул Филиппу, что королю приличнее управ-

лять подданными двух различных вероисповеданий, нежели одну половину царства истреблять другую!

Правительница. Вперед чтоб я этого не слышала. Я знаю, что политика редко согласуется с правилами веры и честности, что она изгоняет из сердца откровенность, добродушие и кротость. Дела светские, к несчастью, слишком ясно доказывают эту истину. Но неужели мы должны играть богом, как играем друг другом? Неужели мы должны быть равнодушны к истинному учению предков, за которое столь многие жертвовали жизнью? И это учение променяем мы на чужие, северные нововведения, которые сами себе противоречат?

Махиабель. По этим словам не сомневайтесь в моих правилах.

Правительница. Я знаю тебя, знаю твою верность, и знаю, что человек может быть и честен, и благоразумен, забывая иногда ближайшую дорогу ко спасению души своей. Не ты один, Махиабель, есть еще и другие, которых я должна любить и почитать.

Махиабель. На кого намекаете вы мне?

Правительница. Признаюсь тебе, Эгмонт чрезвычайно огорчил меня сегодня.

Махиабель. Чем же?

Правительница. Чем? Обыкновенно чем: своею холодностью, своим легкомыслием. Я получила ужасное известие в то самое время, как выходила из церкви, сопровождаемая многими и в том числе Эгмонтом. Я не могла владеть своею печалью, не могла скрыть ее и громко сказала, обращаясь к нему: вот что происходит в вашей провинции! и вы это терпите, граф! вы, на которого король полагал всю свою надежду?

Махиабель. И что же отвечал он?

Правительница. Он отвечал мне, как будто бы я говорила о безделице, о деле постороннем. — Лишь бы нидерландцы не боялись за свои права, все прочее придет само собою в порядок.

Махнавелъ. Быть может, в этих словах более истины, нежели приличия и благочестия. Может ли существовать доверенность, когда нидерландец видит, что дело идет более об его имуществе, нежели об истинном его благе, о спасении души его? Все эти новые епископы спасли ли столько душ, сколько ограбили жителей? Не все ли почти они иноземцы? По спеху пор места штатгальтерские заняты еще нидерландцами, но не ясно ли видно, что ненасытные испанцы алкают завладеть сими местами? Не лучше ли народу видеть в правителе своего же соотечественника, верного родным обычаям, или иноземца, который наперед старается разбогатеть на счет других, все мерит своим чужестранным аршином и господствует без приязни, без участия к своим подданным?

Правительница. Ты стоишь за наших противников.

Махнавелъ. Нет! по сердцу, конечно, не за них. Я бы желал, чтоб и рассудок был совершенно за нас.

Правительница. Если так, то мне бы должно уступить им правление. Эгмонт и Оранский очень тешились надеждою занять мое место. Тогда были они противники; теперь они заодно против меня; они стали друзья, друзья неразрывные.

Махнавелъ. И друзья опасные.

Правительница. Сказать тебе откровенно? Я боюсь Оранского и боюсь за Эгмонта. Недоброе замышляет Оранский; мысли его всегда устремлены вдаль; он скрытен, на все, кажется, согласен, никогда не противоречит и с видом глубокой почтительности, с величайшей осторожностью всегда делает все, что хочет.

Махнавелъ. Эгмонт, напротив, действует свободно, как будто бы весь мир ему принадлежит.

Правительница. Он так высоко носит голову, как будто бы не впсела над ним рука царская.

Махнавелъ. Внимание всего народа обращено на него: он покорила себе сердца всех,

Правительница. Никогда не боялся он навлечь на себя подозрение, как будто уже некому требовать от него отчета. До сих пор носит он имя Эгмонта; ему приятно называться Эгмонтом, как будто не хочет забыть, что предки его были владельцами Гельдерна. Зачем не называется он принцем Гаврским, как ему следует? Зачем это? Или он хочет восстановить права забытые?

Махивель. Я считаю его верным слугою короля.

Правительница. О! если б он только хотел, как легко мог бы он заслужить благодарность правительства, вместо того, чтобы так часто огорчать нас до крайности без всякой собственной пользы. Его сборища, его пиры и празднества связали, сроднили дворян между собой теснее, нежели опаснейшие тайные общества. Вино, которое лилось у него за здравие, надолго вскружило головы гостям, и пары его никогда не рассеются. Как часто своими шутками приводил он в движение умы народа, и мало ли удивлялась толпа новым его ливреям и нелепым одеждам его прислужников?

Махивель. Я уверен, что все это было без намерения.

Правительница. Это и несчастно. Опять вторю: он нам вредит, а себе пользы не приносит. Он дела важные почитает шутками, а мы, чтоб не казаться праздными и слабыми, мы должны самые шутки считать делами важными. Таким образом одно возбуждает другое, и то, что стараешься отвратить, то именно делается неизбежным. Он опаснее, нежели пной решительный глава заговора. И я почти уверена, что при дворе уже во всем его подозревали. Признаюсь откровенно: мало проходит времени, чтоб он меня не огорчал до крайности.

Махивель. Мне кажется, он во всем действует по своей совести.

Правительница. Совесть его все показывает ему в зеркале обманчивом. Поведение его часто обидно,

Он часто ведет себя как человек, который совершенно уверен в превосходстве своей силы, и только из снисхождения не дает нам се чувствовать, не хочет прямо выгнать нас из государства, и потому старается все сладить мирным образом.

Махнавелъ. Нет! его искренность, его счастливый характер, который легко судит о самых важных делах, не так опасны, как вы воображаете. Вы этим только вредите и ему, и себе.

Правительница. Я ничего не воображаю. Говорю только о следствиях неизбежных, и знаю его. Звание нидерландского дворянина, орден Золотого Руна на груди, — вот что усиливает его самоуверенность, его смелость. Оба сии преимущества могут служить ему защитой против прихоти и гнева царя. Разбери внимательно: не он ли один виновник всех несчастий, которые теперь постигли Фландрию? Он с самого начала не преследовал лжеучителей, не обращал на них внимания; он, быть может, тайно и радовался, что нам готовятся новые заботы. Постой, постой: все, что лежит на сердце, все вылью я наружу при этом случае. Не даром пушу я стрелу; я знаю его слабую сторону, и он умеет чувствовать.

Махнавелъ. Созвали ли вы совет? Будет ли и Оранский?

Правительница. Я послала за ним в Антверпен. Сложу, сложу на их плечи все бремя отчета; пусть они вместе со мною деятельно воспротивятся злу или также подымут знамя возмущения. Иди, докопчи скорее письма, и я подпишу их; тогда ты немедленно отправишь Васку в Мадрид; Васка на деле доказал свою неутомимость, свою преданность. Пусть брат мой через него получит фландрские известия, прежде нежели они дойдут до него молвою. Я сама хочу видеть его до его отъезда.

Махнавелъ. Ваши приказания будут исполнены скоро и точно.

МЕЩАНСКИЙ ДОМ

Клара, мать ее, Бракенбург.

Клара. Что же, Бракенбург? ты не хочешь подержать мне моток?

Бракенбург. Пожалуйста избавь меня от этого, милая Клара.

Клара. Что с ним опять сделалось? за что отказывать мне в маленькой услуге, когда прошу тебя из дружбы?

Бракенбург. Я как вкопанный должен стоять перед тобой с питками так, что от взглядов твоих нет спасенья.

Клара. Экой бред! держи, держи.

Мать (*сидя в кресле и продолжая вязать чулок*). Спойте же что-нибудь. Бракенбург так мило подпекает. Бывало, вы всегда так веселы, и мне всегда есть чему посмеяться.

Бракенбург. Бывало.

Клара. Ну, давай петь.

Бракенбург. Что хочешь?

Клара. Но только живее. Споем солдатскую песенку, мою любимую. (*Она мотает нитки и поет вместе с Бракенбургом*).

Стучат барабаны,
Свисток заиграл;
С дружиною бранной
Мой друг поскакал!
Он скачет, качает
Большое копьё...
С ним сердце мое!..
Ах, что я не воин!
Что нет у меня
Копья и коня!
За ним бы помчалась,
В далеки края,
И с ним бы сражалась
Без трепета я!
Враги п шатнулись
За ними вослед...
Пощады им нет!..
О, смелый мужчина!
Кто равен тебе
В счастливой судьбе!

(Бракенбург в продолжение песни несколько раз взглядывал на Клару. Наконец голос его задрожал, глаза залились слезами; он роняет моток и подходит к окошку. Клара одна допевает песню. Мать с досадою делает ей знак; она встает, приближается на несколько шагов к Бракенбургу, но возвращается в нерешимости и садится)

Мать. Что там за шум на улице, Бракенбург? Мне слышится, будто идут войска.

Бракенбург. Лейб-гвардия правительницы.

Клара. В эту пору! Что это значит? Нет! это не всedневное число солдат; тут их гораздо больше! Почти все полки. Ах, Бракенбург! поди послушай, что там делается. Верно что-нибудь необыкновенное. Поди, мой милый; поди, пожалуйста.

Бракенбург. Иду и тотчас ворочусь. *(Уходя протягивает ей руку, она подает ему свою).*

Мать. Ты опять его отсылаешь?

Клара. Я любопытна. И притом, признаюсь вам, меня мучит его присутствие. Я не знаю, как с ним обращаться. Я перед ним виновата, и мне больно видеть, что он это так живо чувствует. А мне что делать? как беде помочь?

Мать. Он такой верный малой.

Клара. Я также не могу отвыкнуть дружески встречать его. Рука моя сама собою сжимается, когда он тихо кладет в нее свою руку. Я сама браню себя за то, что его обманываю, что питаю в сердце его надежду напрасную. Мученье мне, мученье! Клянусь богом, я его не обманываю, я не хочу, чтоб он надеялся, и не могу, однакож, видеть его в отчаянии.

Мать. Не хорошо, не хорошо.

Клара. Я любила его и по сих пор желаю ему добра от всей души. Я бы согласилась выйти за него замуж, а кажется никогда влюблена в него не была.

Мать. Ты могла бы с ним быть счастлива.

Клара. То есть без забот, могла бы жить покойно.

Мать. И все это прогуляла ты по своей собственной вине.

К л а р а. Я нахожусь в странном положении. Когда мне придет в голову спросить себя, как все это сделалось; я хоть и знаю, да не понимаю, а взгляну только на Эгмонта — и все становится мне понятным. Ох! при нем для меня и не это одно понятно. Что за человек! Он бог в глазах всех провинций; а мне в объятиях его не считаться счастливейшим созданием в мире!

М а т ь. Что-то готовит будущее?

К л а р а. Ах! у меня только одна забота: любит ли он меня. А мне ли это спрашивать?

М а т ь. От детей только и наживешь что хлопот, да горе. Чем это-то кончится? Все тоска, да тоска. Нет! не добром это кончится! Ты и себя и меня сделала несчастною.

К л а р а (*хладнокровно*). Сначала вы сами позволяли.

М а т ь. К несчастью я была слишком добра, я всегда слишком добра.

К л а р а. Когда бывало Эгмонт едет мимо нас, а я побегу к окну, бравили ли вы меня? Не подходили ли сами к окну? И когда он смотрел на нас, улыбался, махал мне рукою и кланялся, гневались ли вы? Не сами ли радовались, что дочка дождала до такой чести?

М а т ь. Упрекай еще, мне кетати.

К л а р а (*с чувством*). Когда он стал чаще проезжать нашей улицей и мы очень чувствовали, что он это делал для меня, не сами ли вы это заметили с тайной радостью? Вы не запрещали мне стоять у окна и поджидать его.

М а т ь. Могла ли я думать, что шалость завлечет тебя так далеко.

К л а р а (*дрожащим голосом, но удерживая слезы*). А помните, вечером, как он вдруг явился весь закутан в эпанче и застал нас за столом у почника: кто принял его, когда я сидела без памяти, и как бы прикованная к стулу?

М а т ь. Могла ли я бояться, что умная моя Клара так скоро предается этой несчастной любви? Теперь должно терпеть, чтобы дочь моя...

К л а р а (*заливаясь слезами*). Матушка! Вы хотите терзать меня! вы радуетесь моему мучению.

М а т ь (*плачет*). Плачь еще, плачь! Огорчай меня еще более своим отчаянием! И так уж мне тоски довольно. И так довольно прискорбно видеть, что дочь моя, дочь единственная, всеми отвержена.

К л а р а (*вставая и холодно*). Отвержена! любовница Эгмонтова отвержена! Какая женщина не позабудет участи бедной Клары! Ах, матушка, любезная матушка! вы никогда так не говорили. Успокойтесь, матушка, примиритесь со мною... Что говорит народ? Что шепчут соседки?.. Нет! эта комнатка, этот домик — они стали раем с тех пор, как обитает в них любовь Эгмонтова.

М а т ь. Его нельзя не любить. Это правда. Он всегда так приветлив, так открыт и свободен.

К л а р а. В его жилах нет ни капли нечистой крови. Подумайте сами, матушка. Эгмонт велик и славен; а когда ко мне придет — он так мил, так добросердечен. Он всем бы мне пожертвовал — и чином своим и храбростию. Он мною так занят! Он тут просто человек, просто друг, ах! просто любовник.

М а т ь. Сегодня будет ли он?

К л а р а. Разве вы не заметили, как я часто подбегаю к окошку? Как вслушиваюсь, когда что-нибудь зашумит за дверью? Хотя и знаю я, что он до ночи не приходит, однако ж всякую минуту жду его с самого утра — как только встану. Зачем я не мальчик? Я всегда бы с ним ходила — и при дворе и везде! И в сражении я понесла бы за ним знамя.

М а т ь. Ты всегда была вертушкой. Бывало еще ребенком, то резва без памяти, то задумчива. Неужели ты не оденешься немного лучше?

К л а р а. Может статься, матушка. Если мне будет скучно, то оденусь. Вчера — подумайте — прошло несколько из его солдатов: они пели ему похвальные песни. По крайней мере, они в песнях помпнали его имя; прочего я не поняла. Сердце у меня так и рва-

дось из груди; и если бы не стыд остановил, я бы охотно их воротила.

Мать. Смотри, остерегайся. Твое пламенное сердце тебя погубит. Ты явно изобличаешь себя перед честными людьми. Как наемни у дяди — увидела картинку с описанием и вдруг закричала: «граф Эгмонт!» Я вся покраснела.

Клара. Как мне не вскрикнуть! Это было Гравелингенское сражение! Вверху на картинке вижу букву С; иду С в описании, и что же? там написано: «Граф Эгмонт, под которым убита лошадь». Я обмерла, но потом невольно рассмеялась, как увидела напечатанного Эгмонта, который ростом с башню Гравелингенскую и не меньше английских кораблей, представленных в стороне. Когда я вспомню, как бывало я представляла себе сражение, и как воображала себе графа Эгмонта в то время, как вы рассказывали о нем и прочих графах и князьях; когда вспомню и сравню эти картины с нынешними своими чувствами... (*Бракенбург входит*).

Клара. Что нового?

Бракенбург. Никто ничего не знает верного. Говорят, что во Фландрии было недавно возмущение, и что правительница должна смотреть, как бы и здесь оно не распространилось. Замок окружен войсками; у ворот толпятся граждане; улицы кипят народом. Поспешу к старику своему, к отцу. (*Будто хочет идти*).

Клара. Завтра увидим тебя? Я хочу немного лучше одеться. К нам будет дядя, а я так неопрятна. Матушка, помогите мне на минуту. Возьми с собою книгу, Бракенбург, и принеси мне еще такую же повесть.

Мать. Прощай.

Бракенбург (*подавая руку Кларе*). Ручку.

Клара (*отказываясь*). Когда воротись. (*Мать уходит с дочерью*).

Бракенбург (*один*). Решился тотчас же идти; но она на это согласна, она равнодушно отпускает,

и я готов взбеситься. Несчастный! И тебя не трогает судьба отечества! Ты хладнокровно видишь возрастающий мятеж! Для тебя все равно, что испанец, что земляк, что власть, что право? Таков ли я был мальчиком в училище? Когда нам задали написать «речь Брута о свободе, для упражнения в красноречии» кто был первый, как не Фриц! и что же сказал ректор? — «Если бы только больше было порядка, да не так все перемешано». Тогда сердце кипело и рвалось. Теперь волочусь за этой девушкой, как будто прикован к глазам ее. И не могу ее оставить! И не может она любить меня. Ах! нет! и не совсем она меня разлюбила! Как не совсем? Нисколько, нисколько не разлюбила! Она все та же... И все пустое. Долею не стерплю, не могу терпеть. Или поверить тому, что шепнул мне на-днях приятель? — что она ночью впускает к себе мужчину, она, которая всегда выгоняет меня из дому, как только начнет смеркаться. Нет! это ложь, ложь постыдная, проклятая. Клара моя так же невинна, как я несчастлив. Она разлюбила меня; для меня нет места в ее сердце. И мне влачить такую жизнь! Я сказал, не стану, не могу терпеть долее. Отечество мое беспрерывно раздражают междоусобные войны, а я... буду смотреть, как полумертвый, на эти раздоры? Нет, я не стерплю. Когда зазвучит труба, когда раздастся выстрел, по мне пробежит холодная дрожь. И меня не тянет лететь своим на помощь, заодно с ними броситься в опасности! Несчастное, позорное состояние! Лучше умереть разом! Давно ли бросился я в воду? пошел ко дну, и что же? природа со своим страхом одержала верх, я чувствовал, что могу плыть, и спасся нехотя. Если бы мог я хоть забыть то время, в которое она меня любила, или тешила любовью! Зачем это счастье врезалось в сердце, врезалось в память? Зачем эти надежды, указывая на отдаленный рай, отравили для меня все наслаждения жизни? А первый поцелуй? Ах! первый и последний! Здесь... *(положив руку на стол)* здесь

сидели мы одни. Она всегда была ко мне ласкова. Тут показалось, что она была нежнее обыкновенного. Взглянула на меня — все около меня закружилось, и я чувствовал, что губы ее горели на моих. А теперь... теперь? Умри несчастный! к чему страх и сомненья? (*Вынимает из кармана склянку*). Не даром я украд тебя из ящика брата, доктора, яд спасительный! Ты все рассеешь: и боязнь, и сомнение, и мучительное предчувствие смерти.

ЧТО ПЕНА В СТАКАНЕ — ТО СНЫ В ГОЛОВЕ

(Гофман)

«Что пена в стакане, то сны в голове», сказал старый барон, протянувши руку к колокольчику, как бы с намерением призвать Гаспара, который обыкновенно с свечью провожал его в спальню. В самом деле, было уже поздно; холодный осенний ветер свистел в щели летнего зала; Мария сидела, вся закутавшись в шаль свою, закрывались глаза ее, и она едва могла бороться с дремотой. «Однакоже, — продолжал старик, снова отняв руку от звонка, выпятившись из кресел и облокотясь на свои колена, — однакож я помню, что в молодости имел я несколько снов, весьма удивительных».

— Ах, батюшка, — воскликнул Отмар, — какой сон не удивителен? Но не все действуют с равной силой; решительное, неоспоримое влияние имеют только те, которые предвещают какое-нибудь необыкновенное явление и, по словам Шиллера, как духи предшествуют судьбам великим, — те, которые насильственно увлекают нас в темное таинственное царство, редко открытое ограниченным нашим взором.

— «Что пена в стакане — то сны в голове», — повторил барон глухим голосом.

— А я, — возразил Отмар, — я вижу разительную аллегорию и в этой пословице материалистов, которые

часто называют нелепым и невероятным то, что очень естественно, и естественным то, что подлинно заслуживает удивления.

— Охота тебе искать смысла в нелепой, изношенной пословице, — сказала, зевая, Марья. Отмар засмеялся и отвечал:

— Открой глазки и выслушай меня терпеливо. Шутки в сторону, любезная Марья, если б тебе не так хотелось спать, ты сама бы догадалась, что когда речь идет об одном из превосходнейших явлений в жизни человеческой, т. е. сновидениях, то при сравнении его с пеною должно разуместь пену в самом благородном смысле этого слова. Само собою разумеется, что здесь говорится об игривой, шипучей и кипящей пене шампанского, о такой пене, которую и ты, как я приметил, любишь слизывать, несмотря на то, что презираешь сок виноградный, как и должно красной девушке.

Взгляни на эти тысячи пузырьков, которые поднимаются как жемчужины и пеною играют на краях бокала; это духи, которые терпеливо рвутся от земных оков; таким образом в пене живет и движется высшее духовное начало, которое, освобождаясь от бремени вещественного, быстро несется на крыльях в далекое для нас всех, заветное царство неба, радостно беседует с родными высшими духами и, как в знакомую стихию, углубляется в мир самых удивительных явлений. Так, может быть, и сновидения рождаются и из этой пены, из коей свободно и весело вылетает дух наш в то время, как сон стесняет нашу жизнь внешнюю и мы пробуждаемся к жизни высшей, внутренней, в которой не только предчувствуем, но действительно познаем все явления отдаленного мира духов и уносимся за пределы времени и пространства.

— Мне кажется, — прервал его старый барон, как бы насильно отрываясь от томившего его воспоминания, — мне кажется, когда я тебя слушаю, что слышу твоего друга Альбана. А вы оба знаете, что — я непре-

клонный ваш противник. Все, что ты говорил теперь, хорошо сказано и могло бы очень нравиться многим чувствительным или, лучше сказать, сентиментальным душам; но оно односторонне и потому уже несправедливо. Если верить тому, что ты бредил о сообщении с миром духов, и чего уж я не помню, то надобно бы полагать, что сношения переносят человека в самое счастливое положение; напротив, все сношения, которые я называю замечательными потому только, что доставил им некоторое влияние на жизнь мою, а случаем называю стечение обстоятельств, совсем не сходных между собою, но которые нечаянно соединились в одно общее явление — все эти сны, говорю я, были неприятны, мучительны, так что иногда я занемогал, хотя и не любил в них углубляться, потому что тогда еще не было в моде гоняться за всем тем, что природа премудро от нас удалила.

— Вы знаете, батюшка, — возразил Отмар, — как я думаю вместе с другом моим Альбаном о том, что вы называете случаем, стечением обстоятельств и другими подобными именами. Что же касается до этой моды во все углубляться, то вспомните, батюшка, что эта мода очень стара, потому что основана в самой природе человеческой. Ученки в Сапсе...

— Остановись! — воскликнул барон: — теперь не время углубляться в разговор, который тем более избегаю, что я сегодня совсем не расположен бороться с твоим пламенным энтузиазмом к чудесному. Признаюсь откровенно, что сегодня, 9 сентября, меня преследует воспоминание, которое относится к летам моей молодости и от которого я избавиться не могу; если рассказать вам странное приключение, то Отмар верно бы вывел из него доказательство, каким образом сновидение, странным образом, но тесно связанное с действительностью, имело на меня самое злое влияние.

— Быть может, любезный батюшка, вы доставите случай Альбану и мне умножить различные опыты, кото-

рые подтверждают новейшую теорию влияния магнетизма, основанную на наблюдении сна и его видений...

— Одно слово «магнетизм» приводит меня в трепет, — возразил с досадою барон, — впрочем... всякий думает по-своему, и ваше счастье, если природа терпит, чтобы вы блудными руками дергали ее покрывало, и не наказывает любопытства уничтоженнем любопытных.

— Любезный батюшка, — возразил Отмар, — мы не будем спорить о предметах, которые зависят единственно от убеждения, но неужели вы не можете сообщить нам этого воспоминания о вашей молодости.

Барон сел глубже в кресло, прижался к спинке, поднял кверху вдохновенный взгляд, что он обыкновенно делал, когда был внутренно растроган, и так начал он рассказ свой:

— Вы знаете, что я получил военное образование в Берлинской рыцарской академии. В числе там определенных учителей находился человек, который для меня останется навсегда незабвенным; по сих пор не могу думать о нем без внутреннего содрогания, и часто мне кажется, что он, в виде призрака, вступит в двери. Необыкновенно высокий рост тем более был разительен, что он был худощав и сложен как бы из одних мускулов и нервов; в молодости, вероятно, был он хорош собою; ибо по сих пор едва ли можно было выдержать пламенный взгляд больших черных очей его; за пятьдесят лет от роду имел он еще силу и ловкость юноши; все движения его были быстры и решительны. На рапирах (на эспадронах) рубил ли, колол ли, он равно побеждал самых искусных, и самую дикую лошадь сжимал он так, что она под ним ржала. Он прежде был майором в датской службе, но, как говорили, он принужден был бежать из Дании, потому что в дуэле убил своего генерала. Некоторые уверяют, что это случилось не в дуэле, но что, за обидное слово, он проколол его шпагой, не дав ему

времени защищаться. Словом, он точно бежал из Дании и был определен с чином майора к рыцарской академии, где он преподавал фортификацию в высшем классе. Он был вспыльчив до крайности; одно слово, один взгляд могли его привести в состояние бешенства; воспитанников наказывал он с самой утопченной жестокостью и при всем том все были к нему привязаны непонятным образом. Напр[имер], вопреки порядку и правилам учрежденным, он так сурово поступил с одним [из] воспитанников, что начальство за него вступилось и предало майора суду; но этот самый воспитанник слагал всю вину на себя, и с таким жаром защищал его, что он был оправдан. Случались дни, в которые он сам на себя не походил. Суровый, глухой голос его делался иногда удивительно благозвучен, а взгляд так привлекателен, что от него нельзя было оторваться. Он становился тогда и мягкосердечен, прощал все незначущие ошибки; а если тому или другому, за какой-нибудь отличный поступок, пожмет бывало руку, то этот знак одобрения, как бы непреложная сила волшебства, покорял ему душу молодого человека; так что если б он послал его на самую мучительную смерть, тот бы тотчас исполнил его повеление.

После таких дней, обыкновенно, воспоследовала ужасная буря, от которой всякий старался укрыться. Тогда, чуть только заря, а он уже надевал красный датский мундир свой, и целый день без отдыха, зимою, как летом, бежал огромными шагами по большому саду, который примыкал к главному зданию рыцарской академии. Страшным голосом говорил он на датском языке и сопровождал речи свои самыми сильными телодвижениями — облажит шпагу — сражается, как будто с могучим противником, нападает, защищается, наконец рассчитывает удар решительный и низвергает своего противника, тут раздаются ужасные ругательства и проклятия, он стучит ногами об землю, как [бы] растаптывая труп убитого. Тотчас после этого

начинал он бегать с невероятною быстротою, влезал на самые высокие деревья и сверху так язвительно хохотал, что все было слышно в комнатах, и у нас кровь замерзала в жилах. Обыкновенно проводил он в таком бешенстве целые сутки, и замечательно было, что в равнодушие всегда случался с ним подобный припадок. На другой день казалось, что он не имел ни малейшего понятия о том, что с ним происходило накануне, примечали только, что он был нетерпеливее, вспыльчивей, суровее обыкновенного, что продолжалось до тех пор, пока он вновь успокаивался духом. Не знаю, откуда взялись странные нелепые слухи о нем, которые носились между прислужниками академии, и даже в городе между простым народом. Уверяли, что он заговаривает огонь, исцеляет болезни возложением рук и даже одним взглядом, и я точно помню, что он однажды отбивался палкою от людей, которые решительно уверяли, что исцелены им этим страшным образом. Старый инвалид, который служил мне, говорил, бывало, открыто, что он [очень] знает чудесные приключения г. майора, что за несколько лет на море в сильную бурю явился ему лукавый враг, обещал спасение от неизбежной смерти и сверхъестественную силу творить чудеса, что он согласился на предложение и предался лукавому; с тех пор часто должен он вступать в ужасную борьбу с лукавым, которого видели бегающего по саду в виде черной собаки, или под образом другого чудовищного зверя; но рано или поздно, непременно погибнет майор страшною смертию. Подобные рассказы казались мне и тогда безумными и нелепыми; но при всем том я не мог защититься от какого-то внутреннего ужаса; и вот за особенную склонность, которую майор имел ко мне преимущественно перед прочими, и я платил ему искренней привязанностью; однакож, в то чувство, которое поселил во мне этот человек необыкновенный, входило что-то исполненное, что беспрерывно меня преследовало и чего я объяснить себе не мог.

Как бы высшее существо понуждало меня привязаться к этому человеку, и мне казалось, что, если бы я мог перестать любить его на одно мгновение, это мгновение было бы для меня убийственным. Если присутствие его имело для меня что-то приятно[е], то это чувство сопровождалось каким-то мучительным страхом и чувством непреодолимого принуждения, которое самым неестественным образом напрягало силы мои и приводило меня в трепет. Когда он был со мною особенно ласков и, как он обыкновенно делал в таком случае, сильно устремлял на меня взгляды, крепко жал руку, рассказывал разные чудесные повести, и если это продолжалось довольно долго, то я изнемогал под силою его впечатлений и чувствовал себя больным, расслабленным до крайности. Я умолчу о разных странных положениях, в которых я находился с другом моим, даже в то время, когда он принимал участие в моих детских играх и прилежно помогал мне строить крепость, которую я начал в саду, по строжайшим правилам фортификации — приступаю к главному происшествию.

В сентябре месяце, если я точно помню, в ночь от 8 на 9-е, в 17... году видел я во сне так живо, как бы наяву, что майор тихонько отворил мою дверь, медленно подошел к моей постели, с ужасной силою устремил на меня глубокие черные глаза свои и положил руку мне на лоб, и прикрыв немного глаза мои, так, однако, что я мог его видеть перед собою. И стена — мне было душно и страшно. Тут сказал он мне глухим голосом: несчастное дитя человеческое, познаний твоего владык[у], напрасно извиваешься ты, из рабства не выползешь, ты не свергнешь моего ига! Я — бог твой, вижу насквозь твою внутренность, все что ты прежде в ней скрывал, все что вперед скрыть захочешь — обнажено передо мною и в полном свете. Чтоб не дерзал ты, о, червь земной, сомневаться в силе моей над тобою, я видимым образом хочу проникнуть в самое тайное хранилище твоих мыслей.

В ту же минуту увидел я в руке его острую раскаленную иглу, которой проткнул он мой череп. Я вскрикнул от ужаса и проснулся, обливаясь потом и почти без памяти. Наконец, пришел я в себя, но комната была наполнена густым тяжелым воздухом, и мне казалось, что я издали слышу голос майора, который несколько раз звал меня своим именем. Я почел это действительным ужасным сном, и выпрыгнул из постели, чтобы открыть окно и отдохнуть на свежем воздухе. Но какой ужас овладел мною, когда, при полном месяце, я увидел, что майор, в красном своем мундире, так, как [он] представился мне во сне, шел по большой аллее к решеточным воротам, которые вели в поле; отворил их, вышел и захлопнул так крепко, что все застучало — и верси, и затворы, и стук громко раздавался в тихой ночи. Что это значит? зачем ночью идет майор в поле? — думал я про себя, мучительная робость стеснила мне дыхание, какая-то непреодолимая сила понудила меня одеться и разбудить доброго нашего инспектора, почтенного семидесятилетнего старца, единственного человека, которого майор в самом сильном пароксизме болел и щадил, и рассказал все, что случилось со мною и во сне и наяву. Старик слушал очень внимательно и сказал мне, что и он слышал сильный стук ворот, но подумал, что это был ложный сон, что во всяком случае с майором могло что-нибудь случиться, и потому не худо справиться обо всем в его комнате. Ударили в звонок; воспитанники и учителя пробудились, и мы пошли со свечами по длинному коридору к комнате майора.

Дверь была заперта, и тщетные усилия отворить ее ключом убедили нас, что она держалась внутри на затворах. Другая дверь — единственный выход из комнаты...¹

¹ На этом рукопись Д. Веневитинова обрывается; см. примечания. *Ред.*

НЕЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК

Действующие лица

Александр	Адольф — поэт
Цедилля	Ипполит — музыкант
Луиза	Дюваль — живописец
Жюльета	Казимир — учитель танцев
Евгения	

Сцена I

Адольф (*один, ходит взад и вперед по комнате и борюочет стихи*).

Да, да, я был влюблен в тебя, прелестную Лауру,
На небе чистом ты подобна метеору.
Ты направляла ум мой при желании
С долины Кашмира до лесов Бразилии.

Вот что значит написать на удачную рифму, она
тотчас же порождает мысль. (*Он повторяет те же
стихи*).

Сцена II

Адольф, Александр.

Александр (*вбегая*). Сударь!..

Адольф. Тише, тише...

Александр. Г-н Адольф!

Адольф. Мой милый, вы меня тревожите очень
некстати, мне некогда.

Александр. Но, сударь, знаете ли вы, что сего-
дня день рождения матушки?

Адольф. Разумеется. Еще бы не знать. А для чего
(чорт возьми) я не спал всю ночь и почему готовил
стихи в течение целой недели? Смотрите, смотрите
ближе и только посчитайте строфы, это ужасно.

Александр. Что? Неужели все это для нее?

Адольф. Что ж тут удивительного? Можно ли
достаточно воспевать ее?

Александр. Но, сударь, подумайте, она никогда
не будет в состоянии прочесть все это.

А доль ф. Что ж из этого? Мы, поэты, пишем не для того, чтобы нас читали. Мы пишем, потому что не можем поступать иначе. Когда воды потока вздуты бурей, они должны выступить из берегов и затопить окрестность, и когда дело касается поэзии, я тоже выхожу из берегов, и тогда остерегайтесь наводнения. Но оставьте меня, мой милый, вы и без того уже заставили меня потерять много рифм.

Александр. Я не без причины вас искал. Я надеялся, что вы поможете мне в моих планах.

А доль ф. В каких планах? Скажите в чем дело, мой друг?

Александр. Дело в том, что надо приготовить к сегодняшнему дню маленький праздник.

А доль ф. Bravo, bravo, молодой человек, вот прелестная мысль. Да, да, праздник. Подождите, мы сумеем наполнить этот день.

Александр. Что у вас там такое?

А доль ф. Всего понемногу, как сказал бы добрый Лафонтен. Вот несколько комедий, вот чувствительные драмы, одна из них очень подходит к данному случаю. Вот даже трагедия, заимствованная из *maris des Mandingues*.

Александр. Нет, сударь, ничего трагического для сегодняшнего дня.

А доль ф. Напротив, пьеса была бы недурна, и развязка вполне счастливая.

Александр. Но это не подходит. Сегодня надо веселиться и признаться — если б мне пришлось играть в трагедии, то я не был бы в настроении.

А доль ф. Ага. А дитя Кашемира? Какие характеры в этой пьесе и как переносишься под чудное небо Азии!

Александр. Нет, нет, ничего этого не надо. Было бы к тому же слишком трудно поставить все это в один день. Нам нужно маленькое *impromptu*, мы хотим играть без претензий.

А доль ф. Да, без всяких претензий. У меня их нет, и если моя пьеса не будет иметь успеха, я первый буду смеяться.

Александр. Я уже пригласил всех наших соседок. Вы ведь знаете, с каким удовольствием они примут участие в нашем празднике.

Адольф. Прекрасно! Как только они появятся, мы распределим роли, я ни минуты не заставлю их ждать, я здесь найду что-нибудь уже готовое.

Александр. Я просил г-д Ипполита, Дюваля и Казимира прибыть сюда к 9-и часам, так как желаю, чтобы участвовали все наши друзья.

Адольф. Но, спрашиваю вас, что вы собираетесь делать с этими людьми? Они ничего в этом не понимают и только испортят дело.

Александр. О, нет, г-н Адольф! Вы напрасно предубеждены против этих господ; они будут стараться.

Адольф. Но их старания хуже всего! Вы не можете себе представить, насколько эти субъекты могут испортить поэзию и все истинно прекрасное. Этот г-н Ипполит очень добродушен, но он иступленный музыкант, голова его полна только Моцартом, и горе нашим ушам, если он к нам примкнет, тогда музыка будет без конца. А другой, г-н Дюваль. Я ничего не имею против него, несмотря на наш злополучный спор по поводу поэзии и живописи, но предвижу, что он захочет показать нам свое искусство. А что касается г-на Казимира, то вся его жизнь только в ногах.

Александр. Это очень понятно, ведь он ногами зарабатывает себе хлеб.

Адольф. Нет, нет, я ничего не предвижу хорошего из этого собрания. Послушайте, что-то там жужжит — это верно он! Неужели нельзя существовать без пения?

Сцена III

Те же и Ипполит.

Ипполит. Да, сударь, поёшь, когда есть что вос- петь прекрасное. Здравствуйте, любезный Александр. Вы меня ждали, не правда ли?

Александр. С нетерпением. Мне, впрочем, нужно вам сказать всего два слова. Вы знаете...

Исполнит. Я все знаю, держу пари, что догадался и вы увидите, что я не потерял даром время. Вот, сударь, посмотрите сюда — я приготовил 2 оперы, 5 антрактов, 3 симфонии, 4 кантаты. *(Он приносит большой пакет партитур)*.

Александр. Бедная моя матушка! Что ей делать со всем этим?

Адольф. А я, вы думаете, отстал от других? Пересмотрите этот пакет. Здесь драмы, а вот трагедии, тут отдельные сцены.

Александр. Боже мой, они хотят убить мою бедную матушку. Господи, неужели нужно столько траты энергии, чтобы выразить ей наши чувства?

Исполнит. Послушайте, г-н Александр, вы говорите чрезвычайно разумно. Вы человек чувствительный, и я уверен, что из вас выйдет со временем прекрасный музыкант. Вы тогда поймете, что только музыка может выразить то, что мы чувствуем в глубине души.

Адольф. Не сердитесь, милостивый государь, он бы это сказал, если бы учился одной музыке или, что то же самое, вздору. Но я надеюсь, несмотря на ваше влияние, вложить в эту голову немного поэзии.

Исполнит. Послушайте, г-н Адольф, чтобы судить здраво, надо быть беспристрастным.

Адольф. Каким образом?

Исполнит. Каким образом? Очень просто. Надо отдавать справедливость всем отраслям искусства. Например, я признаюсь не краснея, что мы музыканты очутились бы в большом затруднении, сочиняя оперу без слов. Необходимо, чтобы специалист написал бы раньше так называемую поэму. Конечно, потом мы прибавляем или урезаем по нашему усмотрению, но все-таки стихи нам необходимы.

Адольф. Чорт побери тех специалистов, которые работают для ваших опер.

Исполнит. Почему же?

Адольф. Потому что они налагают на себя цепи, чего поэт никогда не должен делать, потому что соединить поэзию и музыку невозможно.

Исполнит. И все-таки они соединимы? и даже в одном лице.

Адольф. Вот еще новость!

Исполнит. Хотите доказательств?

Адольф. Ваши доказательства ничего не доказывают, так как я не верю доказательствам. Я положительно знаю, что это невозможно.

Исполнит. Терпение, мы найдем здесь чем вас убедить.

Адольф. Это невозможно! невозможно!

Сцена IV

Те же и Дюваль.

Дюваль. Тысячу, тысячу извинений, господа, что заставил вас так долго ждать, я кончал эти наброски, и мы сейчас можем приступить к работе.

Александр. Положение ухудшается.

Адольф. Позвольте вас спросить, для чего служат эти рисунки?

Дюваль. Для того, чтобы сделать одну, две, три, четыре картины. Я не забыл вас, г-н Адольф, в первой картине вы изображаете Освальда?

Адольф. Но я вас не понимаю, г-н Дюваль. Я не умею рисовать, как же вы хотите, чтобы я изобразил Освальда?

Дюваль. Тут не о живописи речь. Вы самая лучшая в мире живописец и будете фигурировать на моей картине.

Адольф. Ну, здесь все потеряли голову и вот человек, который хочет наклеить меня на свое полотно.

Дюваль. Вы не понимаете, а это так просто. Я вижу, что вы незнакомы с этим родом картин, новизна вам тем более понравится.

Александр. Я объясню вам это. Г-н Дюваль хочет выбрать сюжет.

Дюваль. Они уже выбраны.

Александр. Потом он распределит роли.

Дюваль. Это уже сделано.

Александр. Он расставит нас на сцене в разнообразных группах, таким образом и мы составим картину. Не так ли, г-н Дюваль?

Дюваль. Вы прекрасно объяснили. Для первой картины я выбрал вступление Коринны в Капитолий.

Адольф. Прекрасно, г-н Дюваль. Я непременно приму участие в ваших картинах, но так как это не спешно, то займемся некоторыми делами, с которыми надо покончить к вечеру.

Дюваль. Но мы не должны терять время.

Александр. Однако мы уже много его потеряли.

Дюваль. Сегодня день рождения хозяйки, и картины должны быть поставлены через несколько часов.

Адольф. Так это вы все приготовили для праздника хозяйки?! Ах, зачем вы раньше мне не сказали, я бы просил вас не трудиться напрасно.

Дюваль. Как напрасно? Мой труд будет достаточно вознагражден, если хозяйка соизволит посмотреть на мои картины.

Адольф. Но она этого не сделает, она не будет на них смотреть.

Дюваль. Что же помешает ей?

Адольф. Вы увидите. Мы играем сегодня вечером и нам некогда думать о ваших картинах.

Ипполит. Да, он прав, мы будем играть на клавишине и петь.

Адольф. Не слушайте его, мы играем театральную пьесу.

Дюваль. Театральную пьесу?

Ипполит. Он помешался. Я вам говорю, что должны играть музыкальную пьесу.

Дюваль. Музыкальную пьесу.

Адольф. Комедию.

Ипполит. Оперу.

Адольф. В пяти действиях.

Исполнит. В четырех, если позволите.

Адольф. Нет, в пяти, сударь.

Исполнит. Уверю вас, что в четырех.

Адольф. Мне очень нравится этот убежденный господин, который хочет урезать одно действие.

Исполнит. Посмотрим, как вы прибавите пятый акт.

Адольф. Но, говорю вам, что пьеса содержит пять действий.

Исполнит. А я настаиваю на том, что в ней их всего четыре.

Адольф. Кто может знать это лучше меня?

Исполнит. Но, сударь, я двадцать раз играл эту пьесу.

Адольф. Какой хвостун! Он играл пьесу двадцать раз, а пьеса еще совсем свеженькая, она не выходила из моего портфеля.

Исполнит. Каким образом она в него попала?

Александр. Но, господа, вы не понимаете друг друга и говорите о разных пьесах.

Исполнит (*указывал на Дюваля*). Этот господин говорил о «Женитьбе Фигаро».

Адольф. А, вот в чем дело! Если б вы прислушались, то поняли бы, что он говорил о комедии моего сочинения.

Исполнит. Вы значит глухи. (*Обращаясь к Дювалю*). Не говорили ли вы об опере?

Адольф. Не говорили ли вы о комедии?

Александр. Господа, все эти недоразумения не предвещают ничего доброго. Благодаря вашему усердию, мы ничего не сделаем сегодня для матушки. Прошу вас, оставим это.

Сцена V

Казимир с четырьмя девидами входят, танцуют.

Казимир. Безусловно бросим это. Мой привет вам, г-н Александр. Эти барышни мне сказали, что вы

готовите несколько сюрпризов для вашей матушки, и я пришел предложить вам мои услуги.

Адольф (*в сторону*). Как кстати, он может исполнить роль судьи в моей комедии.

Ипполит (*в сторону*). Как мне кажется, у проказника хороший голос. Он выступит первым басом в финале 3-го действия.

Дюваль (*в сторону*). Вот красивый мужчина, он мой. Пусть изображает Аполлона в моей картине и он привел уже мне четырех муз.

Александр. Благодарю дам за их любезность. Давайте теперь решим, господа, что лучше устроить. Только что-нибудь без претензий. Матушка снисходительна и оценит наше старание.

1-ая девица. Что касается меня, то я и сердцем и душой желала бы доставить ей удовольствие.

2-ая девица. Ее улыбка — лучшая для меня награда за усердие.

3-я девица. К сожалению, я огорчена, что не могу выразить моих к ней чувств.

4-ая девица. Будьте довольны, mesdames, она догадается о нашем желании и этого уже достаточно.

Адольф. Так как, господа, времени мало, я объявляю, что все актеры для моей пьесы теперь в сборе. Вы, Дюваль, будете играть аптекаря.

Дюваль. За это предложение я хотел бы вас самих послать в аптеку. Аполлон и музы, Коринна и Освальд — вот что, будет сегодня.

Ипполит. Я надеюсь, господа, что вы не захотите устроить мою оперу?

Казимир. А про меня-то вы забыли? Я этого не признаю. Балет, который я сочинил, должен быть исполнен сегодня, и вы, г-н Адольф, возьмите на себя роль зэфира.

Адольф. Пожалуйста, обратитесь к другим. Но я вижу, господа, что надо прибегнуть к голосованию, чтобы убедить вас в превосходстве моего искусства.

Все. Это верно, дамы голосуйте!

А доль ф. Поэзия. Кто из вас не поддержит меня, когда выслушает, например, следующие куплеты.

Дев и цы (*вместе*). Читайте их, читайте. Нам очень интересно послушать. Посмотрим, что это такое!

А доль ф. За мною дело не станет. Эти куплеты в готическом роде.

В с с. Мы их знаем, но не хвастайтесь, они не ваши.

Дев и цы. Это безразлично. Мы на вашей стороне, г-н Адольф, мы стоим за поэзию.

И п п о л и т. Как, *mesdames*, вы значит уже забыли, что автор этих стихов поет также в Танкреде и Семирамиде?

3-я дев и ц а. Когда хоть раз его услышишь, то постоянно чудится его голос. Нет, музыки, дайте нам музыки!

Дю в а л ь. Представьте себе ее в венке из анютиных глазок, со свертком в руке, прислонившуюся к колонне.

Дв е дев и цы. Да, вы правы, мы за картины.

К а з и м и р. А ваша грация, барышни, вы совсем забыли о вашей грации. Неужели для нее не будет удовольствием видеть, как вы разлетаетесь в разные стороны, соединяясь группами, чтобы опять расстаться и снова соединиться? Обещаю вам, что в моих произведениях много движения.

1-ая дев и ц а. Хорошо, я за танцы. (*Она становится рядом с Казимиром*).

А доль ф. А я уже хотел вас всех описать стихами, но вижу, что мы разошлись во мнениях. Все же я стою на своем и утверждаю, что сегодня стихи необходимы, не так ли, барышни?

1-ая дев и ц а. Да, конечно.

2-ая дев и ц а. Нет, нужны картины.

3-я дев и ц а. Почему же не музыка?

4-ая дев и ц а. Г-н Казимир прав, нужны танцы.

А лек с ан д р. Но, господа, нет ничего легче, как всех вас сейчас же помирить! Подчинитесь только моему решению.

Дев и цы. Да, господа, это было бы лучше всего, подчинимся решению Александра.

1-ая девица. Он разделяет мое мнение.

2-ая девица. Вы предпочитаете музыку, не так ли?

3-я девица. Я уверена, что он желал бы поставить картины.

4-ая девица. Не правда ли, мы будем танцевать, танцевать?

Учителя. Да будет так! Пускай он выбирает.

Адольф. Bravo! Но это лишнее, у меня уже готовы стихи и на все дни года и посмотрите, вот куплеты из моей трагедии «Прощание», которые очень подходящи к случаю.

Александр. Вы, Ипполит, подберите музыку к этим стихам.

Ипполит. Вот прекрасно. Возьмите хоть эту вещь. Она уже довольно известна, но никто не откажется снова ее выслушать.

Александр. Вы, Дюваль, поставите нас в группу для пения куплетов.

Дюваль. Великолечно. Я устрою очаровательную картину. Bravo, г-н Александр, вы — символ мира среди нас.

Казимир. А я, между тем, неужели останусь не при чем?

Александр. Нисколько. Нам нужен ваш мимический талант. Вы нас научите делать подходящие жесты.

Все учителя (вместе). Это прекрасно. Я доволен! Скорей за дело!

Адольф. Послушайте, любезный Александр, начнем с вас. Вот куплеты.

Александр. Благодарю. Мои куплеты уже готовы. Вот они, и мне не трудно их прочесть.

Адольф. Неужели они уже в его кармане? Посмотрим, что это такое, а пока я всем их раздам.

Александр. Хорошо, я попрошу дам начать.

Во время пения Дюваль расставляет действующих лиц.

**НАБРОСКИ
И
ОТРЫВКИ**

[ИЗ РУССКОГО ВОДЕВИЛЯ]

Демьян, старик (*отвечая на слова племянника Ветрона: «забудьте прошедшее и надейтесь на успех», говорит*)

Бывало, в старые года,
Когда нас азбуке учили,
Нам говорили завсегда,
Чтоб мы зады свои твердили.
Теперь все иначе идет,
И, видно, азбука другая,
Все знают свой урок вперед,
Зады нарочно забывая.

Милон (*изъявляя желание подурачиться, говорит*)

В наш век всеселие кумиром общим стало,
Все для всеселия живут,
Ему покорно дань несут
И в жизни новичок, и жизнию усталый,
И, словом, резвый бог затей
Над всеми царствует умами.
Так, не браните ж нас, детей, —
Ах, господа, судите сами:
Когда вскружился белый свет
И даже старикам уж нет
Спасенья от такой заразы,
Грешно ли нам, не старикам,
Любить затей и проказы?

Подтрунивая над своим дядюшкой, надеющимся получить долг с одного господина, который с ним ласков и любезен, у которого он живет несколько лет даром,

Ветрон говорит:

Барсòв — известный дворянин,
Живет он барином столицы:
Открытый дом, балы, певичы,
И залы, полные картин.
Но что ж? Лишь солнышко проглянет,
Лишь только он с постели встанет,
Как в зале, с счетами долгов,
Займодавцев рой толпится.
Считать не любит наш Барсòв,
Так позже он освободится:
Он на обед их позовет
И угостит на их же счет...

1825 г.

13 АВГУСТ

Если в семнадцать лет ты презираешь сказки, любезная Сонюшка, то назови мое марание повестью, или придумай ему другое название. Но прежде всего дай мне написать эту сентенцию:

Tous les contés ne sont pas des fables.

В счастливой стороне (не знаю, право, где) жила мирная чета. Не будем справляться об ее чине и фамилии, тем более что родословные книги об ней, конечно, умалчивают, и что тебе в том нужды никакой нет. Только то мне известно, что добрый муж с женою усердно поклонялись богам, и ежегодно приносили им в жертву по два лучших баранов из своего стада. Зато боги недолго были глухи к их молитвам, и вскоре наградили их добродетель исполнением их желаний. Счастливый отец с восторгом прижал к груди маленькую дочь свою, ребенка прекрасного, и любуясь ее живыми, голубыми глазами и свежею невинною краскою ее ланит, назвал ее Пленирою, и заклал еще двух баранов в честь богам, для того чтоб они ниспослали на дочь его все блага земные.

Боги вторично услышали его молитву, и три жителя или, лучше сказать, три жительницы небесные явились у него с дарами. Одна блистательная, в одежде яркой, казалось, в один миг промчалась чрез все пространство, отделяющее небо от земли. Если б такая же очаровательница прилетела вдруг ко мне в то время, как я пишу, читаю, мечтаю или наслаждаюсь тем, что итальянцы называют: *il dolce far niente*, или хоть во сне, то по огню, пылающему в ее очах и на ее ланитах, по волшебному легкому, но величественному стану, по длинным, светлым локонам, развевающимся в быстроте стремления, по дивному голосу и по пламенным речам, возбужденным одним чувством, я бы не долго остался в недоумении и скоро узнал бы в ней богиню искусств. С небесною улыбкою милости она вручила удивленному отцу драгоценную, звучную арфу для Пленеры, примолвила, что когда будет семнадцать лет его дочери и когда в первый раз она заиграет на этой арфе, то почувствует всю цену сего подарка, и вдруг исчезла.

Другая, мнилось, сосредоточила в себе все лучи небесных светил. Сквозь тонкую, прозрачную одежду, слабые очи смертных не дерзали взирать на пламенный цвет ее тела; все черты лица ее горели огнем незнакомым для нас, огнем истины. В величественном, быстром и смелом полете своем она, казалось, зажгла вселенную, и яркий свет, разливающийся от нее во все стороны, ослеплял взор. Она держала зеркало, в котором все предметы отражались так же верно, как в сердце еще чистом, и примолвя, что Пленера в семнадцать лет почувствует всю цену сего подарка, исчезла. После нее в комнате сделалось так темно, что ты подумала бы, милая Сонюшка, что уже настал час ночи, удивилась бы, когда б увидела в окно яркое солнце, которое катилось в ясном небе, в самый полдень.

Третья... Ах, как пленительна она! Нежный, неописуемый стан, покрытый одеждою белою, как снег,

скромная и даже неверная походка, самая неопределенность черт лица, выражающих одно гармоническое чувство невинности, таинственность взора, осененного длинными ресницами, сими защитами против испытующих взглядов, все в ней исполняло душу глубоким, очаровательным, неизъяснимым чувством. С алою краскою стыдливости и с улыбкою скромности положила она на Пленире прозрачное, белое покрывало, примолвила, что в семнадцать лет она должна испытать цену сего подарка, и исчезла, как легкий, приятный сон, оставляющий долгое воспоминание.

Я не буду тебе описывать, милая, с какою тщательностью родители старались о воспитании Пленеры. Довольно того, что они не щадили никаких стараний, никаких пожертвований для нее, хранили ее, как драгоценный, единственный цветок, блистающий для них на поле жизни, не оставляли ее ни на шаг одну, описали около нее круг, в котором она видела и угадывала одно только доброе, высокое на земле, и из которого в семнадцать лет вылетела бабочка прелестная, с красками свежими, напитанная одним только медом.

С каким нетерпением Пленира ждала решительного дня! Как ей хотелось до времени иметь семнадцать лет, чтобы поскорее насладиться подарками неба. Счастливая! Она не знала, что надежда есть лучшее наслаждение на земле.

Наконец настало давно ожидаемое время. Пленире поутру нарядили просто; но вся ее одежда так к ней пристала, что ты приняла бы ее за какую-нибудь волшебницу, или богиню, слетевшую с неба для того, чтобы обмануть нас собою. В белом, легком платье она, казалось, летела, рассекая воздух и не касаясь земли; из прекрасной рамки темнорусых, длинных локонов пленительное лицо ее разливалось со всех сторон удовольствии, которое она сама чувствовала, и прозрачное покрывало, дар бесценный, небрежно было поднято на лилейном челе.

В этот радостный день родители Пленеры создали своих друзей и знакомых, чтобы разделить с ними свое счастье. После нескольких забавных игр и веселых речей, принесли богатую арфу, на которой Пленера еще никогда не играла, и все в ожидании составили безмолвный круг. Пленера, дыша радостью, с глазами, исполненными огня нетерпения, прислонилась к себе арфу, и нежные пальцы ее покатались по громким струнам. Стройные, величественные звуки остановили внимание всех, и все ожидали, как разрешится волшебная таинственность первого solo. Но когда после печного, унылого адажио слезы брызнули из глаз, и когда вдруг раздалась музыка пламенная, быстрая, и восторг одушевил всех, и все желания невольно устремились к чему-то бесконечному, непонятному, и все, и всё исполнилось жизни, то Пленера уже не могла воздержаться своей радости. Все черты лица ее были упоены восторгом, в глазах ее горело чувство удовольствия; но то не было довольствие самой себя. Нет. Она восхищалась своими успехами; она радовалась удивлению, возбужденному ею во всех слушателях.

Довольная первым подарком, с любопытством устремилась она в другую комнату к зеркалу, в которое она также еще никогда не смотрела и с которого сдернули завесу. Ах! что увидела она в нем! Какую неизъяснимую красоту, в чертах которой сияла одна радость, один восторг! Пленера не могла отстать от зеркала; она любовалась самой собою, как вдруг покрывало опустилось нечаянно с чела и все закрыло перед ней — и зеркало, и прелестное изображение.

Тогда познала она могущество третьей богини. Тайный укор заменил в ней прежнее чувство упоения; пурпур стыдливости зажег ее ланиты, и в раскаянии своем она хотела разбить зеркало и арфу, виновников первого ее негодования на себя; но нежная рука подымает ее покрывало, и Пленера видит перед собою воздушную, прекрасную деву, со взором скромным, с длиною ресницею. «Ты не узнаешь меня, — тихо

говорит дева. — Я подарила тебе это покрывало. Познай теперь всю цену моего подарка. Это покрывало скромности. Носи его всегда на себе, и всякий раз, как чувство новое, тебе незнакомое овладеет твоею душою, вспомни обо мне, вспомни о покрывале скромности». Дева исчезла.

Пленира поклялась никогда не презирать ее подарка. С тех пор как часто играла она на арфе, как часто смотрела в зеркало, и всегда была довольна собою.

Вот конец моего рассказа. Но ты теперь с любопытством спросишь у меня, кто эта Пленира? Любезная Сонюшка, спроси у других; они верно угадали.

[1825 г.]

ЧЕТЫРЕ БОГИНИ

(Отрывок)

— Где я? где я? — восклицал Арист, окруженный со всех сторон глубоким непроницаемым мраком; — где я? но слабый голос его терялся в непробудной пустыне, где дальний отголосок один повторял крики отчаяния. Несчастный с распростертыми руками боролся с мертвою мглою, кидался повсюду, но везде нога его спотыкалась, везде камни преткновения оставляли шаги его.

Иногда блуждающий луч, как беглая молния, сверкал пред его очами, он к нему стремился, но ударялся об твердую стену, которая служила преградой его темнице [его] и, оттолкнутый, он падал без чувств.

Теперь, лишенный сил, живой, но зарыт во тьме безнадежной, он лежит на холодном камне. Все говорит ему о ничтожестве, о ночи без рассвета.

Горячая глава, отягощенная думами отчаяния, невольно упала на грудь; он лежит безмолвно. Но что может убить сердце человека, оно еще бьется в груди Ариста, когда все ему изменяет.

Вдруг слышит он шорох, приподымает усталую голову...

Темные Тонны

Вон ? где ? ? восклицала Ариета,
окруженная со всех сторон глубокими
крупноцветными праками ; где ? ? но
слабый голос его терпел в неправедной
пустыне где дальний отголосок адаль
повторял звуки отмаки . Неизменно
в расклевываемых руках борода в
мертвого плеча , выдала повод , но
везде как и в остальных , будто камни
преткновения останавливали шаги его .
Иногда блуждающий гурь как в Логанском
кие , сверкала арде в овалы , он в то
время стремился но ударились в твердую
стенку которая слухила припадок его
опышность его и оттолкнувшись охоту падал
вур гуртов . Мехур , лишенький силе ,

ТРИ ЭПОХИ ЛЮБВИ

(Отрывок из неконченного романа)

Три эпохи любви переживает сердце, для любви рожденное. Первая любовь чиста, как пламень; она, как пламень, на все равно светит, все равно согревает; сердце нетерпеливо рвется из тесной груди; душа просится наружу; руки все обнимают, и юноша [в первом роскошном убранстве весны своей], в первом развитии способностей, пленителей, как младое дерево в ранних листьях и цветах. Как бы ни являлась ему красота, она для него равно прекрасна. Взор его не ищет Венеры Медицейской, когда он изумляется важному зрелищу издыхающего Лаокоона. Холодные слова строгого Омира и теплые напевы чувствительного Петрарки равнозвучны в устах его, и любовница его — одна вселепная. Это — эпоха восторгов.

Настает другая. Душа упиалась; взоры устали разбегаться; им надобно успокоиться на одном предмете. [Возьметса ли юноша за кисть: не древний Иосиф, не ангел благовеститель рождается под нею, но образ чистой девы одушевляет полотно]. Счастлива первая дева, которую он встретит! Какая душа посвящает ей свои восторги! Какую прелестью облекает ее молодое воображение! Как пламенны о ней песни! Как нежно юноша плачет! Эта эпоха — один миг, но лучший миг в жизни.

Что разочаровывает отрока, когда он разбивает им созданную игрушку? Что разочаровывает поэта, когда он предает огню первые, быть может, самые горячие стихи свои? Что заставляет юношу забыть первый идеал свой, забыть тот образ, в который он выливал всю душу? Мы не долго любим свои созданья, и природа приковывает нас к действительности. Дорого платит юноша за восторги второй любви своей. Чем более предполагал он в людях, тем мучительней для него теперь их встреча. Он молчалив и задумчив. О,

если тогда на другом челе, в других очах прочтет он следы тех же чувств, если он подслушает сердце, бьющееся согласно с его сердцем, — с какою радостью подаст он руку существу родному! И как ясно понимают они друг друга! Вот третья эпоха любви: это эпоха дум.

СТАТЪИ



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

1. РАЗБОР РАССУЖДЕНИЯ Г. МЕРЗЛЯКОВА:

О НАЧАЛЕ И ДУХЕ ДРЕВНЕЙ ТРАГЕДИИ И ПРОЧ., НАПЕЧАТАННОГО ПРИ ИЗДАНИИ ЕГО ПОДРАЖАНИЙ И ПЕРЕВОДОВ ИЗ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ СТИХОТВОРЦЕВ

Amicus Plato, magis amica veritas.

Прискорбно для любителя отечественной словесности восставать на мнения верного ее жреца, в то самое время, когда он приносит ей в дар новый плод своих трудов, и в живых переводах, передавая нам дух красоты древней поэзии, воздвигает памятник изящному вкусу и чистому русскому языку, но чем отличное заслуги г. Мерзлякова на поприще словесности, тем опаснее его ошибки, по обширности их влияния, и любовь к истине принуждает нарушить молчание, невольно предписываемое уважением к достойному литератору.

Рассуждение г. Мерзлякова: О начале и духе древней трагедии, оправдывает истину — давно известную, что тот, кто чувствует, не всегда может отдать себе и другим верный отчет в своих чувствах. Красоты поэзии близки сердцу человеческому, и следовательно, легко ему понятны; но чтобы произнести общее суждение о поэзии, чтобы определить достоинство поэта, надобно основать свой приговор на мысли определенной; эта мысль не господствует в теории г. Мерзлякова, в которой главная ошибка есть, может быть, недостаток теории; ибо нельзя назвать сим именем

искры чувств, разбросанные понятия о поэзии, часто облеченные прелестию живописного слога, но не связанные между собой, не озаренные общим взглядом и перебитые явными противоречиями. Кто из сего не заметит, что рецензенту предстоит двойной труд: говоря о таком рассуждении, в котором нет систематического порядка, он находится в необходимости не только опровергать ошибочные мнения, но часто упоминать и о том, что должно бы заключаться в сочинении об отрасли изящных искусств? К несчастью мы встретим довольно доказательств к подтверждению всего вышесказанного. Приступим к делу. Г. Мерзляков останавливает нас на первом шагу. Вот слова его:

«Трагедия и комедия, так как и все изящные искусства, обязаны своим началом более случаю и обстоятельствам, нежели изобретению человеческому». Нужно ли доказывать неосновательность сего софизма, когда сам автор опровергает его на следующей странице? *«Вероятно, — говорит он, — что трагедия не принадлежит одним грекам, одному какому-либо народу; но всем народам и всем векам».* Оно более нежели вероятно; оно неоспоримо, если мы здесь, под словом трагедии понимаем драматическую поэзию; но вероятно ли, чтобы эти два периода были писаны одним пером, в расстоянии одной страницы? То, что принадлежит *всем народам, всем векам,* не принадлежит ли, одним словом, человеку, его природе, и может ли быть обязано своим началом *случаю? Обстоятельства* ли породили в человеке мысль и чувство? И что значит здесь человеческое изобретение? Кто изобрел язык? Кто первый открыл движения тела, выражающие состояния сердца и духа? Г. Мерзляков, не подтверждая первого своего предложения, тотчас бросает эту мысль, ни с чем не связанную, как неудачно избранный эпиграф и продолжает: *«Мудрая учительница наша, природа, явила себя нам во всем своем великолепии, красоте и благах неисчетных, возбудила подражательность, и передала многое чашо свое на воспитание нашему размышлению, на-*

блюдениям и опытам и пр.». Положим, что так; по читатель едва ли постигает скрытое отношение сей мысли к трагедии и комедии. Поэт без сомнения заимствует из природы форму искусства; ибо нет форм вне природы; но и *подражательность* не могла породить искусств, проистекающих от избытка чувств и мыслей в человеке и от нравственной его деятельности. Тайна сей загадки не разрешается, и немедленно после сего следует история козла, убитого Икаром, и греческих празднеств в честь Бахуса. В сем рассказе не заключается ничего особенного; он находится во всех теориях, которые, не объясняя постепенности существенного развития искусств, облачают в забавные сказочки историю их происхождения. Итак мы не будем следовать за г. Мерзляковым, когда он сам не следует своей собственной нити в разысканиях и воспоминает давно известное и пересказанное. Заметим только, что при нынешних успехах эстетики мы ожидали в истории трагедии более занимательности. Для чего не показать нам ее развития из соединения лирической поэзии и эпоса? Для чего не намекнуть на общую колыбель сих родов поэзии? Из подобных замечаний внимательный читатель заключил бы, что они неотъемлемо принадлежат человеку, как необходимые формы, в которые выливаются его чувства. Мы бы объяснили себе, отчего находим следы их у всех народов; увидели бы, что не стремление к подражанию правит умом человеческим, что он не есть в природе существо единственно страдательное. Но здесь некстати распространяться о понятиях такого рода, и воздвигать новую систему на место разбираемой теории; тем более, что г. Мерзляков, кажется, отвергает все новейшие открытия и, вероятно, не уважит доказательств, на них основанных. Он говорит решительно, что: *«соблазняем к несчастью затейливым воображением наших романтиков, мы теперь увлекаемся быстрым потоком весьма сомнительных временных мнений»*, и видит тут *«судьбу изящных искусств, склоняющихся*

уже к унижению». Я осмелюсь вступить за честь нашего века. Новейшие произведения без сомнений не могут сравниться с древними в рассуждении полноты и подробного совершенства. В них еще не определены отношения частей к целому. Я с этим согласен. Но законы частей не определяются ли сами собою, когда целое направлено к известной цели? Нашу поэзию можно сравнить с сильным голосом, который, свысока взывая к небу, пробуждает со всех сторон отголоски и усиливается в своем порыве.¹

Поэзия древних пленяет нас как гармоническое соединение многих голосов. Она превосходит новейшую в совершенстве соразмерностей, но уступает ей в силе стремления и в обширности объема. Поэзия Гёте, Байрона есть плод глубокой мысли, раздробившейся на всевозможные чувства. Поэзия Гомера есть верная картина разнообразных чувств, сливающихся как бы неволью в мысль полную. Первая, как поток, рвется к бесконечному; вторая, как ясное озеро, отражает небо, эмблему бесконечного. Всякий век имеет свой отличный характер, выражающийся во всех уместных произведениях; на все равно распространяется наблюдение истинного филолога, и заметим, что науки и искусства еще не близки к своему падению, когда умы находятся в сильном брожении, стремятся к цели определенной, и действуют по врожденному побуждению к действию. Где видны усилия, там жизнь и надежда. Но тогда им угрожает неминуемая опасность, когда все порывы прекращаются; настоящее

¹ Мы здесь говорим о тех только произведениях, которые определяют общее направление мыслей в нашем веке. *Extrema coeunt*. Весь мир составлен из противоположностей, и наш литературный мир ими богат. Но для чего судить по карикатурам. Бездушные поэмы, в которых нет ни начала, ни конца, бесхарактерные романы и повести, бранчивые критики, писанные единственно во зло врожденным законам логики и условным правилам приличия, еще менее принадлежат к числу романтических сочинений, нежели поэмы Шапелена к поэзии классической. *Прим. Д. Веневитинова.*

тянется раболепно по следам минувшего, когда холодное бесстрашие восседает на памятниках сильных чувств и самостоятельности, и целый век представляет зрелище безнадежного однообразия. Вот, что нам доказывает история философии, история литературы. Но возвратимся к Мерзлякову.

Он переносит нас в первые времена Греции и живописует нам начальные успехи гражданской ее образованности, — в этой части рассуждения, как и во многих других, видно клеймо истинного таланта. — Ясное воображение автора нередко увлекает читателя; жаль, что мысли его не выходят из сферы, очерченной, кажется, предубеждениями. В литературе право давности не должно бы существовать, а г. Мерзляков часто жертвует ему собственным суждением; потому и порывы чувств его бывают подобны блуждающим огням, которые приманивают путника, но сбивают его с верной дороги. Кто ожидал бы, чтоб в нашем веке на поэзию взирали, как на *орудие политики*; чтоб мы были обязаны трагедиею *мудрым правителям первобытных обществ*? Как? поэзия, получившая свое существование от случая, должна сверх того влечь оковы рабства от самой колыбели? Бесполезно опровергать эту мысль: тот, кто питает в сердце страсть к искусствам, страсть к просвещению, сам ее отбросит. В первобытном состоянии Греции, без сомнения, политика умела извлекать пользу из произведений великих поэтов. Мы видим, что Солон, Пизистрат и Пизистратиды распространяли рапсодии Гомера и действовали тем на дух целого народа; но сие не доказывает ли, что политика, имевшая одну только цель, — любовь к отечеству, свободе и славе, не уклонялась от духа века, который был, так сказать, вечернею зарею героической эпохи, воспетой Гомером? Можно ли из сего заключить, что поэзия была *орудием правителей*? Нет! Она была приноровлена к современным нравам и узаконениям — без сомнения, не потому только, что и сама философия, во время рож-

депия трагедии в Греции, была более правоучительною, нежели умозрительною. Понятия о двух началах, перешедшие в Грецию, вероятно, из Египта, где они были господствующими, начинали уже искореняться; аллегории Гомера, в которых заключалась вся философия его времени, теряли уже высокие свои значения, когда явился Эсхил, облек в форму своих трагедий народные предания и воскресил на сцене забытые мысли древней философии. Многие укоряли его в том, что он обнаруживал в своих творениях сокровенные истины Елевзинских тайн, в которых хранился ключ к загадкам древней мифологии. Этот укор не доказывает ли, что сей писатель стремился соединить поэзию с любознательностью? Ав. Шлегель с большою основательностью предполагает, что аллегорическое его произведение Прометей принадлежит к трилогу, коего две части для нас потеряны. Эта форма, заключающая в себе развитие полной философической мысли, кажется принадлежностью трагедий Эскила, который в Агамемноне, Коефорах и Умоляющих оставил нам пример полного трилога. Теперь мы легко объясним себе, отчего Гомер был обильным источником для греческих поэтов. И подлинно, где им было черпать, как не в творениях такого гения, который был зеркалом минувшего, являлся им в атмосфере высоких, ясных понятий, дышал свободным чувством красоты, в песнях своих открывал перед ними великолепный мир со всеми его отношениями к мысли человека? После сих замечаний естественно представляется вопрос: был ли Гомер философом? Стремился ли он сосредоточить и развить рассеянные понятия религии? Вопрос тем более любопытный, что, не разрешив его, нельзя определить достоинства поэтов, последователей Гомера, нельзя даже судить об успехах самого искусства.

Этого вопроса не сделал себе г. Мерзляков; оттого, может быть, и ошибается он в своем мнении о начале трагедии и вообще о достоинстве поэзии. Вся философия Гомера заключается, кажется, в ясной простоте

его рассказов и в совершенной искренности его чувств. В нем, как в безоблачном возрасте младенчества, нет усилий ума, нет определенного стремления, но везде видно верное созерцание окружающего мира, везде слабые, но предвещательные предчувствия высоких истин. Вот характер Гомеровых поэм; они духом близки к счастливому времени, в котором мысли и чувства соединялись в одной очаровательной области, заключающей в себе вселенную; к тому времени, в котором философия и все искусства, тесно связанные между собою, из общего источника разливали дары свои на смертных, и волшебная сила гармонии, воздвигая стены и образуя общества, в мерных гномах преподавала человечеству простые, бессмертные законы.

Слабость доводов г. Мерзлякова обнаруживается еще более, когда он приравнивает свою теорию к характеру трех греческих трагиков. Тут тщетно играет его воображение; он теряется в лабиринте мелочных мыслей и часто противоречит даже доказательствам истории и неоспоримой очевидности. Предложим хотя один пример. Г. Мерзляков, говоря об Еврипиде, объясняется следующим образом: *«иногда на сцене его являлись государи, униженные судьбою до последней крайности, покрытые рубищами и просящие подаяния на стогнах града. Сии картины, чуждые Эсхилу и Софоклу, сначала вскружили умы»*. Но это положение совершенно принадлежит Эдипу Колонейскому и следовательно не могло быть чуждым Софоклу, и составить отличительную черту в характере Еврипида. Г. Мерзляков говорит далее, что *он имел много почитателей как философ*: мне кажется, что тут смешана схоластика с философией. Они имели совсем различный ход и разное влияние. Конечно, схоластика всегда влачила по стопам философии, но никогда не достигала возвышенных ее понятий и терялась обыкновенно в случайных применениях, распложаясь в сентенциях и притчах. Удивительно ли, что многие частные секты были защитниками Еврипидовых трагедий, когда они все носят

печать школы? Но в глазах литератора-философа это не достоинство. Творения Еврипида не отражают души его; в них нет этого совершенного согласия между идеалом и формою, которое так пленяет воображение в Эдипе Колонейском и вообще в трагедиях Софокла. В самых пламенных излияниях его чувств невольно подзреваешь его искренность.

Не буду далее распространяться, чтобы не утомить читателей излишними подробностями. Отдавая им на суд мои замечания на главные предложения г. Мерзлякова, предоставляю им решить, справедливы ли они, или нет. Во всяком случае любопытные могут применить те мнения, которые им покажутся более определенными к характеру каждого из трагиков, и таким образом оценить статью г. Мерзлякова во всех ее частях. Многие заметят, может быть, что я часто не высказывал своих мыслей, и в самых любопытных вопросах налагал на них оковы. Я это делал потому, что понятия, мною кое-где изложенные, требуют подробного развития и постоянной нити в рассуждении, чего не позволяет форма критической статьи, в которой рецензент делается во многих отношениях рабом разбираемого им сочинения.

В дополнение рецензии моей на рассуждение г. Мерзлякова скажу, что если б оно появилось за несколько лет перед сим, то бесспорно бы имело успешное влияние, но теперь уже можно требовать от литератора более самостоятельности. Следы французских суждений исчезают в наших теориях, и Россия может назвать несколько сочинений в сем роде, по всему праву ей принадлежащих. Между ними заслуживает особенного внимания Амадея г. Кронеберга, харьковского профессора. В сей книге не должно искать теоретической полноты и порядка; но в ней заключаются ясные понятия о поэзии, и она доказывает, что автор искренно посвятил себя изящным наукам и следует за их успехами.

Скажем несколько слов о переводах г. Мерзлякова. Они представляют обильную жатву для того, кто бы

захотел рассмотреть подробно их красоты. Мы с особенным удовольствием прочли последнюю речь Алцесты, разговор Ифигении с Орестом, предсказание Кассандры и превосходный отрывок из Одиссеи. Везде виден дух пламенный и язык выразительный. Хоры г. Мерзлякова исполнены лирического огня. Но вообще в слоге его можно бы желать более гибкости и легкости, в стихах более отделки; например, Тезей, говорит к Антигоне и Исмене:

Утешьтесь, нежны дочери,
Страдальцу наконец в покой отверсты двери.

Здесь слово *покой* представляет явное двусмыслие. Еще можно заметить, что г. Мерзляков, вопреки *тирану*—*употреблению*, часто в стихах своих вызывает из пыльной старины выражения, обреченные, кажется, забвению; конечно, чрез такое приращение язык его не беднеет, не теряет свои силы, но он не имеет совершенной плавности, необходимой в нашем веке, как счастливейшая приманка для читателей. Этого нельзя сказать о его прозе, которая всегда останется увлекательной.

Я кончаю так, как начал, уверяя читателей, что одна любовь к науке заставила меня восстать против мнений г. Мерзлякова. Я уверен, что если критика моя дойдет до него, он сам оправдает в ней, по крайней мере, намерение, с которым я вооружился против собственного удовольствия, невольно ощущаемого при чтении такого рассуждения, где кисть искусная умела соединить силу выражения со всею прелестью разнообразия.

Sed amicus Plato, magis amicus veritas.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ПЛАН ЖУРНАЛА

Всякому человеку, одаренному энтузиазмом, знакомому с наслаждениями высокими, представляется естественный вопрос, для чего поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его непреборимое же-

лание действовать? — К самопознанию, отвечает нам книга природы. Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека. Науки и искусства, вечные памятники усилий ума, единственные признаки его существования, представляют не что иное, как развитие сей начальной и следственно неограниченной мысли. Художник одушевляет холст и мрамор для того только, чтобы осуществить свое чувство, чтоб убедиться в его силе; поэт искусственным образом переносит себя в борьбу с природою, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и гордо провозгласить торжество ума. История убеждает нас, что сия цель человека есть цель всего человечества; а любознательные ясно открывают в ней заговор всей природы.

С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера. Развитие сих усилий составляет просвещение; цель просвещения или самопознания народа есть та степень, на которой он отдает себе отчет в своих делах и определяет сферу своего действия: так, например, искусство древней Греции, скажу более, весь дух ее отразился в творениях Платона и Аристотеля; таким образом, новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое направляло полет Шиллера и Гёте.

С этой мыслью обратимся к России и спросим: какими силами подвигается она к цели просвещения? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать ответа, ибо беспечная толпа наших литераторов, кажется, не подозревает их необходимости. У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного: их произведения, достигая даже

некоторой степени совершенства и входя следственно в состав всемирных приобретений ума, не теряли отличительного характера. Россия все получила извне; отсюда это чувство подражательности, которое самому таланту приносит в дань не удивление, но раболепство; отсюда совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности.

Началом и причиной медленности наших успехов в просвещении была та самая быстрота, с которою Россия приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания, без всякого напряжения внутренней силы. Уму человеческому сродно действовать, и если б он у нас следовал естественному ходу, то характер народа развился бы собственной своей силою и принял бы направление самобытное, ему свойственное; но мы, как будто предназначенные противоречить истории словесности, мы получили форму литературы прежде самой ее сущности. У нас прежде учебных книг появляются журналы, которые обыкновенно бывают плодом учености и признаком общей образованности, и эти журналы до сих пор служат пищею нашему невежеству, занимая ум игрою ума, уверяя нас некоторым образом, что мы сравнялись просвещением с другими народами Европы и можем без усиленного внимания следовать за успехами наук, столь быстро подвигающихся в нашем веке, тогда как мы еще не вникли в сущность познания и не можем похвалиться ни одним памятником, который бы носил печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке. Вот положение наше в литературном мире — положение совершенно отрицательное.

Легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению, нежели когда он равнодушен к истине. Ложные мнения не могут всегда состояться; они порождают другие; таким образом вкрадывается несогласие, и самое противоречие производит некоторого рода движение, из которого наконец возникает истина. Мы ви-

дим тому ясный пример в самой России. Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусствах почитались в ней законами? И где же следы их? Они в прошедшем, или рассеяны в немногих творениях, которые с беспильною упорностью стараются представить прошедшее настоящим. Такое освобождение России от условных оков и от невежественной самоуверенности французов было бы торжеством ее, если бы оно было делом свободного рассудка; но к несчастию оно не произвело значительной пользы: ибо причина нашей слабости в литературном отношении заключалась не столько в образе мыслей, сколько в бездействии мысли. Мы отбросили французские правила не от того, чтобы мы могли их опровергнуть какою-либо положительною системою; но потому только, что не могли применить их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми невольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные заменялись у нас отсутствием всяких правил. Одним из пагубных последствий своего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия; самые политические эпохи истории всегда представляют нам самое малое число поэтов. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явления естественными законами ума; надобно только вникнуть в начало всех искусств. Первое чувство никогда не творит, и не может творить, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая разбивается в борьбе и тогда, уже снова обратившись в чувство, является в произведении. И потому истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения. У нас язык поэзии превращается в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка. Скажу более: у нас

чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования. При сем нравственном положении России одно только средство представляется тому, кто пользу ее избрет целью своих действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить. Нельзя скрыть от себя трудности такого предприятия. Оно требует тем более твердости в исполнении, что от самой России не должно ожидать никакого участия, но трудность может ли остановить сильное намерение, основанное на правдах верных и устремленное к истине? Для сей цели надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и, опираясь на твердые начала философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение. Сей цели кажется вполне бы удовлетворило такое сочинение, в коем разнообразие предметов не мешало бы единству целого и представляло бы различные применения одной постоянной системы. Такое сочинение будет журнал, и его вообще можно будет разделить на две части: одна должна представлять теоретические исследования самого ума и свойств его; другую можно будет посвятить применению сих же исследований к истории наук и искусств. Не бесполезно было бы обратить особенное внимание России на древний мир и его произведения. Мы слишком близки, хотя, повидимому, к просвещению новейших народов, и следственно не должны бояться отстать от новейших открытий, если мы будем вникать в причины, породившие современную нам образованность, и перенесем на некоторое время в эпохи ей предшествовавшие. Сие временное устранение от настоящего произведет еще важнейшую пользу. Находясь в мире совершенно для нас новым,

которого все отношения для нас загадки, мы невольно принуждены будем действовать собственным умом для разрешения всех противоречий, которые нам в оном представятся. Таким образом, мы сами сделаемся преимущественным предметом наших разысканий. Древняя пластика или вообще дух древнего искусства представляет нам обильную жатву мыслей, без коих новейшее искусство теряет большую часть своей цены и не имеет полного значения в отношении к идее о человеке. Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук, и найдет свое основание, сей залог своей самобытности и следовательно своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления.

Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным желанием в пользу России, и следовательно человечества, осуществить силу врожденной деятельности и воздвигнуть торжественный памятник любви, если не в летописях целого народа, то по крайней мере в нескольких благородных сердцах, в коих пробудится свобода мысли изящного и отразится луч истинного познания.

РАЗБОР СТАТЬИ О «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»,
помещенной в 5-м № «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА»
[на 1825 г.]

Если талант всегда находит в себе самом мерило своих чувствований, своих впечатлений, если удел его поспирать обыкновенные предрассудки толпы, односторонней в суждениях, и чувствовать живее другого творческую силу тех редких сынов природы, на коих гений положил свою печать, то какую бы мыслию

поражен был Пушкин, прочитав в «Телеграфе» статью о новой поэме своей, где он представлен не в сравнении с самим собою, не в отношении к своей цели, но верным товарищем Байрона на поприще всемирной словесности, стоя с ним на одной точке?

«Московский телеграф» имеет такое число читателей, и в нем встречаются статьи столь любопытные, что всякое несправедливое мнение, в нем провозглашаемое, должно необходимо иметь влияние на суждение, если не всех, то по крайней мере многих. В таком случае обязанность всякого благонамеренного — заменить погрешности издателя и противиться, сколько возможно, потоку заблуждений. Я уверен, что г. Полевой не оскорбится критикою, написанною с такою целью: он в душе сознается, что при разборе «Онегина» пером его, может быть, управляло отчасти и желание обогатить свой журнал произведениями Пушкина (желание, впрочем, похвальное и разделяемое, без сомнения, всеми читателями «Телеграфа»).

И можно ли бороться с духом времени? Он всегда остается непобедимым, торжествуя над всеми усилиями, отягощая своими оковами мысли даже тех, которые незадолго перед сим клялись быть верными поборниками беспристрастия!

Первая ошибка г. Полевого состоит, мне кажется, в том, что он полагает возвысить достоинство Пушкина, унижая до чрезмерности критиков нашей словесности. Это ошибка против расчетливости самой обыкновенной, против политики общежития, которая предписывает всегда предполагать в других сколько можно более ума. Трудно ли бороться с такими противниками, которых заставляешь говорить без смысла? Признаюсь, торжество незавидное. Послушаем критиков, вымышленных в «Телеграфе».

«Что такое «Онегин»? — спрашивают они, — что за поэма, в которой есть главы, как в книге, и проч.?»

Никто, кажется, не делал и, вероятно, не сделает та-

кого вопроса; и до сих пор, кроме издателя «Телеграфа», никакой литератор еще не догадывался заметить различие между поэмою и книгою.

Ответ стоит вопроса.

«Онегин», — отвечает защитник Пушкина: — роман в стихах, следовательно в романе позволится употребить разделение на главы; и проч.»

Если г. Полевой позволяет себе такого рода заключение, то не в праве ли я буду таким же образом заключить в противность и сказать:

«Онегин» — роман в стихах; следовательно в стихах непозволительно употребить разделение на главы», но наши смелые сплюгпзмы ничего не доказывают ни в пользу «Онегина», ни против него и лучше представить г. Пушкину оправдать самим сочинением употребленное им разделение.

Оставим мелочный разбор каждого периода. В статье, в которой автор не предположил себе одной цели, в которой он рассуждал, не опираясь на одну основную мысль, как не встречать погрешностей такого рода? Мы будем говорить о тех только ошибках, которые могут распространять ложные понятия о Пушкине и вообще о поэзии.

Кто отказывает Пушкину в истинном таланте? Кто не восхищался его стихами? Кто не сознается, что он подарил нашу словесность прелестными произведениями? Но для чего же всегда сравнивать его с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежа не одной Англии, а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века, и если бы мог изгладиться в истории частного рода поэзии, то вечно остался бы в летописях ума человеческого?

Все произведения Байрона несут отпечаток одной глубокой мысли, — мысли о человеке, в отношении к окружающей его природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в его сердце, в противоречии с своими чувствами. Говорят: в его поэмах

мало действия. Правда — его цель не *рассказ*; *характер его героев не связь описаний*; он описывает предметы не для предметов самих, не для того, чтобы представить *ряд картин*, но с намерением выразить впечатления их на лицо, выставленное им на сцену. — Мысль истинно критическая, творческая.

Теперь, г. издатель «Телеграфа», повторю ваш вопрос: что такое «Онегин»? Он вам *знаком*, вы его *любите*. Так! но этот герой поэмы Пушкина, по собственным словам вашим, *шалун с умом, ветренник с сердцем*, и ничего более. Я сужу так же, как вы, т. е. по одной первой главе; мы, может быть, оба ошибемся и оправдаем осторожность опытного критика, который, опасаясь попасть в *кривотолки*, не захотел произнести преждевременно своего суждения.

Теперь, милостивый государь, позвольте спросить: что вы называли *новыми приобретениями Байронов и Пушкиных*? Байроном гордится новейшая поэзия, и я в нескольких строчках уже старался заметить вам, что характер его произведений истинно новый. Не будем оспаривать у него славы изобретателя. Певед «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и проч. имеет неоспоримые права своих соотечественников, обогатив русскую словесность красотами, доселе ей неизвестными, — но, признаюсь вам и самому нашему поэту, что я не вижу в его творениях приобретений, подобных Байроновым, *делающих честь веку*. Лира Альбиона познакомила нас со звуками, для нас совсем новыми. Конечно, в век Людовика XIV никто бы не написал и поэм Пушкина; но это доказывает не то, что он от него не отстал. Многие критики, говорит г. Полевой, уверяют, что «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» вообще взяты из Байрона. Мы не утверждаем так определенительно, что наш стихотворец заимствовал из Байрона планы поэм, характеры лиц, описания; но скажем только, что Байрон оставляет в его сердце глубокие впечатления, которые отражаются во всех

его творениях. Я говорю смело о г-не Пушкине; ибо он стоит между нашими стихотворцами на такой ступени, где правда уже не колет глаз.

И г. Полевой платит дань нынешней моде! В статье о словесности как не задеть Батте? Но великодушно ли пользоваться превосходством века своего для унижения старых Аристархов? Не лучше ли не нарушать покоя усопших? Мы все знаем, что они имеют достоинство только относительно; но если вооружаться против предрассудков, то не полезнее ли преследовать их в живых? И кто от них свободен? В наше время не судят о стихотворце по пниктике, не имеют условного числа правил, по которым определяют степени изящных произведений. Правда. Но отсутствие правил в суждении не есть ли также предрассудок? Не забываем ли мы, что в пниктике должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с философией?

Если мы с такой точки зрения, беспристрастным взглядом окинем ход просвещения у всех народов (оценивая словесность каждого в целом: степень философии времени; а в частях: по отношению мыслей каждого писателя к современным понятиям о философии), то все, мне кажется, пояснится. Аристотель не потеряет прав своих на глубокомыслие, и мы не будем удивляться, что французы, подчинившиеся его правилам, не имеют литературы самостоятельной. Тогда мы будем судить по правилам верным о словесности и новейших времен; тогда причина романтической поэзии не будет заключаться в неопределенном состоянии сердца.

Мы видели, как издатель «Телеграфа» судит о поэзии: послушаем его, когда он говорит о живописи и музыке, сравнивая художника с поэтом.

«В очерках Рафаэля виден художник, способный к великому: его воля прильнуть за кисть, и великое изумит ваши взоры; не хочет он — и никакие угрозы

критика не заставят его писать, что хотят другие». Далее:

«В музыке есть особый род произведений, называемых capriccio — и в поэзии есть они. Таков «Онегин»».

Как! в очерках Рафаэля вы видите одну только способность к великому? Надобно ему *приняться* за кисть и окончить картину для того, чтоб вас изумить? Теперь не удивляюсь, что «Онегин» вам нравится, как ряд картин; а мне кажется, что первое достоинство всякого художника есть сила мысли, сила чувств; и эта сила обнаруживается во всех очерках Рафаэля, в которых уже виден идеал художника и объем предмета. Конечно, и колорит, необходимый для подробного выражения чувств, содействует красоте, гармонии целого; но он только распространяет мысль главную, всегда отражающуюся в характере лиц и в их расположении. И что за сравнение поэмы эпической с картиною и «Онегина» — с очерком!

Не хочет он, и никакие угрозы критика не заставят его писать, что хотят другие.

Ужели Рафаэль с г. Пушкиным исключительно пользуются правом не подчиняться воле и угрозам критиков своих? Вы сами, г. Полевой, от этого права не откажетесь, и например, если не захотите согласиться со мной насчет замеченных мною ошибок, то верно угрозы вас к тому не принудят.

В особом роде музыкальных сочинений, называемом *capriccio*, есть также постоянное правило. В *capriccio*, как и во всяком произведении музыкальном, должна заключаться полная мысль, без чего и искусства существовать не могут. — Таков «Онегин»? Не знаю — и повторяю вам: мы не имеем права судить о нем, не прочитавши всего романа.

После всех громких похвал, которыми издатель «Телеграфа» осыпает Пушкина и которые, впрочем, для самого поэта едва ли не опаснее *безмолвных громов*, кто ожидал бы найти в той же статье: «*В таком же*

положении, как Байрон к Попу, Пушкин находится к прежним сочинителям шуточных русских поэм».

Не надобно забывать, что на предыдущей странице г. Полевой говорит, что у нас в сем роде не было ничего сколько-нибудь сносного.¹ Мы напомним ему о «Модной жене» И. И. Дмитриева и о «Душеньке» Богдановича.

Несколько слов о народности, которую издатель «Телеграфа» находит в первой главе Онегина: «Мы видим свое, — говорит он: — слышим родные поговорки, смотрим на свои причуды, которых все мы не чужды были некогда». Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций. И во Франции, и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы. Нет, г. издатель «Телеграфа»! Приписывать Пушкину лишнее — значит отнимать у него то, что истинно ему принадлежит. В «Руслане и Людмиле» он доказал нам, что может быть поэтом национальным.

До сих пор г. Полевой говорил решительно; без всякого затруднения определил достоинства *будущего* романа «Онегина». Его рецензия сама собою и, кажется, без ведома автора, лилась из пера его, — но вот камень преткновения. Порыв его остановился: *для рецензента стихотворений Пушкина, где взять ошибок?* Милостивый государь! Целое произведение может иногда быть одною ошибкою; я не говорю этого насчет «Онегина», но для того только, чтобы уверить

¹ Г. издатель «Телеграфа»! Позвольте мне, для ясности привести уравнение двух предполагаемых вами отношений в приятную форму. Мы назовем буквою x сумму всех неизвестных, по мнению вашему, русских писателей шуточных поэм, и скажем:

Байрон : Попу = Пушкин : x .

Заметим, что здесь x не искомый, что даже трудно его выразить в математике, потому что, если лучше совсем не писать, нежели писать дурно, то x будет менее нуля. — Теперь как нравится вам второе отношение нашей пропорции? *Прим. Д. Веневитинова.*

вас, что и ошибки определяются только в отношении к делу. Впрочем, будем справедливыми: и в напечатанной главе «Онегина» строгий вкус заметит, может быть, несколько стихов и отступлений, не совсем соответствующих изящности поэзии, всегда благородной, даже и в шутке; касательно же выражений, названных вами неточными, я не во всем согласен с вашим мнением: *вздыхает лира*, в поэзии прекрасно; *возбуждать улыбку*, хорошо и правильно, едва ли можно выразить мысль свою яснее.

Мне остается заметить г. Полевому, что вместо того, чтобы с такою решимостью заключать о романе по первой главе, которая имеет нечто целое, полное в одном только отношении, т. е. как картина петербургской жизни, лучше бы было распространиться о разговоре поэта с книгопродавцем. В словах поэта видна душа свободная, пылкая, способная к сильным порывам — признаюсь, я нахожу в этом разговоре более истинного пиитизма, нежели в самом «Онегине».

Я старался заметить, что поэты не летают без цели и как будто единственно на зло пиитикам; что поэзия не есть неопределенная горячка ума, но, подобно предметам своим, природе и сердцу человеческому, имеет в себе самой постоянные свои правила. Внимание наше обращалось то на разбор издателя «Телеграфа», то на самого «Онегина». Теперь, что скажу в заключение?

О статье г. Полевого, — что я желал бы найти в ней критику, более основанную на правилах положительных, без коих все суждения шатки и сбивчивы.

О новом романе г. Пушкина, — что он есть новый прелестный цветок на поле нашей словесности, что в нем нет описания, в котором бы не видна была искусная кисть, управляемая живым, резвым воображением; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого остроумия, или очаровательного таланта в красоте выражения.

1825 г.

ОТВЕТ Г. ПОЛЕВОМУ

Четыре месяца скрылись уже в вечности с тех пор, как я сообщил «Сыну отечества» (в 8 кн.) несколько замечаний на разбор «Евгения Онегина», помещенный в «Московском телеграфе». С того времени многие — во многих журналах восставали против мнений и ошибок г. Полевого, но все критики, без исключения, оставались без ответа: казалось, что г. Полевой смотрел и на все замечания холодным взором совершенного равнодушия, последствие доказало, что равнодушие его было не совсем искреннее и что он дорожил временем для того только, чтобы собраться с силами.

Если бы г. Полевой писал антикритики с тем намерением, чтобы занимать своих читателей литературными прениями, всегда полезными, когда они не выходят из сферы литературы, то, при появлении всякой рецензии, он, конечно, бы заметил мнения, с которыми несогласен, изложил бы свои собственные и предоставил своим читателям судить о победе. Но г. Полевой чуждается литературных споров, нигде не показывает собственного образа мыслей и, как уполномоченный судья в словесности, нигде не терпит суждений других. Для сей цели выбрал он средство совсем новое, но очень простое: ему стоит только вооружиться терпением. Подождав несколько месяцев, он уверен, что читатели почти совсем забыли рецензию, писанную против него, привязывается к нескольким выражениям, вырванным из статьи, рассыпает полную горсть знаков вопрошения и... торжествует. Выдумка счастливая, сознаемся; но заметим, не во зло ему, что антикритика, в таком случае, не ответ литератора, а голос досады.

Руководствуемый другою целию, я буду действовать другими способами, и постараюсь объяснить себе, как можно лучше, ответ г. Полевого. Он сам сознается, что не понял статьи моей, и «не мог добиться, чего я точно хочу». Я смею уверить г. Полевого, что по-

нял его ответ, и добился, что он хочет оправдать свои ошибки; но к несчастью, это желание осталось безуспешным. В заключение моей рецензии я сказал о разборе г. Полевого, «что желал бы видеть в нем критику, более основанную на правилах положительных». Странно, что теперь г. Полевой не знает, чего я хотел. Если бы он мне доказал, что разбор Онегина был точно основан на правилах верных, представил развитие положительной литературной системы, тогда бы спор наш прекратился, или я бы заметил сочинителю разбора, что не во всем согласен с его системой; но г. Полевой не думает о защите собственных мнений и обращает все свое старание на то, чтобы представить мои мысли в смешном виде. Посмотрим, удачно ли он исполняет свое намерение.

Я рад бы сказать, как г. Полевой: «оставим мелочные привязки», но это невозможно, ибо вся статья его наполнена одними «привязками», и в ней нет ни одной мысли, которая бы могла послужить предметом разбора. Впрочем, у всякого свой вкус: один дорожит своими мыслями, другой — своими словами и шутками. Итак, чтобы не оскорбить авторского самолюбия молчанием, пробежим по порядку все остроумные шутки и важнейшие замечания г. издателя «Телеграфа».

Я говорил, что «Пушкин подарил нашу словесность прелестными произведениями». Г. Полевой восстает против сих выражений и кончает насмешкою и описанием вшествия царя Михаила Феодоровича в Москву. Соглашаюсь, что его насмешка очень забавна, ибо она очень неудачна, но замечание его почтаю несправедливым и даже натяжкою. Словесность тогда только принимается в смысле общем и представляет понятие целое, нераздельное, когда мы под сим выражением понимаем всю историю просвещения какого-либо народа, всю сферу его умственной деятельности; но в смысле обыкновенном это слово выражает сумму произведений, определяющих одну только степень народной образованности; сию сумму можно умножать, и

она всегда умножается; следовательно словесность можно «обогащать и дарить новыми произведениями».

Благодарю г. Полевого за объяснение «равноположных» понятий, но признаюсь, что оно для меня очень неудовлетворительно: он не отгадал моей мысли. Когда я говорил, что «Байрон принадлежит духом не одной Англии, а нашему времени», я хотел сказать (и, кажется, выразился ясно), что Байрон принадлежит характеру не одного народа, но самого века, т. е. характеру просвещения в нашем веке — тут «о целой Европе» ни слова. Далее г. Полевой уверяет, что «слово *целый* может относиться к слову *век* тогда,¹ если мы примем его в смысле столетия». Но я, к несчастью, неверчив, и мне кажется, что слово *век*, означая в филологическом смысле полный период образованности, и представляя следовательно понятие определенное, очень терпит прилагательное *целый*; наконец, рецензент мой утверждает, что если б я сказал: «Байрон соединил (или положим хоть сосредоточил) наклонность своего века, то здесь можно бы понять, что Байрон был, так сказать, отпечатком нынешнего времени», но я очень рад, что этого не сказал. Во-первых, *соединить наклонность века*, очень дурно и неправильно выражает мою мысль: *сосредоточить стремление века*; во-вторых, *Байрон отпечаток нынешнего времени*, — ничего не значит. Отпечаток нынешнего времени есть характер, дух века. Байрон может носить на себе сей отпечаток; но сам не может быть отпечатком нынешнего времени; при том же большая разница между *нашим веком и нынешним временем*. Веку принадлежат те только произведения, по которым потомство определяет характер века; к нынешнему времени относится все ныне писанное, не исключая даже дурных антикритик. Но вот венец замечаний г. Полевого: я кончаю период свой следующим образом: «если б Байрон мог

¹ «Тогда, если» — не чисто по-русски. *Прим. Д. Веневитинова.*

изгладиться в истории частного рода поэзии, то верно остался бы в летописях ума человеческого». Толкуя по своему расположению слов, издатель «Телеграфа» вопрошает: «История поэзии разве не часть летописей ума человеческого?» Поверить ли, что г. Полевой не понял моей мысли? Для всякого случая объясним ее. Если Байрон и мог бы изгладиться в истории трагедии, если бы имя его могло исчезнуть в истории эпопеи и лирической поэзии, то при всем том он верно остался бы в летописях ума человеческого, то есть возвышенных мыслей и глубоких чувств. Г. Полевой продолжает с восклицаниями: «Разве Тредьяковский может изгладиться в сих летописях» (в летописях ума человеческого)? «Никогда! Он будет в них, как памятник стремления к поэзии без таланта. История поэзии повторит все имена, только не равно о всех отзовется». Здесь маленькая ошибка. Г. Полевой смешивает летописи ума человеческого с памятниками безумия, невежества и бессилия; но если история повторяет все имена, то прошу г. издателя «Телеграфа» назначить мне библиотеку, в которой хранится список всех дурных и посредственных поэтов персидских, индейских, греческих, латинских и проч., а я, с своей стороны, доставлю ему имена всех тех, которые действовали на различные сии народы и определяли их различные характеры. Еще вопрос: если бы история поэзии состояла в собрании имен всех возможных поэтов мира и всех различных отзывов, то кто решился бы посвятить себя изучению такой истории, кто надеялся бы когда-нибудь выпить это море?

Говоря о характере Байроновых произведений, я выразился следующим образом: «Все произведения Байрона носят отпечаток одной глубокой мысли, мысли о человеке в отношении к окружающей его природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в его сердце, в противоречии с своими чувствами». Это определение называет г. Полевой «набором слов, неудачным подражанием Ансильонову определению

поэзии Гёте и Шиллера». Иной подумает, что г. Полевой подтвердит доказательствами столь решительный приговор; но все решается опять с помощью нескольких знаков вопрошения и посредством восклицания: «Как разгадать мысль г. — ва?» Как? Изучив со вниманием творения Байрона и составив себе верное, общее понятие о поэзии. Уверяю г. Полевого, что это лучший способ разгадывать все мысли, для нас новые. Я не распространяюсь об Ансильоновом определении; но спрашиваю всякого беспристрастного человека: имеет ли оно сходство с моею мыслию, и можно ли обвинить кого-нибудь в подражании,¹ чему же? — определению.

«Если бы должно было выразить характер Байрона, — говорит г. Полевой: — то всего лучше, повторяю, можно назвать его творения эмблемою нашего века». Прекрасно!!! Вот определение! Не то ли самое выразил я, говоря, что Байрон сосредоточил стремление целого века? Не та же ли мысль — разумеется, в новом виде, украшенная пером издателя «Телеграфа»? Но мысль сия определяет только достоинство Байрона, а не характер его; ибо она еще не показывает нам, в чем состоит дух нашего века. Г. Полевой продолжает: «Я... очень понимал, что говорю,² когда неопределенным, неизъяснимым состоянием сердца хотел означить сущность и причину романтической поэзии». Не знаю, с каким намерением г. Полевой после круп-

¹ Г. Полевой, не в первый раз без малейшего основания и единственно по произвольному приговору, обвиняет других в подражании. Не он ли недавно говорил о сочинении г. Хомякова: *Желание покоя, что главная мысль сего стихотворения, занята из известного Демилева Дифирамба*, — известного, конечно, многим, но, видно, не всем. Я смею уверить издателя «Телеграфа», что главные мысли сих двух сочинений не имеют ни малейшего сходства между собою, и что мысль русского поэта и возвышеннее и сильнее выражена. Прочтя обе пьесы, он сам в этом не будет сомневаться. *Прим. Д. Веневитинова.*

² «Я понимал, что говорю», — на зло всякой грамматике. *Прим. Д. Веневитинова.*

ного «Я» поставил ряд таинственных точек; но желал бы, чтобы он с нами поделился тем, что *очень понимает*, и чего мы понять не можем, ибо «неопределенное, неизъяснимое состояние сердца» ничего не определяет, ничего не изъясняет. Далее г. Полевой повторяет мои слова, и снова восклицания: «Опять сбивчивость в словах и понятиях! Кто из поэтов имел рассказ, т. е. исполнение поэмы, целию и даже кто из прозаиков в творении обширном? Характер героев можно и не можно почестъ связью описаний и проч.». Торжествуйте, г. издатель «Телеграфа»! но оглянитесь и посмотрите, над кем вы смеетесь. Я не удивляюсь, что вы забыли собственные свои мысли; но все эти выражения в статье моей напечатаны курсивом, и следственно могли бы вам напомнить, что они заимствованы из вашего разбора Онегина. Примерное добродушие! Мы знаем журналы, в которых забавляют читателей баснями, шутками насчет других, но издатель «Телеграфа», первый, собственными мнениями жертвует забаве своих читателей!

После некоторых других вопросов, подобных тем, которые мы видели, г. Полевой продолжает: «Если бы г. — в хотел поддержать взведенное на меня мнение, что я равняю Пушкина Байрону, он должен бы противопоставить например Дон-Жуана Онегину».

Мне кажется противное: я не равнял Пушкина Байрону, и следственно не буду сравнивать их произведений, следственно, и не понимаю требования г. Полевого и забавного его предложения. «Но точно что-то подобное имел, как я ¹ предполагаю (в виду), г. — в, делая свой вопрос». (Что такое «Онегин»?) Этот вопрос не мой, а принадлежит г. Полевому, и я, повторяя его, хотел только доказать издателю «Телеграфа», что он этого вопроса решить не может, не прочитав всего романа. «Так, я сказал, — продолжает г. Полевой, — что «Онегин» принадлежит к тому самому роду,

¹ Что точно, того не предполагают. Прим. Д. Веневитинова.

к которому принадлежат поэмы Байрона и Гёте». Полевой там сделал ошибку, а здесь ее повторяет. Уверяю его, что Гёте никогда не писал поэм вроде «Дон-Жуана», «Беппо» и «Онегина». Гёте написал только две поэмы: «Hermann und Dorothea» и «Reinecke Fuchs»; первая, вроде Луизы Фосса, есть также некоторым образом идиллия и описывает семейственную жизнь маленьких немецких городков; во второй действуют звери, а не люди; следственно, ни одна не развивает характера образованного человека в быту большого света.

Теперь приступаем к центру, в котором г. Полевой соединил против меня все свое искусство, все свои силы, к тому обвинению, которое заставило меня взять перо и отвечать на антикритику, впрочем, не убийственную. Чуждаясь (может быть, от недостатка времени) вступить в подробное рассмотрение изложенных мною мнений и опровергать их, как литератор, он хотел поразить меня одним ударом и выбрал лучшее средство поссорить меня со всеми образованными читателями, уверяя их, что я имею скрытное предубеждение против Пушкина. «Для чего, — говорит он: — закрывать столькими словами мысль, явно видимую, состоящую в том, что г. — в почитает Пушкина не великим поэтом, а просто подражателем Байрона?»

«Я сказал прежде, что в «Онегине» есть стихи, которыми одолжены мы памяти поэта, скажу, что и в других его поэмах такие стихи попадаются». Где же эта ясность? Где обнаруживаю я такую мысль! Правда, я смотрю на талант совсем с другой точки, нежели г. Полевой, и уверен, что поэт, как Пушкин, пишет не с памяти, но выражает сильные чувства, сильные впечатления, поселенные в нем самим веком, наклоном к глубокой мечтательности, и Байроном — представителем своего века. Из этого г. Полевой выводит, что Пушкин подражатель. Но объявляю ему, что я не думал писать против «Онегина», восставал против раз-

бора «Онегина», не отказывал г. Пушкину в похвалах, но вооружался против тех, которые наполняли «Телеграф», и до сих пор не понимаю, как г. Полевой смешивает себя с Пушкиным. Для панегириста Пушкина это непростительная ошибка. Скажу более, я не мог писать против «Онегина» по двум причинам: во-первых, потому, что из «Онегина» читал я только первую главу и в этом случае не хотел подражать г. Полевому, который судит по ней обо всем романе, и уверяет теперь *bona fide*, что он определил сочинение Пушкина; во-вторых, я почитаю бесполезным писать против всякого поэта. Издатель «Телеграфа» позволит мне объяснить сию вторую причину языком не ученым, но понятным для всякого, — языком, который следовательно избавит его от лишней траты вопросительных знаков, а меня от лишних буквальных пояснений. Я разделяю вообще поэтов на два класса: на хороших и дурных; хороших читаю, перечитываю и стараюсь определить себе их характер; дурных кладу в сторону. Похвала из уст неизвестного не польстит поэту, но уверяю г. Полевого, что я не раз читал сочинения Пушкина и всегда наслаждался их красотами. Надеюсь, что теперь сам г. Полевой найдет, к чему отнести выражения мои: «целое сочинение может иногда быть одною ошибкою». Чтоб не оставить ни одного замечания г. Полевого без ответа, рассмотрим, как он объяснил применение очерка картины к «Онегину». «В рассуждении «Онегина», — говорит он: — пусть г. — в воображит, что Рафаэль, решившись писать картину из многих лиц, сделал очерк одной головы, и он увидит, что мои слова не без смысла». Не вижу этого. Если мы и сравним весь (положим, существующий) роман «Онегина» с полною картиною, то следует ли из сего, что одну «главу» романа можно сравнить с очерком одной «головы» картины. Кажется, нет: в очерке одной головы мы уже видим весь характер изображаемого лица; но для нас еще сокрыта сцена, его окружающая, отношение его к прочим лицам,

Напротив того, в первой главе «Онегина» поэт уже обозначил общество, к которому принадлежит его герой, очертил сферу его действий; но характер еще не развит, он будет развиваться в продолжение всего сочинения, и мы его только предугадываем. Уверен, что картина г. Пушкина будет прекрасна; желаю, чтоб она была подобна Рафаэлевым.

Стараясь в критике моей на разбор «Онегина» различными способами обличить сбивчивость понятий г. Полевого, который ссылался на живопись и на музыку, все неудачно, я в маленьком примечании доказал ему математически, из собственных же слов его, что он не только унижил достоинство Пушкина, но превратил его в ничто. Г. Полевой отвечает: «в математическом примере, г. — в сделал просто ошибку». Это сказано слишком просто; но что сказано, не всегда доказано.¹

Когда г. Полевой утвердительно сказал, что у нас не было ничего, сколько-нибудь спосного, вроде «Онегина», я напомнил ему о «Модной жене» и о «Душеньке», но он недоволен моим напоминанием. «Модная жена» — сказка, не поэма». Разве «Онегин» — поэма, не роман? Что определяет род поэзии? Назва-

¹ Трудно полагаться на суждения издателя «Телеграфа» без доказательств. Мы знаем, что он судит о всех науках и искусствах; но он имеет, во всех частях, сведения совершенно особенные. Не он ли, например, в разборе «Полярной звезды» ставит две словесности в равную параллель? Какой математик разгадает нам такую загадку? Не он ли утверждает, что есть музыка А-мольная. Пусть спросит он у самого ученого музыканта, что такое музыка А-мольная; тот верно не найдет ответа. Есть А-мольный тон; могут быть и есть А-мольные симфонии, концерты и т. п., начинающиеся в тоне А-моль, но симфонии и концерты не музыки, а музыкальные произведения. Не в его ли журнале уверяют, что богиня подарков не могла называться *Strenno* потому, что в латинском языке имена женского рода не могут кончаться на слог *no*? В какой латинской грамматике г. сочинитель нашел постоянное правило для имен женского рода, и к какому роду принадлежит имя *Juno*? Впрочем, об этом говорим только мимоходом. *Прим. Д. Веневитинова.*

ние ли произведений, или точка зрения, с которой поэт взирает на предметы? «Душенька» также не идет в сравнение, ибо г. Полевой говорит, «что он разумел те шуточные поэмы, коих предметы заимствованы из общежития». «Дон-Жуану», — говорит он, — противно полагаю я «Похищенный локон»; что ж и проч.. Г. Полевой мог бы быть осторожнее. В «Похищенном локоне» действуют силфы и гномы; прошу его объяснить мне, к какому общежитию принадлежат такие действующие лица.

Мне остается сказать что-нибудь о *народности*, и что я разумею под сим выражением. Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах и проч. (как остроумно думает г. Полевой), но и не в том, где ешкет издатель «Телеграфа». Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного духом одного народа и живущего, так сказать, в развитии, успехах и отдельности его характера. Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины тогда только истинно нам нравятся, когда они оправданы гордым участием поэта. Так, например, Шиллер в «Вильгельме Телле» переносит нас не только в новый мир народного быта, но и в новую сферу идей: он увлекает, потому что пламенным восторгом сам принадлежит Швейцарии.

Я противоречил г. Полевому на каждом шагу; но падеюсь, что никто не припишет этого упрямству: со всей доброй волею я не мог ни в чем с ним согласиться. Предоставляя читателям судить о достоинстве антикритик, печатанных в «Телеграфе», предлагаю им только на суд мое мнение. Они все, кажется мне, писаны в шутку; ибо кто же не шутя решится опровергать свои собственные мнения, приписывать Гёте поэмы, которых он никогда не писал, утверждать, что предмет «Похищенного локона» взят из общежития и проч., и проч., и проч.? Г. Полевой простит мне

Многие шутки, но, написав статью, в которой я изложил некоторую систему литературы, которая следовательно могла быть предметом литературного спора, и заставить с обеих сторон развивать и определять понятия, мог ли я ожидать такого ответа, каким подарил меня издатель «Телеграфа»? Впрочем, обещаю ему вперед никогда не восставать против его замечаний; тем более, что он сам в начале своей статьи против меня объявляет, что замечания его более библиографические, нежели критические: теперь знаю, с какой стороны должно о них судить. Библиограф извещает о появлении книг, описывает их формат, обозначает число листов и страниц, типографию, цену и место продажи, а во всех сих случаях я готов всегда слепо верить г. Полевому.

ОБ «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»

Все уже давно приветствовал «Евгения Онегина». «Дамский журнал» поднес ему пучок рифм; «Северная пчела» угостила его своим медом; «Телеграф» также истощил перед ним все свои выразительные знаки.¹

С «Онегиным» давно познакомилсь все русские читатели, и нам, некоторым образом, уже позд[н]о говорить о нем; но, как издатели журнала, мы обязаны прибавить свой голос к голосу общему и сказать о нем хоть несколько слов. Вот наше мнение:

Вторая песнь, по изобретению и изображению характеров, несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставленных Байроном, и в «Северной пчеле» напрасно сравнивают Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Онегина принадлежит нашему поэту и развит оригинально. Мы видим, что Онегин уже испытан жизнью; но опыт

¹ Пишу на авось, «Телеграф» говорил ли об «Онегине»?
Прим. Д. Веневитинова.

поселил в нем не страсть мучительную, не едкую и деятельную досаду, а скуку, наружное беспристрастие, свойственное русской холодности (мы не говорим русской лени).

Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво.

Характеры Ленского и Татьяны также очень живы и много обещают для продолжения романа. О стихах ни слова. Если мы опоздали говорить о самом Онегине, то хвалить стихи Пушкина и подавно позд[н]о.

ANALYSE D'UNE SCÈNE DÉTACHÉE DE LA TRAGÉDIE DE MR. POUCHKIN INSÉRÉE DANS JOURNAL DE MOSCOU («МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»)

De nouveaux éloges ne pourraient rien ajouter à la réputation de Mr. Pouchkin. Depuis longtemps ses productions, qui décèlent toutes un talent aussi varié que fécond, font le charme du public russe. Mais quelque brillant qu'aient été jusqu'à ce jour les succès de ce poète, quelque incontestables que soient ses droits à la gloire, les vrais amis de la littérature nationale le voyaient à regret suivre dans tous ses ouvrages une impulsion étrangère et sacrifier la vocation de poète original à son admiration pour le barde anglais, qui s'offrait à ses yeux comme le génie poétique de notre siècle. Ce reproche, si flatteur pour Mr. Pouchkin, est cependant injuste sous un rapport. Il en est de l'éducation du poète comme de tout développement moral: il faut que l'influence d'une force déjà mûre lui donne d'abord la conscience de toutes les impulsions dont il est susceptible, pour mettre en mouvement tous les ressorts de

son âme et réveiller ainsi sa propre énergie. Une première impulsion ne détermine pas toujours la tendance du génie; mais c'est à elle qu'il doit son élan, et sous ce rapport Byron a été pour Pouchkin ce que les circonstances d'une vie orageuse ont été pour Byron lui-même. Aujourd'hui l'éducation poétique de Mr. Pouchkin semble être entièrement terminée: l'indépendance de son talent est un sûr garant de sa maturité, et sa Muse, qui ne s'était montrée à nous que sous les traits enchanteurs des graces, vient de prendre le double caractère de Melpomène et de Clio. Depuis longtemps, nous avons entendu parler de sa dernière production Boris Godounoff, et un nouveau journal («Московский вестник») vient de nous offrir une scène de ce drame historique, qui n'est connu en entier que de quelques amis du poète. L'époque, à laquelle il se rattache, nous a déjà été présentée avec un talent admirable par le célèbre historien, dont la Russie regrettera longtemps la perte, et nous ne pouvons nous empêcher de croire que l'ouvrage de Mr. Karamzine n'ait été pour Mr. Pouchkin une source bien riche des détails les plus précieux. Quel est l'ami de la littérature qui verra sans intérêt ces deux génies, pour ainsi dire aux prises, développer le même tableau, chacun selon son point de vue et dans un cadre différent. Tout ce que nous avons pu apprendre sur la tragédie de Mr. Pouchkin nous autorise à croire, que si d'un côté l'historien s'est élevé, par la hardiesse de son coloris, à la hauteur de l'épopée, le poète à son tour a transporté dans sa production l'imposante sévérité de l'histoire. On dit que sa tragédie embrasse toute l'époque du règne de Godounoff, ne se termine qu'à la mort de ses enfants et déroule toute la chaîne des événements, qui ont amené l'une des catastrophes les plus extraordinaires, dont la Russie ait jamais été le théâtre. Un cadre aussi vaste aura certainement obligé Mr. Pouchkin de se soustraire à cette régularité qu'imposent les lois dérivées du principe des trois unités. Toutefois la scène, que nous avons sous les yeux, nous

prouve suffisamment, que s'il a négligé dans ses formes quelques règles arbitraires, il n'en a été que plus fidèle aux lois immuables et fondamentales de la poésie et à ce caractère de vraisemblance, qui doit être le résultat de la consciencieuse franchise avec laquelle le poète reproduit ses inspirations. Cette scène frappante de simplicité et d'énergie, peut être placée sans crainte au rang de tout ce que le théâtre de Shakespeare et de Goethe nous offre de plus parfait. L'individualité du poète ne s'y montre pas un moment: tout appartient à l'esprit du temps et au caractère des personnages. Elle vient immédiatement après l'élection de Boris au trône et doit offrir un contraste vraiment théâtral avec les scènes précédentes où le poète aura reproduit le grand mouvement, qui doit accompagner dans la capitale un événement aussi important pour le pays entier. Le lecteur est transporté dans la cellule de l'un de ces moines, auxquels nous devons nos annales. Le calme imposant qu'on ne saurait séparer de l'idée de ces hommes, qui, éloignés du monde, étrangers à ses passions, vivaient dans le passé pour s'en constituer l'organe dans l'avenir, caractérise le discours du vieillard. Il veille à la lueur de sa lampe, et une méditation involontaire, un souvenir d'un crime atroce l'arrête au moment où il va terminer sa chronique. Il doit cependant ce récit à la postérité; il reprend sa plume. Dans ce même moment Grégoire, dont il guide les années de noviciat, s'éveille brusquement, poursuivi par un songe, qui serait aux yeux de la superstition le présage d'une destinée orageuse et à ceux de la raison l'expression vague d'une ambition encore comprimée. Le dialogue, qui décèle dès les premières paroles l'opposition de ces deux caractères, conçus avec hardiesse et profondeur, amène le récit de l'assassinat du jeune Dmitri et fait deviner déjà l'homme extraordinaire, qui se servira bientôt du nom de cet infortuné pour bouleverser la Russie.

Le besoin d'entreprises hardies, les passions fougueuses, qui doivent se développer plus tard dans le cœur

de Grégoire Otrépieff, nous sont présentées avec une vérité admirable dans le discours qu'il tient au vieil annaliste: «O que ta jeunesse a été riche de plaisirs! Tu as combattu sous les murs de Cazan, tu as suivi Chouï-sky à la victoire quand il repoussait les armées de la Lithuanie. Tu a connu Ivan et sa cour fastueuse! Homme heureux!.. Et moi des mes plus jeunes années misérable reclus, je traîne mes ennuis de cellule en cellule. Pourquoi ne devrais-je pas à mon tour goûter la joie des combats? Pourquoi n'irais-je pas m'asseoir au banquet de nos Princes?»

Qu'il est beau le contraste de cette âme ardente avec le calme majestueux du vieillard, impassible témoin des vertus et des crimes de ses compatriotes, de ce vieillard dont l'air imposant produit une si vive impression sur son jeune interlocuteur!

«Ni son regard, ni son front élevé ne décèlent ses secrètes pensées. C'est toujours le même aspect tranquille et majestueux. Tel le Diak, vieilli dans les enquêtes, inaccessible à la pitié, comme à la colère, regarde d'un œil d'indifférence l'innocent et le coupable, entend sans s'émouvoir la voix de la vertu et du crime».

Les vers que nous venons de rapporter ne sont pas supérieurs au reste de cet admirable fragment dramatique, où les beautés des détails se perdent pour ainsi dire dans la beauté de l'ensemble. Un caractère de simplicité vraiment antique y règne à côté de l'harmonie et de la justesse d'expressions, qui distinguent particulièrement les vers de Mr. Pouchkin. Quelques lecteurs y chercheront peut être en vain cette fraîcheur de style, répandue sur d'autres productions du même auteur; mais l'élégance moderne, qui ajoutait au mérite des poèmes d'un genre moins relevé, n'aurait pu que déparer un drame, où le poète se dérobe à notre attention, pour la porter tout entière sur les personnages qu'il met en scène. C'est là, qu'est le triomphe de l'art, et nous pensons que Mr. Pouchkin l'a obtenu d'une manière incontestable. Ajoutons un vœu à tous ces éloges, que nous

dicte une juste admiration, et souhaitons, que toute la tragédie réponde au fragment que nous avons eu sous les yeux! Dès lors la littérature russe aura non seulement fait une acquisition immortelle; mais elle aura enrichi les annales de la muse tragique d'un chef-d'oeuvre, qui pourra être placé à côté de ce que toutes les langues anciennes et modernes offrent de plus beau en ce genre.

(Перевод)

Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина, напечатанного в «Московском вестнике»

Новые похвалы ничего не могут прибавить к известности г. Пушкина. Его творениями, которые все обнаруживают талант разнообразный и плодотворный, давно восхищается русская публика. Но хотя и блистательны успехи этого поэта, хотя и неоспоримы его права на славу, — все же истинные друзья русской литературы с сожалением замечали, что он, во всех своих произведениях, до сих пор следовал постороннему влиянию, жертвуя своею оригинальностью — удивлению к английскому барду, в котором видел поэтический гений нашего времени. Такой упрек, столь лестный для г. Пушкина, несправедлив, однако, в одном отношении. При развитии поэта (как вообще при всяком нравственном развитии) необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнаружило пред ним самим: каким возбуждениям он доступен. Таким образом приведутся в действие все пружины его души и подстрекнется его собственная энергия. Первый толчок не всегда решает направление духа, но он сообщает ему полет, и в этом отношении Байрон был для Пушкина тем же, чем были для самого Байрона приключения его бурной жизни. Ныне поэтическое воспитание г. Пушкина, повидимому, совершенно окончено. Независимость его таланта — верная порука его зрелости, и его муза, являвшаяся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает двойной характер —

Мельпомены и Клио. Давно уже ходили слухи о его последнем произведении «Борис Годунов», и вот новый журнал («Московский вестник») предлагает нам одну сцену из этой исторической драмы, известной в целом лишь нескольким друзьям поэта. Эпоха, из которой почерпнуто ее действие, уже была с изумительным талантом изображена знаменитым историком, которого потерю долго будет оплакивать Россия, и мы не можем отказаться от убеждения, что труд г. Карамзина был для г. Пушкина богатым источником драгоценных материалов. Кто из друзей литературы не заинтересуется тем, как эти два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но в различных рамках и каждый с своей точки зрения. Все, что мы могли узнать о трагедии г. Пушкина, заставляет нас думать, что если — с одной стороны — историк, смелостью колорита, возвысился до эпохи, то поэт, в свою очередь, внес в свое творение величавую строгость истории. Говорят, что трагедия обнимает все царствование Годунова, кончается лишь со смертью его детей и развертывает всю ткань событий, которые привели к одной из самых необычайных катастроф, когда-либо случившихся в России. При исполнении такой обширной программы г. Пушкин был, разумеется, вынужден обходить законы трех единств. Во всяком случае, отрывок, который у нас перед глазами, достаточно удостоверяет, что если поэт и пренебрег некоторыми произвольными требованиями касательно формы, то был тем более верен непреложным и основным законам поэзии и не отступал от правдоподобия, которое является результатом той добросовестной смелости, с какою поэт воспроизводит свои вдохновения. Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена на ряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гёте. Личность поэта не выступает ни на одну минуту: все делается так, как требуют дух века и характер действующих лиц. Названная сцена следует непо-

средственно за избранием Годунова и должна представить контраст, поистине драматический, с предыдущими сценами, в которых поэт воспроизведет нам то сильное движение, которое должно было сопровождать в столице столь важное для государства событие. Читатель переносится в келью одного из тех монахов, которым мы обязаны нашими летописями. Речь старика дышит тем величавым спокойствием, которое неразлучно с самым представлением об этих людях, удалившихся от мира, чуждых страстям, живущих в прошедшем, — чтобы оно через них говорило будущему. Старик бодрствует при свете лампы, и невольное раздумье, при воспоминании об ужасном злодействе, останавливает его в минуту, когда он заканчивает свою летопись. Он, однако, обязан довести до потомства сказание о злодействе и снова берется за перо. Вдруг просыпается Григорий, — послушник, находящийся у него под руководством. Григория преследует сон, который, в глазах суеверия, показался бы предвещающим бурной будущности и в котором разум видит лишь неопределенное проявление честолюбия, которому еще нет простора. Диалог раскрывает с первых слов противоположность между двумя характерами, так смело и глубоко задуманными. Вы слышите рассказ об убийстве отрока Димитрия и уже угадываете необыкновенного человека, который скоро воспользуется именем несчастного царевича, чтобы потрясти всю Россию.

Жажда смелых предприятий, порывистые страсти, которые со временем развернутся в душе Григория Отреньева, — все это, с поразительной правдой, рисуется в словах его, обращенных к летописцу:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет

По келиям скитаюсь; бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?

Как хорош контраст этой пылкой души с величавым спокойствием старца, бесстрастного наблюдателя добродетелей и преступлений своих сограждан, — старца, внушительный взгляд которого производит такое живое впечатление на молодого собеседника!

Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый...
Так точно дьяк, в приказах поседельный,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Стихи, приведенные нами, совсем не лучше остальных в этом дивном драматическом отрывке, где красота частных черт теряется, так сказать, в красоте целого, где античная простота является рядом с гармонией и верностью выражения — отличительными качествами стихов г. Пушкина. Некоторые читатели, быть может, напрасно станут искать в этом отрывке той свежести стиля, которая видна в других произведениях того же автора; но изящество в современном вкусе, служащее к украшению поэм не столь возвышенного рода, только обезобразило бы драму, где поэт ускользает от нашего внимания, чтобы тем полнее направить его на изображаемые лица. Здесь видим мы торжество искусства и полагаем, что этого торжества г. Пушкин достиг вполне. К тем похвалам, которые нам внушены вполне законным удивлением, прибавим еще желание, — чтобы вся трагедия г. Пушкина соответствовала отрывку, с которым мы познакомились. Тогда не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музыки обогатятся образцовым произведением, которое станет

на ряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых.

ОБ «АБИДОССКОЙ НЕВЕСТЕ»

Спя повесть так известна, что не нужно представлять здесь ее содержания. Она не принадлежит к числу тех произведений, в которых Байрон показал всю силу своего гения и потому не может подать повода к развитию характера сего великого поэта. В переводе И. И. Козлова есть места прекрасные, стихи пресчастливые. Но везде ли сохранен характер подлинника? Козлов доказал нам, что он постигает красоты поэта английского, и мы уверены, что он чувствует злее нас, сколько перевод его отстает от произведения Байрона. Мы же, русские, должны быть благодарны за всякий опыт, доказывающий чувство изящного, рвение к литературе отечественной и трудолюбие.

Р. S. В 148 № «Северной пчелы» помещен критический разбор «Абидосской невесты». Длинный приступ, украшенный многими сравнениями (в которых не забыты ни золотые кумиры, ни глиняные ноги, ни деревья, ни камешья, ни заря, ни слабые дети), посвящен тому, чтобы доказать необходимость беспристрастия. Это похвально, но рецензент забыл, что пристрастие не всегда происходит от намерения недоброжелательного и часто происходит от недостатка способов произнести суд беспристрастный. Мы тогда судим здраво, когда с чистотою намерения соединяем верные понятия о предмете, подлежащем нашему суждению. Si po quae поп, как говорит сам рецензент, или sine qua поп, как говорят по-латыни. Автор рецензии, желая доказать неверность перевода Козлова, выставляет свой собственный, буквальный. Например, прекрасные два стиха:

Where the light wings of zephyr oppressed with parfum
Wan faint o'er the gardens of gue in her bloom

переводит он следующим образом: «Где свет дневной быстро разносится зэфиром, отягченном благоуханием, где сады украшены полноцветными розами». Если г. рецензент принял light за свет, а wings за глагол, то в стихах Байрона нет ни здравого смысла, ни даже грамматического.¹ Следующие стихи переведены с такою же верностью. По этому примеру мы можем видеть, в состоянии ли автор разбора судить о стихах Байрона и сравнивать перевод г. Козлова с подлинником. О слоге, об образе изложения его рецензии мы говорить не будем. Если читатели «Северной пчелы» прочли ее с удовольствием, то их не разуверит. Подумаем о самих себе; наш P. S. длинен, а читатели, может быть, нетерпеливы.

Напишите что-нибудь в этом роде, разумеется, не так небрежно; я писал с присеста и экспромптом. Это не обидит Козлова и спасет беспристрастие журнала. Я думал, что напишу несколько замечаний, а между тем намазал почти что рецензию.

¹ Буквальный перевод: «Где легкие крылья зефира, отягченные благоуханием, изнемогают над садами, в которых восточная роза расцветает во всей красоте своей». *Прим. Д. Веневитинова.*

СТАТЬИ НА ФИЛОСОФСКИЕ ТЕМЫ

ПИСЬМО К ГРАФИНЕ XX

[Княжне А. И. Трубецкой]

Мог ли я полагать, любезнейшая графиня, что беседы наши завлекут нас так далеко? Начали с простого разбора немецких стихотворцев, потом стали рассуждать о поэзии, а теперь уже пишу к вам о философии. Не пугайтесь этого имени; вы сами требовали от меня развития философских понятий, хотя выражались другими словами. Не вы ли сами заметили мне, что одно чувство наслаждения, при взгляде на какое-нибудь изящное произведение, для вас неудовлетворительно, что какое-то любопытство заставляло вас требовать от себя отчета в этом чувстве — спросить, какую силу оно возбуждается, в какой связи находится с прочими способностями человека? Таким образом сделали вы сами собою первый шаг ко храму богини, которая более всех прочих таится от взоров смертных. Радуюсь блистательным вашим успехам, я обещал представить вам, в кратком и простом изложении, такую науку, совершенно удовлетворить вашему любопытству, и это обещание решился я исполнить в настоящих письмах о философии. Впрочем, об имени спорить не будем. Если оно заслужило негодование многих, если большой свет не различает философии от педантизма, то я согласен дать беседам нашим другое название: мы будем не философствовать, будем просто думать, рассуждать... Но к чему

такое замечание? Я знаю вас, графиня, и потому буду смело говорить вам именно о философии. Вы слишком умеете ценить наслаждения умственные, чтобы останавливаться на пустых звуках и не свергнуть оков нелепого предубеждения. Вы знаете, вы всякой день слышите, что философию называют бредом, пустой игрою ума; но в этом случае верно никому не поверите, кроме собственного опыта. Итак, испытывайте. Если собственный рассудок ваш оправдает сии укоризны, не верьте философии, или, лучше сказать, не верьте тому, кто вам представил ее в таком виде. Я сам, начиная письма мои, прошу вас не забывать одного условия, и вот оно: если я на одну минуту перестану быть ясным, то изорвите мои письма, запретите мне писать об этом предмете. Между тем, пусть суетные безумцы смеются над нашими занятиями, — мы надеемся стать на такую высоту, с которой не слышен будет презрительный их хохот, а они, несчастные, и так уже довольно наказаны судьбою, которая лишила их способа наслаждаться, подобно нам, благороднейшими склонностями человека.

Прежде нежели посвятите себя таинствам Елевзипским, вы, конечно, спросите: для чего учреждены они и в чем заключаются; но недаром они таинства, и этого вопроса не делают при входе. Лишь несколько жрецов, поселенных в служении и гаданиях, могли бы отвечать на него. Они хранят глубокое молчание, и вопрошающий получает только один ответ: «Иди вперед, и узнаешь». То же с философией. Вы хотите знать ее определение, ее предмет, и на это я не могу дать вам решительного ответа. Но мы вместе будем искать его в самой науке, и потому сделаем другой вопрос: может ли быть наука, называемая философией, и как родилась она? Положим себе за правило: на всем останавливать наше внимание и не пропускать ни одного понятия без точного определения. И потому, чтобы безошибочно отвечать на предложенный нами вопрос, спросим себя наперед: что понимаем мы под словом наука? Если

бы кто-нибудь спросил вас: что такое история? Вы бы верно отвечали: наука происшествий, относящихся до бытия народов. Что такое арифметика? Наука чисел и т. д. Следовательно, история и арифметика составляют две науки, но в определении каждой из них заключается ли определение науки вообще? Рассмотрим ответы подробнее. Арифметика — наука чисел. Что это значит? Конечно то, что арифметика открывает законы, по которым можно разрешать все численные задачи, или, другими словами, что арифметика представляет общие правила для всех частных случаев, выражаемых числами; так, например, дает она общее правило сложения для всех возможных сложений. Если мы таким же образом рассмотрим и другой ответ, то увидим, что история стремится связать случайные события в одно для ума объятное целое; для этого история сводит действия на причины и обратно выводит из причин действия. В обеих сих науках (в арифметике и в истории) замечаем мы два условия: 1) каждая из них стремится привести частные случаи в теорию, 2) каждая имеет отдельный, ей только собственный предмет. Применим это к прочим, нам известным, наукам, и мы увидим, что вообще наука есть стремление приводить частные явления в общую теорию или в систему познания. Следовательно, необходимые условия всякой науки суть: общее это стремление и частный предмет; другими словами: форма и содержание. Вы позволите мне, любезнейшая графиня, иногда употреблять сии выражения, принятые всеми занимающимися нашим предметом, и потому прошу вас не терять из виду их значения. Впрочем объяснимся еще подробнее. Если всякая наука, чтоб быть наукою, должна быть основана на каких-нибудь частных явлениях (т. е. иметь содержание) и приводить все эти явления в систему (т. е. иметь форму), то форма всех наук должна быть одна и та же; напротив того, содержания должны различествовать в науках, например, содержание арифме-

тики — числа, а истории — события. Вы теперь видите, что слово «форма» выражает не наружность науки, но общий закон, которому она необходимо следует.

С этими мыслями возвратимся к философии и заключим: если философия — наука, то она необходимо должна иметь и форму и содержание; но как доказать, что философия имеет содержание или предмет особенный, если мы еще не знаем, что такое философия? Постараемся победить это затруднение, и примемся за вопрос: как родилась философия?

Все науки начались с того, что человек наблюдал частные случаи и всегда старался подчинять их общим законам, т. е. приводить в систему познания. Рассмотрите ход собственных ваших занятий, и это покажется вам еще яснее. Вы начали читать немецких поэтов. Ум ваш, соединив все впечатления, которые получил от них, составил понятие о литературе немецкой и отличил ее от всякой другой, привязав к ней идею особенного характера. Этого мало; из понятий о частных характерах поэтов вы составили себе общее понятие о поэзии, в ней заключили вы идею гармонии, прекрасного разнообразия; словом, вы окружили ее такими совершенствами, которых мы напрасно бы стали искать у одного какого-либо поэта. Ибо поэзия для нас богиня невидимая; лишь отдельно рассеяны по вселенной прекрасные черты ее. Чувство, привыкшее узнавать печать божественного, различило разбросанные черты сии на лицах нескольких любимцев неба; из них сотворило оно идеал свой, назвало его поэзией и воздвигло ему жертвенник. В последнем письме своем ко мне, не довольствуясь одною идеей поэзии и безотчетным наслаждением ею, вы обратили внимание на самое чувство, на действие самого ума. Выписываю собственные слова ваши:

«... Не то же ли я чувствую, удивляясь превосходной мадонне Рафаэля и слушая музыку Бетховена? Не так же ли наслаждаюсь прелестною статусей древности и глубокою поэзией Гёте? Это заставило меня

спросить: как могли бы различные предметы породить одно и то же чувство, если это чувство, эта искра пылкого не таилась в душе моей прежде, нежели пробудили ее предметы пылкие. Я до сих пор не нахожу ответа и т. д.». Мы найдем его, любезнейшая графиня, вы сами его найдете; но не здесь ему место, и мы возвратимся теперь к предмету, чтобы не выпустить из рук Ариадниной нити.

Как развились собственные ваши понятия, так постепенно развивались и науки. В сем развитии, как вы сами можете заметить, находятся различные степени, определяющие степени образования. Чем более наука привела частные случаи в общую систему, тем ближе она к совершенству. Следовательно, совершеннейшая из всех наук будет та, которая приведет все случаи или все частные познания человека к одному началу. Такая наука будет не математика, ибо математика ограничила себя одними измерениями; она будет не физика, которая занимается только законами тел, словом, она не может быть такою наукою, которая имеет в виду один отдельный предмет; напротив того, все науки (как частные познания) будут сведены ею к одному началу, следовательно, будут в ней заключаться, и она по справедливости назовется наукою наук. Но мы выше заметили, что всякая наука должна иметь содержание и форму; посмотрим, удовлетворяет ли сим условиям наука, которую мы теперь нашли и которую, по примеру многих столетий, назовем философиюю.

Если философия должна свести все науки к одному началу, то предметом философии должно быть нечто, общее всем наукам. Мы доказали выше, что все науки имеют одну общую форму, т. е. приведение явлений в познание; следовательно, философия будет наукою формы всех наук или наукою познания вообще. Итак, содержание ее будет познание, не устремленное на какой-нибудь особенный предмет; но познание как простое действие ума, свойственное всем наукам, как простая познавательная способность. Формою же фило-

Философия будет то же самое стремление к общей теории, к познанию, которое составляет форму всякой науки. Заклучим: философия есть наука, ибо она есть познание самого познания, и потому имеет и форму и предмет.

Впоследствии мы увидим, как все науки сводятся на философию и из ней обратно выводятся: но для примера припомним опять то, что вы сами чувствовали. Вы видели мадонну — и она привела вас в восторг; вы спросили: отчего эта мадонна прекрасна? и на это отвечала вам наука прекрасного или эстетика; но вы спросили: отчего чувствую я красоты сей мадонны? какая связь между ею и мной? — и не могли найти ответа. Он принадлежит, как мы увидим впоследствии, к философии; ибо тут дело идет не о законах прекрасного, но о начале всех законов, об уме познающем, принимающем впечатления.

Я не скрою от вас, что философия претерпела удивительные перемены и долго была источником самых несообразных противоречий. Какая наука не подлежала той же участи? Замечательно однакож, что она всегда почиталась наукою важнейшею, наукою наук, и несмотря на то, что обыкновенно была достоянием небольшого числа избранных, всегда имела решительное влияние на целые народы. Впоследствии мы заметим это влияние, особенно у греков. Мы увидим, как философия развилась в их поэзии, в их самой жизни и стремилась свободно к своей цели. Ученые спорили между собою, противоречили друг другу, опровергали системы и на развалинах их воздвигали новые; и при всем том наука шла постоянным ходом, не изменяя общего своего направления. Божественному Платону предназначено было представить в древнем мире самое полное развитие философии и положить твердое основание, на котором в сии последние времена воздвигнули непоколебимый, великолепный храм богини. Через несколько лет я буду советовать вам читать Платона. В нем найдете вы столько же поэзии,

сколько глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли.

Мы не будем разбирать различных определений философии, изложенных в отдельных системах. Иные называли ее наукою человека, другие — наукою природы и т. п. Мы доказали себе, что она наука познания, и этого для нас довольно; и с этой точки будем смотреть на нее в будущих наших беседах.

[ПИСЬМО О ФИЛОСОФИИ]

Что такое философия и каков предмет ее? Эти вопросы, казалось бы, должны быть первыми вопросами философии. Мы привыкли при изучении всякой науки объяснить себе наперед предмет ее. Здесь совершенно противное. Для того, чтобы определить себе, что такое философия, надобно пройти полную систему науки, и ответ на сей вопрос будет ее результатом. Отчего бы это так было? Неужели философия не есть в полном смысле наука? Неужели она не имеет предмета определенного и основана на одном предположении мечтательном? Напротив, оттого, что она есть единственная самобытная наука, заключает в себе самый предмет свой; между тем, как другие науки, так сказать, приковывают ум к законам нескольких явлений, произвольно полагая ему границы во времени или в пространстве, она вырывается из самой свободы ума, не подчиняясь никаким посторонним условиям. Математика есть также наука свободная: точка, линии, треугольники суть некоторым образом ее произведения, но математика занимается одними произведениями своими и тем ограничивает круг свой, между тем как философия обращает все свое внимание на самое действие. Всякая наука довольствуется познанием своего предмета или, лучше сказать, познает только законы избранных ею явлений; одна философия исследует законы самого познания и потому по всей справедливости

ности, во все времена, называлась наукою наук, наукою премудрости.

Если философия занимается не произведением ума, но его действием, то она необходимо должна преследовать это действие в самой себе, то есть в самой науке, и потому первый вопрос ее должен быть следующий: что есть наука или вообще что такое знание?

Всякое знание есть согласие какого-нибудь предмета с представленным нашим о сем предмете. Назовем совокупность всех предметов *природою*, а все представления сих предметов или, что все одно, познающую их способность, *умом* и скажем: знание в обширном смысле есть согласие природы с умом.

Но ум и природа рождают в нас понятия совсем противоположные между собой: каким же образом объяснить их взаимную встречу во всяком знании? Вот главная задача философии. На этот вопрос нельзя отвечать никакою аксиомою, ибо всякая аксиома будет также знанием, в котором снова повторится встреча предмета с умом или объективного с субъективным. Итак, разрешить сию задачу невозможно. Один только способ представляется философу: надобно ее разрушить, то есть отделить субъективное от объективного, принять одно за начальное и вывести из него другое. Задача не объясняет: который из сих двух факторов знания должен быть принят за начальный, и здесь рождаются два предположения:

1. Или субъективное есть *начальное*; тогда спрашивается, каким образом присоединилось к нему ему противоположное, объективное.

2. Или объективное есть *начальное*. Тут вопрос, откуда взялось субъективное, которое с ним так тесно связано.

В обширнейшем значении сии два предположения обратятся в следующие:

1. Или природа всему причина; но как присоединился к ней ум, который отразил ее?

2. Или ум есть существо начальное; то как родилась природа, которая отразилась в нем?

Если развитие сих двух предположений есть единственное средство для разрешения важнейшей задачи, философии, то сама философия необходимо должна, так сказать, распасть на две науки равносильные, из которых каждая будет основана на одном из наших предположений и которые, выходя из начал совершенно противоположных, будут стремиться ко взаимной встрече для того, чтобы в соединении своем вполне разрешить задачу, нами выше предложенную, и образовать истинную науку познания.

Сии науки, само собою разумеется, должны быть — наука объективного, или природы, и наука субъективного, или ума, другими словами: естественная философия и трансцендентальный идеализм. Но так как объективное и субъективное всегда стремятся одно к другому, то и науки, на них основанные, должны следовать тому же направлению и одна устремляться к другой, так что естественная философия в совершенном развитии своем должна обратиться в идеализм и наоборот.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОТРЫВКИ

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

(Ответ Вагнера г-ну Блише)

Вагнер, защищая свои понятия об общей математике, выбирает пример из анатомии, развитый Океном в его философии, и, подчинив законы сего анатомического явления следующей геометрической теореме: *что две параллельные линии, пересекаемые третьей линией, составляют с сего последнюю равные углы*, доказывает, что сия идея есть *общая*, и может найтти применения во всех науках и искусствах.

«Из сего примера, — говорит он, — ясно видно, что математическое выражение всякой идеи есть самое чистое и самое общее, что математика, рассматриваемая с такой точки зрения, действительно есть язык идей, язык ума. Также ясно, что в этом выражении идей заключается и органическая форма вселенной или закон мира, и что кроме сего закона мира не может существовать другой науки, исключая тех, которые, переходя в область частного, развивают изобретение сего закона мира в различных случаях; следовательно, математика есть единственная общая наука, единственная философия, и все прочие науки суть только применения сей *исключительно чистой науки*, применения в области духовного или физического.¹

¹ Математика есть наука полная, заключающая в себе самой свою цель и свое начало, она есть даже орган всех наук; но можно ли сказать, что она наука наук, закон мира? Мне кажется, что сие заключение выведено несправедливо. Постараемся объяснить себе общее понятие о законе мира и

Из сего следует, что все науки заимствуют свою реальность от одной математики (как уже доказано вышеупомянутым примером из натуральной философии Окепа), что все их истины открываются посредством нее одной и тогда только делаются истинами, когда возвышаются до общего значения.

«Присоединим к доказательству геометрическому другой арифметический пример и тогда объяснится

определить сферу математики, как науки. Шеллинг в начале своего «Идеалиста» ясно доказал условия всякого познания: итак, познание мира должно разделяться на два понятия: на идею мира (абсолют) и на развитие сей идеи; если же математика есть высшая наука, то не должна ли она существенно разделяться на две части: на науку абсолютной идеи (абсолютного нуля) и на науку проявления сего нуля? Но математика никак не может удовлетворить сему требованию. В обеих частях своих она является наукою мира конечного: в арифметике представляет бесконечное — *нуль* в форме развития — в геометрии исследывает бесконечное — *точку* в форме *полюблелья*. Конечно, математика есть самая точная, самая свободная наука форм: ибо она никогда не вступает в сферу другой какой-либо науки, но служит, напротив того, необходимым условием для всех прочих наук. Она изобретает свои предметы, свои средства. В природе видимой нет точки, нет линии, нет треугольников; они существуют только в идее математика. Отыщите у математики все, что ее окружает, и она будет существовать отдельно от всего, сама по себе; но это доказывает только то, что и организм мира имеет все атрибуты целого, единого, бесконечного. Определите грамматику и логику, усовершенствуйте натуральную историю, начертите поэзии постоянную сферу, постоянный ход, и вы увидите, что они все будут отражать постоянный закон мира также ясно, как и сама математика, с тою только разницей, что предметы их будут находиться вне их, как, напр., предмет грамматики и логики в языке и мысли, предмет натуральной истории в царствах природы, и что они все невольно будут выражаться математически. Что же из этого заключить можно? Что математика такое же необходимое условие для всех наук, какое пространство, время и числа для всех явлений мира; но как независимо от мира (организованного) существует идея мира (организация), так и независимо от математики, как познания, существует идея всякого познания, т. е. наука первого познания, наука самопознания или философия. Итак, в некотором смысле математика есть закон мира (организм абсолютный); но одна философия — наука сего абсолюта. *Прим. Д. Веневитинова.*

для нас процесс, которому все повинуетя, равно как в духовном, так и в физическом мире. Сей процесс в самом чистом и в самом общем виде выражается умножением, где перемененно и во взаимной зависимости проявляются два числа в третьем синтетическом (сложном). В произведении 5×6 шесть повторяется пять раз, пять — шесть раз, и так каждый фактор перенесен в форму другого. Вот теория или общее выражение всякой синтезы. Так, напр., в идее фантазия должна принять форму разума, разум — форму фантазии и т. д.

«Таким образом математика в общих идеях своих совершенно выражает форму или организм мира; такая математика есть без сомнения закон мира, есть наука. Из сего легко можно заключить, что происхождение чисел не что иное, как постепенное развитие единицы, которая сама себя ограничивает, что происхождение фигур в противоположных между собою направлениях жизни составляет линии, пересекающиеся углами или встречающиеся в окружностях. Теперь г-н Блише допустит мне, что арифметика представляет закон мира в форме развития, а геометрия в форме появления, что следовательно в арифметике заключается натуральная философия, в геометрии — натуральная история. Я присоединяю также к натуральной философии и натуральной истории философию, имеющую предметом то, что подлежит только внутреннему созерцанию, и сию философию называю я частью идеальной философии (предмет ее о нераздельном), частью историею мира (о человеческом роде); но это нимало не противоречит моему предположению: что натуральная философия относится к натуральной истории, как арифметика к геометрии.

«После сих замечаний г-н Блише согласится со мной, я говорю,¹ что такая математика, вероятно, была древнейшей наукой древнейших жрецов и исчезла

¹ См. Wagner, Vom Staate.

у греков только по смерти Пифагора. — На эту идею о математике опирался я, ¹ представляя противоположность между древностью и новейшими временами, причем я показал, что древнейшим народам закон мира был ясен по враждебному чувству природы, между тем как новейшие могут найти сей закон в одном только умозрении, что сверх того в первые времена бытия человечество, нравственно и физически проникнутое законом мира, находилось к природе в совершенно другом отношении, нежели в новейшие времена.

«Сие отношение древних к природе (которого слабые следы доселе видим мы в животном магнетизме) было простое и непосредственное; между тем как отношение новейших есть одностороннее и искусственное. — Я показал, как впоследствии человек выступил из целого своего существования, раздробился, так сказать, на части, и религия утратила свою чистоту».

После сего Вагнер упоминает об учениях Будды, Моисея и Зороастра преобразовать человека и снова примирить его с природою; он показывает влияние пророков, приуготовивших в нравственном мире перемену, которую ознаменовалось появление Христа.

Потом объясняет он простое отношение первобытного человека к природе, основываясь для сего на законе полярности и развивая действие ума и воли в их соединении. Наконец, распространившись несколько об односторонности опытных познаний и о животном магнетизме, Вагнер заключает статью свою следующим образом:

«Вот точка зрения, с которой я взирал на науку, стараясь объяснить древний мир новейшему. Если я доказал, что органическая форма мира (закон мира) исключительно, ясно и достаточно выражается математикою, то бесспорно надобно употреблять все уси-

¹ См. Religion, Wissenschaft Kunst und Staat in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet, Erlangen 1819. Прим. Д. Веневитинова.

ля, чтобы усовершенствовать познания сего математического организма, дабы все общие и высокие открытия свободного ума перенеслись в чувство и в законы нравственности, сделали человека дарем природы и поставили его на такую степень, на которой бы он, как стройный звук, согласовался с общей гармонией вселенной».

ЕВРОПА

(Отрывок из Герена)

Исследователь истории человечества едва ли встречает явление, которое было бы так ясно и вместе так затруднительно для объяснения, как преимущество собственное Европе пред прочими частями света. При самом справедливом, при самом беспристрастном суждении о достоинстве других земель и народов, мы увидим истину несомненную: что все благороднейшее, все превосходное во всех родах, чем только гордится человечество, прозябало или по крайней мере дозревало на почве европейской. Множеством, красотою, разнообразием естественных произведений Азия и Африка преобладают пред Европою; но во всем, что есть произведение человека, народы европейские превосходят жителей других частей света. У них семейственное общество, освещая союз *одного* мужчины с *одною* женщиною, получило вообще то образование, без коего облагородствование столь многих способностей нашей природы кажется невозможным, и если рабство и водворялось между ними, то, с другой стороны, они одни его уничтожили, познавши его несправедливость. У них преимущественно и почти исключительно образовались правления в таком виде, в каком они должны быть у народов, достигнувших познания прав своих. Тогда как Азия, при всех переменных великих ее государствах, представляет нам вечное возрождение деспотизма, на почве европейской развернулось зерно политической свободы и принесло в самых

разнообразных формах, в столь многих частях Европы прекраснейшие плоды, которые оттуда были перенесены и в другие части света. Положим, что простейшие открытия механических искусств принадлежат частию Востоку; но как усовершенствовались их европейцы! Как далеко от станка на берегах Индуса до паровой прядильной машины, от указателя часов солнечных до часов астрономических, которые проводят мореплавателя через все пространство океана, от китайской баржи до британского Оркога. И если, наконец, обратим взоры на благороднейшие искусства, которыми человеческая природа превзошла, так сказать, сама себя, какая разница между Юпитером Фидиаса и индийским идолом, между «Преображением» Рафаэля и творениями китайского живописца. Восток имел своих летописцев, но никогда не произвел ни Тацита, ни Гиббона; имел своих песнопевцев и никогда не возвышался до критики; имел мудрецов, которые нередко сильно действовали поучениями на своих народов, но Платон, Кант не могли созреть на берегах Гангеса и Гоанго.

Менее ли заслуживает удивления то политическое преимущество, которым народы этой малой частицы земли, едва вышедши из состояния дикого, уже немедленно пользуются пред обширными землями больших частей света? И Восток видел великих завоевателей; но только в Европе возникли полководцы, которые изобрели науку воинскую, по всей справедливости заслуживающую имя науки. Македонское царство, заключенное в тесные пределы, едва воспрянуло от младенчества, как уже македоняне владычествовали на берегах Индуса и Нила. Наследником сего миродержавного народа был миродержавный град; Азия и Африка поклонились Цезарю. Напрасно и в средние века, когда умственное превосходство европейцев, казалось, совершенно прекратилось, напрасно восточные народы старались поработить ее. Монголы проникли до Силезии, только степи России повиновались им несколько вре-

мени; арабы покушались наводнить запад; меч Карла Мартела принудил их довольствоваться одною частию Испании; а вскоре рыцарь Франкский, под знаменем креста, преследовал их в их собственном отечестве. Как ясно слава европейцев озарила мир с тех пор, как открытия Колумба и Васки де Гама зажгли для них утро счастливейшего дня! Новый мир делается их добычею; более трети Азии покорилось российской державе; купцы берегов Темзы и Зюйдерзее поработили Индию; если по сих пор и удастся Османам удержать в Европе ими похищенное, всегда ли, долго ли оно будет находиться в их владении? Сознаемся, что завоевания европейцев были сопряжены с жестокостию; однако же европейцы были не только тиранами мира, они были также его наставниками; кажется, с их успехами всегда тесно соединяется образование народов, и если во времена всеобщих превращений еще остается утешительная надежда для будущего, то эта надежда не основана ли на торжестве европейской образованности вне самой Европы?

Откуда это преимущество, это миродержавие тесной Европы? Важная истина представляется здесь как бы сама собою. Не дикая сила, не простой физический перевес массы — ум подарил ее первенством, и если военное искусство европейцев и было основанием их владычества, то благоразумная политика сохранила им оно. При всем том это еще не ответ на вопрос, нас занимающий; ибо именно мы хотим знать, откуда произошло умственное превосходство европейцев? почему здесь именно и здесь исключительно способности человеческой природы достигли столь обширного и столь прекрасного развития?

Все старания отвечать совершенно удовлетворительно на сей вопрос были бы тщетны; явление в себе самом слишком богато, слишком значительно. Все охотно допустят, что оно не что иное, как последствие многих содействующих причин. Некоторые из сих причин могут быть отдельно исчислены, могут, следова-

тельно, доставить несколько доказательств. Но исчислить их все, показать, как каждая действовала сама собой в особенности, а все совокупно — такой труд мог бы совершить только тот ум, которому бы дано было с высшей точки, недостижимой для смертного, обозреть всю ткань истории нашего рода, исследовать ход и сцепление всех ее нитей.

Между тем важное обстоятельство представляется взорам, обстоятельство, на которое однакож осторожный наблюдатель только с робостью обратит свое внимание. Мы видим, что прочие части света покрыты пародами различного, почти везде темного цвета (и если цвет определяет племена, то и различных племен); жители Европы, напротив того, принадлежат к одному племени. Она не имеет и не имела других природных жителей, кроме белых народов.¹ Не отличается ли сие белое племя уже большими врожденными способностями? Не самые ли сии способности и дают ему первенство перед прочими? Вопрос, которого не разрешает физиология и на который только с робостью отвечает историк. Если мы скажем, что различие организаций, которое мы в столь многих отношениях замечаем при различии цветов, может ускорить или замедлить развитие умственных способностей, кто будет утверждать противное? С другой стороны, кто может доказать это влияние? Разве тот, кому бы удалось приподнять таинственный покров, скрывающий от взоров наших взаимные узы между телом и духом. Вероятно, однакож, мы откроем эту тайну, ибо как усиливается эта вероятность, когда мы вопрошаем о том историю! Значительное превосходство, которым во все века, во всех частях света отличались белые народы, есть *дело решенное*, неоспоримое. Можно отвечать, что это было последствие внешних причин, которые им благоприятствовали, но всегда ли так было, и отчего всегда так было?

¹ Цыганы — чужие народы, а к какому племени, к белому ли или к желтому, должны быть причислены лапландцы, это еще подвержено сомнению. *Прим. Д. Веневитинова,*

Почему темные народы, которые на сколько-нибудь и выходили из состояния варварства, достигали только *им* назначенной степени, степени, на которой равно остановился и египтянин, и монгол, китаец и индеец? Отчего, следуя тому же закону, и между ними черные народы всегда отстают от темных и от желтых? Если такие опыты заставляют нас вообще предположить в некоторых отраслях человеческого рода большие или меньшие способности, то они ни мало не доказывают совершенного недостатка способностей в тех из наших братьев, которые темнее нас и никак не могут быть приняты за единственную причину. Это доказывает только то, что все опыты, доселе нам известные, уверяют нас во влиянии цвета на развитие способностей народов; но мы охотно благословим времена, которые опровергнут этот опыт, которые представят нам и эфиопов образованными.

Как бы то ни было, много ли мало ли заслуживает внимания сие природное первенство жителей Европы, нельзя не признаться в том, что и физическое устройство сей части света представляет собственные выгоды, которые немало содействуют к объяснению занимающего нас явления.

Почти вся Европа принадлежит северному, умеренному поясу; значительнейшие земли ее находятся между 40 и 60° с. ш. Ближе к северу постепенно умирает природа. Таким образом наша часть света нигде не представляет роскошного плодоносия тропических земель, не имея также такого неблагоприятного климата, который бы заставлял посвящать всю силу человека одной заботе о пропитании жизни. Везде, где только не мешают местные причины, Европа удобна для хлебопашества. Она приглашает и некоторым образом понуждает своих жителей к земледелию, ибо она столь же мало благоприятствует жизни звероловов, как и пастушеской. Если народы, ее населяющие, в известные времена и переменили свои жилища, то они никогда не были собственно нома-

дами. Они странствовали с намерением делать завоевания или поселяться в других местах, куда привлекала их добыча или большее плодоносие. Европейский народ никогда не жил под шатрами; равнины, покрытые лесами, позволяли им строить хижины, необходимые под небом более суровым. Почве и климату Европы совершенно предназначено приучать к постоянной деятельности, которая составляет источник всякого благосостояния. Положим, что Европа могла хвалиться только немногими отличными произведениями, что, быть может, и ни одно ей исключительно не принадлежало; положим, что благороднейшие ее продукты были перенесены на почву ее из дальних земель; с другой стороны, это самое составляло необходимость воспитывать сии чужеземные продукты. Таким образом, искусство долженствовало соединиться с природою, и это соединение есть именно причина преуспевающего образования рода человеческого. Без напряжения человек не расширит круга своих понятий; разумеется, что сохранение жизни не должно также занимать все его силы. Европа по большей части одарена плодоносием, достаточно вознаграждающим за труды; в ней нет земли значительной, которая бы совсем лишена была оного; в ней нет песчаных пустынь, как в Аравии и Африке; а степи (и те обильно орошенные реками) начинаются только с восточных земель. Горы посредственной величины пересекают обыкновенно равнины; путешественник везде видит приятную смесь возвышенностей и долин, и если природа не является здесь в роскошном убранстве жаркого пояса, то, пробуждаясь весною, она облекается прелестью, чуждою однообразию земель тропических. Конечно, большая часть средней Азии пользуется обще с Европою подобным климатом, и можно спросить: почему же здесь не встречаем тех же явлений, но видим совсем тому противные?

Здесь пастушеские народы Татарии и Монголии, кочуя в землях своих, осуждены пребывать в постоянном

нравственном бездействии. Свойствами почвы своей, изобилием гор и равнин, числом судоходных рек, а более всего прибрежными землями, лежащими около Средиземного моря, Европа так разительно отличается от вышеупомянутых стран, что одна температура воздуха (притом не совсем одинаковая даже под теми же градусами широты; ибо в Азии холод чувствительнее) не может никак служить поводом к сравнению между сими частями света.

Но из физического различия можно ли вывести те нравственные преимущества, которые были следствием вышезамеченного усовершенствования семейственной жизни? С сим усовершенствованием начинается некоторым образом история первого просвещения нашей части света. Самое предание упоминает, что Кекропс, основав свою колонию между дикими жителями Аттики, был первым учредителем правомерных браков; а кто не знает уже из Тацита священного обычая германцев, наших предков? Одно ли свойство климата замедляет, сравнивает постепенное развитие обоих полов и вливает в жилы мужчины кровь более холодную? Или утонченное чувство, вложенное в сердце европейца самою природою, высшее нравственное благородство, определяет соотношение обоих полов? Как бы то ни было, кто не усматривает важного влияния, отсюда проистекающего? Не на сем ли основании возвышается неразрушимая преграда между народами востока и запада? Подлежит ли сомнению, что сие усовершенствование семейственной образованности было необходимым условием нашего общественного устройства? Повторим решительно замечание, сделанное нами в другом месте: никакой народ, у которого позволялось многоженство, никогда не достигал свободного, благоустроенного правления.

Одни ли сии причины решили преимущество Европы? Присоединились ли к ним еще другие, посторонние? Кто может определить это? При всем том бесспорно, что вся Европа может хвалиться сим преимуществом,

Если южные народы и опередили жителей севера, если сии последние блуждали еще полудикими в лесах своих, между тем, как те уже достигли своей зрелости, несмотря на это они успели догнать своих предшественников. Настало и их время, то время, в которое они с верным чувством самопознания обратили взоры на южных братьев своих. Эти замечания приводят нас сами собою к важным отличительным свойствам, собственным югу и северу нашей части света.

На две части весьма неравные, на южную и на северную, разделяется Европа цепью гор, которая хотя и раскинула многие отрасли к югу и северу, но в главном направлении простирается от запада на восток и доселе, по неизвестности высоты Тибетских гор, почитается высочайшею в древнем свете. Сия цепь гор есть хребет Альпов, на западе соединяющийся с Пиренейскими горами посредством Севенских и простирающийся на восток Карпатскою цепью и Балканом до берегов Черного моря. Она отделяет три выдавшиеся к югу полуострова: Пиренейский, Италию и Гречию, вместе с южною частью Франции и Германии, от твердой земли Европы, простирающейся к северу далее полярного круга. Сия последняя, гораздо пространнейшая половина, включает в себе почти все главнейшие реки сей части света, исключая Эбро, Рону, По и еще те несколько значительные для судоходства реки, которые вливают волны свои в Средиземное море. Никакая другая цепь гор нашей земли не была столь важна для истории нашего рода, как цепь Альпов. В продолжение многих столетий она разделяла, так сказать, два мира. Под небом Гречии и Гесперии давно уже благоухали прекраснейшие цветы просвещения, когда в лесах севера еще скитались рассеянные племена варваров. То ли бы возвестила нам история Европы, если бы твердыня Альпийских гор, вместо того, чтобы простираться близ Средиземного моря, протянулась по берегам Северного? Конечно, сия граница кажется менее важною в наше время: предприимчивый

ум европейцев проложил себе путь чрез Альпы, так как он проложил себе оный чрез океан; но много значила она в том периоде, который занимает нас в древности, когда север отделялся от юга физически, нравственно и политически, долго сия цепь гор служила благотворной обороною одному против другого, и хотя Цезарь, разрывая наконец сии преграды, и раздвинул несколько политические границы, но какое резкое и продолжительное различие видим мы между Римскою и не Римскою Европою.

Итак, один юг нашей части света может занимать нас в настоящих исследованиях. Если он был ограничен в своем пространстве, если он, повидимому, едва был поместителен для сильных народов, то зато был он достаточно вознагражден климатом и положением. Кто из сыновей севера, спускаясь с южной стороны Альпов, не был поражен чувством новой природы, его окружающей? Неужели эта лазурь, более ясная на небе Гесперии и Греции, это дыхание воздуха, более теплое, этот рисунок гор, более округленный, эта прелесть утесистых берегов и островов, этот сумрак лесов, блистающих золотыми плодами, неужели все это существует в одних песнях стихотворцев? Здесь, хотя далеко от земель тропических, уже угадывашь их прелесть. В южной Италии уже произрастает алоэ в диком состоянии; Сицилия уже производит сахарный тростник; с вершины Этны взор уже открывает утесистый остров Мальту, где созревает финиковая пальма; а в синей дали и берега близкой Африки.¹ Здесь природа нигде не является в этом однообразии, которое так долго ограничивало умы народов, населявших леса и равнины севера. В сих странах везде сменяются горы посредственной величины приятными долинами, которые Помона ущедрила прекраснейшими дарами. Если ограниченное пространство сих земель и не вмещает боль-

¹ Vertel, Путешествие по Сицилии. Прим. Д. Велевитинова.

ших судоходных рек, то как вознаграждают их за этот недостаток обширные берега, богатые заливами! Средиземное море принадлежит южной Европе, и единственно посредством Средиземного моря соделались народы запада тем, чем они были. Замените ее степью, и мы по сих пор остались бы кочующими татарами, монголами запоздалыми, как эти номады средней Азии.

Из всех народов юга только три могут занять нас: греки, македоняне и римляне, завоеватели Италии, а вскоре и вселенной. Мы назвали их в том порядке, в котором они являются в истории народами первенствующими, хотя различным образом. Мы последуем тому же порядку в их изображении.

О ЗАРОАСТРЕ И ЕГО ВЕРОУЧЕНИИ

«Законодательство и религия на востоке составляют понятия неразрывные, но в сем случае законодательство необходимо должно принять вид совсем особенный. Не будучи делом нации, не готовя ей и впредь участия в действиях власти законодательной, оно не могло осветить права народные; только один класс или одну касту — сословие жрецов — ставило оно в выгодное положение относительно к лицу властителя, но ни один из азиатских законодателей не возвышался никогда до мысли об законной монархии, как ее понимают европейцы. Ни один не дерзнул поколебать веры в неограниченность прав деспота, который и землю и людьми располагает, как своею собственностью; ни один не осмелился вывести подданных из состояния рабства и сделать их гражданами».

Далее доказывается, что «вера есть единственное средство, которое жрецы могут употребить для освещения своих законов; а сия подпора всегда будет ненадежною, ибо здесь все зависит от личных качеств верующего». Самая вера востока сводится к обрядности и чиновположению: «иерархия жрецов вознагра-

ждала некоторым образом за оскорбление прав нации и вместо представителей народа являлись (да и то при дворе) представители божеств».

Далее: «Картина лучших времен, в воображении азиатца совсем не согласна с понятиями европейца. С самой юности склоняясь под иго власти неограниченной, он привык понимать ее необходимою. Зато утешает он себя другою мечтою. Он воображает идеал деспотизма, идеал такого государства, в коем неограниченный властелин не тиран, но отец своих подданных, в коем всякое сословие, всякое лицо имеет себе определенный круг действия, который оно наполняет, никогда не преступая границ его; где процветают ремесла мирные, земледелие, скотоводство и торговля, где распространены богатство и изобилие, как будто ниспосылаемые божеством благословляющим в щедрые руки царствующего. Мысль о подобном государстве, о подобном царе служит уже основанием Киропедии. Но вера в этот идеал неизменно сохранилась в Азии в продолжение столетий; она некоторым образом составляет средоточие, около которого образуются предания востока, и она же есть душа законов Зороастровых. Век древнего властителя Ирана, великого Джемшида почитает он золотым веком своего отечества. Джемшид — отец народов, славнейший из всех смертных, которого озаряло солнце. В его время не умирали животные, не было недостатка в воле, в плодовых деревьях и предметах, служащих для пищи. Во время блестящего его царствования не было ни мороза, ни жары, ни смерти, ни страстей необузданных, сих произведений Девов. Люди казались 15-летними, дети не умирали во все продолжение царствования Джемшида — «отца народов»...

П И С Ь М А



1824

№ 1. Анне Николаевне Веневитиновой

15 августа 1824 г. [с. Животинное]

Très chère et respectable maman.

Nous voilà derechef à la campagne après avoir passé deux jours à Voronège où nous nous sommes présenté chez le gouverneur que nous avons déjà rencontré chez Лев Алексеевич et qui dès l'abord nous engagea à diner le même jour chez lui, nous sommes donc retournés chez lui et nous avons diné à 6 avec la Maréchal de la noblesse et un certain Chott qui avait été fiancé à M-lle Venevitinoff et que nous avons aussi vu auparavant. Le gouverneur est un homme des plus aimables et sa maison est je crois la seule qui soit à l'abri de l'ennui qui regne généralement à Voronège. Il nous a beaucoup engagés à revenir chez lui pour faire la connaissance de sa femme qui est dans ce moment à Липецк. Nous avons été chez le procureur qui nous a assuré que l'affaire de Norberg ne méritait pas qu'on y fasse attention et qui nous a offert ses services pour nos affaires, le chef de la chambre civile en a fait autant. Александра Петровна qui nous avons rencontré chez Лев Алексеевич où elle loge maintenant nous a vivement sollicité de nous arrêter chez elle quand nous retournerons en ville; en un mot tons ce que nous avons vu ici de parens, d'anciennes et de nouvelles

connaissances nous a temoigné infiniment d'amitié et paraît content de nous voir. Il n'en est pas de même de nos gens et si la joie est sur tous les visages je ne crois pas qu'elle fut dans tous les coeurs. Данила Иванович vous aura parlé de tous les abus que nous découvrons chaque jour. En vérité il la passe le plus souvent la permission et l'audace est au point que les fripons ne gardaient plus de masque; c'est pourquoi je suis bien sur que notre arrivée a causé à beaucoup de monde plus de surprise que de joie. Nous vous envoyons 1000. C'est tout ce que nous avons pu rassembler jusqu'à présent, j'espère vous en envoyer bientôt davantage quand ce serait même de l'argent emprunté. Celui que nous expédions maintenant est à l'adresse de M-r Goerke, qui aura la complaisance de le recevoir. André se mettra en route dans quelque jours. Adieu ma très chère maman, qu'il me tarde d'être auprès de vous, de vous baiser tendrement les mains et de recevoir votre bénédiction.

Votre soumis fils

1824
la 15 Août.

Dm. Venevitinoff

(Перевод)

Уважаемая и дорогая маман.

Вот мы уже опять в деревне после 2-х дней, проведенных в Воронеже, где мы посетили губернатора, которого раньше встречали у Льва Алексеевича и который сразу пригласил нас к себе обедать в тот же день. Таким образом мы вернулись к нему и обедали вшестером с предводительшею и неким Шоттом, бывшим женихом M-elle Веневитиновой, которого мы также видели раньше. Губернатор — человек очень любезный и его дом, я полагаю, единственный, куда можно спастись от скуки, царящей вообще в Воронеже. Он очень нас приглашал еще зайти к нему, чтобы познакомиться с его женою, которая в настоящее время в Липецке. Мы побывали у прокурора, который нас уверил, что дело Норберга не стоит того,

чтобы обращать на него внимание, и предложил нам свои услуги во всех делах; подобное предложение сделал нам и председатель гражданской палаты. У Льва Алексеевича мы встретили Александру Петровну, которая теперь у него живет; она убеждала нас остановиться у нес, когда мы возвратимся в город. Одним словом, все родственники, новые и старые знакомые, которых мы здесь видели, проявили нам бесконечно много дружественных чувств и, казалось, были нам рады. Иначе обстоит дело с нашими людьми, и если радость написана на их лицах, то не думаю, чтоб она жила в их сердцах. Данила Иванович вероятно рассказал вам о всех злоупотреблениях, которые открываются нами ежедневно. По правде сказать, все это выходит из границ дозволенного и дерзость так велика, что мошенники более не надевают масок. Вот почему я вполне уверен, что наш приезд был для многих более неожиданным, чем радостным. Посылаю вам 1000 р. Это все, что мы могли до сих пор собрать. Надеюсь скоро вам послать больше, хотя бы пришлось эти деньги занять. Теперешняя посылка адресована г. Герке, который будет так любезен ее получить. Андрей отправится в путь через несколько дней. Прощайте, моя дорогая тата, как я стремлюсь к вам поцеловать ваши ручки и получить ваше благословение.

Ваш покорный сын

Дм. Веневитинов

№ 2. Софье Владимировне Веневитиновой

[Август 1824, с. Животинное]

Ma chère Sophie.

Votre petite lettre nous est parvenue pendant notre séjour à Voronège où nous avons passé deux jours. Il ne fallait rien moins qu'une lettre de maman et de vous pour nous distraire d'un ennui mortel qui semble avoir

choisi cette ville pour sa résidence. Mais chaque chose à son tour. Je recommencerai donc mes petites relations en suivant l'ordre chronologique qui, comme vous les avez, sert à classer dans la mémoire les époques les plus remarquables de chaque histoire. La nôtre, je le sais, n'est pas des plus importantes mais comme elle a bien quelque intérêt pour vous, c'est assez pour que je vous en fasse un récit détaillé. Je crois vous avoir déjà dit que de Toula jusqu'ici nous avons eu un chemin superbe qui était égayé par la vue de plusieurs petites villes toutes très jolies et surtout très joliment situées sur des montagnes. Plus nous approchions du terme de notre voyage et plus le pays était beau. Enfin de nuit à la lueur des éclairs et au bruit du tonnerre qui grondait dans le lointain nous arrivons chez nous; la sonnette nous dénonce. On nous reconnaît et par conséquent les portes s'ouvrent. Tout s'anime; nous seuls oppressés par le sommeil et la fatigue nous avalons un peu de pain noir et de miel, nous nous dérobon à la multitude pour nous mettre entre deux draps. Je ne vous parlerai pas de tout ce que j'ai vu en songe, je ne le saurais même; je vous dirai seulement ce que j'ai vu à mon réveil: — un ciel couvert de nuages, une pluie battante, de loin quelques maisons et d'immenses jardins qui offraient l'aspect du désordre le plus accompli. Le tableau ne répondait guère à l'idée que j'avais conservé de cette campagne et soit que l'illusion ne fasse voir en beau tout ce que nous voyons en perspective soit que les souvenirs de l'enfance portent toujours l'empreinte de la gaieté et de la joie, mais je n'ai plus retrouvé qu'une ombre du passé. Les jardins sont convertis en des forêts de cerisiers, de pommiers et de poiriers de toute espèce; en un mot la nature y est toujours belle, elle seule a répondu à mon attente, mais on ne voit presque plus de traces de la main qui la cultive et, pour parler allégoriquement, l'art s'est endormi dans les bras de l'indolence. Un mot maintenant de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas oisifs et en nous couchant avec les

poules nous nous levons avec les coqs. Dès le matin nous montons en selle pour suivre le дрожки de Дан[ила] Ив[анович] soit dans les champs, soit dans les bois. Le matin nous avons longé le cours du Don pour aller à notre autre campagne. Mais je vous en parlerai la prochaine fois en prose ou en vers. Pour à présent, adieu, je vous embrasse tendrement. Mes respects à M-r D'Horrer, mille choses à tous ceux, qui se souviennent de moi et surtout à M-lle Sophie.

(Перевод)

Дорогая Софи.

Мы получили ваше коротенькое письмо во время нашего двухдневного пребывания в Воронеже. Только письма от папаш и от вас могли рассеять смертельную скуку, повидному, свившую себе гнездо в этом городе. Но все в свое время. Итак, я начну мои описания в хронологическом порядке, который, как вы знаете, служит для классификации в нашей памяти наиболее замечательных эпох всякой истории. Знаю, — наша история не из важнейших, но так как для вас она не лишена известного интереса — этого достаточно, чтобы я описал вам ее со всеми подробностями. Кажется, я вам уже говорил, что дорога от Тулы до нашего имения была очень красива и оживлена видом нескольких маленьких городков, очень хорошеньких и красиво расположенных на возвышенностях. Чем ближе мы были к цели нашего путешествия, тем красивее становилась местность. Наконец ночью при свете молнии и при отдаленных раскатах грома мы приезжаем домой. Колокольчик возвещает о нашем прибытии. Нас узнают, и, конечно, двери открываются. Все оживает; мы одни, усталые, изнеможенные, наскоро проглатываем немного черного хлеба с медом, спешим удалиться от толпы, чтобы лечь. Не буду вам говорить о том, что я видел во сне, я даже не помню, что мне снилось, но расскажу, что проснувшись я увидел небо, покрытое тучами, проливной дождь, вдали несколько домов и огромные

сады в полнейшем беспорядке. Эта картина совсем не отвечала тому представлению, которое я составил себе об этой местности, оттого ли, что мечты заставляют нас видеть все отдаленное в розовом свете, оттого ли, что воспоминания детства носят на себе отпечаток радости и веселья, но я нашел здесь только тень прошлого. Сады превратились в леса яблонь, вишневых и грушевых деревьев всяких сортов, одним словом, природа тут попрежнему прекрасна, она одна оправдала мои ожидания, но совершенно не видно следов над нею работы и, говоря аллегорически, искусство заснуло в объятиях лени. Теперь одно словечко о том, что мы делаем. Мы не тунеядцы, ложимся спать с курами, встаем с петухами. С самого утра садимся на лошадей, едем за дрожками Даниила Ивановича, то в поле, то в лес. Сегодня утром мы проехали по берегу Дона, посетили другое наше имение. Но об этом я потолкую с вами следующий раз в стихах или в прозе. Пока прощайте, целую вас нежно. Мой низкий поклон г. Дореру, привет всем тем, которые меня помнят, в особенности М-lle Софи.

№ 3. С. В. Веневитиновой

[Август 1824, с. Животинное]

Ma chère Sophie.

Par où commencerais je ma lettre? Faut-il vous conduire sur le grand chemin ou bien dois-je vous transporter d'un saut à la campagne? Ce dernier moyen serait sans contredit plus commode surtout pour moi qui ai déjà fait une fois la route; mais comme cela pourrait ne pas être tout à fait satisfaisant pour une petite curieuse comme vous je retourne sur mes pas et nous ferons ensemble le voyage. Representez-vous dans une petite calèche assez étroite (comme je l'ai appris depuis) trois figures que vous connaissez je crois assez pour

me dispenser de vous les peindre. Représentez-vous ces trois figures assises de côté comme au diné de Boileau en faisant une petite volte à droite, et vous aurez une idée très juste de l'équipage et du joli groupe qu'y faisaient les voyageurs. Cependant comme nous n'avions pas oublié à Moscou notre génie inventeur nous imaginâmes bientôt de ne nous mettre qu'à deux dans le fond et de placer le troisième en guet sur le devant de la voiture; de cette manière nous dormions à tour de rôle et fort commodément. A présent il faut vous dire ce que je faisais quand à mon tour je me plaçais sur le devant de notre petite calèche car je ne sais pas ce qu'y faisaient les autres pendant que je dormais d'un somme profond. J'essayais de lire mais cela m'était impossible, je n'avais avec moi qu'un petit évangile grec dont je ne pus déchiffrer quelques lignes tant les caractères en étaient mêmes et le cahotement violent. Je crus donc pouvoir faire des vers, mais le rossignol ne chante qu'à l'ombre des bosquets et pour moi j'étais exposé à toute l'ardeur du soleil; d'ailleurs les secousses de notre voiture ne ressemblaient en rien à ce doux balancement qu'on éprouve assis sur le dos de Pégase. Je me mis donc à fredonner quelques airs de Genischta et le choeur du Freyschutz. J'en étais au plus beau passage quand tout à coup notre voiturier inspiré probablement par ma voix mélodieuse et par tout ce que je mettais d'expression dans mes chants entonna un air des plus baroques et cela à gorge déployée. La honte de céder me fit hausser la voix; je luttai contre cet Orphée d'une nouvelle espèce mais malgré tous mes efforts je fus obligé de plier bagage; car le drole avait bien plus de gosier que moi. Alors il ne me resta plus rien à faire qu'à compter les verstes. C'est ainsi que se passait la journée. Pour les nuits c'était autre chose. Au clair de la lune qui nous prêta ses rayons pendant tout le chemin, mes pensées étaient plus libres, je pouvais plus facilement me transporter parmi vous, causer avec vous et vous entendre. Je m'oubliais au point de crier «Arrêtez» et quand on s'arrêtait c'est ce que

j'étais tout confus d'avoir vu des enfants jouant sur le grand chemin et qu'on allait écraser tandis qu'il n'y avait la ni enfants ni qui que ce soit, mais que je rêvais tout éveillé. Vous pouvez bien vous figurer que dans un voyage de la sorte il n'y a que changement de scène, mais jamais changement d'action. C'était toujours partir et arriver. N'allez cependant pas croire que tout cela se fasse en un moment. Entre arriver et partir il y a un intervalle souvent semé de mauvais pas. Graces à Dieu il n'étaient pas fréquents pour cette fois... Mais il est temps de deteler enfin nos coursiers haletans. Arrivons à la campagne. C'est là que tendait tout notre voyage et nous n'y sommes qu'au bout de mon feuillet. Chose toute simple. Pour le voyage je vois bientôt l'oublier moi-même et je ne pourrai rien vous en dire dans la suite. Quant à la campagne je pourrai vous en parler dans chaque lettre et à mesure que les impressions naîtront. Je vous dirai seulement que j'ai revu le Don avec enthousiasme et je ne m'étonnerai pas si ses ondes deviennent pour moi les ondes de l'Hipocrène. Je ne puis même encore vous en parler, le sentiment est trop vif, il faut le laisser reposer. Adieu donc. Portez vous bien et embrassez

Votre frère et ami

Dmitri

Bien des choses à M-rs Bayla, D'Horrer, et Genischta, je suis bien fâché de ne pas l'avoir vu avant notre départ. Saluer bien Софья Петровна.

J'écrivais encore mais je vous assure que je n'ai pas le temps. Saluez tout le monde de ma part. Mes respects à M-me D'Horrer. J'écrirai la poste prochaine à M-r Guerke.

(Перевод)

Дорогая Софи,

С чего начну мое письмо? Нужно ли вывести вас на большую дорогу или одним прыжком перенести вас

в деревню? Последнее было бы несомненно удобнее, особенно для меня, ибо этот путь уже мною пройден. Но так как это не вполне удовлетворило бы мою маленькую любопытную, то я возвращаюсь назад, и мы вместе совершим путешествие. Вообразите себе трех людей, которых вы, как я полагаю, настолько хорошо знаете, что избавите меня от описания их, и поместившихся в маленькой коляске п, в чем я убедился потом, довольно узкой. Вообразите себе эти три фигуры, сидящие боком, как на обедах у Буало, с маленьким поворотом вправо, и вы получите верное представление об экипаже и о красивой группе путешественников. Впрочем, мы не оставили в Москве нашей изобретательности и скоро придумали садиться только вдвоем позади и помещать третьего на карауле спереди. Таким образом мы могли поочередно и очень удобно поспать. Теперь скажу вам, что я делал, когда я, в свою очередь, усаживался спереди в нашей маленькой коляске, не знаю, что делали другие в то время, когда я спал глубоким сном. Я пытался читать, но это было невозможно. При мне было только маленькое греческое евангелие, из которого я мог разобрать всего несколько строк, настолько толчки были сильны и печать была мелка. Я попробовал сочинять стихи, но соловей поет только в тени дубрав, а я был выставлен на самое жгучее солнце; к тому же толчки нашего экипажа несколько не походили на нежное покачивание, испытываемое на спине Пегаса. Я начал напевать песни Геништы и мелодии из хора Фрейшютца. На самом красивом месте наш возница, воодушевленный вероятно моим благозвучным голосом и всей той экспрессией, внесенною мною в нежные, затянул во всю глотку какую-то страшную песню. Не желая постыдно уступить, я возвысил голос и вступил в состязание с этим новым Орфеем. Однако, несмотря на все мои усилия, я принужден был сложить оружие, так как глотка у плута оказалась сильнее моей. После этого же мне ничего более не оставалось, как считать версты. Так проходили дни. Иное дело ночью.

При свете луны, расточавшей в продолжение всей дороги свое сияние, я свободнее мыслил и легче мог перенестись к вам, говорить с вами, слушать вас. Я забывался настолько, что кричал: стой! И когда останавливались — я был в полном смущении: мне почудилось, что на большой дороге играют дети и что мы можем их задавить. А там не было ни души. Я грезил на яву. Вы легко можете себе представить, что в такого рода путешествии меняются только сцены и декорации, а не действие. Все сводится к приезду и отъезду. Не думайте, однако, что это делается в одно мгновение. Между отъездом и приходом существует промежуток, нередко полный неприятностей. Слава богу, их на этот раз было не много. Но пора отпречь наших запыхавшихся коней. Приезжаем в деревню, куда направлен был весь наш путь, а мы добрались только до конца моего листа. Очень просто. Путешествие я скоро забуду и впоследствии ничего не сумею о нем рассказать. Что касается деревни, то о ней я буду говорить в каждом письме и по мере того, как будут возникать впечатления. Скажу вам только, что с восхищением я вновь увидел Дон, и не буду удивлен, если его волны будут для меня волнами Ипокрены. Я даже не могу еще говорить о нем. Чувство слишком сильно, надо ему дать успокоиться. Прощайте же, будьте здоровы и обнимите

Вашего брата и друга

Дмитрия

Привет гг. Байло, Дореру и Гениште. Мне очень досадно, что я не видел его перед нашим отъездом. Поклонитесь Софье Петровне.

Я бы написал еще, но могу вас уверить, мне действительно некогда. Поклон от меня всем. Засвидетельствуйте мое почтение г-же Дорер. С следующей почтой напишу г. Герке.

[Август 1824, с. ЖИВОТИННОЕ]

Ma chère Sophie.

Il me semble que vous n'avez jamais été aussi franche qu'aujourd'hui: dans chaque lettre vous vous accusez de curiosité et ce petit aveu, à vous dire vrai, ne m'apprend rien de nouveau, mais ce n'est pas en ce moment que je vous en ferai des reproches, car pour le coup je ne suis pas moins curieux que vous et c'est avec une bien vive impatience que j'attends chaque poste, non pour savoir ce qui se fait à Moscou, mais pour apprendre ce que vous y faites et pour dévorer vos lettres qui sont pour nous comme le salaire des travaux de la semaine. Malgré la promesse que je vous ai faite de vous rendre un compte exact de tous nos exploits je suis au bout de mon latin et je ne saurais continuer mon récit, nos occupations ont été si uniformes durant cette semaine et les détails en sont si prosaïques que je vous ennuierais en vous en faisant le denombrement. Cependant nous ne sommes pas aussi à plaindre que vous le croyez; la campagne n'est pas sans attraits pour nous et nous passons quelque fois des moments très agréables soit avec nos voisins et voisines soit à nous seuls, mais tout cela est si interrompu, il y a toujours si peu de liaison entre ce qui précède et ce qui suit que notre vie actuelleressemble bien plus à un rêve qu'à la réalité, de façon que si quelqu'un nous demandait, ce que nous faisons, nous serions embarrassés de la réponse; voilà ma chère comment se passe notre temps, nous ne nous en apercevons même pas, il va ci, il va là, comme le cotillon de ma commère et cependant ce n'est certainement pas un temps perdu. Je n'ai pas oublié le jour de la S-te Nathalie et je me suis bien imaginé que vous étiez à vous amuser chez la C-sse P. Je vous prie de croire que j'étais aussi de la fête. Quand on connaît le lieu de la scène et les acteurs est-il

difficile de se transporter au milieu de la troupe pour être témoin de ses jeux, pour partager même ses plaisirs avec tout le charme de la réalité. Belle erreur! Mais toujours n'est ce qu'une erreur. Ce jour même, mardi, nous avons fait une 20-ne de verstes à cheval par un superbe clair de lune qui prêtait admirablement à ces sortes de rêvc. Sans doute je l'avoue je suis un peu las de ses illusions et c'est bien réellement que je voudrais vous embrasser dans ce moment, mais j'ai l'espérance de vous revoir bientôt et c'est bien sérieusement que je vous parle quand je vous dis que pour votre fête nous serons assis ensemble au banquet de la joie. En attendant. Adieu.

(Перевод)

Дорогая Софи.

Мне кажется, что вы никогда прежде не были так откровенны, как теперь. В каждом письме вы себя обвиняете в любопытстве, и это маленькое признание, сказать вам по правде, для меня не ново, но не буду особенно сейчас вам делать упреков, так как на этот раз и я не менее вас любопытен и ожидаю каждую почту с живейшим нетерпением, не для того, чтобы узнать, что делается в Москве, но чтобы знать, что вы подделываете, и проглатываю ваши письма, которые служат нам наградою за трудовую неделю. Несмотря на мое обещание дать вам точный отчет в наших подвигах, я стал совершенно втупик и не в состоянии продолжать мой рассказ; эту неделю наши занятия были так однообразны и подробности этих занятий так прозаичны, что боюсь, перечисляя их, навести на вас скуку. Впрочем, не подумайте, что мы уже так достойны сожаления, — деревня для нас не без прелести; мы проводим иногда очень приятные минуты, то с нашими соседями и соседками, то одни, по все урывками; так мало связи между предыдущим и последующим, что наша теперешняя жизнь более похожа на сон, нежели на действительность, так что

если б нас кто-нибудь спросил, что мы делаем, мы затруднились бы ответить. Вот, моя милая, как протекает наше время, мы его даже не замечаем: оно мелькает то тут, то там, как юбка моей кумушки, и несмотря на то я считаю это время непотерянным. Я не забыл дня св. Натальи и живо себе представил, как вы веселитесь у гр. П. Поверьте, что я присутствовал на этом празднике. Когда знаком с местом, где происходит действие, и с актерами, нетрудно перенестись посреди всей труппы, чтобы быть свидетелем ее игры, чтобы разделить ее удовольствие. Чудная иллюзия! Но только иллюзия! Сегодня вторник, мы проехали верхом верст 20, при чудном лунном свете, который прекрасно способствовал к такого рода мечтам. Признаться, конечно, я немного утомился этими иллюзиями и мне хочется в настоящий момент реально вас обнять. Но надеюсь, что вас скоро увижу и заявляю вам вполне серьезно, что к вашим именинам мы все соберемся вместе на веселый пир. Пока прощайте.

№ 5. А. Н. Веневитиновой

[Август 1824, с. Животинное]

Ma chère et respectable maman.

Je vous écris au milieu d'un tumulte où j'aurais peine à m'entendre moi-même. Toute notre grange est remplie de paysans qui crient tous les uns plus haut que les autres et ils en ont la pleine liberté; car nous sommes dans l'habitude d'écouter tout le monde et de ne croire personne, partout il y a des plaintes et presque partout elles sont justifiées par nos recherches. Nous sommes occupés depuis le matin jusqu'au soir à mesurer du blé et à comparer ce que nous trouvons nous même avec ce qu'on nous a montré dans les comptes. Dans ce moment on régale les paysans de Рубцово de vin et de gâteaux et je vous assure qu'ils m'empêchent d'écrire à

force de se presser autour de mon malheureux bureau; je n'ai que temps de vous dire que dans deux ou trois jours nous expédierons André qui vous apportera des lettres plus détaillées. Nous même nous partirons après demain pour Ивановка et chemin faisant nous nous arrêterons pour quelques heures chez M-r Dontzoff. Je viens d'écrire à la hâte une lettre pour Василий Львович. Je n'ai pas le temps de lui en écrire ni une plus longue ni une plus belle. Il faut bien céder aux chants et aux cris qui augmentent toujours. Adieu donc ma très chère maman, en vous baisant mille fois les mains, je demande pour toujours votre bénédiction.

Votre fils soumis

Dmitri

Nous tâcherons de vous envoyer le plus d'argent possible par la poste prochaine, mais je ne sais pas à quoi se montera la somme.

André n'est pas encore venu faute de chevaux.

(Перевод)

Уважаемая и дорогая маман.

Пишу вам при таком шуме, что сам еле себя слышу. Вся наша рига полна мужиков, которые кричат один громче другого, имея на это полную свободу, так как мы привыкли всех выслушивать, но никому не верить. Всюду мы слышим жалобы и почти все они оправдываются после наших исследований.

Мы заняты с утра до вечера вымериванием зерна, сравниваем то, что мы сами находим, с тем, что показано в счетах. В настоящий момент Рубцовских крестьян угощают вином и пирогами, и уверяю вас, что они мне мешают писать, толкаясь вокруг моего несчастного стола. Мне остается только вам сказать, что через два, три дня мы отправляем Андрея, который привезет вам более подробные письма. Мы же сами уедем послезавтра в Ивановку и по пути остановимся на несколько часов у г. Довдова. Я сейчас наскоро напи-

сал письмо Василию Львовичу. Мне некогда ему писать более подробно и более красиво. Повидимому, надо подчиниться песням и крикам, которые возрастают. Продайте же, дорогая татап. Прося навсегда вашего благословения, тысячу раз делую ваши ручки

Ваш покорный сын

Дмитрий

Постараемся вам выслать следующей почтою как можно больше денег, но не знаю насколько сумма будет велика.

Андрей еще не вернулся — он не нашел лошадей.

№ 6. С. В. Веневитиновой

[Август — сентябрь 1824, с. Животинное]

Ma chère Sophie.

Je vous écris assis sur une mesure de blé, cela n'm'empêchera cependant pas de vous faire, comme de coutume le rapport de toute la semaine, qui comme toutes les précédentes a été (si l'on peut s'exprimer ainsi) un tissu de plaisirs et désagréments. Je ne vous réserve que les roses, les épines ne sont point encore de votre âge, d'ailleurs c'est souffrir deux fois d'un même mal que de le répéter à un autre, et je vous le dirai même franchement, je suis si grand amateur de la campagne que j'oublie bientôt tous les désagréments pour jouir tout à mon aise; et ici il y a certainement de quoi. Toutes les fois que je traverse le Don je m'arrête au milieu du pont pour considérer ce beau fleuve que l'œil voudrait suivre jusqu'à son embouchure et qui s'écoule sans bruit, aussi paisiblement que le bonheur même. Avant hier encore du haut de la rive j'admirais ce superbe tableau et la lune qui au milieu d'un ciel sans nuages semblait se plaisir à voir répéter son image dans les flots. Oui, ma chère, je ne me le cache pas tout

cela peut être assez ridicule dans une lettre; mais c'est bien poétique en nature. Mais pourquoi, direz vous, ne me faites vous pas ce récit dans une épître en vers? il y aurait été bien mieux placé! J'en conviens et je vous dirai même que jusqu'à présent je n'ai pas fait un seul vers, mais j'ai fait plus car j'ai eu mille pensées, que je n'avais pas auparavant et que je pourrai mettre en vers quand j'aurai plus de temps pour les travailler. Mais rompons la dessus. Des paysans et des paysannes qui se rassemblent autour de notre grange me rappellent que j'ai encore à vous parler des différentes fêtes que nous avons données à la campagne. Elles n'ont été brillantes que par la franche gaieté qui y regnait et qui animait toutes les figures. On y a chanté et dansé et tout le monde s'en est allé content.

Mardi nous avons passé presque toute la journée chez M-r Olenine et cela bien gaiement. Les dames vous prient de leur envoyer avec *Андреѣ Филимонов* tout ce que vous pourrez d'airs *Genischta* et de nouveaux quadrilles français. Adieu ma chère, je suis très mal disposé aujourd'hui pour écrire dites le à M-r Goerke que je salue sans lui écrire. Apprenez moi ce que vous faites et entr'autres en musique; je voudrais vous entendre d'ici.

Je vous embrasse.

Votre frère et ami

Dmitri.

Степанидины дети очень здоровы. Паша при нас вторым камердинером и разъезжает с нами по деревням, где он угощает крестьянских мальчиков.

Je remarque à présent que je vous ai écrit une lettre bien décousue; mais ne m'en veuillez pas je n'ai pas la tête à moi et nous n'avons pas eu un moment de repos depuis, que nous sommes ici. Bien des choses aux *Mestchersky*, à M-r D'Horrer fils et à *Genischta*.

Nos respects à M-r D'Horrer père, s'il est avec vous.

(Перевод)

Дорогая Софи.

Пишу вам, сидя на (хлебной) мерке, что, однако, не помешает мне сделать вам, по обыкновению, доклад о всей неделе, которая, как все предшествующие, была, если так можно выразиться, соткана из удовольствий и неприятностей. Я вам сохранил только розы, шипы же еще не подходят к вашему возрасту, притом пересказывать другому свои невзгоды, это значит переживать их в другой раз, и скажу вам откровенно, я такой любитель деревни, что скоро забываю все неприятности, чтобы спокойно отдаться наслаждению, а здесь есть чем наслаждаться. Всякий раз, когда я переправляюсь через Дон, я останавливаюсь посредине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку, которую глаз хотел бы проводить до самого устья и которая протекает без всякого шума, как само счастье. Еще позавчера я любовался с высоты берега этою дивною картиною и луною, которая посреди безоблачного неба, казалось, радовалась своему отражению в волнах. Да, моя милая, я не скрою, все это может быть очень смешно в письме, но в природе очень поэтично. Но почему же, скажете вы, не опишете вы этого мне в стихотворном послании? Там это было бы уместнее. Согласен; скажу вам, однако, что до сих пор я не написал ни одного стиха; но я делаю больше, ибо у меня возникла тысяча мыслей, которых у меня никогда не было и которые я могу облечь в стихотворную форму, когда буду иметь больше времени для их обработки. Но довольно об этом. Мужики и бабы собираются около нашей риги и напоминают мне о том, что мне надлежит сказать вам еще о различных празднествах, данных нами в деревне. Они блистали только царившим в них откровенным весельем, оживлявшим все лица. Пели, плясали и все разошлись домой довольные. Вторник мы провели почти весь день у г-жи Оленной, было очень весело.

Дамы просят вас прислать им с Андреем Филимоновым все, что можете достать из романсов Геништы, и новые французские кадрили. Прощайте, моя дорогая, я сегодня совсем не в настроении писать, скажите об этом г. Герке, которому я кланяюсь, но не пишу. Сообщите мне, что вы подделываете и, между прочим, в области музыки, мне бы хотелось вас послушать отсюда.

Обнимаю вас. Ваш брат и друг

Дмитрий

Степаниды дети очень здоровы. Паша при нас вторым камердинером и разъезжает с нами по деревням, где он угощает крестьянских мальчиков. Сейчас заметил, что написал вам очень бессвязное письмо, но не сердитесь, голова моя не в порядке, у нас не было ни одной минуты отдыха с тех пор, как мы здесь. Передайте мой привет Мещерским, г. Дореру-сыну и Гениште и наше почтение г. Дореру-отцу, если он с вами.

№ 7. А. Н. Вен. ВИТИНОВОЙ

[Август — сентябрь 1824, с. Животинное]

Très chère et respectable maman.

Voilà la dernière lettre que nous vous écrivons d'ici et mardi ou mercredi nous espérons nous mettre en chemin pour voler à Moscou et vous y apporter tous les détails de notre conduite. Elle n'a été signalée jusqu'à présent par aucun acte de sévérité; j'ai obtenu de Даниила Иванович de se borner jusqu'à présent à arrêter les abus et à demettre ceux qui en ont été les principales moteurs. Il faut être de sang froid pour proportionner la punition à la faute et d'ailleurs trop de précipitation dans ce cas pourrait denoter de la vengeance, ce dont nous sommes bien éloignés. J'avoue cependant qu'il faut statuer un exemple; mais à notre

arrivée à Moscou nous vous soumettrons toute la cause qui n'est pas des moins embarrassantes. La femme de l'intendant, qui n'est raisonnable que le matin, car elle consacre la seconde partie du jour à Bacchus ayant été l'objet des plaintes d'une foule de personnes qui souffraient le martyre sous son sceptre despotique, nous a prié de la délivrer du fardeau de son autorité, ce que nous allons faire avec beaucoup de plaisir car elle était maîtresse absolue de tout ce qu'on fait de toile, de drap etc. et c'était bien mettre un chat à garder un fromage; nous la laisserons cependant dépositaire de tous ces objets en soumettant seulement sa fidélité à la vigilance du comptoir. C'est tout ce que je puis vous dire à présent, pour le reste je ne saurais me le dire à moi même. — Nous attendons de l'argent tous les jours et il vous sera envoyé ou apporté immédiatement après que nous aurons reçu. — Adieu ma bien chère maman — c'est pour la dernière fois que je baise les mains par écrit et dans peu je vous demanderai de vive voix votre bénédiction. En attendant le bonheur de vous revoir je me signerai encore.

Votre soumis fils

Dmitri

(Перевод)

Уважаемая и дорогая маман.

Вот последнее письмо, которое мы вам пишем отсюда, во вторник или в среду надеемся двинуться в путь, полетим в Москву сообщить вам все подробности о нашей деятельности. До сих пор она не ознаменовалась ни одним суровым поступком. Я уговорил Данилу Ивановича ограничиться пока пресечением злоупотреблений и увольнением главных виновников этих злоупотреблений. Нужно спокойно соразмерять наказания с проступками, к тому же слишком большая поспешность могла бы показаться мстительностью, которая нам чужда. Признаюсь, однако, что надо показать пример; но мы объясним вам все дело по при-

езде в Москву, — оно довольно запутанное. Жена приказчика, которая бывает прилична только по утрам, потому что вторую половину дня она посвящает Бакусу, вызвала жалобы целой массы лиц, пзывавших под ее неограниченным правлением; она просила избавить ее от тягости службы; и мы исполнили ее желание с превеликим удовольствием, так как она была полноправной хозяйкой над всей домотканой холстиной, сукном и т. п. и распорядилась всем этим добром так же хорошо, как кошка, которой поручили бы караулить сыр. Впрочем, мы оставим ее еще хранительницею этих вещей, с тем, однако, чтобы ее честность была под контролем конторы. Вот все, что пока могу вам сообщить, об остальном я бы и себе ничего не мог сказать. Каждый день ожидаем денег, которые вам будут посланы или принесены, как только мы их получим. Прощайте, моя дорогая татап. Последний раз в письме целую ваши руки и скоро я испрошу у вас устно благословения. В ожидании счастья вас снова увидеть, я еще раз подписываюсь вашим почтительным сыном

Дмитрием

№ 8. С. В. Веневитиновой .

[Август — сентябрь 1824, с. Животинное]

Ma chère Sophie

Je crois deviner par votre dernière lettre que vous êtes déjà un peu fatiguée de notre correspondance; je n'en dirai pas autant. Je ne suis pas las de vous écrire mais très las de ne pouvoir vous parler sans plume et sans papier; il est très embarrassant de resserrer son esprit et ses paroles dans les bornes étroites de quatre pages quand on veut parler à une personne à laquelle on ne craint pas de trop dire et qui vous pardonnerait facilement un peu de prolixité; belle raison, me direz-vous, prenez deux feuilles de papier au lieu d'une et

vous voilà à votre aise. Non, ma chère, deux feuilles ne me suffiraient pas plus qu'une si j'avais le temps de vous entretenir autant que je voudrais, mais il faut être raisonnable dans ce bas monde et donner plus de temps à ses affaires qu'à ses délassements et à ses plaisirs. C'est pour cela que les moments me sont précieux et qu'il faut vous contenter de cette petite lettre qui fera la clôture de toutes celles que je vous ai écrites de la campagne. Que vous y dirai-je d'intéressant? Je voudrais que toutes les idées qui vous naîtront à la lecture de nos lettres se réunissent à vous former une belle image de Живописное. Je voudrais vous représenter une nature plus riante et plus belle, que celle que vous avez vue jusqu'à présent, je voudrais vous y faire tout admirer depuis le chêne jusqu'à la fleur des champs, depuis l'aigle jusqu'au papillon, mais comment animer ce beau tableau quel sera l'idéal que nous placerons dans ce temple imposant. Hélas je ne suis pas poète dans ce moment. Je ne vois devant mes yeux que la triste figure de Наталья Яковлевны et jamais figure ne fut déplacée dans un paysage comme celui de notre campagne. J'ai déjà éprouvé que notre mémoire ne s'attache jamais à un lieu, mais toujours à quelque personne où à quelque événement; fondé sur cette expérience je n'ose espérer que nous conservions un souvenir bien attrayant de notre séjour ici, je crois même que nous en garderons une idée bien confuse car jamais il n'y a en un plus bizarre assemblage de plaisirs et de désagréments que celui qui caractérise tous les jours que nous avons passés à la campagne. A tous moments il y a quelque chose de nouveaux sur le tapis et cependant je n'ai rien de nouveau à vous dire. Mais il est déjà tard. Il faut que je vous souhaite une bonne nuit. Adieu donc, je ne vous dirai pas que je voudrais être un oiseau pour voler vers vous, car si j'étais oiseau je ne pourrais pas vous dire que je vous aimerai toujours.

Votre frère et ami

Dmitri

Mes respects à M-r D'Horrer, s'il est chez vous. Dites à M-r Goerke que ses amis le saluent des bords du Tainais. Bien des choses aussi à tous ceux qui se souviendront de nous.

(Перевод)

Дорогая Софи.

Судя по вашему последнему письму, я подозреваю, что наша переписка пачинает вас немного утомлять; про себя я этого сказать не могу, я не устал вам писать, но я устал прибегать для разговоров с вами к перу и к бумаге. Крайне стеснительно заключать свою мысль, свои слова в тесные рамки четырех страниц, когда хочешь говорить с человеком, которому не боишься сказать слишком много и который легко простил бы некоторое многословие. Велика беда, скажете вы, стоит взять два листа бумаги вместо одного, и все уладится. Нет, дорогая, мне и двух листов мало, если бы я имел время говорить с вами сколько хотел, но надо на сем свете быть благоразумным и отдавать больше времени своим делам, чем своим развлечениям и удовольствиям. Вот почему я так дорожу моим временем и почему и вы должны довольствоваться этим маленьким письмом, которым заканчиваю ряд моих посланий из деревни.

Что скажу вам интересного? Мне хочется, чтобы все мысли, которые возникнут у вас при чтении моих писем, помогли вам составить себе красивую картину «Животинного». Мне хотелось бы изобразить природу такой радостной и такой прекрасной, какой вы до сих пор еще не видели. Мне хотелось бы заставить вас восхищаться всем, начиная с дуба и кончая полевым цветком, начиная с орла и кончая бабочкою; но как оживить эту прекрасную картину, какой идеал поместим мы в этот величественный храм. Увы! Сейчас я не поэт. Перед моими глазами только унылое лицо Наталии Яковлевны и нигде еще подобное лицо не было так неуместно, как на нашем дере-

венском пейзаже. Я знаю по опыту, что мы скорее сохраняем в памяти лица и события, чем какую-либо местность. Основываясь на этом, я не смею надеяться, что у нас останется приятное воспоминание о нашем здешнем пребывании, думаю, что оно будет очень смутное, потому что никогда не было более странного смешения удовольствий и неприятностей, которыми отличались все дни, проведенные нами в деревне. Ежеминутно возникает нечто новое, а между тем нового мне вам нечего сказать. Но уже поздно. Надо пожелать вам покойной ночи. Прощайте же. Не скажу, что мне хочется быть птицею, чтобы полететь к вам, потому что если б я был птицей, я не мог бы сказать вам, что всегда буду вас любить.

Ваш брат и друг *Дмитрий*

Засвидетельствуйте мое почтение г. Дореру, если он у вас. Скажите г. Герке, что его друзья шлют ему поклон с берегов Танаиса. Лучшие пожелания всем, кто нас помнит.

1825

№ 9. М. П. Погодину

1825, мая 15 [Москва]

Нижеподписавшийся покорнейше просит Михаила Петровича Погодина вручить подателю сего письма 1-ю часть переводов Мерзлякова.

Дмитрий Веневитинов

№ 10. А. И. Кошелеву

12 июня 1825. Москва

Вы видите, любезный друг Александр Иванович, что я не медлю отвечать на ваше письмо. Вчера его получил, а сегодня уже готов ответ. Не воображайте себе, чтобы такая поспешность происходила от

излишней точности, — нет! Вам известно, что это не моя слабость; но я с вами давно не видался, давно не общался мыслями, и так поговорить-то хочется. Чего бы я не дал, чтобы видеть Александра Ивановича в новом его мире, где он сочетает все веселия сельской жизни, все наслаждения эстетические с важною определенностью математика, где посвящает золотое время свое природе, Шеллингу и Франкеру и, перенося живые чувства, эти цветы молодости, с полей воображения в область рассудка, готовит себе обильную жатву. Продолжайте, сказал бы я ему, — эти наслаждения не потеряны. Кого не румянила заря жизни, тот жизни никогда не знал. Но что делают, между тем, ваши друзья в Москве? Точно то же, что и прежде делали? Так же поздно приходят в архив, забывая примеры Кошелева и Мещерского. Но, к несчастью, успех одобряет мою лень. Вы знаете, как я мало трудился над годом своим и он, кажется, сам собою достиг благополучного окончания. Кому слава — не знаю. Но об этом не беспокоюсь. Последних номеров «Телеграфа» я почти не читал, т. е. почти, оттого что прочел статью кн. Вяземского о замечаниях Давыдова на 3 статьи в «Записках Наполеона».

Статья любопытная не столько по мыслям Вяземского] об этой книжке, как по выпискам из Давыдова. Вот воин-поэт! Какое сильное чувство любви к отечеству, и как видно, что это чувство в нем не пред-рассудок! Прочтите самую книжку, и вы будете в восхищении. Еще из «Телеграфа» знаю я статью Одоевского, я читал ее у него в рукописи.

Каково отделил он Дмитриева? Эти критики не нам чета. Рубят хладнокровно и рады срубить голову у своей жертвы; а мы довольны и тем, что скажем, что наш противник всегда был без головы; и то бранит кн. Черкасский. Я не забыл своего обещания и сегодня пошлю статью свою против Мерзлякова к вам в дом, чтоб она к вам была переслана. Вы едва ли ее прочтете, — так намарано; но что делать, пере-

писывать некогда. Она в нынешнем номере должна быть напечатана. Другая же еще не поспела. Я хочу ее послать к Бестужеву, — он у меня ее просил, — только дайте еще вылежаться.

Теперь тешу себя надеждою скоро ехать в деревню и там, что выльется из души, то будет ваше.

Виноват перед вами. Вы у меня требуете вашего Шеллинга, а я, вопреки вашему приказанию, еще удержал его. Жду вашего разрешения на этот счет; если он вам нужен, то я немедленно вам его пришлю по почте, если нет, то оставьте его, пожалуйста, у меня до отъезда моего в деревню. Он мне нужен, а его теперь нельзя пайти. Головой ручаюсь вам за его сохранение.

Мещерский уже две недели уехал провожать тело бабки своей в Костромскую губернию, и еще не возвращался. В следующий раз готовлюсь писать вам много и жду с нетерпением обещанного письма. Мое почтение вашей маменьке. Брат от души вам кланяется, а я весь ваш

Веневитинов

№ 11. А. И. Кошелеву

[1825]

Я не писал вам до сих пор о сей книге, любезный Александр Иванович, желая вас еще более удивить неожиданностью. Читайте и прочтя перечтите. Я не во всех местах равно согласен с сочинителем, делаю ему несколько замечаний, но не могу надивиться глубокосмыслию его, постоянной системе и философическому порядку. Ни вы, ни я мы верно не читали на русском языке ничего подобного сему сочинению. Оно, как великолепное здание, возвышается на бесплодной равнине нашей теоретической словесности. В Германии такое произведение положило бы уже довольно прочное основание известности писателя. Впрочем, судите сами, и сообщайте нам ваше мнение. Жду от вас письма и письма. Чем более, тем лучше.

Весь ваш *Д. Веневитинов*

Вы не ждали моей посылки, любезнейший Александр Иванович, но я случайно получил на короткое время 1820 год журнала Окена («Isis») и не могу не поделиться с вами этим сокровищем. Сколько статей, которые бы мы прочли с вами с необыкновенным удовольствием! Всего вам сообщить невозможно; но зная, что вы прилежно с миром занимаетесь математикой, я заключил, что вам приятно будет видеть мнение двух славных математиков-идеалистов о сей науке. Для сего и перевел я ученый спор между Вагнером и Блише. Вагнер, кажется, так пристрастился к математике, что он в ней видит зерно всех наук и из нее выводит их развитие. Мысль может быть слишком страстная, но в науке всякая страсть позволительна и даже назидательна, ибо усилия ума не могут быть бесполезными; я осмелился прибавить свое замечание к статье Вагнера и прошу вас сделать то же.

Так как статья его довольно велика, и что не все равно относится до математики, то я решился довольствоваться одной выпискою. Поспешность оставила без сомнения в сей выписке следы свои; но я ручаюсь, что она передаст вам в верном виде мысли автора. Выписку из Блише пришлю к вам по следующей почте, между тем, вы будете иметь время написать собственные свои замечания; жаль, что у меня нет начала спора.

Впрочем, Вагнер и здесь объясняет предмет спора, и этого довольно.

Теперь обратимся к нашему спору, и он имеет для нас (по крайней мере для меня) свою приятность.

Я прочел письмо ваше с большим удовольствием и вижу, что древо истинного познания пустило в рассудке вашем глубокие корни, — это не мешает, что я еще хочу поспорить; я не выдаю слов своих за истину, но только за искреннее выражение своего убеждения, и рад принимать истину из уст другого. Ваша диа-

лектика очень верна; все ваши доказательства вытекают из одного начала; но мне кажется, что вы потеряли из виду основной закон всякой философии,— главную мысль, на которой она должна зиждиться.

Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть *началом* всего. Всякая наука, чтобы быть истинною наукою, должна возвратиться к своему *началу*; другой цели нет.

Вы соглашаетесь, что должно воследовать примирение идеального мира с реальным, но не забывайте, что на этой степени (хотя эта точка — идеал) не будет уже науки, а будет одно — всеведение. Теперь я заключаю, что эта степень — цель философии — была необходимо ее началом. (Трудно будет в письме распространиться об этом, однакож я постараюсь когда-нибудь развить вам все свои понятия об этом положении первого человечества). На этой степени знание становится уже «всеведением». Книга «Бытия» в ясной аллегории дает вам понятие о первом состоянии человечества, или даже о состоянии первобытного человека. И подлинно: представьте себе, что в таком человеке все чувства были мысли, что он все чувствовал, следовательно, что он все знал. Не страшитесь сей мысли: она с первого взгляда может показаться романтизмом, но это оттого, что я дурно объясняюсь; эта мысль одна может ясно доказать, что человек носит в душе своей весь видимый мир, что субъект совершенно в объекте, что все законы явлений, случаев и проч. заключаются в высокой мысли о законе. Если вы с этим согласитесь, то вы мне допустите, что тогда родилась философия, когда человек раззнакомился с природой: так и представляю я себе разные эпохи человечества. Не жду, чтобы вы согласились на эту мысль по одному письму сему, — и знаю, что оно не может ее доказать; пишите ваши возражения, но обратите ваше внимание на книгу

«Бытия». Посмотрите, как бог беседует с человеком с-глазу-на-глаз, приводит ему всех животных, и он их всех окинул одним взглядом, всем дал имена. Заметьте, что первобытный человек ничему не удивляется в раю, он как будто все постиг. Это предание древнейшего историка (которое, кажется, было преданием всех народов) много объясняет. Потом пройдите *Золотой век* древних стихотворцев, сравните его с книгой Моисея, и тогда надеюсь, что спор наш разрешится. Это, конечно, доказательства опытные, но я в начале письма старался подтвердить свою мысль идеальной философией; я для того только прибавляю вам сии примеры, чтобы вас не устрашали заключения, которые в глазах многих доказывают атеизм. Лучшее издание Платона есть новое издание с переводом латинским («Аста эстетика»).

Я недавно купил Платона, но устал от своего издания, — оно без перевода и без нот [примечаний] и тем очень замедляется чтение.

Издание Аста стоит 50 руб. асс., с переводом — 55. Надобно адресоваться к графу С. П — му книгопродавцу. Я непременно куплю это издание. Я ужасно марал: но мне никогда рука так не изменяет, как тогда, как я пишу с удовольствием.

№ 13. А. С. Норову и А. И. Кошелеву

Москва. 9 августа 1825

Скоро ли, любезные друзья мои, Александр Сергеевич и Александр Иванович, забудем мы в беседах наших перо, бумагу и чернила, и изустно станем сообщать друг другу свои мысли и чувства.

Признаюсь вам, друзья мои, мне уже скучно писать и я всякий раз с досадою берусь за перо. Не лень тому причиною; без хвастовства могу сказать, что мне перо не в диковинку, и, хотя я не могу похвастаться прилежанием, но пишу довольно.

Нет! мне досадно то, что, написав к вам письмо и запечатав его, мне приходит на память тысяча предметов, о которых мне бы хотелось с вами поговорить. В письме никогда всего не выразишь, а говорить, считая слова и смотря на часы, несносно. С нетерпением жду зимы, которая нас соединит; я недавно видел князей Ухтомских и они говорили мне, что Александр Сергеевич непременно со всем семейством своим проведет всю зиму здесь в Москве; очень желал бы, чтобы он такое обнадеживание подкрепил своею подписью. То-то будут толки и перетолки. Я летом так много молчал, что зимой боюсь быть ужасным болтуном. — Может быть вы уже и теперь это замечаете, но что делать, еще один совет: занимайтесь, друзья мои, один философией, другой поэзиею — обе приведут вас к той же цели — к чистому наслаждению.

Александру Ивановичу советую выписать славную книгу под заглавием: Schreiben sie über die... denn hier sind wir nicht...

Ваш Венивитинов

№ 14. А. И. Кошелеву

[1825]

Благодарю вас, тысячу раз благодарю вас, любезнейший Александр Иванович, за ваши замечания на статью мою. Они все так основательны, что если бы вы у меня настоятельно требовали ответа, то принудили бы меня или согласиться, или написать целую систему. По излишней приверженности к спорам, я бы избрал может быть сие последнее средство, тем более что мы, без сомнения, были бы согласны с вами в общих началах и стоило бы согласиться в приложениях. Был ли Гомер философом? Вопрос вам не нравится?.. Не буду защищать, хорошо ли я выразился в этом случае, постараюсь только объяснить вам мысль свою. Мне кажется, ее уже объясняет следующее. Стремился ли он сосредоточить и развить

рассеянные понятия религии? Я примечаю, что пускаюсь вдаль в письме своем, но что за дело? письмо — беседа, а в беседах с вами я привык летать за небо. Мне очень хочется знать ваше мнение на эти разбросанные мысли, потому что они займут большое место в моей статье о влиянии философии. Я вообще разделяю все успехи человеческого познания на три эпохи: на эпоху эпическую, лирическую и драматическую. Эти эпохи составляют эмблему не только всего рода человеческого, но жизни всякого, самого времени. Первая живет воспоминаниями; тут первенствует не мысль человека, а видимый мир, получаемые впечатления. В этой первой эпохе жили древние, в пей писал Гомер. Она вообще может назваться эпохою *прошедшего*. Сам Пиндар есть лирик совершенно эпический. Он никогда не выходит от мысли общей, но всегда от частного; таким образом объясняю я себе греческих (и французских) трагиков, оттого соразмерности частей у них совершеннее. Напротив того, мы живем в эпохе совершенно лирической. Поэмы Клопштока, Байрона суть поэмы эпико-лирические. Это эпоха *настоящего*. Здесь мысль независимо от времени выливается из души поэта и расплывается во всех явлениях. Такая поэзия неопределенна — так как сама мысль, как самое *настоящее*. Все трагедии наши суть лирические. Третья эпоха составитя из этих двух — так, как поэзия драматическая из эпической и лирической, как будущее (в мысли человека) из настоящего и прошедшего. В этой эпохе мысль будет в совершенном примирении с миром. В ней, как в трагедии, равно будут действовать характер человека и сцепление обстоятельств. Это будет эпоха драматическая. Возвратимся к Гомеру. Переход из одной из сих эпох в другую должен быть постепенным и во всякой эпохе отражаются две другие. Теперь вопрос, на какой степени стоит Гомер: философ ли он, т. е. выходит ли он от мысли общей, соединяет ли все в единство? Мне кажется, что он совсем не философ, оттого, может, и выше своих по-

следователѣй; но душа его была в гармоніи с природою, ясно отражала впечатления природы, оттого поэмы его заключают лучшую философію, ибо оны ясны и просты, как природа. Вы можетъ быть с этим согласитесь, когда остановитесь на этой мысли: *человек, чтобы сделаться философом, т. е. искать мудрости, необходимо должен был разнакомиться с природою, с своими чувствами. Младенец не философ.*

Гамс писал ко мне, что на-днях, т. е. с первымъ ездоками, Шеллингъ прибудетъ в Москву. Вы конечно замѣтили, что «Телеграфъ» обещаетъ мне ответъ; но если вы имели терпѣніе прочесть его прочіе антикритики, то, конечно, не будете мне советовать отвечать такого рода литератору.

Принужденъ кончать, но буду непременно продолжать с вами эту переписку, жду только вашего мнѣнія на эти мысли. Перевод Окена, какъ кончу, вамъ доставлю.

Выражения мне также часто изменяютъ при переводе Окена. Но меня то ободряетъ, что, можетъ, намъ предоставлено имѣть хоть несколько влияния на образованіе нашего ученого языка — образованіе весьма нужное.

Я надеюсь также защищать другіе места моей статьи, на которые вы сделали мне замечанія. Мне приятно хотя этими спорами обмацывать пространство, насъ разделяющее.

№ 15. А. И. Кошелеву и А. С. Норову

[1825. Москва]

Две недели не писалъ я къ вамъ, любезнейшій Александръ Ивановичъ; другой бы началъ извиненіями, а я вамъ сделаю выписку изъ истории этихъ двухъ недель, и вы увидите причину, по которой я замедлилъ отвечать на ваше письмо. Одну неделю мы были в разѣздахъ: ездили в деревню къ теткѣ, ездили къ гр[афинѣ] Пушкиной и писать было невозможно; другая причина —

важная, важнейшая — вами уже может быть угадана.

Взгляните на «Телеграф» и имейте терпение прочесть длинную, мне посвященную статью; смотрите, с какою подлостью автор во мне предполагает зависть к известности Пушкина, и судите сами, мог ли я оставить без ответа такое обвинение тогда, как все клянется Пушкиным и когда многие знают, что я писал статью на «Олегина». Вы можете себе представить, что я, прочтя эту антикритику, пошагал в комнате, потер себе лоб, поломал пальцы и взялся за перо. В один день вылилась статья — увы! — предлинная, и, кажется, убийственная для Полевого; но прежде, нежели ее отправить в Питер, я поклялся вперед ничего не печатать в этом ничтожном журнале и выбрать другую сферу действия. Статья Полевого произвела в нескольких приятелях негодование. В доказательство Рожалин послал в «В[естник] Е[вропы]» славное письмо к р[е]д[а]кт[о]ру, в котором он защищает мои мнения и обличает самозванца литератора; письмо дельное, которого никак не стóит Полевою и в котором сочинитель умел скрыть всякое личное участие.

Киреевский в жару также написал не совсем удачный сбор колкостей на Полевого, но потом разорвал написанное. Много пролитых чернил! Судите сами о моем мараенье и о письме Рожалина — я их сегодня отправлю в ваш дом.

Киреевский послал вам Шеллинга и Окена, следовательно я с своим переводом назад; а выписка из Блише за всеми сустами еще не переписана. Сегодня невозможно мне продолжать наш ученый спор, но это отлагаю только до следующей почты — вы меня заставили много думать.

Ваш Вeneвитинов

Извините, почтеннейший мой Александр Сергеевич, что я пишу к вам в письме к Кошелеву, но это мера,

которую я должен обуздать свое перо. Если мне взять другой лист бумаги, то, во-первых, я испещрю это письмо вдоль и поперек в беседе с Кошелевым, а потом наполню дельные 4 странички в письме к вам; занятие без сомнения для меня приятное, но мне предстоит дело, которому я должен посвятить все утро, и которое я конечно забуду, если писавши к вам, буду спрашивать только сердце, не часы. Приезжайте к нам, время деревни прошло; тогда то мы побеседуем. Пока пусть заменит меня у вас моя статья, которая верно вас посмешит. Ламартин в переплете отправляется в дом Кошелева, — а Тартюфа позвольте мне еще подержать у себя. Прощайте, милые.

№ 16. А. И. Кошелеву

25 сентября 1825 г. [Москва]

Тысячу раз виноват перед вами, любезнейший Александр Иванович! Боюсь, что вы на меня сердиты и, повидимому, вы имеете право сердиться; но надеюсь, что искусный адвокат мой кн. Черкасский совершенно убелит меня перед вами. Я исповедовал ему откровенно всю свою ошибку, и он обещал мне передать вам мою исповедь, не забывая конечно того, что может послужить к моему оправданию. Воображал ли я, что Шеллинг, который был для меня источником наслаждений и восторга, будет меня впоследствии так сокрушать? А кто виноват, как не собственная моя ветренность. Это письмо мое было бы для вас загадкою, без объяснений кн. Черкасского. Оттого и времени я к вам писать, боялся, что письмо не выразит всего, что я мог бы сказать в оправданье своем, и тем более обвинит меня. На этой же неделе Шеллинг вам непременно будет доставлен во всей целости, ибо я уверен, что тот, кто ошибкою увез его у меня, и не развертывал его: не то бы он дал мне знать, что я ему дал не ту книгу, которую он у меня про-

сил. Это вам докажет; что я сам, хотя и просил вас оставить на лето у меня Натуральную Философию, хотя и намеревался из нее делать извлечения, по сих пор не помышляя приступать к делу; не то бы и я заметил, что у меня нет той книги, которая мне нужна была. Оно и подлинно так.

Меня попеременно развлекали — то неожиданный приезд Хомякова, то дела, то собственные маранья, критика и пр. Теперь я занимаюсь гораздо постояннее и прилежнее прежнего и положил посвятить несколько месяцев Платону и Окену. К Платону начинаю привыкать, читаю его довольно свободно и не могу надивиться ему, надуматься над ним. Вот идеалст! Из Окена доставлю вам на-днях перевод. Я избрал для сего его «Теософию» и уверен, что она приведет вас в восторг, тем более что вы теперь занимаетесь математикой, а у него вся система зиждется на сей науке. И какая мысль: о божестве говорить высшей математикой, которая теперь в моих глазах самый блестящий, самый совершенный плод на древе человеческих познаний!

Мне не нужно просить вас не показывать никому этого перевода, вы сами, прочтя его, увидите для кого это писано. Я прибавлю несколько объяснений касательно употребляемых мною выражений, и теперь только вижу, сколь мало обработан наш ученый слог. Надеюсь, что и вы сообщите мне что-нибудь из ваших занятий. Посылаю вам статью, хотя ужасно дурно переписанную — простите, любезнейший Александр Иванович, не забывайте вам преданного

Веневитинова

№ 17. М. П. Погодину

[1825. Москва]

Моя пиеса принадлежит совершенно вам, почтеннейший Михайло Петрович, и вы можете переместить

в ней, что и как вам угодно. Вместо слов: человек не забывает, что он падший бог, если еще можно, то поставьте: не забывает своего высокого предназначения. Извините меня, если я слишком долго задержал корректурные листы, но меня до сих пор не было дома.

Ваш покорнейший слуга

Д. Веневитинов

1826

№ 18. М. П. Погодину

[Лето 1826. Москва]

Я обещал вам возвратить в четверг все ваши бумаги и с точностию исполняю обещание. Письмо так спешил окончить, что не успел отдать как бы мне хотелось; но впрочем дело не ушло и я переделаю, но когда вы мне его возвратите, тогда я буду просить вас быть моею почтою и доставить его по адресу прекрасной графине, теперь же посылаю его для того, чтобы слержать слово. Повесть ваша мне очень нравится; она была бы еще занимательнее, была бы прекрасным маленьким романом, если бы характеры были более развиты. О Валленштейне ни слова; — я кажется обещал вам не хвалить его. Прощайте. Поздравляю вас с прекрасным утром а сам иду спать. [Поперек страницы сбоку:] В моем Gätz не достает 6-ти страниц на конце.

№ 19. С дороги — родным

Jeudi à 11 heures du matin. [Осень 1826]

Nous voici à Торжок arrivés le plus heureusement du monde; nous repartons dans le moment et espérons être mercredi à Petersbourg. Je suis bien charmé de faire le

voyage avec Vauché, c'est bien le meilleur enfant du monde et je l'aime déjà de tout mon coeur. J'adresse ce petit paquet à Sophie; elle se chargera de mes commissions. Les deux paires de souliers sous la lettre «a» sont destinées à la P-sse Zénéide. Remerciez la bien vivement de ma part. Envoyez aussi deux paires de souliers aux Troubezkoj, les autres sont pour maman et Sophie. J'envoie la ceinture écarlate à Sophie D'Horrer, l'autre est de la part de Théodore pour ma Sophie. Je baise tendrement les mains à maman et embrasse Sophie de tout mon coeur. J'espère que cette lettre les trouvera en bonne santé.

D. V.

Mettez sur les souliers des Troubezkoj les initiales de leurs noms pour que j'ai l'air d'en avoir fait moi-même la répartition.

(Перевод)

Вот мы и в Торжке, прибыли вполне благополучно; сейчас едем дальше и надеемся в среду быть в Петербурге. Я очень рад, что путешествую с Vaucher — это поистине лучшее существо в мире, и я уже полюбил его всем сердцем.

Препровождаю Софи этот маленький пакет; она исполнит мои поручения. Две пары башмаков под буквою «a» предназначаются кн. Зинаиде. Передайте ей мою живительную благодарность. Попшите также две пары башмаков Трубецким, остальные для маман и для Софи, посылаю пунцовый пояс Софи Дорер, другой назначается Федором для моей Софи. Нежно целую ручки маман и от всего сердца обнимаю Софи. Надеюсь, что письмо мое застанет их в добром здравьи.

D. V.

Поставьте на башмаки Трубецких их инициалы, чтоб это имело вид, что я их сам распределял.

№ 20. Алексею Вл. Веневитинову

[1826. Петербург]

Москву оставил я, как шальной, — не знаю, как не сошел с ума.

Описывать Петербург не стоит. Хотя Москва и не дает об нем понятия, но он говорит более глазам, чем сердцу.

№ 21. С. В. Веневитиновой

Jeudi [1826. Петербург]

Je vous ai promis des détails, ma chère amie, et je pourrais déjà vous en donner quelques uns.

J'ai vu la Néva, tous les magnifiques bâtiments qui la bordent, Pierre le Grand, l'église de Casan, en un mot tout ce qu'il y a de plus beau à Petersbourg et cela par un très beau jour.

J'ai même vu l'intérieur du palais de la Tauride, la fameuse salle avec tous ses marbres.

Mais j'aime mieux laisser mûrir ou du moins croître ces impressions.

Je ne suis pas encore de cocur à Petersbourg et les souvenirs de Moscou m'occupent beaucoup trop pour que je puisse contempler avec toute l'attention nécessaire et jouir franchement de ce que je vois. J'ai vu hier les Hitroff qui vous disent mille choses. J'ai aussi été chez le C-te Nesselrode qui m'a tenu pendant assez longtemps chez lui et m'a dit de revenir encore après m'être reposé quelques jours. J'ai passé plus d'une heure chez la P-sse Aline qui est toujours on ne peut plus aimable.

Ces détails vous souffiront pour le moment. Quand j'aurai fini mes premières courses, ce que me tarde extrêmement, je mettrai plus d'ordre et de soin à vous écrire. Vous le savez je n'aurai pas besoin alors de vos exhortations, il m'est plus facile de vous écrire

une lettre longue, qu'une lettre courte et je veux même ne vous écrire jamais le même jour, qu'à maman, afin que vous avez plus souvent de mes nouvelles. Jusqu'à présent je n'ai jamais pu trouver plus de 3 minutes pour vous parler de moi.

Presentez mes respects à toutes les dames Acouloff, dites leur que si elles m'oublient je prierai le ciel de leur faire perdre leur jolies voix. Saluez les M., S... V... et tous ceux de mes amis que vous verrez. Dites à M-r D'Horrer et à Goerke que je leur écrirai incessamment. Mille choses à Sophie et mille baisers pour vous.

Je pense souvent à Genischta, dites le lui, en un mot je n'oublie personne. Dites à la P. Zénéide que j'attends avec impatience les copies des psaumes de Marcello. J'espère qu'elle m'en enverra quelques uns avec Alexandre M. J'irai un de ces jours voir Vielhorski qui a déjà appris mon arrivée et m'a fait dire qu'il m'attendait. Parlez de moi à Alexis et donnez-moi surtout de ses nouvelles. Je lui écrirai une lettre détaillée un de ces jours.

(Перевод)

Четверг [1826. Петербург]

Я обещал написать вам подробно, дорогой друг, и могу теперь уже кое-что сообщить.

Я видел Неву, все великолепные здания на ее берегах, памятник Петру Великому, Казанский собор, словом, все наиболее красивое в Петербурге, и все это при чудной погоде.

Я был также в Таврическом дворце и видел знаменитую мраморную залу.

Но пусть лучше эти впечатления созреют или, по крайней мере, разовьются.

Я далек сердцем от Петербурга и воспоминания о Москве слишком еще мною владеют, чтобы я мог любоваться всем с должным вниманием и искренно наслаждаться виденным.

Вчера я был у Хитровых, которые вас приветствуют. Был также у графа Нессельроде, который продержал меня довольно долго и сказал мне, чтобы я, после нескольких дней отдыха, снова зашел бы к нему. Я провел более часа у кн. Алпыи, которая была, как всегда, чрезвычайно любезна.

Пока вам хватит этих подробностей. Как только кончу с моими первыми разъездами, чего жду, не дожусь, внесу больше порядка и больше внимания в мою переписку с вами. Вы знаете, что тогда мне понадобятся ваши увещевания. Мне легче написать вам длинное, чем короткое письмо, и я не хочу даже никогда вам писать одновременно с татап, чтобы вы чаще имели от меня известия. До сих пор у меня не было более трех минут для беседы с вами.

Передайте мой поклон дамам Окуловым, скажите им, что, если они меня забудут, я умолю небо лишьнуть их хорошеньких голосов. Кланяйтесь от меня М..., З... В[олконской] и всем друзьям, которых вы увидите. Скажите г. Дореру и Герке, что я пм буду часто писать. Шлю тысячу приветствий Софи и тысячу поделуев вам.

Я часто думаю о Генште, скажите ему об этом. Словом, я никого не забываю. Передайте кн. Зинаиде, что я с нетерпением ожидаю копии псалмов Marcello. Надеюсь, что она пришлет мне некоторые из них с Александром [Мещерским]. На-днях хочу посетить Вьельгорского, который уже узнал о моем приезде и просил передать мне, что он меня ждет. Расскажите обо мне Алексею, а главное сообщите мне о нем. На-днях напишу ему.

№ 22. М. П. Погодину

17 ноября 1826. Петербург

Мне очень жаль, друг мой, что, начиная писать к тебе, я должен бранить тебя. Ты наделал вздору. Драм[а]

тические] отрывки всегда подавались в Моск. ценз. ком[итет], доказательством тому служат все отрывки, напечатанные в «Мнемозине» и переводы Мерзлякова из древних. Сам Карбонберг мне подтвердил тоже. Я был у Сода, и он принимает в цензуру только те пьесы, которые должны быть играны. Вот причины верные, по которым отсылаю Годунова. Если б я его отдал здесь в цензуру, то с него бы пошли списки. На сие здесь молодцы. Я Рожалину писал про Козлова. Дельвига по сих пор не мог видеть. Какая-то судьба мешает нам знакомиться. Я к нему — он ко мне. Я к Пушкиным, он от них. Впрочем на него можем надеяться. «Абид[осской] нев[есты]» разбор сделан, однакож не ждите от меня по статье на все, что будет появляться в нашей литературе. У нас там много пустого и обо всем что-нибудь да сказать надобно. Я расположен здесь заняться делом. Сегодня переезжаю на квартиру, которая будет моей пустынею. В ней, надеюсь, умрут все мои предрассудки и воскреснут, прозябнут семена добрые. Уединение мне было нужно, и шаг решительный сделан. Теперь что будет!! Молитесь за меня. Пиши ко мне чаще, мой милый друг, и заставляй писать других. Я долго не отвечал тебе на первое твое письмо, но давно выплакал на него ответ. Прощай. Люби меня всегда.

Как я живо представляю ваш праздник и милого-премилого Шевырева.

№ 23. С. В. Веневитиновой

Jeu di le 18 [ноября 1826. Петербург]

J'ai reçu votre lettre hier et comme vous voyez je ne tarde pas à y répondre. J'en suis assez content, cependant j'aurais désiré qu'elle fût encore plus détaillée. Quand vous me parlez de vos plaisirs, de vos occupations, il ne faut oublier aucune circonstance. Que jouez-vous avec Genischta? Vous ne m'en dites rien. Que fait-on aux

soirees de la P. Zénéide? Chante-t-on? danse-t-on? Je veux savoir tout cela. Et c'est alors que vous aurez le droit d'exiger de moi les relations les plus exactes. D'ailleurs vous avez beau dire, vous avez toujours beaucoup plus de temps à mettre à vos lettres que moi. Jusqu'à présent je mène une vie de vagabond, ce que ne me convient pas du tout, mais enfin j'espère que nous déménagerons lundi dans notre logement et alors je serai plus maître et même absolument maître des mes moments. Aujourd'hui je suis engagé à dîner chez M-r Батюшков, je n'ai pas encore fait la connaissance de ses filles, qu'on dit être très aimables et fort bonnes musiciennes. J'irai aussi voir les Koutaïsoff ce matin. Ensuite je retournerai chez le C-te Nesselrode ne voulant pas profiter trop largement du temps de repos qu'il m'a donné. La soirée je la passerai ou chez Kozloff ou chez Delvick. Voilà mes projets pour toute la journée. Dès que je serai installé dans mon nouveau logement je vous enverrai les copies, que vous désirez. Cependant n'allez pas croire que ce n'est qu'à cette seule condition, que la P-sse m'a donné son cahier. Cette condition n'existait pas quand le cahier était déjà chez moi et ce n'est que dans la suite que la P-sse m'en a parlé. Voilà une querelle d'Allemand, je ne vous la fais cependant pas pour me prévaloir de ma complaisance. Un de ces jours j'écrirai à maman. Je vous adresserai aussi ma lettre pour Alexis, comme la poste de Voronège quitte Moscou le vendredi je vous l'enverrai samedi afin que vous la receviez jeudi. Vous la ferez partir sans délai. Donnez-moi exactement de ses nouvelles. Je remercie maman de la lettre qu'elle m'a envoyée et lui baise les mains, les joues. J'écrirai à M-r D'Horrer, à M-r Goerke et à M-me ma tante. J'ai passé une soirée chez la P-sse Sophie Volkonsky, c'est une personne fort aimable malgré sa maladie. Je ne lui ai cependant trouvé ni le teint ni la voix d'une personne qui garde le lit depuis si longtemps. On m'a dit ensuite qu'elle était un peu agitée. Elle m'a retenu chez elle jusqu'à 9¹/₂ depuis 6¹/₂ et

pendant ces 2 heures nous n'avons cessé de causer avec la P. Aline pour ne pas la laisser parler.

Mes hommages à la P-sse Zénéide, je lui suis bien reconnaissant de son souvenir. Ne m'oubliez pas dans son salon et surtout près des dames Ocouloff. Dites à Alex. Meschersky, que les écoles vont être ouvertes et que dès qu'elles le seront je lui en enverrai les règlements, qu'en attendant il n'oublie pas mes conseils. Par la première occasion envoyez-moi de la conserve de rose pour Vaucher. On n'en trouve pas à P-g et cela lui fait un bien infini. Je vous embrasse de tout mon coeur.

Si vous voyez les Troubezkoj, présentez leur mes respects et envoyez-moi les psaumes de Marcello par la P. Agrip. si elle vient ici bientôt ou par son frère. Tous deux s'en chargeront avec plaisir.

(Перевод)

Четверг 18-го [ноября 1826. Петербург]

Вчера получил ваше письмо и, как видите, отвечаю вам немедленно. Я им в общем доволен, хотелось бы, однако, иметь побольше деталей. Когда вы говорите мне о ваших удовольствиях, о ваших занятиях, вы не должны опускать ни одной подробности. Что играете вы с Генштою? Вы ничего не сообщаете об этом. Что происходит на вечерах у кн. Зинаиды? Поют ли там, танцуют ли? Мне хочется знать обо всем. И тогда вы тоже будете иметь право требовать от меня самых точных сообщений. Впрочем, что бы вы там ни говорили, у вас всегда больше времени для писем, чем у меня. До сих пор я веду здесь бродячую жизнь, что мне совсем не подходит по нутру, но я надеюсь, что мы, наконец, в понедельник переедем на нашу квартиру, и тогда я буду более хозяином или даже полным хозяином своего времени. Я приглашен сегодня на обед к г. Батюшкову, я еще не познакомился с его дочерьми, которые, как говорят, очень милы и очень хорошие музыкантши. Сегодня утром зайду также к Кутайсовым.

Затем вернусь к графу Нессельроде, не желая слишком широко пользоваться данным мне отдыхом. Вечер проведу или у Козлова, или у Дельвига. Вот мои планы на весь день. Как только устроюсь в нашей новой квартире, тотчас пришлю вам копии, которые вы желали иметь. Не подумайте, однако, что княгиня дала мне свою тетрадь только под этим условием. Это условие не существовало еще тогда, когда тетрадь была уже у меня, и только впоследствии княгиня сказала мне об этом. Вот пустая ссора! Я начал ее, однако, не с тем, чтобы преувеличить мою любезность. На-днях я напишу маман и направлю также вам мое письмо к Алексею; так как воронежская почта уходит из Москвы в пятницу, я пошлю вам письмо в субботу, с тем, чтобы вы его получили в четверг. Отправьте его без промедления. Сообщите мне точные сведения о нем. Благодарю маман за присланное письмо, целую ее ручки и щечки. Я напишу г. Дореру, г. Герке и моей тетюшке. Я провел один вечер у кн. Софи Волконской, — несмотря на ее болезнь, это милейшая особа. Я не заметил, однако, ни цвета лица, ни голоса больного человека, пребывающего столь долгое время в постели. Мне сказали потом, что она была несколько возбуждена; она удержала меня с 6¹/₂ до 9¹/₂ ч. и в продолжение этих 2-х часов (sic!) мы не переставая беседовали с кн. Алиной, чтобы не давать ей говорить. Засвидетельствуйте мое почтение кн. Зинаиде, я ей очень признателен за память. Напомните обо мне в ее салоне и особенно Окуловым. Скажите Алек[sандру] Мещерскому, что школы скоро откроются и тогда я пришлю ему программы, а пока прошу его не забывать моих советов. Пришлите мне при первом удобном случае варенье из роз для Воше. В Петербурге его не найти, а оно ему чрезвычайно полезно. Всем сердцем вас обнимаю. Когда увидите Трубедких, передайте им мой привет и пришлите псалмы Marcello через кн. Агриппину, если она скоро придет сюда, или через ее брата. Они оба с удовольствием исполнят это поручение.

№ 24. М. П. Погодину

Декабрь 1826 [Петербург]

Вот вам несколько строк об «Онегине», спитых кое-как, на живую нитку. Месяйте, марайте как хотите; но, ради бога, не пишите большого разбора книги, уже давно вышедшей в свет, тем более что лишние похвалы Пушкину в нашем журнале могут показаться лестию. Вы видите, что я об вас думаю, не забывайте меня в своих молитвах и собраниях.

Этот лист всей братии.

№ 25. С. А. Соболевскому

14 декабря 1826 г. Петербург

Давно хотел я писать к тебе, любезный мудрец эпикурейский, и не забыл, что обещал тебе описание жителя-бытия Одоевского, но ты уже знаешь, что я был болен и потому долго не мог приглядеться к его семейной жизни. Посмотрел бы ты на него: он, как сыр в масле, ласкает жену, как любовник, любезничает с дамами, как жених. Она — женщина прелестная и милая в глазах каждого; что уж должно быть в глазах нашего чувствительного Одоевского? Придешь к ним поутру: они сидят, как голубок с голубкой, шутят и целуются. Я смеюсь: сцена довольно забавная. Придешь вечером: она разливает чай, он угощает своих дам. Надобно заметить, что он в большой милости у родни и по вечерам принимает. Сестра на тебя жалуется. Ты споришь против нее и против к[н] Вол[конской] о стихах Муравьева; она прислала мне эти стихи, и я хотел, чтобы они были хороши для того, чтобы побранить тебя. Что делает наш журнал? Я надеюсь, что ты — из деятельных сотрудников: а пменно, покупаешь Погодина вперед, ругаешь Полсвого, выжимаешь из Шевырсева статьи и выкидываешь терния и зелья недостойная из нашего две-

тущего сада. Если ты хорошо вникнул в роль свою, то ты увидел, что она не противоречит твоей гордой и солидной осанке. Ты должен быть крепкий цемент, связующий камни сего нового здания: от тебя много зависит его прочность. Попугай Пушкина, надобно, чтобы в каждом номере было его имя, подписанное хоть под немногими строчками. Скажу тебе искренно, что здесь от этого журнала много ожидают; сам Пушкин писал сюда о нем. Скажи нашим, чтобы они не щадили Булгарина, Воейкова и прочих. Истинные литераторы за нас. Дельвиг также поможет и Крылов не откажется от участия. Принимайтесь только за дело единодушно, и оно покатится. Если я буду доволен вашими двумя первыми номерами, то вы завтракаете таким стльтоном, какого ты от роду не едал. Лучшего трудно достать, но мне обещали, и я пошлю тебе провизию в гостинец, как скоро будет оказия. Прощай, мой друг, мне еще много надобно писать, а теперь уже второй час. Пиши ко мне и помни!

Веневитинова

№ 26. А. В. Веневитинову

[Петербург]

Обедаю за общим столом у Andrieux. Там собираются говоруны и умники Петербурга. Я, разумеется, молчу и нужно прибавить, что я стал очень молчалив, с тех пор, как тебя оставил.

№ 27. С. В. Веневитиновой

Le 16 Decembre [1826. Петербург]

Ma chère amie.

Je suis bien charmé de savoir qu'Alexis soit de nouveau près de vous. Vous voilà donc rendue à votre gaieté naturelle. Amusez-vous, promenez-vous et pensez à

moi; surtout parlez moi en details de tous vos plaisirs et alors j'y prendrai une part réelle, en dépit de toute distance. Je trouve que [vous] m'écrivez moins que vous ne pourriez le faire, si vous vouliez me sacrifier au moins une demiheure dans la journée. Vous ne pouvez pas me faire le même reproche, car je suis plus occupé que vous et j'ai presque tous les jours des courses à faire; malgré cela il n'y a pas de jour, que je n'expédie au moins deux lettres pour Moscou et il y en a qui traitent d'affaires (littéraires s'entend) et qui demandent plus de temps que celles que vous pouvez m'écrire. Je ne déversie pas; mais je suis paresseux de copier et d'ailleurs je ne vous enverrai rien à vous, parceque vous propagez trop mes vers. Je ne veux pas mendier d'éloges. J'ai diné aujourd'hui avec le plus sot et le plus bavard des poètes, et je suis encore tout étourdi de ses cris: c'est — Катенин. Pouschkin doit être à Moscou, faites lui bien mes amitiés. Je dois vous remercier de la confiance que vous me témoignez en me choisissant pour juge dans votre dispute littéraire avec Sobolevsky; si vous ne m'aviez pas envoyé les vers, je vous aurais donné raison. L. V. Herper qui a passé il y a quelques jours la soirée chez nous, m'a récité quelques vers de Mouravieff où il y a de jolies idées et qui sont assez bien. Dites cela à la P. Zénéide car je vois qu'elle s'intéresse aux succès de M. Je suis fâché de ne pas pouvoir faire le même éloge de tout ce que je connais de lui. Je vous remercie des détails que vous me donnez sur la fête du 3. Une lettre de Пожарин y a encore ajouté. J'ai passé la soirée chez la C. Laval. Je ne sais si je vous en ai déjà parlé; mais c'est une femme d'esprit, qui parle beaucoup de littérature et qui parlerait assez bien, si elle parlait moins. La fille aînée est une personne spirituelle et très aimable. Je connais moins celle qui demeure chez la P-sse Beloselsky, mais je crois que, quoique plus jeune, elle ne le cède en rien à sa soeur; elles sont toutes les deux bonnes musiciennes et c'est déjà, à mon avis, une bonne recommandation. Envoyez-moi avec Alexandre l'élégie de Ge-

nischta, il y a plusieurs personnes, qui me la demandent et on la connaît beaucoup de réputation. Je n'ai pas encore vu A. Кутаицовой elle est malade depuis mon arrivée ici; mais la mère me charge toutes les fois de dire mille choses de sa part à maman et à vous. La P. Aline chez laquelle j'ai été avant hier me rappelle aussi à votre souvenir; Olinka, ma grande amie, en fait autant. Je viens d'apprendre que M-lle Ocouloff est ici je tâcherai de la voir. Si vous voyez M-me Ouvaroff dites lui que je vais voir de temps en temps les Батюшков, qui me parlent beaucoup d'elle. Elle doit être triste; car elle ne doit plus espérer de revoir son frère. Envoyez-moi quelques unes de vos valse, surtout celle que vous avez faite dernièrement. Je me souviens à présent que vous vous êtes moquée d'avance du ménage que nous ferions avec Хомяков. Eh bien! Si vous voyez cela vous reviendriez de votre erreur. Quoique nous differions entre nous comme Онегин et Ленский tout va le mieux du monde. —

(Перевод)

Дорогой друг.

16 декабря [1826. Петербург]

Я очень рад узнать, что Алексей опять с вами. Итак, вы снова обрели свойственную вам веселость. Веселитесь; гуляйте и думайте обо мне; а главное пишите мне подробно о всех ваших удовольствиях, таким образом я приму в них, вопреки расстоянию, настоящее участие. Нахожу, что [вы] мне пишете меньше, чем могли бы, если только пожелали бы пожертвовать на это хотя полчаса ежедневно. Вы не можете упрекнуть меня в том же — я более вас занят и почти каждый день в разъездах; несмотря на это не проходите и дня, чтобы я не отправил в Москву, по меньшей мере, два письма, из коих некоторые деловые (касающиеся, конечно, дел литературных), требующие больше времени, чем те, которые вы мне можете писать. Я не бросил стихотворства, но мне лень пере-

писывать и к тому же вам я ничего не пошлю, так как вы слишком распространяете мои стихи. Я не хочу выпрашивать похвал. Сегодня я обедал с самым глупым и самым болтливым из поэтов — Катениным и до сих пор еще оглушен его криками. Пушкин должен быть в Москве, передайте ему мой дружеский привет. Благодарю вас за оказанное мне доверие, за выбор меня судьей в вашем литературном споре с Соболевским; если бы вы не прислали мне стихов, я принял бы вашу сторону.

Л. В. Герпер несколько дней тому назад провел у нас вечер и прочел мне довольно хорошие стихи Муравьева, в которых имеются красивые мысли. Скажите это кн. Зинаиде: я вижу, что она интересуется успехами М[уравьева]. К сожалению я не могу похвалить его за все, что мне известно. Благодарю вас за подробное описание праздника 3-го числа. В этом отношении помогло мне и письмо Рожалина. Не знаю, писал ли я вам о том, что провел вечер у С. Лаваль; это женщина умная, говорит много о литературе и довольно хорошо, если бы говорила не так много. Ее старшая дочь — особа умная и очень любезная. Я меньше знаю ту, которая живет у кн. Белосельской, но я думаю, что она [хотя] и моложе, ни в чем не уступает своей сестре; обе они — хорошие музыкантши, и это уже, на мой взгляд, хорошая рекомендация. Пришлите мне с Александром элегию Геншты, многие у меня ее спрашивают; ее хорошо знают по наслышке. Я еще не видел А. Кутайсову; она больна с тех пор, как я приехал сюда, но мать всякий раз поручает мне передать маман и вам ее приветствия. Кн. Алпа, у которой я был позавчера, просит также напомнить вам о себе. Оленька, мой большой друг, присоединяется к ним. Я только что узнал, что М-elle Окулова здесь — я постараюсь повидаться с нею. Если вы встретите г-жу Уварову, передайте ей, что я иногда бываю у Батюшковых, которые мне много говорят о ней. Она должна быть очень огорчена, не надеясь

больше увидеть своего брата. Пришлите мне некоторые из ваших вальсов, прежде всего тот, который вы недавно сочинили. Припоминаю теперь, что вы заранее подсмеивались над нашей совместной жизнью с Хомяковым. А вот, если бы вы нас увидели, то сознались бы в своей ошибке. Хотя мы и отличаемся друг от друга, как Онегин и Ленский, — все идет прекрасно.

№ 28. М. П. Погодину

19 декабря 1826 [Петербург]

В канцелярию издателей «Московского вестника» из С. Петербургского отделения.

Погодину. Мы нижеподписавшиеся извещаем издателя «Московского вестника», что мы с удовольствием принимаем на себя отдел критики, с тем только условием, что все наши статьи, как бы они зазорны ни казались мягкосердечному Погодину, помещались без разведения пунктирной водою [до сих пор и дальше рукой Веневитинова].

... Под мои статьи можете ставить «В» или «— вь», но не больше. Письмо твое отдам завтра Козлову.

Отрывки из кн. Долгорукой еще не так хорошо отделаны. Но теперь ваши тревоги кончились. П[ушкин] сам в Москве.

Рожалину. Письмо твое сегодня получил. Кто вбил тебе в голову, что я связался с Б[улгаринным]? Я и в лицо его не видал и верно к нему с первым визитом не поеду. Эпигматических твоих фраз почти не понимаю. В первой книжке не советую помещать перевод Фауста, надобно выбрать чтонибудь получше. У вас Валленштейна лагерь [не разб.] долго искать. Тут не нужно К. Долгорукой.

Титову. На последнее письмо твое еще не отвечаю, любезный друг, потому что все это время я почти не выпускал пера из руки. Благодарю тебя, без фразы,

за твою дружбу. Трудитесь, мы с Одоевским, надюсь, не отстанем. Авось педаром соединили усилия. Соболевскому нет места писать. Молодец Шевырев. Я еще не выспался в Петербурге, а он уже отвечал. «Валленштейнов лагерь» Рожалин говорит, что славно, и я верю. Печатай его в первых книжках, он понравится. Я бы отвечал тебе рифмами на рифмы; но я так много рифмовал, не худо свой запас рифм поберечь на черный день. Покамест довольствуйся дружбой за дружбу.

Описывайте мне подробнее всякий нумер. Посылаю вам покамест еще пьеску. Если пригодится, она ваша. В моей молитве перемените стих: «Да через мой порог смиренный не прешагнет как тать ночной ни об[ольститель.]» и пр.

№ 29. М. П. Погодину

19 декабря 1826. [Петербург]

Сегодня получил я записку твою в письме Титова и тотчас на нее ответ.

Я был у Козлова, и он обещал мне что ни есть у него лучшего в «М[осковском] вестнике»; но прибавил, что тотчас дать не может; ибо он хочет наперед выбрать отрывок, совершенно изготовить его к печати и переписать. Повторяю тебе, не худо, если ты сам напишешь к нему письмо, в котором скажешь: что ты поручил мне просить его быть участником в журнале, что я объявил тебе его согласие, и ты поставляешь себе долгом благодарить его и просить украсить своими стихами первые номера «Вестника». Если считаешь за нужное предлагать ему условия, то возьми этот труд на себя, а мне нельзя ни торопить старика, ни говорить ему об условиях, ибо он обещал мне стихи, как автор, который не продает их, но слышит с удовольствием об нашем предприятии, и сам вменяет себе в честь участвовать в таком деле, в котором участвует Пушкин и другие литераторы.

Ты же, как редактор, можешь объявить ему, что журнал издается не в твою пользу и что ты должен вознаграждать труды всех, участвующих в оном. В этом ничего нет неловкого. Впрочем это совет, а вы соберитесь во имя господне и решите глас народа гласом божьим.

Я послал несколько стихотворных пьес Рожалину и еще буду посылать.

Мне что-то все грезится стихами. Если тебе некоторые понравятся, то не печатай их, не предупреди меня, потому что эти пьесы как-то все связаны между собою, и мне бы хотелось напечатать их в том же порядке, в котором они были написаны. Почти все те, которых я здесь видел, подписываются на наш журнал и ожидают его с нетерпением. В обществах петербургских наше предприятие не без защитников, и мне кажется, я могу сказать решительно, что общее мнение за нас. Говорю это искренно, и не для того, чтобы тебя обрадовать. Отпимать у Полевого «Вадима» не годится. Пушкин верно никогда на это не даст своего согласия, а надобно требовать от него позволения напечатать в 1-м номере «Вестника», что он ни в каком другом журнале помещать стихов своих не будет, исключая «Вадима», которого он в таком-то месяце отдал г. Полевому и который по причинам, неизвестным автору, еще не напечатан. Пиши к нему чаще; ты имеешь на то полное право, купленное и твоим знакомством и 10 тыс. рублями. Вообще опояшься твердостью и решимостью, необходимою для издателя журнала. Искренность не пахальство. Вот тебе урок, любезный друг. Прости мне его ради дружбы; он может быть не бесполезен.

Посылаю тебе несколько мыслей об «Абидосской невесте». Ты верно не сердит на меня за то, что я отказался писать об ней разбор. Письмо мое к Рожалину докажет тебе, что отказываюсь не без причины. Кто-нибудь из вас потрудится написать эту рецензию, а в конце, если считаешь за нужное, то

припечатай несколько замечаний, здесь прилагаемых. Кляняйся всем нашим. Собо[евскому] скажи, что я к нему буду на-днях писать.

Твой верный *Веневитинов*

Как скоро получишь это письмо, пиши к Пушкину о «Вадиме» так, как я тебе советую. Засвидетельствуй мое почтение Аграфене Ивановне и княжне. Дай бог, чтобы они были столько же счастливы и веселы, сколько они добры и снисходительны. А я умею ценить их благосклонность и быть благодарным.

№ 30. А. В. Веневитинову

[1826 г.]

Я дружусь с моими дипломатическими занятиями. Молю бога, чтобы поскорее был мир с Персией, хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями. *Malgré le nombre de mes occupations, je trouve toujours le temps d'écrire, je suis placé près de Bouteneff.*¹

Пиши мне об журнале; скажи искренно, что говорят об нем в Москве.

№ 31. М. П. Погодину

[Декабрь 1826. Петербург]

Мальцов пишет у меня и я не могу не прибавить тебе несколько слов. Я заглянул в «Московский вестник» по милости Дельвига и удивился, что он так мал. Он по росту никак не сравнится с «Телеграфом». Пишите библиографические статьи, т. е. просто объявления о всех книгах. Скажу тебе откровенно, здесь

¹ Несмотря на большое количество моих занятий, я нахожу всегда время писать. Я состою при Бутеневе.

говорят, что ожидали более от первого номера. Я не читал его, но всем твержу, что он не должен быть лучше последнего, не то журналист плуствует.

А если сказать правду, то плутовать-то надобно и первые номера разукрасить получше. Скажи к[няжне] А[лексаudre] И[вановне], что я не нахожу с кем мне здесь за псе потанцовать.

1827

№ 32. А. В. Веневитинову

5/1 1827 г. Петербург

Недавно я обедал вместе с Гречем и Булгарским: они оба увиваются около меня, как пчелки около липки, только не дождутся от меня меду. Вчера у меня провел весь вечер Дельвиг; мы провели время очень весело, пели и швыряли друг в друга стихами.

№ 33. М. П. Погодину

7 января 1827 г. [Петербург]

Вчера писал я к брату и разбил тебя, как журналиста, за то, что кладешь в длинный ящик критические статьи. Как можно писать об «Аб[идесской] невесте» во втором № журнала! О таком произведении надобно говорить тотчас или совсем не говорить. Отнес ли ты мой «Новгород» и как он был принят? Напиши мне об этом.

О первом номере «Вестника» уже носится слух, но слух еще невнятный, а у меня журнала нет. Надеюсь, что ты пришьешь мне его. Получаешь ли ты ино-странные журналы? Это необходимо. Заставляй переводить из них все ученые статьи, объявляй о всех открытиях, что поддерживает «Телеграф». Мы азиатцы, но имеем претензию на европейское про-

свещенне; хотим знать то, что знают другие и знать не учившись, а только по журналам. В первый год надо жертвовать своими правами даже несправедливым требованиям публики. Итак, на первый год девиз журнальный должен быть *Invent meminisse periti*. На следующий год, когда журнал завлечет читателей, мы покажем им пропущенную часть стиха *Ignoti discant*. Молодцы петербургские журналисты, все пронюхали до малейшей подробности: твой договор с Пушкиным и имена всех сотрудников. Но пускай, они вредить тебе не могут. Умный (не то что хороший) журнал сам себя поддержит. Главное отнять у Булгариных их влияние.

С тех пор как я видел Булгарина, имя его сделалось для меня матерным словом. Я полагал, что он умный ветрепшик, но он площадный дурак. Ужасно ругает «Телеграф»; о тебе ни слова. Говорит, что сам знает, что он интриган, но это сопряжено с благородной целию и все поступки его клонятся к пользе отечественной словесности. Экой урод! Но quos ego!..

№ 34. С. В. Веневитиновой

Le 8 Janvier [1827]

Il y a bien longtemps que je ne vous ai [pas écrit] ma chère amie; mais Alexis vous aura déjà probablement fait connaître les raisons qui ont donné lieu à mon silence. Je vous prie de croire que ces raisons ne sont pas des prétextes. Depuis longtemps je voulais vous donner des détails du bal masqué que la Cour a donné le 1-er jour de l'an. J'y ai été à l'ouverture du bal et m'en suis allé enchanté de la salle, du jardin et des costumes. La P[rincesse] Aline était charmante, M-me Savadovsky très belle etc. etc.

J'ai passé contre mon ordinaire presque toutes ces fêtes hors de chez moi. J'ai été un bal chez les Кутузов, J'ai entendu de la musique à plusieurs reprises et

aujourd'hui même je me propose d'aller à l'Opera; on y donne la Pretiosa de Veber. Vielhorsky m'a beaucoup parlé de vous et de maman. Il m'a dit vous avoir vu la veille de son départ. Tout le monde m'a écrit par cette occasion excepté vous, et ce n'est pas bien de votre part car les temps ne doit pas vous manquer. Pour moi je saisis toutes les occasions, tous les loisirs pour vous écrire. Preuve de cela, je barbouille cette lettre à la Chancellerie. Dès que j'aurai le temps de donner deux ou trois séances à un peintre je ferai faire mon portrait pour vous l'envoyer. Skariatin se charge de faire un dessin très exact de ma chambre. Je voulois vous envoyer les vues de Petersbourg par Pouschkin mais il ne peut pas les emporter. Nous attendrons donc une autre occasion. Vous m'avez demandé quelle était ma paroisse et je vous avoue que je ne suis pas répondre à cette question. L'église où je vais ordinairement est celle de Casan. J'aimie cette église quoique qu'on ne puisse pas dire que se soit un édifice strictement beau.

Comme il y a fort peu d'églises à Petersbourg et que celle-ci est très vaste et se trouve au centre de la ville li y afflue tant de monde que quand le service est terminé les trois portes vomissent pendant une demi-heure une foule qui couvre toute la place. Cela me plaît beau. J'aime aussi à examiner les images de cette église; elles sont faites par nos meilleurs academissiens. Ce n'est cependant pas beaucoup dire et jusqu'à présent je n'ai trouvé qu'une seule image qui m'ait beaucoup plu. C'est une petite vierge qui se trouve sur la grande porte de l'autel ou pour mieux dire du sanctuaire.

Dites cela à Goerke qui m'a jadis parlé de ces tableaux. Est-il de mon avis?

Adieu.

St. Petersbourg.

(Перевод)

8 января [1827]

Уже много времени, что я не [писал] тебе, мой дорогой друг; но Алексей тебя, вероятно, уже поставил в известность о причинах, объясняющих мое молчание.

Я прошу тебя верить, что эти причины — не отговорки. Уже несколько дней я собираюсь тебе описать подробности маскарада, который был дан Двором в Новый год. Я был при открытии бала и остался в восторге от зала, сада и костюмов. Княжна Алина была прелестна, г-жа Завадовская очень красива и т. д.

Я провел, против обыкновения, почти все эти праздники вне дома. Я был на балу у Кутузова. Я слушал музыку несколько раз и сегодня предполагаю пойти в оперу; дают «Прециозу» Вебера.

Виельгорский много говорил со мною о тебе и о матери. Он сказал мне, что видел тебя накануне своего отъезда. Многие писали мне по этому случаю, исключая тебя, и это — не очень хорошо с твоей стороны, потому что времени у тебя достаточно. Я же в свою очередь хватаюсь за всякую возможность, за всякий досуг, чтобы писать тебе. Доказательство этому — я маракую это письмо в канцелярии.

Как только я буду иметь время дать два или три сеанса художнику — я закажу свой портрет, чтобы послать тебе. Скарятин берется сделать рисунок, очень точный, с моей комнаты. Я хотел послать тебе с Пушкиным виды Петербурга, но он не может их привезти. Мы подождем другого случая. Ты спрашивала меня — к какому приходу я принадлежу, и я уверяю тебя, что я не знаю — что ответить на этот вопрос. Я хожу обыкновенно в Казанский собор. Я люблю эту церковь, хотя не могу сказать, чтобы она была в строгом смысле красивым зданием.

Так как в Петербурге очень мало церквей и так как эта церковь очень обширна и находится в центре города, то сюда стекается столько народу, что когда кончается служба, толпа вырывается через три двери в течение получаса, наводняя всю площадь. Это мне очень нравится. Я люблю также рассматривать иконы в этой церкви; они писаны нашими лучшими академиками. Представь себе, что до сих пор я нашел здесь единственную икону, которая мне очень понравилась.

Это — маленькая икона св. девы, которая находится над большою дверью алтаря.

Расскажи об этом Герке, который говорил мне некогда об этих иконах. Согласен ли он со мной?

С. Петербург.

До свиданья.

№ 35. С. В. Венева-Титовой

[1827. Петербург]

Je vous ai promis une lettre aujourd'hui et vous voyez que je tiens strictement ma parole. J'ai reçu le psaume de Marcello et je vous charge d'en remercier tant la Princesse que mon cher Alexandre. Si j'avais déjà pu me procurer les notions nécessaires sur l'institution des écoles je lui aurais écrit depuis longtemps; mais j'aurai ces détails ses jours-ci. Vers la fin de cette semaine L. Poushkin part pour la Géorgie et passe par Moscou. C'est lui que je chargerai de vous apporter les vues que je vous ai promises. Pour le portrait je n'ai pas encore eu le temps de le faire faire. D'ailleurs il vous serait inutile, car vous ne me reconnaissez pourtant pas. Le climat de Petersbourg m'a bouclé les cheveux et noirci les yeux et de plus je porte des favoris, des moustaches et une barbe à l'Espagnole. Tout cela me donne un air rebarbatif, que vous ne pouvez me supposer. Je ne sais pas ce que je dois changer aux deux vers que vous me citez; s'ils vous déplaisent je vous donne le droit de les changer à volonté. Quant à moi je les regardais comme étant au nombre des meilleurs qu'il y ait dans la pièce, où leur grande simplicité, qui fait le ton de toute cette poésie. Quand vous écrirez à Alexis parlez-lui de moi, je ne lui écris pas à cause des grandes distances qui nous séparent. Ma lettre partirait quand il serait déjà peut être sur le retour. Je veux m'occuper d'Italien et d'Anglais. Comme vous devez avoir du temps de reste je vous conseillerais de vous occuper aussi de cette dernière langue.

N'oubliez pas l'Allemand, tachez de lire et pour ce que vous ne comprenez pas adressez-vous à Goerke ou à Rojalin; il n'y aurait pas de mal aussi de faire des traductions et des petites compositions que vous pourriez m'envoyer de temps en temps. Vous me feriez par là un véritable plaisir. Lisez et écrivez aussi en Russe. Il serait honteux que vous, qui aimez sincèrement la poésie, qui lisez avec plaisir surtout les poètes russes, vous ne sachiez pas la langue comme il faut. En général je voudrais vous savoir occupée. Tout doit vous y porter et l'espèce d'isolement où vous devez vous trouver le matin et les personnes que vous voyez avec le plus de plaisir. Je voudrais que ce temps que nous sommes obligés de passer loin l'un de l'autre ajoute du moins à la culture de votre esprit et alors je ne le regretterais pas quelles que soient les privations aux quelles me condamne notre séparation. Vous me pardonnez ces petits conseils ils ne peuvent rien gâter à la lettre d'un frère, qui est votre meilleur ami.

Dmitri

Baisez tendrement les mains de ma part à maman et présentez mes respects à la P. Zénéide, aux Troubezkoj si vous les voyez et aux dames Ocouloff.

Bien des choses à Genischta. Parlez-moi de votre clavecin.

(Перевод)

Я обещаю вам написать сегодня и вы видите, что исполняю в точности свое слово. Псалом Marcello я получил и поручаю вам поблагодарить за него как книжницу, так и моего дорогого Александра. Я давно бы написал ему, если бы мог добыть необходимые сведения о школьных уставах, но я получу все это надя. В конце этой недели Л. Пушкин уезжает в Грузию и будет проездом в Москве. Я поручу ему доставить вам обещанные виды. Что касается портрета, то я не имел еще времени его заказать. Впрочем, он был бы вам бесполезен — вы не узнали бы меня. Петербургский климат завил мне волосы и превратил

мои глаза в черные, к тому же я ношу теперь бакенбарды, усы и эспаньолку — все это придает мне суровый вид, к которому вы не привыкли. Не знаю, что мне изменить в двух приведенных вами стихах; если они вам не нравятся, то я предоставляю вам переделать их по своему усмотрению. Что касается меня, то я отношу их к числу лучших в этой вещи, где их большая простота дает тон всему стихотворению. Когда вы будете писать Алексею, сообщите ему обо мне, я не пишу ему, в виду большого расстояния, которое нас разделяет. Я мог бы отправить письмо тогда, когда он, может быть, собирался бы уже уезжать. Я хочу заняться итальянским и английским языками. У вас должно быть много свободного времени, а потому посоветовал бы и вам заняться последним. Не забывайте также немецкого языка, старайтесь читать и, если чего не поймете, обращайтесь к Герке или Рожалину; было бы недурно заняться переводами и небольшими сочинениями, которые вы могли бы от времени до времени мне присылать. Вы доставили бы мне истинное удовольствие. Читайте и пишите также по-русски. Было бы стыдно, если бы вы, искренно любя поэзию и читая с удовольствием русских поэтов, не знали как следует языка. Вообще мне бы хотелось видеть вас занятою. Все должно вас к этому направлять: и уединение, в котором вы находитесь по утрам, и люди, которых вы видите с особенным удовольствием. Мне хочется, чтобы то время, которое мы принуждены проводить вдали друг от друга, прибавило бы, по крайней мере, что-нибудь к развитию вашего ума, и я тогда не пожалел бы этого времени, каковы бы ни были лишения, которым подвергает меня наша разлука. Простите меня за маленькие советы, они ничем не могут повредить письму брата, который вместе с тем и ваш лучший друг.

Дмитрий

Нежно целую ручки маман. Передайте мой низкий поклон кн. Зишанде, Трубедким, если вы с ними

видитесь, и Окуловым. Мой привет Гениште. Напишите мне о вашем клавесине.

№ 36. А. Н. Веневитиновой

Janvier [1827. Петербург]

Ma chère maman.

Je vous écris le jour de fête et je commence par vous baiser les mains et par vous offrir mille vœux que je ne saurais exprimer et que vous devinerez sans peine. J'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé par Vielhorsky, M-me Karuss et Maltzoff et j'ai répondu à vos lettres en remettant mes réponses à P. qui devait partir en courrier, afin qu'elles vous parviennent d'autant plus tôt. Différentes circonstances l'ont retenu ici du jour au jour jusqu'à présent et c'est la principale raison pourquoi vous n'avez pas eu de mes lettres pendant quelque temps. Je suis désolé que cela ait pu vous donner quelques inquiétude sur mon compte et désormais je ne me fierai plus à ces occasions qu'on croit être le meilleur expédient pour donner de ses nouvelles. J'ai vu M-me Karuss qui m'a vraiment fait du bien en me parlant de vous. Je profiterai aussi de son départ pour vous envoyer différentes petites choses et entr'autres les vœux de Petersbourg que j'ai promises à Sophie et dont P. ne peut se charger. J'ai passé tout ce temps depuis les fêtes d'une manière assez extraordinaire pour moi. J'ai été plusieurs fois au bal tantôt chez Кыгузов, tantôt chez Ланскоïï notre hôte. Cela ne m'a pas empêché d'être très occupé le matin pour mon service et je crois sans me prévaloir qu'on a tout lieu d'être content de moi. J'ai entendu parler de mon avancement, mais cela ne m'a pas été annoncé officiellement. Et je ne m'en informe pas parceque je n'y pense jamais. Vous connaissez déjà probablement le malheur affreux de M-me Оуварофф. Son mari a disparu pour se donner la mort, l'on dit qu'on a retrouvé son

corps dans la rivière. Je l'avais vu l'avant veille de sa mort et je ne me serais jamais douté d'une si triste résolution. Je rachetterai mon silence en vous écrivant si ce n'est beaucoup du moins souvent. Vous aujourd'hui je vous baise encore une fois les mains et embrasse A. et S.

Votre soumis fils *Dmitri*

Mes respects je vous prie à la P-sse Zénéide. Ma pièce de Novgorod est faite pour être imprimée. Je l'enverrai un de ces jours telle qu'elle doit paraître.

(Перевод)

Январь [1827. Петербург]

Дорогая татам.

Пишу вам в день праздника и начинаю с того, что делую ваши ручки и шлю вам тысячу пожеланий, которые я не сумею выразить и которые вы без труда разгадаете. Я получил все посланное вами через Вьельгорского, г-жу Карус и Мальцова и ответил на ваше письмо, отдав мои послания П[ушкину], который должен был ехать курьером, с тем, чтобы они достигли своего назначения возможно скорее. Разные обстоятельства задерживали его со дня на день, и вот почему вы не имели в течение некоторого времени от меня известий. Мне очень жаль, что это могло причинить вам некоторое беспокойство обо мне и впредь не буду полагаться на эти оказии, которые считаются лучшим средством дать о себе знать. Я виделся с г-жею Карус, которая доставила мне истинную радость, говоря о вас. Я воспользовался также ее отъездом, чтобы отправить вам разные вещицы и, между прочим, виды Петербурга, обещанные мною Софи, которые П[ушкин] не мог доставить. С праздников я провел все это время довольно необычайным для меня образом. Несколько раз был на балах, то у Кутузова, то у Ланской, нашей хозяйки. Это не мешало мне много работать по службе, и полагаю, не переоценивая себя, что есть основание быть мною до-

вольным. До меня доходили слухи о предстоящем мне повышении, но об этом мне официально еще не объявляли, а я не справляюсь, потому что о том не думаю. Вы вероятно уже знаете об ужасном несчастье, постигшем г-жу Уварову. Ее муж исчез с тем, чтобы покончить с собою; говорят, что тело его было найдено в реке. Я видел его за два дня до смерти и никогда не мог бы заподозрить в таком печальном решении. Я вознагражу вас за мое молчание тем, что буду писать, если не помногу, то, по крайней мере, часто. Теперь же еще раз целую ваши ручки и обнимаю А[лексея] и С[офи].

Ваш покорный сын *Дмитрий*

Передайте, пожалуйста, мой низкий поклон кн. Зинаиде. Мое стихотворение о Новгороде написано для печати. Я пришлю его на-днях в том виде, в каком оно должно появиться в свет.

№ 37. А. В. Веневитинову

24-го января 1827 г. [Петербург]

Скажи Погодину, чтоб он не скупился, прибавил листочек к журналу, а то он точно в чухотке. Да что он не разнообразит его? я об них больше забочусь, чем они о себе.

№ 38. Неизвестному

28 января [1827 г. Петербург]

Сегодня получил я письмо твое, любезный друг, и как видишь, немедля отвечаю. Я даже предупредил бы тебя, если бы не некоторые занятия, которым я должен был посвящать большую часть дней своих. Мне давно хотелось поговорить с тобой именно о нашем общем деле, т. е. о журнале. Публика ожидает от него статей дельных и даже без всякой примеси этого

здора, который украшает другие журналы. Говорю вам это решительно, потому что вслушиваясь с намерением во все толки о «М[осковском] вестнике». Две книжки кажутся немного бедными, особенно первая, а вот тому причины: во 1-х, мало листов, во 2-х слишком крупны статьи. Наконец, нет почти никаких современных известий. Последнее исправится по получении иностранных журналов; постарайтесь и о первых двух недостатках. Брань начинать нам рано. Пусть бросят в нас первый камень; тогда и мы будем отвечать, и я верно от храбрейших не отстану. Я уже говорил П—ну, что с «Телеграфом» не худо бы сначала жить в ладу; не утверждаю этого решительно, потому что не знаю, как ведет себя Полевой. Не он ли подкупает Шевырева и заставляет повес печатать в газетах подлости. Вы ближе к источнику и если что знаете или предполагаете, напишите мне непременно. Критику выходящих книг возьму я охотно на себя, но надобно, чтобы они выходили, а здесь ничего не слышать до сих пор. Я было писал разбор альманахов, но так как он уже сделан, то до другого случая. Cousin издал книгу прекрасную, и я непременно доставлю вам об ней статью, но погодите. Если мы сначала будем занимать публику самыми строгими статьями, то нас назовут педантами. Я намерен послать разбор свой в переводе к самому Cousin и просить его сообщить мне ответ (если статья моя заслужит его внимание) для помещения в том же журнале. Cousin преблагородный человек, я знаю к нему путь, и он верно не откажется. Завтра буду я писать для того, чтобы доставлять вам новых сотрудников, а именно: abbé Mérian, Klarrot и Гульянова: вы можете почти считать и вероятно даже, что они позволят объявить их корреспондентами. Все трое приобрели славу европейскую. На-днях познакомлюсь с Сенковским, который не откажет в повестях с арабского. Впрочем, надобно поручить кому-нибудь постоянно переводить повести из Веллингтона, Тика и др[угих] писателей, для того чтоб

на всякий случай даже без нужды были повести наготове. Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофмана и докончите его. Повесть славная, лучше всех у нас рус[ских] напечатанных. Препровождаю к тебе несколько переводов из иностранных журналов. Поправляй их как хочешь. Я заставлю всех трудиться и даже Алексея Хомякова, который здесь третий день. Он посылает вам три пьесы. Я прилагаю здесь «Элегию» да «3 участи». Не знаю, не доставил ли вам Мальцов сей последней пьесы. Во всяком случае, если он и переписал ее, то может быть худо разобрал мою черновую, и я посылаю вам исправную копию.

Не пугайтесь гонений ни Дм[итриева], ни Дав[ыдова]. Сей последний, хотя и умен, но едва ли умеет идти к избранной цели прямо и потому на всяком шагу может быть неистов. Если сразимся, то пусть решает судьба.

Дм[итриев] завистлив и ему бы хотелось уронить хоть сколько-нибудь Пушкина. Молодых же людей он никогда не похвалит, всегда видя в них соперников. Впрочем, голоса он почти не имеет. Напечатайте следующие стихи: Четверостишие [см. стр. 109].

В.

Посылаю к вам перевод из Шиллера, который мы тотчас сделали с Хомяковым вдвоем. Из Фауста кое-что пришлю непременно. Теперь мой Гёте не дома. Как воротится, то сравню и исправлю. Присылай «Валлен[штейнов] лаг[ерь]». Здесь пропустят, за это берусь. Из романа ничего еще вырвать не могу. Послание мое к Р[ожали]ну печатайте, если хотите и как хотите. Поцелуй Титова за статью и за аллегории. Славно. Поцелуй сам себя за разговор. Не теряйте ни деятельности, ни надежды. Прости.

Твой верный Вeneвитинов

Заставляйте брата переводить повести или статьи из иностранных журналов. У него также есть хорошие переводы из Шлегеля. Скажи П[огоди]ну, что не

худо бы поместить известие о смерти Ланжуине и кое-что сказать о его жизни, которую можно выписать из Convers[ation]. Lexicon и из Bibliog[raphie] des Cont[emporains]. Эти книги, кажется, есть у кн. Волконской. Брат или Рожалин достанут вам.

Жандр обещал вам посылать свои пьесы. Дельвиг все болен, а он не изменит; мы с ним дружны, как сыны одной поэзии. Послали ли вы ему Вес[тник]? Не худо послать его и Грибоедову. За чем это газетное объявление о «Сев[ерной] лире»? Дань дружбе? Чудак Погодин! и бранить-то его совестно. Однакож скажу ему: мне по всему кажется, что он более суетится, нежели делает. Кланяйся всем нашим.

№ 39. С. В. Веневитиновой

1 Fevrier [1827. Петербург]

Il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit, ma bonne amie, mais il faut avouer que vous me payez aussi de retour. Mille petites affaires m'ont occupé et m'occupent encore tous les jours. Aujourd'hui même je vous écris à la hâte; car dans une demiheure je dois être chez M-r Bouténiéff. Je voudrais vous parler en long de ma journée d'avant hier. C'est une des plus belles que j'ai passée à Petersbourg. Je me suis promené pendant toute la matinée par le plus beau soleil possible avec A. Khomecoff qui comme vous le savez déjà demeure avec nous depuis 5 ou 6 jours. Toute la ville semblait éclairée par deux enormes bougies qui sont la flèche de l'amirauté et celle de la forteresse. Elles dominant tout Pétersbourg et par un beau soleil on dirait que ce sont deux grands foyers de lumière. Nous avons traversé le fleuve dans sa plus grande largeur, qui est d'environ une verste et nous sommes entrés dans la forteresse. J'ai vu avec un plaisir tout à fait religieux les tombeaux de Pierre le Grand, de Catherine, d'Alexandre etc. La cathédrale est imposante

sañs être belle. Tous les murs sont couverts de drápeaux conquis. J'apprécie plus cette sorte de jouissance que je ne le faisais à Moscou. Cela tient-il à ma disposition individuelle ou bien à d'autres causes qu'il faut attribuer à la pauvreté même de P-g dans ce genre de beauté c'est ce qui vous reste à déterminer; pour moi je m'habille.

Baisez les mains à maman et félicitez la de ma part pour son jour de nom. Je vous embrasse ainsi qu'Alexis.

(Перевод)

1 февраля [1827. Петербург]

Очень давно не писал я вам, дорогой друг, но надо сознаться, что и вы мне платите тем же. Тысячу мелких дел занимали и до сих пор занимают меня. Вот и сегодня пишу вам на скорую руку, так как через полчаса я должен быть у г. Бутенева. Мне хотелось бы подробнее поговорить с вами о моем позавчерашнем дне. Это один из лучших дней, проведенных мною в Петербурге. Целое утро я гулял при чудном солнечном освещении с А. Хомяковым, который, как вы знаете, живет с нами пять или шесть дней. Весь город казался освещенным двумя огромными свечами — шпилями адмиралтейства и крепости. Они господствуют над всем городом и кажутся при солнечном освещении двумя большими очагами света. Мы переправились через реку в самом ее широком месте, которое достигает приблизительно одной версты, и вошли в крепость. Я смотрел с чисто-благоговейным удовольствием на гробницы Петра Великого, Екатерины, Александра и др. Собор, хотя и не красив, но производит величественное впечатление. Все стены покрыты завоеванными знаменами. Я теперь более ценю такого рода наслаждения, чем в Москве. Зависит ли это от моего настроения или же от других причин, которые следует приписать бедности Петербурга в такого рода красотах — решите сами. Что

à V. Davoud.

Il y a bien long temps que j'ne vous ai écrit
un chère amie; mais Alexis vous aura déjà
probablement fait connaître les raisons qui
ont donné lieu à mon silence. J'vous prie
de croire que ces raisons ne sont pas des pré-
textes. Depuis long temps j'voudrais vous don-
ner des détails de mes mal sens qui que l'on
vous a donné le 1^{er} jour de l'an. J'y ai
été à l'ouverture du bal et m'en suis
allé enchanté de la salle, du jardin et
des costumes. La M^{lle} Alice étoit charmante
M^{me} Davoudovky très belle. On se & & & &
D'ici après contre mon ordinaire pour
que toutes ces fêtes fussent chez moi.
J'ai été au bal chez les Kymyzyly,
J'ai entendu de la musique à plusieurs
reprises et aujourd'hui même j'au-
rais proposé d'aller à l'Opéra; on y donne
la prestation de Nebou. P. Keltovskiy
m'a beaucoup parlé de vous et de maman

Автограф Д. В. Веневитинова

Публикуется впервые

касается меня, то я иду одеваться. Поцелуйте от меня ручки маман и поздравьте ее с днем ангела. Целую вас и Алексея.

№ 40. С. В. Веневитиновой

[1827. Петербург]

Puisque toutes les lettres que vous m'écrivez sont remplies de descriptions de spectacles et de soirées musicales, il faut que je vous rende une fois la pareille. Hier la Société philharmonique a donné un grand concert où l'on a exécuté en entier une toute nouvelle production de Cherubini dont on n'avait pas l'idée ici et que l'on ne connaît certainement pas à Moscou. C'est une messe à grand orchestre. En Allemagne on en a fait les plus grands éloges et je ne crois pas qu'ils soient exagérés. Elle produit un effet étonnant et toujours soutenu. Dites à la Genischta que je lui conseille de se la procurer tout de suite. Les chœurs étaient exécutés à merveille par les chantres de la cour. Jeudi nous avons donné à l'académie de musique le Requiem de Mozart et la tout était bien les chœurs et les soles. Vendredi Vielhorsky nous a donné un concert charmant. Il vient d'établir une Société musicale qui donnera probablement un concert par semaine. Voilà des nouvelles de Pétersbourg, les plus fraîches et les plus intéressantes. Quand le printemps viendra embellir nos environs et que je pourrai vous parler des promenades et des îles, je vous écrirai plus régulièrement que je ne l'ai fait dans ces derniers temps. Pourquoi ne m'envoyez-vous donc pas les traductions de Mickevitz? Bonjour. Baisez les mains à maman et embrassez Alexis.

Dmitri

Dites à M-r Goerke, qu'il a l'air de me bouder. Quand il vient chez vous, dans ses moments de... ne peut-il donc pas vous donner quelques lignes pour moi,

(Перевод)

Все ваши письма полны описаний спектаклей и музыкальных вечеров, надо и мне хоть раз отплатить тем же. Вчера Филармоническим обществом дан был большой концерт, на нем было исполнено целиком новое произведение Керубини, о котором здесь не имели и понятия и которое, конечно, совсем неизвестно в Москве. Это месса для большого оркестра. В Германии о ней отзываются с величайшей похвалою, и я полагаю, что эти похвалы не преувеличены. Она производит удивительное, выдержанное впечатление. Передайте Гениште, что я ему советую теперь же ее приобрести. Хоровые партии были исполнены прекрасно придворными певчими. В четверг у нас в музыкальной академии был исполнен *Requiem* Моцарта, все сошло удачно, и хор и сольные партии. В пятницу Вьельгорский нам дал прелестный концерт. Он только что основал музыкальное общество, которое, вероятно, будет устраивать концерты еженедельно. Вот вам петербургские новости, самые свежие, самые интересные. Когда придет весна и украсит наши окрестности, и мне можно будет говорить о моих прогулках и об островах, я буду писать вам более регулярно, чем последнее время. Почему не шлете вы мне переводов Мидкевича? Будьте здоровы. Поделуйте татап ручки и обнимите Алексея

Дмитрий

Скажите г. Герке, что он, как будто, на меня дуется. Когда он бывает у вас в минуты... неужели он не может вам дать несколько строк для меня.

№ 41. А. В. Веневитинову

14 февраля 1827 г. [Петербург]

Авось окончу в скором времени большое сочинение, которое решит: должен ли я следовать влече-

нию к поэзии или побороть в себе эту страсть. Попробуй отдать мои «Участи» в цензуру. К юбилею Гёте пришлю славные отрывки из «Фауста». Третья книжка «Московского вестника» не в пример лучше двух первых.

№ 42. М. П. Погодину

7 марта 1827 г. С. Петербург.

Ты прав, милый Михалушка!

Твои обвинения и друзей я заслужил.

Но что же делать?

Вот и матушка сетует на меня за мое молчание.

Я нехороший и неблагодарный сын. За все заботы матушки обо мне и за всю ее любовь я плачу забвением.

Но это не так. Объясни ей, Мишель, скажи ей, что я ее люблю больше, чем кого-нибудь. Ведь мать бывает только раз. Скажи ей, что мысли мои заняты всегда только ею.

Не буду же я писать ей о том, что тоска не покидает меня, что здоровьем я плох.

Вот и сейчас я пишу тебе, а во всем теле ломота, голова тяжела. Я напишу ей, когда буду здоров, когда будет хорошо. Писать неправду я не могу.

Пишу мало. Не знаю, пришлю ли я вам что-нибудь для следующей книжки.

Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его светильник?

Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя.

Я уже выше писал, что тоска замучила меня. Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я — один. Скорее бы отсюда, в Москву, к вам.

Я ни за что не могу взяться.

Мало верст нас отделяет, а мне кажется, что я далеко от вас всех, в каком-то тридевятиом царстве.

Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения.

По получении письма моего, езжай к матушке. Попроси у нее за меня прощения и, смотри, Мишель, ничего не говори ей. Тысячи поделуев ее рукам. Я люблю ее и много напишу ей.

Соничке скажи, что скоро пришло ей ноты. Пришло ей не музыку, а что-то неизъяснимое.

У Строгановых слышал Ленсберна. Он играл сонату Бетгофена Op. 31 № 1.

Adagio из этой сонаты захватило меня, покорило, потрясло силою своего могучего воздействия. Какая это музыка! Какой это композитор!

Я не нахожу слов, это — мощь.

Я представляю себе этого гения необъятной величиной. Мне кажется, что этот великий чародей даст миру редкий пример величия человеческой личности.

Я вижу в нем философа — среди музыкантов. Воспоминание об этом чуде отрывает меня от письма к тебе.

Целуй друзей. Обнимаю тебя.

Что Шевырев и Кпреевские?

Поезжай к матушке.

Твой *Веневетинов*

СВОД БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

О

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВЕ



Д. В. Веневитинов
Портрет неизвестного художника
Иконографическая редкость

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься.
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Д. Веневитинов

«Свод биографических данных о Д. В. Веневитинове» представляет собою систематизированные в хронологическом порядке свидетельства современников и биографов поэта, с добавлением некоторых материалов, не имеющих непосредственного отношения к нему, но ярко воспроизводящих окружавшую его обстановку. Сюда относятся стихи Пушкина и некоторые другие материалы. Число таких вставок, дабы не загружать издания, мы старались наивозможно сократить.

С этой же целью — более полного уяснения разносторонней личности Веневитинова — приводятся в нужных местах его стихи и письма, дающие ключ к пониманию его биографии. Во избежание повторений, и то и другое намечено только начальными строками со ссылкой на соответствующие страницы собрания сочинений.

Кроме опубликованных за сто лет после смерти Веневитинова отрывочных биографических сведений о нем, в настоящий свод включены неопубликованные до сих пор отрывки из дневника одного из друзей поэта — М. П. Погодина, раскрывающие некоторые черты характера Д. Веневитинова и историю его взаимоотношений с А. И. Трубецкой. Нужно отметить, что прежние публикации дневника Погодина его биографом Н. Барсуковым страдали значительными погрешностями

текста, даже в части, относящейся к биографии самого Погодина. Тем более относится это к тем местам дневника, которые рисуют нам биографию Веневитинова. Ряд интересных мест дневника, содержащих сведения о нем, был просто выпущен и только теперь восстановлен нами по рукописи. Также впервые публикуются — отрывок воспоминаний М. П. Погодина о знакомстве с Д. Веневитиновым и фрагмент из неизданных записок Полины Николаевны Лаврентьевой, родственницы декабриста Н. М. Муравьева и близкой приятельницы Н. Бестужева, А. Одоевского, Грибосдова и др. Фрагмент этот представляет исключительный интерес, поскольку в нем содержится единственное во всей мемуарной литературе о Веневитинове указание на принадлежность последнего к Северному обществу декабристов.

В заключительной части работы приведены в порядке их написания многочисленные стихотворения на смерть поэта, иллюстрирующие глубокий след, оставленный им в сознании его поколения. В качестве своеобразного эпилога к биографии Д. Веневитинова, к своду приложено описание вскрытия его могилы в 1930 г., составленное непосредственной участницей, М. Ю. Барановской.

Пользуюсь случаем выразить признательность В. В. Гольдеву и М. М. Дубовской за ценные замечания и сообщенные материалы.

Б. Смиренский

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

1805

Сентябрь 14 (26 н. с.). Рождение Д. В. Веневитинова в Москве, на Мясницкой, в Кривоколенном переулке.

1806

Декабрь 2. Рождение брата Алексея.

1808

Август 13. Рождение сестры Софьи.

1810

Занятия с матерью, Анной Николаевной.

1812

Декабрь 25. Смерть брата Петра (род. в 1799 г.).

1814

Март 11. Смерть отца, Владимира Петровича.
Приглашение наставника Дорера. На даче в Кускове и Сокольниках.

1815

Наставник грек Байло. Знакомство с греческой литературой. Гувернер К. И. Герке.

1818

Переводы Эсхила — «Прометей».

1819

Переводы Горация и Виргилия. Начало литературной деятельности. «Знамена перед смертью цезаря».

1821

«К друзьям». Перевод из Грессе «Веточка».

1822

Первое посещение театра (опера Россини). Поступление вольнослушателем в Московский университет. Знакомство с кн. В. Ф. Одоевским. Лекции А. Ф. Мерзлякова, М. Г. Павлова, И. И. Давыдова, С. Е. Раича. «Два отрывка из незаконченной поэмы». Перевод из Макферсона. Беседы с М. Г. Павловым. Занятия философией. «Освобождение скальда» (скандинавская повесть).

1823

«К друзьям на новый год». Педагогические беседы А. Ф. Мерзлякова. Разбор Веневитиновым рассуждения Мерзлякова «О начале и духе древней трагедии».

Основание «общества любомудрия» с целью исключительного занятия философией, преимущественно немецкой (Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес). Председатель — кн. В. Ф. Одоевский. Секретарь — Д. Веневитинов. Собрания любомудров у Одоевского, в Газетном переулке. К кружку примыкают: С. П. Шевырев, Н. А. Мельгунов, В. П. Титов, М. П. Погодин, В. К. Кюхельбекер, Максимович. Члены общества: Н. М. Рожалин, И. В. Киреевский и А. И. Кошелев.

Некоторое время в доме Веневитиновых живет А. С. Хомяков.

1824

Сдача выпускных экзаменов. Зачисление в архив коллегии иностранных дел. Знакомство по архиву с С. А. Соболевским, И. С. Мальцовым, кн. П. А. Мещерским («архивный князь») и А. А. Мещерским. Беседы «архивных юношей». Коллективные сказки. «Вторники» у Веневитинова. Чтение им своих произведений «Скульптура, живопись и музыка», «Анаксагор» и др. Послание к Рожалину.

Август—сентябрь. Жизнь в имении (с. Животинное, Воронежского уезда).

В начале года выход в свет первой песни «Евгения Онегина» Пушкина. Статья Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» о «Евгении Онегине». Разбор этой статьи Веневитиновым. Ответ Полевого. Ответ Веневитинова Полевому. Изучение Шекспира (по переводам Авг. Шлегеля).

Февраль — март. Вечер у М. М. Нарышкина. Чтение Рылеевым «Дум». Веневитинов, Кошелев, Рожалин и Киреевский — о политике и необходимости переменить в России образ правления. Салон кн. З. А. Волконской. Знакомство с Адамом Мидкевичем, Чаадаевым. Увлечение кн. Зинаидой Волконской. Письма к кн. А. И. Трубецкой о философии. «К Скарятину». «Сонеты». Болезнь Веневитинова (корь).

Июнь 25. Письмо А. И. Кошелеву. Участие в альманахе Погодина «Уrania».

Осень. Перевод из «Теософии» Окена. Письма Кошелеву.

Декабрь. Присяга в архиве Константину и Николаю Павловичам. Восстание декабристов в Петербурге. Волнение среди членов Веневитиновского кружка. Закрытие «общества Любомудрия». Сожжение устава. Лихорадочное ожидание движения южной армии на Москву. Занятия фехтованием и верховой ездой с целью принятия непосредственного участия в действиях Южного общества декабристов. Напечатана в «Сыне отечества» статья Веневитинова «Рассуждение Мерзлякова о духе древней трагедии».

Июль. Казнь декабристов и отражение ее на Веневитинове. Увлечение А. И. Трубецкой. Второе послание к Рожалину.

Сентябрь 8. Возвращение Пушкина из ссылки в Москву. Подготовка к издавию альманаха «Гермес».

Сентябрь 11. Чтение Пушкиным «Бориса Годунова» в доме Веневитинова. Отзыв Пушкина о статье Веневитинова «Разбор Онегина». Предложение Пушкина издавать журнал вместо альманахов.

Сентябрь 21. Посвящение Погодиным Веневитинову своего перевода трагедии Гёте «Гец фон Берлихинген».

Октябрь 12. Второе чтение Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитинова.

Октябрь 13. Пушкин на вечере у Веневитиновых. Чтение «Ермака» Хомяковым.

Сближение Пушкина с кружком Веневитинова (Погодин, Шевырев, Рожалин, Титов, Соболевский, Мельгунов, Киреевский и др.). «К Пушкину».

Октябрь 24. Общий обед редакции новоосновываемого журнала «Московский вестник».

Веневитинов излагает свою программу журнала в статье «Несколько мыслей в план журнала». «Кинжал». Карикатура Пушкина на Веневитинова. Зачисление Веневитинова в коллегию иностранных дел в Петербурге, по рекомендации кн. Волконской, кн. Трубецкой и гр. Лаваль.

К о н е ц о к т я б р я. Подарок перстня Веневитинову кн. Волконской. Веневитинов у Полевого накануне отъезда Переезд с Ф. Хомяковым и библиотекарем гр. Лаваль, Воше, в Петербург. «Новгород». «Родина». Арест Веневитинова в Петербурге в связи с декабрьскими событиями. Заключение в Петропавловскую крепость.

Н о я б р ь. Допрос у ген. Потапова. Ответ Веневитинова. Освобождение. Впечатления Петербурга. Письма в Москву. Занятия в азиатском департаменте. Перевод отрывка «О Загроастре и его вероучении».

Н о я б р ь 17. Переезд на новую квартиру, на Мойку, № 82, в дом В. С. Ланского (надворный флигель, 2-й этаж). Письмо Погодину.

Д е к а б р ь. Тоска по Москве. Болезнь. Кровопускание. Знакомство с бар. А. А. Дельвигом, П. И. Козловым. Вечера у Дельвига и гр. Лаваль. Расцвет поэтического творчества. «Поэт». «Молитва». «К моей богине». «Три розы». Переезд Одоевского в Петербург (Мошков пер., дом Ланского). Вечера у Одоевского.

Письмо Соболевскому. Мечты о поездке в Персию. Встреча с А. П. Керн. Встреча нового года у В. Ф. Одоевского.

1827

«На новый 1827 год». Веневитинов в маскарade при дворе.

Я н в а р ь. Письма в Москву. Посещения Таврического дворца. Ожидание выхода журнала «Московский вестник». Выход книги Кузена. «Эпиграмма на И. И. Дмитриева». «Три удачи». «Жертвоприношение». «Жизнь». Посещение Петропавловской крепости.

Ф е в р а л ь. Работа над романом.

К о н е ц ф е в р а л я. Письмо Пушкина Веневитинову. Мечты о поездке в Финляндию. Бал у Кутузова. «К моему перстню». «Утешение». Напечатан «Монолог Фауста» в «Московском вестнике».

М а р т 7—8. Мрачное письмо Погодину. Бал у Ланских. Простуда. Болезнь. Лечение доктора Рауха. Участие гр. В. Н. Панина, Муханова и др. «Завещание».

Желание написать матери. Бред письмом Пушкина.

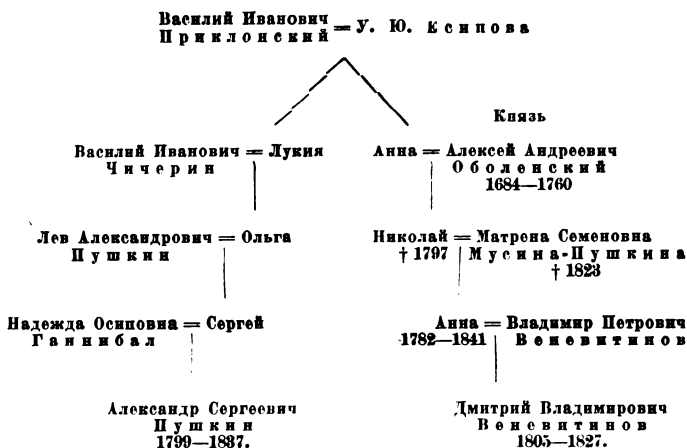
М а р т 15 (27 н. с.). Ф. Хомяков надевает перстень Волконской на руку Веневитинова. В 5 часов утра — смерть.



Кн. Матрена Семеновна Оболенская,
бабушка Д. В. Веневитинова

Рисунок карандашом Лаперш

ГЕНЕАЛОГИЯ Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА



Гр. Л. Г. Комаровская. Заметка о родстве Пушкина и Веневитинова. Пушкин и его современники. Выпуск XI, стр. 120.

СВОД БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЧАСТЬ 1. В МОСКВЕ

Фамилии Веневитиновых многие Российскому престолу служили дворянские службы в разных чинах и жалованы были от государей в 1730/1622 и других годах поместьями.

Все сие доказывается справкою Разрядного архива и грамотою Воронежского дворянского собрания, в которой показано, что род Веневитиновых внесен в дворянскую родословную книгу, в 6-ю ее часть, древнего дворянства.

Гербовник Всероссийской империи, IV, 87.

Род Веневитиновых, как то указывает их фамилия, происходит из Венева, откуда переселился в Воронежский уезд. Родоначальник их, Терентий (Терех) Веневитинов, атаман

Воронежских детей боярских, в 1622 г. пожалован землями в городских Воронежских дачах.

Владимир Петрович Веневитинов, гвардии прапорщик, род. 10 июля 1777 г. в селе Гвоздевке (Благовещенское тож), Землянского уезда, умер в Москве 11 марта 1814 г.; погребен в Донском монастыре (отец Д. В. Веневитинова).

Жена (с 18 апреля 1798 г. в Москве), княжна Анна Николаевна Оболенская, род. 14 января 1782 г., умерла 24 сентября 1841 г. (мать Д. В. Веневитинова).

В. В. Руммель и В. В. Голубцов, Родословный сборник рус. двор. фамилий, СПб. Изд. А. С. Суворина, 1886, т. I, стр. 172—175.

15 апреля 1798 г. Анна Николаевна Оболенская вышла замуж за гвардии прапорщика Владимира Петровича Веневитинова.

Б. Л. Модзалевский. Из бумаг С. А. Пушкина. Пушкин и его современники, 1908, вып. VIII, стр. 58.

Веневитиновы жили тогда на Мясницкой, почти против церкви Евпла, в угловом доме.

Л. Майков, Пушкин. Биографические материалы, 1899, стр. 329.

Если идти по Мясницкой улице от почтамта к центру, то не доходя Лубянской площади по левой стороне будет Кривоколенный переулок. В самом изломе этого переулка, лицом к Мясницкой, виден небольшой дом, постройку которого, судя по архитектуре, можно отнести к Александровской эпохе. С наружного лицевого вида дом трехэтажный, на самом же деле это одноэтажный особняк с полуподвальным этажом и антресолями. Дом этот благодаря тому, что он построен в центре города, имеет своеобразный вид особняка: в нем нет тишиности тех барских особняков, разбросанных по отдаленным от центра частям Москвы с отдельными флигелями, службами, садами. В этом особняке в Кривоколенном переулке службы заменены полуподвальным этажом, а у флигеля — антресолями. Средний же этаж составлял центральное жилое помещение владельца дома генерал-майора Лагунского, который построил этот дом для себя в 1802 г.,

но жил в нем недолго и отдал его внаймы прапорщику гвардии Веневитинову; в этом доме у Веневитинова в 1805 г. родился сын — будущий поэт.

Ив. Белоусов, Писательские гнезда, Моск. т-во писателей, М. 1930, стр. 22, 27.

Дмитрий Владимирович Веневитинов родился в Москве 14 сентября 1805 г.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова, 1862, стр. 1.

Дом его матери был одним из самых известных и почетных домов в Москве и составлял даже нечто вроде салона артистов. Сюда охотно заглядывали все местные и проезжие художники, певцы, музыканты — и под их-то благодатным влиянием раскрывались, мало-помалу, поэтические инстинкты ребенка.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова, 1862, стр. 12.

До восьмилетнего возраста его учила сама мать. Но затем он уже стал заниматься под надзором лучших, редких для того времени, наставников. Среди них особенно сильное влияние имел на юного поэта пленный капитан наполеоновской армии, француз-элизасец Дорер.¹ Это был замечательно развитой и очень симпатичный человек, прекрасно знакомый как с французскою, так и древне-римскою литературой.

С—т, Юноша-поэт, «Моск. вед.» 1905, № 252.

Петр Владимирович Веневитинов, родившийся на 1½ месяца ранее Пушкина тоже в Москве, 6 апреля 1799 г., умер в с. Животинном, Воронежского уезда, 25 декабря 1812 г. («Пишинька»).

Б. Л. Модзалевский, Из бумаг С. Л. Пушкина. Пушкин и его современники, 1908, вып. VIII, стр. 58.

Когда ребенку минуло восемь лет, то мать, уже теряя возможность вести его вперед одними собственными стара-

¹ D'Horger — муж Софьи Обер, гувернантки С. В. Веневитиновой.

ниями, сумела найти человека, который бы с такой же любовью и внимательностью направлял его дальнейшее образование. Это был Дорер, отставной капитан Французской службы, человек умный и образованный, который мог как нельзя лучше действовать на впечатлительного мальчика. Дорер явился к своему питомцу первым представителем науки и мысли — и нельзя не заметить, что многое в жизни поэта зависело от характера этой первой встречи.

Веневитинов искренно полюбил своего наставника, с которым и начал свои учебные занятия. Летние поездки на дачу в Кусково или Сокольники приятно разнообразили учебную жизнь мальчика — и там, на воле и просторе, резвился он со всей неутомимостью своего возраста. Всевозможные игры бывали им перепробованы; там же, вероятно, одушевила его впервые та любовь к природе, которую он постоянно сохранял в себе. Часто доброму гувернеру приходилось отыскивать в саду своего питомца — и звонкий голосок, а потом и книга, слетавшая с какого-нибудь высокого дерева, давали знать о прихотливо выбранном месте. Книгой этой обыкновенно была латинская грамматика: с нее начал Дорер, знаток римской литературы, классическое образование мальчика.

В параллель с изучением древней литературы, Дорер как француз ставил, конечно, изучение своей родной, французской, но... у Веневитинова не лежало сердце к французским поэтам.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 23. Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова, 1862. стр. 2—3.

Следует также указать и на грека Байло,¹ известного издателя многих древних классиков, который был приглашен к Д. В. Веневитинову специально для обучения греческому языку.

С—т, Юноша-поэт, «Моск. вед.» 1905, № 252.

Для греческого языка был найден, по совету Дорера, особый преподаватель — грек Байло. Замечательные способности дитяти, его, почти недетская, вдумчивость и внимательность много помогали его успехам.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 3. Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова, 1862.

¹ Очень образованный человек, грек Байло издал в Париже Плутарха и др. Был учителем в доме Киреевских, обучал греческому языку А. И. Кошелева.



Дом Веневитиновых в Москве. Вид со двора
С фотографии М. А. Веневитинова



Дом Веневитиновых в Москве, в Кривоколенном переулке
С фототипии М. А. Веневитинова

Благодаря таким преподавателям, поэт уже четырнадцать лет прочел в подлиннике Софокла и Эсхила и не расставался с Горацием, которому заметно подражал в своих первых стихотворных опытах. Это раннее знакомство Д. В. Веневитинова с древне-классическим миром несомненно содействовало скорому развитию его эстетического вкуса.

С—т, Юноша-поэт. «Моск. вед.» 1905, № 252.

Он обучался дома. Рано обнаружили в нем необыкновенные способности к живописи и музыке; но занятия важнейшие не позволили ему предаться им совершенно. Прилежно изучив многие древние и новейшие языки, он с жадностью перечитывал творения классиков, и в часы свободные переводил в стихах отрывки, особенно его поражавшие. Жаль, что он не сохранил сих первых опытов своей юности, в которых уже видно было дарование.

Предисловие к Собр. соч. Веневитинова (1827), М. 1829, стр. III.

Между греческими классиками у него скоро оказались свои любимцы — Софокл и Эсхил — и, укрепившись в познании языка, он пробовал даже перевести несколько отрывков из «Прометея». Картина тяжелых мучений этого мифического героя, прикованного к скале за соперничество с богами в тайне создания, сильно затронула его восприимчивую душу. Вероятно, с этого же времени он полюбил и Платона, в котором находил «столько же поэзии, сколько глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли».

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 3.

По другим предметам, нужным для элементарного образования, мать Веневитинова своевременно приглашала к себе на дом наставников — и таким образом мальчик совершенно ускользнул от школьного воспитания.

Из новых учителей никто не имел заметного влияния на мальчика, не исключая и учителя русской словесности.

Русская литература, еще только расцветавшая тогда, не могла иметь много даровитых ценителей, и Веневитинов сам должен был заботиться об этой части своего образования.

Из русских писателей он познакомился прежде всего с Карамзиным, и «История государства российского» была с жадностью прочтена им.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 4.

Хомяковы были очень дружны с детства с Веневитиновыми.

П. А. Муханов, Воспом. об А. С. Хомякове, «Рус. архив» 1887, кн. II, стр. 243.

Подобно всякому юноше с нежной и пылкой душою, он рано искал дружеской приязни, и первые лица, разделявшие ее, были: Скарятин и Ф. Хомяков.

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, стр. 5.

В Москве Алексей и Федор Хомяковы учились под руководством доктора философии А. Г. Глаголева, жившего в доме Хомяковых, причем оба пользовались уроками профессоров Московского университета. Математику им преподавал П. С. Щепки (друг С. Т. Аксакова), а словесность — Мерзляков. В Москве Хомяковы брали уроки и учились вместе с братьями Веневитиновыми (Дмитрием и Алексеем), что и послужило основанием к их взаимной дружбе.

П. Матвеев, А. С. Хомяков. Биогр. очерк, «Рус. стар.» 1904, V, стр. 459.

С 14 лет авторские наклонности мальчика выразились еще полнее: Гораций не сходил с его рабочего стола, и плодом такой умственной дружбы были немногие переводы в стихах из римского корифея.

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, стр. 5.

...И мне ли петь, друзья, с душою угнетенной.
Но ты, с младенчества от Феба вдохновенный,
Ты, верный жрец его, весны певец молодой,
Стремись к бессмертию; пой, юный Томсон, пой!
Пой, Дмитрий! Твой венец — зеленый лавр с оливой;
Любимец сельских муз и друг мечты игривой,
С душой безоблачной, беспечен как дитя,
Дни юности златой проходишь ты шутя.
Воспой же времена, круговращения года.
Тебя зовет Парнас, тебя внушит природа!
Но друга твоего оставил прежий жар,
Исчез, как легкий сон, высоких песней дар.
И ах! Навек унес могучий грусти гений
И чашу радостей, и чашу вдохновенный.

А. Хомяков, 1821. Из «Послания к Веневитиновым», «Моск. вестник» 1830, ч. V, № 21, 24, стр. 28, 32.

Об руку с литературными занятиями Веневитинова шли другие, столь же освежающие и увлекательные — занятия живописью и музыкой. Его разнообразные таланты и здесь выказали себя в полном блеске. Позже он так успел в музыке, что мог свободно писать довольно трудные композиции, и постоянно слыл в кругу своих знакомых за талантливого музыканта. Заключительные стихи «К любителю музыки» пока являют весьма ясно: какой глубокий, вдохновенный смысл имела для него поэзия звуков. Несколько стихотворений было в ранней молодости переложено им на ноты; до нас не дошли эти переложения, но сохранились некоторые другие музыкальные пьески. Одну такую пьеску видели мы у А. В. Веневитинова. Кн. В. Ф. Одоевский, сам любитель и знаток музыки, говорил нам, что Веневитинов был отличный музыкант и читал все теоретические сочинения о музыке, что тогда, а особенно в Москве, было совершенною редкостью.

Мы видели также одну его художественную работу — эскиз головы Медузы и не могли не признать в ней смелости и выразительности, весьма значительных при том малом упреждении, которым он пользовался. Особенно поразили нас живо схваченные глаза Медузы.

А. П. Пятковский, Кн. Одоевский и Веневитинов, СПб. 1901, стр. 109.

16 лет Веневитинов был уже достаточно развит, чтобы написать гладким и звучным стихом маленькое оригинальное послание: «К друзьям». Здесь, под именем друзей, нужно разуметь действительных друзей юности поэта.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 5.

Мать Веневитинова имела свой особенный взгляд на театр, в силу которого она не хотела знакомить сына со сценою раньше достижения им семнадцатилетнего возраста. Вероятно, она делала это в тех видах, чтобы доставить ему самому несравненно большее наслаждение видеть и понимать игру артистов, чем, видя, оставаться к ней вполне равнодушным или, что всего хуже, передразнивать немало не прожитые чувства и положения. Таким образом, только 17 лет Веневитинов переступил порог театра. В день его первого знакомства со сценою была дана какая-то опера Россини.

Пьеса необыкновенно действовала на поэта, и долго потом он твердил наизусть целые тирады и применял к себе различные положения действующих лиц.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 6.

Семнадцать лет Д. В. Веневитинов записался в число вольнослушателей Московского университета и стал ревностно посещать особенно интересовавшие его лекции профессоров А. Ф. Мерзлякова, М. Г. Павлова и И. И. Давыдова.

С—т, Юноша-поэт, «Моск. вед.» 1905, № 252.

Университетские занятия Веневитинова шли в уровень с его умственным развитием.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 11.

Около этого времени мы познакомились с даровитым, весьма умным и развитым Д. В. Веневитиновым.

Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь, и они оказывались для нас много плодотворнее уроков, которые мы брали у профессоров. Наш кружок все более разрастался и сдвинулся. Главными, самыми деятельными участниками в нем были: Ив. В. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, князь В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я. Этим беседам мы обязаны весьма многим как в научном, так и в нравственном отношении.

А. И. Кошелев, Записки, Берлин 1884.

Чтение критических книг было также с ранних лет одним из любимых его занятий. Почувствовав со временем всю беспечность суждений, основанных на одних частных наблюдениях, он ревностно стал изучать критиков немецких и с жаром принялся за ту науку, которой цель есть познание нас самих и которая, стремясь все привести к единству, имеет ныне видимое влияние на все отрасли знаний. С тех пор предметом его размышлений было его собственное чувство. Поверять, распознавать его было главным занятием его рас-судка. Оттого, несмотря на веселость, даже на самозабвение, с которым он часто предавался минутному расположению духа, характер его был совершенно меланхолический, оттого и в произведениях его господствует более чувство, нежели фантазия. Но чувство сие было глубокое; все мгновенные порывы души старался он удержать навеки в самом себе, в себе единственно искал ответа на все загадки жизни.

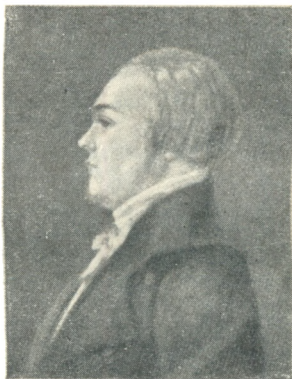
Предисловие к собр. соч. Веневитинова [1827], М. 1829, стр. IV, V.



Анна Николаевна Веневитинова, мать поэта

[С акварели П. Ф. Соколова

Владимир Петрович Веневитинов
отец поэта
*Миниатюра неизвестного
художника*



В. П. Веневитинов
В МОЛОДОСТИ
Публикуется впервые

Беседы с Павловым и слушание его лекций, по всей вероятности, впервые навели Веневитинова на занятия философией, плодом которых были известные письма к кн. А. И. Трубецкой — о философии.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 8 — 9.

Посещая университет, Веневитинов не записывался, впрочем, в студенты и не обязывал себя к постоянному, регулярному слушанию лекций одного факультета. Но педагогические беседы, устроенные для всех желающих профессором Мерзляковым, охотно посещались юношей и скоро развернули в нем те качества хорошего прозаика, которым суждено было проявиться только в весьма немногих статьях. Очевидцы говорили нам, что на этих беседах Веневитинов обращал на себя внимание как своим ясным и глубоким умом, так и замечательной диалектикой своих доводов. Здесь же, возражая профессору, Веневитинов показал впервые ту самостоятельность взглядов, которую полнее обнаружил впоследствии в разборе рассуждения Мерзлякова «О начале и духе древней трагедии».

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 9.

Через два года после первой прослушанной им лекции он, без труда, выдержал экзамен, требовавшийся тогда по указу 1809 г. для приобретения некоторых преимуществ по гражданской службе.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 11.

В 1824 г. Д. В. Веневитинов и А. И. Кошелев выдержали в университете выпускные экзамены и поступили на службу, оба в Московский архив иностранных дел.

Книголюб Д. В. Веневитинов, «СПб. вед.» 1905, № 221.

Недостаток реальных познаний поэт наш восполнил несколько позже изучением физиологии, под руководством известного Лодера.

В анатомическом театре ему, вероятно, пришла впервые мысль того романа, где анатомические занятия играют весьма важную роль.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 11.

В Архив почти одновременно поступили, кроме Ив. Киреевского, Дм. и Ал. Веневитиновы, Титов, Шевырев, Мель-

гунов, С. Мальцов, Соболевский, двое кн. Мещерских, кн. Трубецкой, Озеров и другие хорошо образованные московские юноши.

А. И. Кошелев, Записки, Берлин 1884.

Служба в Архиве заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы.

А. И. Кошелев, Записки.

Сперва беседы стояли у нас на первом плане, но затем мы вздумали писать сказки так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили каждому писать не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни — по понедельникам и четвергам.

Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным.

А. И. Кошелев, Записки.

В обществе Раича, если не блестящее, то привычное и полезное место занимал друг его и, как мы видели, на короткое время учитель А. И. Кошелева, В. И. Оболенский. С 1821 г. он был учителем и надзирателем в университетском пансионе. В том же 1821 г. поступил преподавателем в университетский пансион М. И. Погодин. Толки об устройстве общества между этими тремя сослуживцами по пансиону начались с 1822 г., а в следующем — общество действительно осуществилось. В нем соединились элементы весьма разнородные, но по преимуществу молодые; сюда примкнули бывшие воспитанники университетского пансиона: Шевырев, Титов, кн. Одоевский, Ознобишин, А. И. Писарев, П. И. Колошин, Н. В. Путята, бывшие ученики Раича: А. И. Муравьев, Ф. И. Тютчев, проф. университета Вас. И. Андросов, товарищ Погодина по университету Ант. Фр. Томашевский, М. А. Максимович, начавший с 1826 г. преподавать естественную историю в благородном пансионе, приятель Погодина Кубарев и др. А. И. Кошелева ввел в общество Раича бывший учитель его Оболенский, а Кошелев в свою очередь указал на А. С. Норова. В это же общество по архивным связям вступили братья Веневитиновы. Кроме этих лиц, везде указанных в составе Раичевского общества, следует еще упомянуть

двух, которые там появлялись несомненно, хотя о них говорили мимоходом: то были Н. А. Полевой и В. К. Кюхельбекер.

Биография А. И. Кошелева, изд. О. Ф. Кошелевой, М. 1889, т. 1, кн. II, стр. 63—64.

Я познакомился с Веневитиновым в 1822 г., заехав к ним по дороге в Москву в Черемошки, где они проводили лето, с Геништою, дававшим уроки музыки их сестре (после графине Комаровской). Мы застали у них учителя, грека Байло, образованного человека, который принес много им пользы, как и другим своим ученикам, Кошелевым.

Первоначальным воспитателем Веневитинова был француз, эмигрант Дорер. Я вспомнил, что лет за десять видел его со своими воспитанниками, маленькими детьми, в Гостином дворе, где я покупал себе шляпу, еще из гимназии. Потом пропал он из воображения лет на 50, и теперь возобновился, когда услышал я от Кошелева его имя.

Кошелев с Д. Веневитиновым познакомился с Одоевским на вечере у старухи Грибоедовой, матери Александра Сергеевича. Дом ее был под Новинским, на углу переулка, плущего к церкви и Горбатуму мосту на Пресненских прудах. Кажется, я слышал, что здесь и родился Грибоедов. Дом сохраняет свою наружность с тех пор, как я помню его.

С Киреевским К. познакомился на уроках Мерзлякова, к которому они ездили для приготовления к экзамену на чин коллежского ассессора.

Первые сборища эти были на квартире князя Черкасского, Петра Дмитриевича, который впоследствии был губернатором в Симбирске и умер. Человек очень образованный, любознательный и живой, он жил вместе с Александром Сергеевичем Норовым (братом бывшего министра), переводчиком Тартюфа, в доме на углу Гнездииковского и Леонтьевского переулков. Там беседы и споры о философии длились всю ночь, вплоть до утра. За отъездом Черкасского общество собиралось у Одоевского — он, Дмитрий Веневитинов, Киреевский, Рожалин, Кошелев, всего семь человек.

Занятие было преимущественно философское. Все свои бумаги, записки, протоколы они сожгли в 1826 г. в январе, при слухе о петербургских происшествиях и о разных арестах в Москве. Литературное по преимуществу общество в то же время было у Ранча, переводчика Георгик и Тасса, сперва в доме, где жил Муравьев, потом на квартире Рахманова, в нынешнем доме Игнатова, где коммерческий суд, и наконец в доме нынешнем Варвада, посредине переулка, соединяющего Никитскую с Воздвиженкой, в который упирается...

В этом обществе из философов принимал участие только Одоевский.

М. П. Погодин, Воспоминания о Веневитинове. Неопубликов. рукопись. Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина. Шифр 3508.

Раичевский кружок, в котором выступал Веневитинов, стоял в стороне от большой дороги «корифеев», управлявших в 20-х годах «ходом словесности».

В. Гофман, Рылеев — поэт Русская поэзия XIX века, «Academia», Л. 1929, стр. 20.

Отделившееся от Раичевского общества меньшинство составило другое общество, более интимное и солидарное, где сошлись главным образом «архивные юноши»: братья Киреевские, Веневитиновы, князь Одоевский, Кошелев, Шевырев, Соболевский, Мельгунов; сюда же Веневитиновы ввели Рожалина и Максимовича. Погодин посещал это общество, но он всегда холодно относился к чисто философским занятиям. Центром этого кружка был Д. Веневитинов, а собирались его члены обыкновенно в квартире кн. Одоевского. Здесь господствовали Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Члены читали свои философские сочинения, но чаще и по большей части вели беседы о прочтенных сочинениях немецких философов. Веневитинов прочел прозаические отрывки: («культура, живопись и музыка», «Утро, полдень, вечер и ночь» и «Анаксагор» — единственное, что осталось напечатанным из чтений на этих беседах.

Биография А. И. Кошелева, изд. О. Ф. Кошелевой, М. 1889, т. I, кн. II, стр. 73.

Другое общество было особенно замечательно: оно собиралось тайно, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: кн. В. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут говорила немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще, и по большей части, беседовали о прочтенных нами творениях немецкихлюбомудров.

Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы



Дмитрий, Алексей и София Веневитиновы за клавесинами

Рисунок карандашом Лаврентьев

особенно высоко ценили Спинозу и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 12 — 18.

Каждый вторник вся названная молодежь, состоявшая большею частью из питомцев Московского университетского пансиона, собиралась на дом к Веневитинову.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 13.

Мы собирались у кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова) в Газетном переулке.

Он председательствовал, а Дм. Веневитинов всего более говорил, и своими речами часто приводил нас в восторг.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 12 — 18.

Вы не можете себе представить, какое действие произвела в свое время Шеллингова философия, какой толчок дала она людям, заснувшим под монотонный напев Локковых рапсодий. В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV; он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, — его душу. Как Христофор Колумб, он нашел не то, чего искал, — он возбуждал надежды неисполнимые — но как Колумб дал новое направление деятельности человека. Все бросились в эту чудную, роскошную страну: кто ради науки, кто из любопытства, кто для наживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обезьян да попугаев; но многие и потонули.

В. Ф. Одоевский, Русские ночи, СПб. 1844, стр. 15.

Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это или худо, я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал политику на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически.

Впрочем, какое о том дело, особливо тебе? Твори прекрасное и пусть другие ломают над ним голову.

Е. Б о р а т ы н с к и й —
А. П у ш к и н у, Соч. Боратынского, Казань 1884, стр. 504.

Скажи мне, началась ли у тебя переписка с Веневитиновым? Как люблю я вспоминать наши зимние вечера по субботам! Скажу чистосердечно, этими беседами я много приобрел, — более, нежели книгами или собственным размышлением. Всего интереснее для меня были твои жаркие диссертации с Веневитиновым. Физиономии одушевлены были энтузиазмом. Ты спорил чистосердечно, с жаром делал возражения, но с радостью и соглашался.

А. С. Норов — А. И. Кошелеву, 14/VI 1825 г. Н. П. Колюпанов, Биография Кошелева, М. 1889, т. I, кн. II, стр. 74.

Дмитрий Веневитинов был любимцем, сокровищем всего нашего кружка. Все мы любили его горячо, один другого больше.

М. П. Погодин, «Рус. архив» 1882, № 5.

Мы любили его всюю душой. Это был юноша дивный.

М. П. Погодин, Воспоминания о С. П. Шевыреве, СПб. 1869.

Открытая душа Веневитинова была вполне ценима его друзьями. Его блестящее остроумие, не везде одинаково настроенное, но всегда удачно разыгрывавшееся в близком приятельском кружке, много оживляло систематические заседания молодых людей. Замечательная физическая красота, выразительные карие глаза и звучный голос довершали очаровательность Веневитинова во всяком обществе.

А. П. Пятковский, Материалы для биографии Веневитинова. Сборник, издаваемый студентами Петерб. универс., СПб. 1860, вып. II, стр. 225.

Его познания были столь же основательны, сколько и разносторонни. Из небольших отрывков, написанных им прозою, уже можно видеть, как зрело судил он о предметах, требующих тонкости суждения и глубокомыслия.

Счастливые успехи его во многих языках, древних и новых, давали ему большие средства к литературным исследованиям, обширным и новым. Природа сама, кажется,

с удовольствием приготовила это существо, которому судьба столько благоприятствовала.

П. Плетнев, Д. В. Веневитинов, Энциклопедич. лексикон. СПб. 1837, т. IX, стр. 367—368.

Москва, любезный друг, из всех иностранных причуд и обычаев умела соткать для своего покроя свою собственную оригинальную ткань, в которой чужеземцы узнают только нитки своей фабрики, а покрой одежды и узоры принадлежат нашей родимой Москве. Лучшее московское общество составляют... чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки, то есть: задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепой фортуной. Из этих счастливцев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в почет русских антиквариетов. Их называют «архивным юношеством». Это наши петиметры, фашонебли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произнести: oui и поп.¹ Они-то дают тон московской молодежи на гульбищах, в театре и гостиных. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно через край, кроме здравого смысла; писателей рифм и отчаянных судей словесности и наук.

Ф. Булгарин, Иван Выжигин. Нравственно-сатирический роман, СПб. 1829, ч. II, стр. 118—121.

В возрасте 19 или 20 лет (т. е. в 1824 или 1825 г.) Д. В. Веневитинов перенес корь, болезнь детскую, но запоздавшую для него.

Выздоровление его не сопровождалось достаточными предосторожностями. Три недели после уничтожения сыпных признаков он совершил большую прогулку в очень легкой одежде.

Вероятно, это была одна из тех прогулок, которые А. И. Кошелев относит к весне 1826 г., когда «архивные юноши», бездействуя в ожидании предстоящей коронации, пользовались своими служебными досугами для знакомства с ближайшими окрестностями Москвы. Но при таком весьма возможном предположении Д. В. Веневитинов был болен корью в 1826 г., а не ранее. А может быть и то, что в данном случае А. И. Кошелев слишком положился на свою память. Как бы то ни было, но дело в том, что, едва выйдя из карантина по случаю

¹ Да и нет.

кори, Д. В. Веневитинов опять заболел простудю. С упомянутой прогулки он вернулся домой с кашлем, который не покидал его до самой смерти и причинял ему частые и сильные боли в груди. Хотя доктора заставили его постоянно носить грудной пластырь, но здоровье его уже расстроилось.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, т. I, стр. 122—123.

Веневитинов был человек, какие встречаются редко. Он соединял в себе способности поэта-художника с умом философа. Необыкновенная натура его развилась рано при благоприятных обстоятельствах. Счастливый выбор наставников, избранное общество, довольство в жизни,— все способствовало тому, что в двадцать лет он был уже более нежели образованным человеком — он был художник и мыслитель.

К. А. Полевой, Записки, «Ист. вестник» 1887, т. XXVIII, стр. 28.

Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатного моего брата Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 г. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пушкин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости — *d'en finir avec ce gouvernement*.¹ Этот вечер произвел на меня сильное впечатление.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 13.

Я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата.

Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления.

Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констан, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 13.

Первым печатным опытом его была статья против «Московского телеграфа», напечатанная в «Сыне отечества». Дело

¹ Покончить с этим правительством.



Семья Веневитиновых

Рисунок Лаперу

шло о явившейся в то время первой главе Онегина. Николай Алексеевич [Полевой], увлеченный прелестью и новостью этого явления, расхвалил его почти безусловно, в легкой журнальной статье. Веневитинов насмешливо отозвался об этом юношеском увлечении и указал на некоторые противоречия статьи «М. Т.». Отвечая своим противникам в «Особенном прибавлении», Н. А. резко опровергал мнения и замечания Веневитинова, который в свою очередь еще резче отвечал ему. И вот два журнальных врага!

Но, встречаясь потом в знакомых домах, Веневитинов и Н. А. вскоре познакомились и посещали друг друга.

В немного месяцев, которые Веневитинов оставался после этого в Москве, знакомство их не успело возрасти до дружбы; но Веневитинов был не такой человек, чтобы он стал поддерживать знакомство и проявлять уважение человеку, неприятному ему.

К. А. Полевой, Записки,
«Ист. вестник» 1887, т. XXVIII,
стр. 28.

В 1825 г., возбужденный примером «Полярной звезды» произведшей общее движение в литературе, я решился издать альманах «Урагию». Все московские литераторы, начиная с Мерзлякова, обещали мне свое содействие и надавали статей— Дмитрий Веневитинов, Тютчев, Дмитриев (М. А.), Строев, Снегирев, Раич, Ознобищин, Титов; Муханов (Павел Александрович) подарил драгоценное письмо Ломоносова; князь Вяземский достал даже от Пушкина несколько мелких стихотворений.

М. П. Погодин, Воспоминания о С. П. Шевыреве, СПб. 1869, стр. 7.

Н о я б р ь 12. Веневитинов привез хорошую пьесу. Были у меня целое утро он, Титов и Шев[ырев].

Рукопись «Дневник Погодина»
за 1822—1827 гг. Рукоп. отд.
Публ. библ. СССР им. Ленина.

В первых числах декабря по указу сената присягнули в Москве императору Константину Павловичу, и целые десять дней все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени. Эта присяга принесена была совершенно просто — без всяких особенных обстоятельств. Не таковая была присяга императору Николаю Павловичу. Тут сочли нужным принять разные чрезвычайные меры. В соборе присягали одни сенаторы и высшие сановники; а прочие чиновники присягали особо по каждому ведомству. Ночью разосланы были повестки насчет этой присяги. Меня разбудили в 4-м часу; я не мог

более заснуть и до рассвета проходил по своей комнате. В 8 часов я поехал к Ив. Киреевскому и вместе с ним к Веневи-тиновым. Много мы толковали и были крайне взволнованы; но, несмотря на то, в 11 часов собрались в Архиве коллеги иностранных дел для принесения присяги. Нап добрый начальник, А. Ф. Малиновский, был в крайнем смущении и испуге. По распоряжению свыше, военный караул при Архиве был устроен и солдаты снабжены патронами. Командовал не унтер-офицер, даже не простой офицер, а целый майор. Воображали кажется, что «архивные юноши» произведут подражание петербургскому возмущению.

Но у нас все прошло самым спокойным образом, и только Соболевский в шутку, вполголоса, при попарном нашем шествии в церковь, пропел марсельезу.

А. И. Кошелев, Записки,
стр. 14—15.

Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 г., когда мы сочли необходимым их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа кн. Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав и протоколы нашего «общества любомудрия».

А. И. Кошелев, Записки,
стр. 12.

Ты уже верно знаешь происшествия 14-го числа. Ты знаешь, как батальон Московского полка отказался присягнуть новому государю, как, обманутый и увлеченный двумя или тремя офицерами, он, с оружием в руках, пронесся на Исакievскую площадь и как, простояв там четыре часа недвижим, он был окружен, два раза отбивал атаки кавалерии (между прочим, знаменитой конной гвардии) и, наконец, двумя или тремя выстрелами из пупек был обращен в бегство. Все солдаты, участвовавшие в мятеже, были взяты и, говорят, теперь уже прощены. В середине каре, которое мятежники составили на площади, стояла горсть начальников, людей давно известных на другом поприще — Рылеев, Бестужев с тремя братьями, Кюхельбекер, Сомов (литератор), Глебов, словом вся надежда петербургской словесности; с ними князь Оболенский... и наконец наш Одоевский; тут был также Пушкин, первый честный человек, который сидел когда-либо в русской Казенной палате. Герой Якубович, один из первых зачинщиков мятежа, потом оставил их, просил прощения у царя, послан был им, чтобы увещать бунтующих солдат и уговаривал их держаться долее; словом, покрыл себя срамом, всем изменил, как подлец. В тот

же вечер все были взяты, кроме Кюхельбекера, которого и теперь еще не находят...

Из письма Ф. С. Хомякова брату А. С. Хомякову в Париж от 24 декабря 1825 г. из Петербурга. «Рус. архив» 1884, кн. 5, стр. 222.

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые страшные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов, один находился под начальством графа Остен-Сакена, а другой — графа Витгенштейна) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и с своими войсками идет с Кавказа на Москву.

Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мишневых и Пожарских.

Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 15.

Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и отправлять в Петербург. Очень памятно мне арестование внучатного моего брата и коротко мне знакомого Вас. Серг. Норова... Вскоре также ночью увезли в Петербург Нарышкина, Фонвизина и многих других. Это навело всюду и на всех такой ужас, что почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург. Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как содержали и допрашивали арестованных и пр., еще более увеличивали всеобщую тревогу... Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 12 -- 18.

Генварь, 13 [1826]. К Веневит[инову]. *Гов[орили] о поездке в Петерб[ург] и пр.

М. П. Погодин, Дневник, стр. 128.

Успех «Урании»¹ ободрил нас. Мы составили с Дмитрием Веневитиновым план издания другого литературного сборника, посвященного переводам из классических писателей, древних и новых под заглавием: «Гермес». У меня цело оглавление, написанное Шевыревым, из каких авторов надо перевести отрывки для знакомства с ними русской публики. Рожалин должен был перевести Шиллерова «Мизантропа».² Д. Веневитинов брался за Гетева «Эгмонта»,³ я — за «Геда Фон Берлинхинген»,⁴ Шевырев — за «Валленштейнов лагерь».⁵ Программы сменялись программами.

М. П. Погодин, Из воспоминаний о Пушкине. «Рус. архив» 1865, стр. 95 — 96.

Вечером поехал к кн. Зинаиде, где были *touts les habitués*.⁶ Свечины, Дюмушель, Веневитиновы — двое, Мещерские, кн. Одоевский, кн. Вл. Голицын, Абрам (А. С. Норов) и я; пели беспрерывно Requiem Керубини; была тоска несносная.

Ал—др С. Норов — А. П. Кошелеву, Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. II, стр. 268.

Художница, музыкантша, писательница, одним словом, артистка в душе, княгиня Зинаида блистала в свете умом, образованием, талантами и богатством, и этими дарами, помимо красоты, завладевала вниманием высоко образованных и талантливых молодых людей, которых она соединяла у себя. У нее устраивались детские спектакли, на которых ее един-

¹ Литературный альманах на 1826 г.

* Напечатан в «Москвитянине».

² Переведено и напечатано I действие.

³ Перевод напечатан особой книгой в 1828 г. с посвящением (1826) Дм. Веневитинову.

⁴ Отрывки напечатаны в «Моск. вестнике».

⁵ Все завсегдатя.



Рисунок Д. В. Веневитинова
Тушь



Кн. Зинаида Волконская в роли Танкреда
Рисунок Д. В. Венеитинова

ственный сын¹ с моим отцом,² дядей³ и теткой⁴ и другими сверстниками разыгрывали Гофолию (Athalie) Расина.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, № 1, стр. 119.

Она вышла замуж по влечению сердца за князя Никиту Григорьевича Волконского перед самым 1812 годом и, долго не получая в военное время известий о нем, впала во временное умопомешательство и прокусила себе верхнюю губу, так что шрам остался у нее на всю жизнь.

Где бы ни жила княгиня, она возбуждала всеобщий восторг и удивление своими сведениями, литературным талантом в повестях на французском и русском языках, но более всего пением (контральтовым голосом) и игрою на своем домашнем театре; в последнем отношении она могла соперничать с первоклассными певицами. Она даже пускалась в композиторство и написала целую оперу «Жан д'Арку», которую поставила на свою сцену.

Записки гр. М. Д. Бутурлина, «Рус. архив» 1897, т. I, стр. 640—641.

Общение с даровитой, привлекательною женщиною отразилось на моем дяде, наравне с большинством его товарищей, весьма понятными последствиями: он влюбился в нее. Хотя она была на несколько лет старше его, но это очень часто бывает при первой юношеской любви.

М. А. Веневитинов, «Рус. архив» 1885, № 1, стр. 120.

Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусства, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской. Эта замечательная женщина, с остатками красоты и на склоне лет, хотела играть роль Коринны, и действительно была нашей русскою Коринною. Она писала и прозою, и стихами... Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники собирались к ней, как бы к некоему мекенату, и приятно встречали друг друга на ее

¹ Александр Никитич Волконский.

² Алексей Владимирович Веневитинов.

³ Дмитрий Владимирович Веневитинов.

⁴ Софья Владимировна Веневитинсва.

блистательных вечерах, которые умела воодушевить с особенным талантом. Страстная любительница музыки, она устраивала у себя не только концерты, но и итальянскую оперу, и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома, как бы римского палатцо, оперы, живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму (1826/27 г.), и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы.

Тут же, в этих салонах можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе, ибо все преклонялось пред гениальной женщиной. Пушкин и Вяземский, Боратынский и Дельвиг были постоянными ее посетителями. Кн. Одоевский, столько же преданный музыке, как и поэзии, который издавал в то время свою «Мнемозину», не пропускал ни одного ее вечера; бывал тут и приятный автор отечественных романов М. Н. Загоскин; степенные Раич, Шевырев и Погодин, хотя и не любители большого света, не чуждались, однако, ее блистательного круга: так умела она все собирать соединно.

Но был один юный даровитый поэт, в роде André Chénier, которого влекло к ней не одно блистательное общество; горящий чистою, но страстною любовью, ей посвящал он звучные меланхолические свои стихи.

А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, Киев 1871, стр. 11—13.

Волшебница! Как сладко пела ты...

Веневитинов, «Элегия», см. стр. 90.

Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрямь, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.
1826.

А. Пушкин, «Евгений Онегин», гл. IV, строфа XXXIV.

[Лето 1826 г.] Под давлeнием сильного впечатления, Погодин прочел сестре своей геронии, тоже в то время невесте, стихотворение Пушкина «Адели»:

Играй, Адель,
не знай печали.
Хариты, Лель
тебя венчали
и колыбель
твою качали.
Твоя весна
тиха, ясна:
для наслажденья
ты рождена.
Час упоенья
лови, лови.
Младые лета
отдай любви,
и в шуме света
люби, Адель,
мою свирель.

Когда Погодин прочел это стихотворение, то кн. Аграфена Ивановна [Трубецкая] сказала ему: «это наша Сашенька». Он принялся писать биографию княжны Александры [Трубецкой], сокрыв ее имя под именем Адели.

Повесть эта понравилась Веневитинову.

Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, стр. 27.

Повесть ваша мне очень нравится...

Письмо Веневитинова
М. П. Погодину, стр. 321.

Июль 4. Венев[итинов] прислал мне «Ермака» Хомякова.

Июль 19. К Венев[итинову], у которого хотелось взять тетрадку свою... Говорили долго о суде и судившихся, ¹ о судопроизводстве английском и проч. Он проводил меня.

Июль 23. Приехал Веневитинов. Говорили об осужденных. Все жены едут на каторгу. Это делает честь веку. Да иначе и быть не могло. У Веневитинова теперь такой план, который у меня был некогда. Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтоб, наконец выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий. Это план Сикста. Я кажется оставил его потому, что мои духовные и литературные занятия не оставляют мне времени служить.

¹ Декабристах.

Июль 24. К Венев[итинову]. Он читал мне «Эгмонта», я — «Гецца». Говорили о том, о сем.

Июль 27. Танцы. Веневитинов и Александра Ивановна [Трубецкая]. Ne voulez vous pas un tour de valse? ¹ Я был в дурном расположении духа. Отчего?

Июль 31. К Веневитинову. Смеялись. Дмитрий не почевал, говорил о его рассеянности с Алексеем.

Веневитинов и Александра Ивановна. Досадно, что ли мне, что он заслонил меня? Клянусь, что нет, я одинаково люблю и его и ее, но что-то неприятное на сердце. Это продержится недолго. В утешение себе вспоминал случаи, в которые я получал знаки ее благосклонности. Я занимаю у ней свое место. Смотрел на их танцы. Любовь развивает характер, сказал мне Веневитинов.

Август 20. К Венев[итинову]. Думал о нем и Ал. Ив. Я думаю с равнодушием личным, как бы желая женить их. Мой пароксизм, если он был, кончился. Они были бы счастливы.

Август 26. К Венев[итинову], за билетом в маскарад. Пужно домино.

Август 29. К Венев[итинову], от него к Озноб[ишину] и назад.

Август 31. Венев[итинов] достал мне билет в маскарад. ² Как мил он — спор с братом о пьесах. И Алексей — прекрасный молодой человек. Читал мне из Рихтера. Пошел от них, и сверкнула мысль издать отрывки переводные в другом альманахе.

Сентябрь 1. К Венев[итинову]. Сбирался к маскараду, нарядился и отправился с Соболевским. Прекрасная зала, освещение, публика и проч. Как обрадовались Трубецкие, которых насилу отыскал я. Прелестна Ал. Ив. Видел Завадовскую и Комарову. Устал без памяти. Ужинал и почевал у Венев[итинова] — до 3 часа говорил с Дмитрием, который рассказывал мне о княгине Волконской.

Сентябрь 3. Были у меня Вен[евитинов] и Шев[ырев]. Толковали об альманахах. Они пообедали у меня. Говорили о житье вместе, о Шиллере и Гёте, Шекспире, Байроне, романах.

Сентябрь 4. К Венев[итинову] за певчими. Об альманахах.

Сентябрь 5. Был у Венев[итинова].

Сентябрь 7. Обедали у меня Шевырев и Оболенский и отчасти Веневит[инов]. Говорили об альманашином. Потом об издании образцов исторического повествования. Разобрали по рукам писателей.

¹ Не хотите ли один тур вальса?

² Придворный маскарад по случаю коронации Николая I.



Кн. Трубецкой
Рисунок Д. В. Веневинова



Кн. Трубедкая
Рисунок Д. В. Веневитинова (масло)

Сентябрь 8. После обеда за Веневитиновым и ходил к Раичу.

М. П. Погодин, Дневник.

Еще живши в Тригорском, Пушкин узнал Веневитинова по разбору первой песни «Онегина», написанному им в виде протеста против критики «Телеграфа». По приезде в Москву, Пушкин с живостью, так ему свойственной, объявил С. А. Соболевскому, у которого на время остановился, свое желание познакомиться с автором.

«Это единственная статья, — говорил А. С., — которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное — или брань, или переслащенная дичь».

А. П. Пятковский со слов А. В. Веневитинова, Кн. Одолевский и Веневитинов, СПб. 1901, стр. 126.

Еще до прибытия в Москву Пушкин был предупрежден, что встретит там молодых людей, увлекающихся германской наукой и поэзией. Слова Боратынского относились именно к Веневитиновскому кружку, в котором преимущественно занимались изучением Шеллинга, а на Гёте смотрели, как на идеал поэта.

Л. Майков, Пушкин. Биогр. материалы, СПб. 1899, стр. 335.

9 сентября 1826. Пушкин приехал! Ехать к нему, убедил Веневитинова. Он поехал одеваться. Я оделся. Воротился и отговорил (что за поклонение, как примет и проч.). Говорили об Ал. Пв., о ее характере, уме и пр., о шалостях. Веневитинов рассказал мне содержание своего затейного романа, который мне очень понравился.

10 сентября 1826. Перечел Сокольниковский сад¹ и к Веневитиновым. Веневитинова через Соболевского зовет Пушкин слушать «Годунова» ввечеру. Веневитинов верно спрашивал у Соболевского нельзя ли какнибудь faire² пригласить меня и верно получил ответ отрицательный. Мне больно или завидно. Зачем же не хотел познакомиться со мною и проч. Слушал рассказы о нем. Веневитинов поехал к нему с визитом. Они³ обещались приехать ко мне. У них [Веневитиновых] читали еще песни Беранже с удовольствием. После думал о себе. Веневитинов может говорить с Пушкиным, а я что буду со своими афоризмами?⁴

М. П. Погодин, Дневник.

¹ Повесть Погодина.

² Сделать.

³ Веневитинов и Соболевский.

⁴ «Исторические афоризмы» Погодина.

Еще прежде чем у Веневитиновых, Пушкин читал своего «Бориса» у С. А. Соболевского (у которого вскоре потом поселился на Собачьей площадке в угольном флигеле нынешнего дома Левенталя). На этом первом чтении, кроме хозяина, были: П. Я. Чаадаев, Д. В. Веневитинов, гр. М. Ю. Виельгорский и молодой И. В. Киреевский.

П. Б., Заметка о Пушкине, «Рус. архив» 1865, стр. 391.

Вскоре Пушкин переехал от дяди [Василия Львовича] к С. А. Соболевскому, на Собачью площадку, и тут впервые читал «Бориса Годунова», в присутствии хозяина, П. Я. Чаадаева, Д. В. Веневитинова, гр. М. Ю. Виельгорского и И. В. Киреевского. Восторг был полный.

М. Д. Хмыров, Пушкин, Портретная галерея рус. деятелей, 1869, т. II, стр. 165.

Сентябрь 10. Первое чтение «Бориса Годунова» [Пушкиным] у Веневитиновых. На другой день Д. В. Веневитинов рассказывал Погодину о вчерашнем дне: «Борис Годунов» — чудо. У него еще «Самозванец», «Моцарт и Сальери», «Наталья Павловна»,¹ продолжение «Фауста», 8-я песнь «Онегина».

Барсуков, II, стр. 42.

Мы не имеем никаких сведений о составе того общества, которому удалось слушать «Бориса Годунова» 10 сентября в Армянском переулке. Мы можем только предположить, что слушателями Пушкина в этот день были члены семьи Веневитиновых, их близкие знакомые и родственники. Кроме хозяйки дома с детьми, в гостинной А. Н. Веневитиновой 10 сентября, вероятно, собрались ее два брата Оболенские и учителя ее детей, Кр. И. Герке, Геништа и Дорер с дочерью.

В числе гостей по всей вероятности были княгиня З. А. Волконская с своею сестрою Власовой и общие их знакомые сестры Окуловы. Очень может быть, что Волконская привезла с собою, кроме сестры, и Мицкевича. Затем, кроме самого чтеца, к Веневитиновым в этот вечер могли явиться ближайшие друзья Дм. Влад. и Пушкина, как-то: П. В. Киреевский, Соболевский, Вяземский и Виельгорский.

М. А. Веневитинов, Отчетных Пушкиным «Бориса Годунова» в 1826 г., в Москве, «Рус. вед.» 1899, № 143.

Сентябрь 11. Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. «Борис Годунов» — чудо. У него еще «Самозванец»,

¹ «Граф Нулин».

«Моцарт и Сальери», «Наталья Павловна», продолжение «Фауста», 8 песен «Онегина» и отрывки из 9-й и проч.

«Альманах не надо издавать, — сказал он [Пушкин], — пусть Погодин издает в последний раз, а после станем издавать журнал, кого бы редактором, а то меня с [Вяземским] считают шельмами». — «Погодин», — сказал Веневитинов. — «Познакомьте меня с ним и со всеми, с кем бы можно говорить с удовольствием. Поедем к нему теперь». — «Нет, его нет дома», — сказал Веневитинов.

Веневитинов к чему-то сказал ему, что княжна Ал. Ив. Трубецкая известила его [Веневитинова] о приезде Пушкина, и вот каким образом: они стояли против государя на бале у Мармона.¹ «Я теперь смотрю de meilleur oeil² на государя, потому что он возвратил Пушкина».

«Ах, душенька, — сказал Пушкин, — везите меня скорее к ней». С сими словами я [Погодин] поехал к Трубецким и рассказал их Александре Ивановне, которая покраснела, как маков цвет.

Из дневника М. П. Погодина.
М. Цявловский, Пушкин по документам Погодинского архива. Пушкин и его современники, вып. XIX — XX, стр. 73 — 85.

Семейство Пушкиных было знакомо и кажется в родстве с Веневитиновыми. Через них и через Вяземского познакомились и все мы с Александром Пушкиным.

Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова». Можно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня.

М. П. Погодин, Из воспоминаний о Пушкине, «Рус. архив» 1865, стр. 97.

Сентябрь 11. Д. В. Веневитинов познакомил Пушкина с М. П. Погодиным.

Барсуков, II, стр. 42.

В 4 часа отправился к Веневитиновым. Рассказы о визите к Трубецким и прочее. Потом говорили о предчувствиях, видениях и пр. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу какая-то немка Киригоф и Грек (пара, oncle, cousin) в Одессе. До сих пор все сбывается, например, два изгнания. Теперь должно начаться счастье.

¹ Французский посол (1774 — 1852).

² Лучшими глазами.

Смерть от белого человека или от лошади, и я с больною кладу ногу в стремя, — сказал он, — и подаю руку белому человеку.

Между прочим приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. «Мы с вами давно знакомы, — сказал он мне, — и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Пробы минут пять — превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек.

Завтра к нему обещался взять Веневитинов из университетского дежурства.

М. П. Погодин, Дневник.
Пушкин, и его современники,
вып. XIX — XX, стр. 73 — 85.

Сентябрь 12. Веневитинов не заезжал за мною к Пушкину. Пошел домой, он навстречу, и поехали вместе домой. «Не умный ли я человек, — сказал он, — я поехал к Пушкину один, я хотел, чтобы он формально пригласил вас, так и сделалось. Лишь только я приехал, он спросил: «а где же Погодин?» и пр. «Когда же поедем мы?» — «Когда хотите. Завтра праздник на поле, нынче повидайтесь вы в театре, и проч. Пушкин обедает нынче у Яра». Довеся домой меня, он поворотил опять на Лубянку.

М. П. Погодин, Дневник.

Утро, когда он [Пушкин] читал наизусть своего «Нулина» Шевыреву у Веневитиновых. На бале у последних Пушкин пожелал познакомиться с Шевыревым. Веневитинов представил Шевырева ему; Пушкин стал хвалить ему только что тогда напечатанное его стихотворение.

Л. Майков, Пушкин, Биограф.
материалы, 1899, стр. 329.

При таких-то обстоятельствах произошло знакомство Пушкина с кружком начинающих писателей, во главе которого стал Д. В. Веневитинов. Веневитинов доходил до Пушкину дальним родственником, а главное — был уже известен ему заочно, как единственный критик первой главы «Евгения Онегина», высказавший об этом произведении самостоятельное суждение.

По приезде в Москву Пушкин, через приятеля своего С. А. Соболевского, лично познакомился с Веневитиновым, а через него и с его кружком, к которому принадлежали, между прочими, М. П. Погодин и С. П. Шевырев.

Л. Майков, Воспоминания
Шевырева о Пушкине. Пушкин.
Биограф. материалы, СПб.
1899, стр. 334.

Шевырев познакомился с Пушкиным на бале у Веневитиновых. Бал этот состоялся по всей вероятности в промежуток времени между 10 сентября и 12 октября, должно быть 17 сентября, в день, когда праздновались именины Софьи Владимировны Веневитиновой.

М. А. Веневитинов, О чтениях Пушкиным «Бориса Годунова» в Москве, в 1826 г., «Рус. вед.» 1899, № 143.

Сентябрь 13. Писал без расположения «Невесту на ярмарке», отправил за Веневитиновым — обещался прислать ответ... Веневитинова не было. Что это значит?

Сентябрь 14. Был Веневитинов с Мальдовым, и я очень рад, что познакомился с ним.

Не для того ли приезжали Веневитинов с Мальдовым и Шевыревым, чтоб не говорить о свидании с Пушкиным?

Сентябрь 15. Был у Веневитинова.

Сентябрь 18. Собрались было к Пушкину с Веневитиновым, остановил Раич.

Сентябрь 19. Расцолагал «Гермеса» с Веневитиновым.

Сентябрь 20. Взапуски порешили «Гермеса» — отвезли в цензуру. Говорил с Мерзляковым об нем. Мерзляков принял Веневитинова как будто и не сердился никогда.¹ Предобрый человек! К Пушкину. Говорили о Карамзине... Издавать журнал. Это будет чудно! К Вяземскому, потом вместе, к Трубедким. «Мы везде были вместе, и я никак не хотел уступить ему, чтоб он был у вас один». Смеялись.

Сентябрь 21. Подарил Веневитинову все свои издания и посвятил «Геца».² Нынче он именинник. К Трубедким, за нотами для них. Опять к Веневитинову, толковали об Аг[рафене] Ив[ановне Трубедкой].

Сентябрь 24. К Веневитиновым. Рассказ о Пушкине у Волховских. «У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну».³ Завтра читать «Годунова». Были с ним у Мальдова. Обедали у меня Веневитинов и Титов.

Сентябрь 25. Нет, не шлет за мною Веневитинов.

М. П. Погодин, Дневник.

¹ На статью Веневитинова, «Разбор рассуждения Мерзлякова».

² «Гец фон Берлихинген» — трагедия Гёте. Перевод Погодина. «Дмитрию Владимировичу Веневитинову в знак дружбы посвящает М. Погодин». 21 сент. 1826 г.

³ Слова Пушкина.

25 с е н т я б р я состоялось чтение у Веневитиновых в кругу близких знакомых: кроме А. Н. Веневитиновой с сыновьями, были Вяземский, В. Д. Корнильев.

Н. П. Чулков, Пушкин в
Москве, М. 1930, стр. 51—59.

С е н т я б р ь 26. К Веневитиновым, к Пушкину. Веневитинова не видать на дворе, и я, обошед два раза, домоп... Утомленный лег спать, проштатавшись весь день. Думал о лекциях. Веневитинов сказал, что нельзя было слушать «Годунова» вчера.

С е н т я б р ь 27. К Веневитиновым, спят — не ехать поутру к Пушкину, ибо он будет у них обедать. К Вен[евитиновым]. Пушкина у них нет. Вздумалось к Труб[ецким], хотя и очень сердит на них. Очень обрадовалась [кн. Ал. Ив. Трубецкая] мне, и я смотрел на нее с удовольствием... «Годунова» и Корнилий¹ слушал, а Веневитинов мне и не сказал об нем.

С е н т я б р ь 29. Были у меня Мальдов, Шевырев, Веневитинов, Корнилий. Толковали о литературе и проч. Вчера государь был в театре, а я и не видал его. Смеялись.

О к т я б р ь 1. К Веневитинову. Сказал ему о решении судьбы Агр. Ив. Очель обрадовался он. О журнале. Веневитинова должно укрепить за литературу; малой с явною головою, брал с него слово, чтоб не расставался [с нею].

О к т я б р ь 10. Пушкин обещал прочесть «Годунова» во вторник, 12 октября. Bravo! Слушал Мур[авьева] «Тавриду». Прекрасно! Познакомил его с Веневитиновым. Славный малый.

О к т я б р ь 12. Опять к Пушкину — не от меня ли он ушел, нет; он у Веневитиновых читал песни, коими привел нас в восхищение.

М. П. Погодин, Дневник.

Пушкин, проживший почти весь 1826 год в Москве, прочел свою знаменитую трагедию у Веневитинова в присутствии Шевырева, Погодина и др.

И. С. Тихонравов, Шевырев. Соч., т. III, ч. II, стр. 223.

О к т я б р ь 12. Второе чтение (Пушкиным) «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Барсуков, II, стр. 43. «Рус. архив» 1865, 2-е изд., стр. 1249—1251.

Н. Лернер, Труды и дни Пушкина, стр. 142.

Наконец наступило после разных превратностей это вождолюбное число.

¹ Возможно — Корнильев В. Д. (1793 — 1851), приятель многих литераторов и ученых.

Октября 12, поутру, спозаранку мы собрались все к Веневитинову (между Мясницкою и Покровкою, на повороте к Армянскому переулку) и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. В 12 часов он является.

Какое действие произвело на всех нас это чтение — передать невозможно. До сих пор еще кровь приходит в движение при одном воспоминании. Надо припомнить, — мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией, которой мастером считался Кокоскин и последним представителем был в наше время граф Блудов. Наконец надо представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно подвязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы слышали простую, ясную, обыкновенную и между тем притическую, увлекательную речь.

Первые явления выслушаны тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого — в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил выдерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла...

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздались смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвон, дайте чаши! Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать

песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей лодке; предисловие к «Руслану и Людмиле»:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Потом Пушкин начал рассказывать о плане «Дмитрия Самозванца», о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского.

О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.

М. П. Погодин, Дневник, 1826, 13/X. Барсуков, Н., Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, стр. 43 — 45. «Рус. архив» 1865, стр. 97 — 100.

Приглашая к себе на утро 12 октября гостей, Д. В. Веневитинов имел в виду своих товарищей по архиву иностранных дел и сотрудников журналов и альманахов, в которых он принимал близкое участие («Урания», «Северная лира», «Гермес», «Моск. вестник») . . . молодых ученых и литераторов, группировавшихся около Раича и Погодина, в том числе некоторых кандидатов и профессоров университета.

Ядром собрания 12 октября надобно прежде всего считать, кроме Мицкевича, участников состоявшегося 24-го числа обеда, который затеяли сотрудники будущего «Московского вестника»: два брата Хомяковы, два брата Киреевские, два брата Веневитиновы, Боратынский, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожаин, Раич, Рихтер, Оболенский (В. И.), Соболевский и Погодин. К этим именам мы решаемся присоединить следующие лиц из числа членов литературного общества, собиравшегося у Раича: М. Г. Павлова, Д. П. Ознобишина, П. П. Колошина, А. И. Писарева, Н. В. Путяту и А. Фр. Томашевского; затем «архивных юношей»: А. П. Озерова, А. Н. Муравьева, кн. Трубецкого, А. Л. Мещерского (и, вероятно, его брата Пл. А.) и Н. А. Мельгунова. Кроме того, мы думаем, что на чтении могли присутствовать: друг Веневитиновых — Ф. Я. Скарятин, некоторые их хорошие знакомые, если не близкие приятели, а именно — граф Вьельгорский, Абр. и Ал. Серг. Норовы, наконец, личные друзья Погодина, М. А. Максимович, В. П. Андросов и А. М. Кубарев. Норовы и три

последние лица встречались с Веневитиновым не только у Погодина, но и в обществе Ранча. Наконец на собрании 12 октября участвовали еще и некоторые другие лица: родственники Веневитиновых, князя Оболенские, и очень вероятно Хр. И. Герке, Дорер и Геништа. Что касается до Мерзлякова, то он едва ли был на чтении, так как он в это время был задет критикой Д. Вл. Веневитинова.¹ Наконец братья Полевые, несмотря на свое знакомство с Погодиным, не были приглашены к Д. Вл. Веневитинову, по причинам литературных столкновений с ним, да кроме того составляли в московских кружках совсем особый приход. Утро 12 октября состоялось, повидимому, исключительно в обществе мужчин. Хозяйка дома, ее родственницы и приятельницы уже познакомились с «Годуновым» или, по крайней мере, отрывками из него еще 10 сентября. Кроме того, третье чтение Пушкиным своей трагедии закончилось у Веневитиновых веселою пирушкой, в которой дамы едва ли могли принять участие.

Во всяком случае в знаменитое утро 12 октября число слушателей Пушкина едва ли превышало 40 человек.

А. Н. Веневитинова, как хозяйка дома, предоставила свои приемные комнаты в полное распоряжение сыновей, которые должны были избрать для помещения своих гостей самую большую комнату. Такая комната сохранилась до сих пор в зале главного этажа здания, по двум его фасадам, выходящим двумя окнами в проезд ко двору и тремя на балкон во дворе.

М. А. Веневитинов, О чтениях Пушкиным «Бориса Годунова» в Москве, в 1826 г., «Рус. вед.» 1899, № 143.

Октябрь 13. Пушкин присутствовал на чтении у Веневитиновых «Ермака» А. С. Хомякова.

Барсуков, II, стр. 45, «Рус. архив» 1865, 2-е изд., стр. 1251—1252.

Н. Д е р н е р, Труды и дни, стр. 142.

На другой день было назначено чтение «Ермака», только что конченного и привезенного А. Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. «Ермак», разумеется, не мог произвести никакого действия после

¹ См. запись Погодина от 20 сентября.

«Бориса Годунова», и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти не слышали его. Всякий думал свое.

М. П. Погодин, Воспоминания о С. П. Шевыреве, СПб. 1869. Литературные салоны и кружки. Ред. и прим. И. Бродского, «Academia», М.—Л. 1930, стр. 165—166.

Вечера живые и веселые следовали один за другим у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мидкевиче открылся дар импровизации. Приехал Глинка, связанный более других с Мельгуновым, — и присоединилась музыка.

М. П. Погодин, Из воспоминаний о Пушкине. «Рус. архив» 1865, т. I, стр. 102.

Не ограничиваясь оперным пеннем, княгиня Волконская являлась и во французских пьесах: при мне поставлена была на ее сцене Мольерова комедия *Le bourgeois gentilhomme* и еще другая какая-то пьеса; в них играли из мужчин французский живописец г. Лагрене, проф. Московского университета г. Аллар и г. Веневитинов (живившийся впоследствии на дочери гр. М. Ю. Внелъгорского).¹ Салон княгини Волконской был сборным местом художников и литературных знаменитостей. Из последних у ней бывали польский поэт Мидкевич, кн. Петр Андреевич Вяземский и преждевременно похищенный смертью много обещавший поэт Веневитинов.

М. Д. Бутурлин, гр., Записки, «Рус. архив» 1897, № 6, стр. 178.

На картине изображен светский бал, быть может в доме самого генерал-губернатора. Он сам здесь, стоит под руку с А. С. Пушкиным, усердным посетителем московских собраний при своих сравнительно частых наездах в Москву. Вправом углу сидит кн. С. М. Голицын, попечитель Моск. учебн. округа, рядом с ним кн. Татьяна Борисовна Голицына; около нее виден профиль какой-то знатной дамы; по другую сторону генерала, сидящего спиной к зрителю, собирается посмотреть в лорнет красавица кн. З. Волконская, которой посвящены строки Пушкиным, Боратынским и многими другими авторами. Стоят в этой части картины братья Алексей и Дмитрий Веневитиновы, далее — знаменитый польский поэт Адам Мидкевич, который тогда жил в Москве, состоя на подневоль-

¹ Алексеем, брат поэта.



Бал в Москве 20-х годов
Картина проф. Д. Н. Кардовского

ной службе в канцелярии Моск. ген.-губернатора. Между ним и Пушкиным видна голова М. П. Погодина, проф. русской истории в университете, а между Пушкиным и кн. Д. В. Голицыным стоит тот, кто, по крылатому слову Пушкина, — в Риме был бы Брут, а в Афинах — Перикл, — П. Я. Чаадаев.

С. А. Князьков [ред.], Картины по русской истории. Изд. Гроссман и Кнебель, М. 1913, стр. 6, 7 .

У А[вдотьи] П[етровны] Елагиной [мать И. В. Киреевского] в Москве, у Красных ворот, бывали: В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, Н. М. Рожалин, С. П. Шевырев, А. П. Петерсон, Д. В. Веневитинов, А. О. Армфельдт, С. А. Соболевский и С. С. Мальцов. Жуковский и Языков ввели туда Пушкина. Чаадаев, Боратынский, Погодин, Хомяков, «княгиня русского стиха» К. К. Павлова, тогда еще девица Яниш.

И. Бартенев, А. П. Елагина, «Рус. архив» 1877, т. II, стр. 492.

С мужем моим [В. А. Каратыгиным] он [Пушкин] сблизился в доме покойного князя Владимира Федоровича Одоевского, где собирались: граф Михаил Юрьевич Виельгорский, Веневитинов, граф В. А. Соллогуб и мн. др.

А. М. Каратыгина (Колосова), Воспоминания. Мое знакомство с Пушкиным. П. А. Каратыгин, Записки, т. II, «Academia», Л. 1930, стр. 283.

О к т я б р ь. С о в е щ а н и е о б и з д а н и и н о в о г о ж у р н а л а «М о с к о в с к и й в е с т н и к».

Барсуков, II, стр. 46. «Рус. архив» 1865, стр. 100.

Н. Л о р н е р, Труды и дни, стр. 142.

Толки о журнале, начатые еще в 1823 или 1824 г. в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых, было, так сказать, налицо, и оно сообщило Пушкину общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором был назначен я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено — «Московский вестник».

М. П. Погодин, Воспоминания о С. П. Шевыреве, СПб. 1869.

Перезнакомившись с кружком Веневитинова, Пушкин выразил полную готовность принять живое участие в возникавшем органе этого кружка, журнале «Московский вестник», открытие которого было ознаменовано приятельским обедом, соединившим за один и тот же пировой стол: Пушкина, Мицкевича, Веневитинова с братом, Боратынского, Хомякова с братом, братьев Киреевских, Соболевского, Раича, Рожалина, Погодина, Шевырева, Титова, Мальцова, Рихтера, Оболенского.

М. Д. Хмыров, Пушкин.
Портретная галерея рус. деятелей, 1869, т. II, стр. 165.

О к т я б р ь 24. Пушкин участвует в обеде редакции новосновываемого «Московского вестника».

Барсуков, II, стр. 47, 48.

О к т я б р ь 24. Общий обед — очень приятно было взглянуть на всех вместе. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подняли. Представление Оболенского Пушкину и проч. Веневитиновы, Ф. Хомяков, Титов, Шевырев, Погодин, Киреевские, Мальцов, Рихтер, Розберг, Пушкин, Боратынский, Мицкевич, Соболевский, Оболенский [В. И.], Раич.

М. П. Погодин, Дневник,
стр. 154.

Рождение его [журнала] положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме, бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люкс): Пушкин, Мицкевич, Боратынский, два брата Веневитиновы, два брата Хомяковы, два брата Киреевские, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Раич, Рихтер, В. Оболенский, Соболевский... Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений. Напомню один, насмешивший все собрание. Оболенский адъюнкт греческой словесности, добрейший человек, какой только может быть, подвыпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взвешивая свой хохлок, — любимая его привычка, — воскликнул: Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что я — миллион. Вот вы кто!» Все захохотали и закричали: «Миллион, миллион!»

М. П. Погодин, Воспоминания о С. П. Шевыреве, СПб. 1869.

По «ультиматуму», т. е. по первоначальному письменному соглашению главных участников «Московского вестника» было положено: с проданных 1200 экз. журнала платить Пушкину 10 000 руб. ежегодно, а прочим главным сотрудникам (Шевыреву, Типову, Веневитинову, Рожалину, Мальцову и Соболевскому) — по сто рублей за лист оригинальной статьи и по пятьдесят руб. за лист переводной; «если подписчиков будет менее 1200, то плата раскладывается пропорционально»: помощнику редактора назначено было 600 руб., а весь могущий быть с журнала доход, за вычетом вышеозначенного гонорара и типографских издержек, предоставлялся в пользу редактора.

Л. Майков, Пушкин, 1899,
стр. 339.

О глубокой симпатии Пушкина к Веневитинову мне говорил С. А. Соболевский, один из ближайших друзей А. С. В личности Ленского Пушкин хотел воплотить некоторые черты Веневитинова.

А. П. Пятковский, Кн.
Одоевский и Веневитинов, СПб.
1901, стр. 133.

Негодование, сожаленье,
Ко благу чистая любовь,
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гёте
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем.
И Муз возвышенных искусств,
Счастливцев, он не постыдил;
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы де ственной мечты
И прелесть важной простоты.

А. Пушкин, «Евгений Онегин», гл. II, строфа IX.

• Судьба жизни не раз ставила меня в весьма близкие сношения с замечательнейшими организациями нашего времени (Д. Веневитинов, Грибоедов, Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Кольцов, Глинка и мн. др.). Вот что я извлек из изучения их:

1. Никакой труд, никакая наука не поставит человека бездарного рядом с человеком даровитым, но трудящимся.
2. Талант без науки — мужчина без женщины.
3. Наука без таланта — женщина без мужчины.

4. Наука не дает нового таланта, но дает возможность довести тот, который есть, до крайней степени совершенства; она приводит в гармонию оркестр души, как бы ни был он плох.

5. Талант без науки вянет, как прекрасное растение без поливки, хотя никакая поливка не обратит репейника в розу.

В. Ф. О д о е в с к и й, Записная книжка.

Любимая особа была много старше и зрелее нашего поэта, не могла отвечать его страсти с одинаковой искренностью и теплотою и, наконец, не могла приблизить его к себе до той границы, где страсть регулируется чувством обладания и вообще принимает более нормальные размеры: она была замужняя женщина! Впрочем, она оказывала большое внимание своему юному обожателю и даже подарила ему на память свой перстень, который и был сбережен Веневитиновым до самой смерти. Но при этом она тщательно полагала пределы его дальнейшим порывам и даже старалась внушить ему, что счастье вообще не благоприятствует хорошим людям и что их удел — молча покоряться злосчастной судьбе.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 20.

Первый и единственный раз, когда я его встретил, это было на бале у Степана Степановича Апраксина, в вихре котильона, самым забавным образом составленного: он должен был делать выбор между тремя богинями, свежими лишь в своих нарядах, и которые для придания себе молодости с причудами потряхивали золотыми и шелковыми привесками к своим пестрым тюрбанам. Недавнее вступление в высший свет выдавалось его внешностью; но вполне благообразное лицо, что гораздо труднее встретить, чем изящество в манерах, и полная грустная улыбка, которой неуместность он старался скрыть под легким оттенком иронии, все это дало мне почувствовать, что он был далек и от этого мира. Я спросил его имя у одной из Зизи «прошлого столетия», с которой танцевал: «Это премилый поэт, — небрежно отвечала она, — и вместе с тем художник в живописи и в музыке». Вскоре после того мне дали прочесть его стихи, в которых замечались не только поэтические мысли в соединении с порывами юной впечатлительности, как у Бенедиктова, но глубокое чувство, столь редко встречаемое в русских стихотворениях.

М. А. Веневитинов, Из письма А. П. Одоевского своей тетке из Сибири, «Рус. архив» 1883, кн. I, стр. 130.



Карикатура А. С. Пушкина
на Д. В. Венежинского

Вскоре, однако, приблизилось для Веневитинова время разлуки с Москвой и милой особой, жившей там. В канцелярии Коллегии иностранных дел в Петербурге открылась вакансия— и в начале октября 1826 г. наш поэт направился туда с прежней любовью и вновь начатым романом...

Бутенев становился в Петербурге его ближайшим начальником.

А. П. Пятковск ий, Биогр.
очерк, стр. 21, 22.

Тут-то среди приготовлений молодых людей к отъезду Дмитрий Владимирович согласился на просьбу княгини Волконской принять спутником в свой экипаж одного приезжего из Сибири. Приезжий этот был француз Воше (Vaucher), библиотекарь графа Лавалья.

Граф Лаваль поручил вышеназванному Воше проводить свою дочь [кн. Екатерину Ивановну Трубецкую] и отправил их в удобной карете, которая не выдержала сибирских дорог и сломалась. Несмотря на советы своего спутника вернуться, княгиня Трубецкая решилась ехать далее одна, на перекладных, и с дороги отпустила Воше назад в Россию. Они расстались, еще далеко не доехав до цели своего путешествия. В октябре 1826 г. Воше приехал в Москву и остановился в доме княгини З. А. Волконской. В то время все, что имело отношение к декабристам, подвергалось наблюдению и бдительному надзору полиции. За Трубецкими же были причины следить особенно строго, ввиду их близкого родства с дипломатическим представителем Австрии, графом Лебдельтерном. В надежде избавить Воше от притязательной подозрительности властей, кн. Зинаида устроила ему совместную поездку в Петербург с Дмитрием Владимировичем Веневитиновым и Ф. Ст. Хомяковым. Первый из них (как установлено мною выше) не был лично подвергаем до той поры никаким подозрениям, прикосновенным к событиям 14 декабря. Хомяков же во время бунта на Сенатской площади находился в Петербурге и его письмо к брату в Париж от 24 декабря 1825 г. свидетельствует, что сочувствие его было далеко не на стороне декабристов.

Таким образом ничто, повидимому, не противоречит благоприятным предположениям кн. З. А. Волконской, и спутничество вышеназванных молодых людей могло вполне обеспечивать француза Воше от всяких опасений. Случилось однако иначе.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, т. I, стр. 121.

Приблизительно через две недели после 12 октября 1826 г. Д. Вл. Веневитинов уже уехал в Петербург на службу.

М. А. Веневитинов, О чтениях Пушкиным «Бориса Годунова» в 1826 г., в Москве, «Рус. вед.» 1899, № 193.

Мой дядя надолго переселялся в Петербург и потому был снабжен такою поклажей, что не мог поместиться в одном экипаже с Хомяковым. Пришлось ехать в двух экипажах, причем Воше сидел попеременно то с одним, то с другим из своих спутников.

Ранее описываемых обстоятельств Д. В. Веневитинов вовсе не встречался с Воше и даже не знал его.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, т. I, стр. 122.

Перед самым отъездом своим в Петербург бывший противник Н. А. Полевой провел у него целый вечер в самом приятельском разговоре.

К. А. Полевой, Записки, «Ист. вестник» 1887, т. XXVIII, стр. 28.

ЧАСТЬ II. В ПЕТЕРБУРГЕ

1826

(Продолжение)

Вот мы и в Торжке...

Письмо Веневитинова родным с дороги, № 19.

Отдал покрасневшей Александре Ивановне [Трубецкой] «Новгород» Веневитинсва.

М. П. Погодин, Дневник, 1826, 30/XII.

Хотя в то время суд над декабристами давно уже был окончен, но за их родными и близкими им лицами продолжали следить, и тем строже, что для исполнения этой обязанности тогда уже учреждалось специальное ведомство Третьего отделения. Подъезжая к Петербургу, Воле не избег обычных

опросов на заставе и был, как лицо подозрительное, подвергнут аресту. Мой дядя, сидевший тогда в одном с ним экипаже, был также арестован.

Мне ничего неизвестно о последствиях ареста Воше и о том, было ли что-нибудь у него найдено и что именно. Что же касается Дмитрия Владимировича, то он просидел сутки или около двух на одной из петербургских гауптвахт и провел это время в крайне сыром, холодном и нездоровом помещении. Так как за ним никакой особой вины не нашлось, то допрашивавший его дежурный генерал Потапов не встретил препятствий к его освобождению. Для Ф. Ст. Хомякова путешествие также не обошлось без неприятных последствий, но неприятности ограничились личным объяснением с Радофинкиным, его непосредственным начальником, директором азиатского департамента министерства иностранных дел.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, т. I, стр. 122—123.

Чересчур прямой и резкий ответ Веневитинова на некоторые предложенные ему вопросы усложнил было дело, но оно скоро окончилось по самой пустоте своего предлога. Ответ был дан в таком смысле, что если он, Веневитинов, и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему.

А. П. Пятковский, Кн. Одоевский и Веневитинов, СПб. 1901, стр. 127.

О к т я б р ь 30. У Веневитиновых рассердил Соболевский говоря о пьесах Пушкина. ¹ а все смотрит этот чудак с пирожной стороны. Жаль мне Веневитинова.

- М. П. Погодин, Дневник.

Д. Веневитинов при самом приезде из Москвы был вытребован или взят в III Отделение «собственной» канцелярии и там продержан двое или трое суток. Это его ужасно поразило, и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него сделанным ему допросом. Он не любил об этом говорить, но видно было, что-то тяжелое лежало у него на душе.

А. И. Кошелев, Записки
Изд. О. Кошелевой, Берлин
1884, стр. 21—22.

Москву оставил я, как шальной...

Письмо Веневитинова,
№ 20.

Старший брат [Дмитрий Веневитинов], отличавшийся блестящими способностями, прекрасными качествами сердца и замечательным поэтическим дарованием, приехал на службу в Петербург и жил вместе с Хомяковым. Я с ним познакомился перед тем в Москве и оценил все, что было в нем прекрасного. Мы видались ежедневно, и эта кратковременная эпоха никогда не выйдет из моей памяти: сколько в ней было игривости ума, пылкости и прелести.

Н. А. Муханов, Воспоминания об А. С. Хомякове, «Рус. архив» 1887, кн. 2, стр. 243.

Я чувствую все, что мне дал Зевес.

Веневитинов, Апофеоза художника, см. стр. 151.

В Петербурге я был не один из москвичей. Кн. Одоевский еще прежде меня переехал в Петербург, женился на О. С. Ланской и поступил на службу по министерству народного просвещения, а именно в Комитет иностранной цензуры.

Вскоре после меня приехал к нам Д. В. Веневитинов и определен был в министерство иностранных дел, по департаменту внутренних сношений. Не замедлил переездом в Петербург и В. П. Титов. Мы все часто видались и собирались по большей части у кн. Одоевского. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускались в философские прения и этим несколько себя оживляли.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 21.

В Петербурге Веневитинов жил на Мойке, в доме № 82, между Фонарным и Прачешным переулком.

М. А. Веневитинов, «Рус. архив» 1885, № 1.

Состоя на службе в азиатском департаменте, Веневитинов интересовался языками, религией и историей южных народов. Все, что встречалось интересного в иностранных книгах, он переводил на русский.

С. Шпидер, «Голос минувшего» 1914, № 1.

Веневитинов жил в доме В. С. Ланского (в верхнем этаже надворного флигеля) и был хорошо принят в семействе своего домохозяина.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 27.

Знаком греческого языка, Веневитинов был рекомендован Нессельроде княгиней З. Волконской, Трубецкими и Лавалем. Нессельроде¹ хотел дать ему занятия с Востоком, которым Веневитинов очень интересовался. На вопрос Нессельроде, как понравился ему новый чиновник азиатского департамента, директор департамента Радофиникин, проводивший долгое время в разговоре с Веневитиновым, отзывался о нем, как о человеке, подающем большие надежды и обещающем принести много пользы департаменту.

«Mais, — прибавил он, — nous n'en profiterons pas longtemps. Il a la mort dans les yeux. Il mourra bientôt.»²

«Рус. архив» 1885, № 1, стр. 123.

Н о я б р ь 21. Как мне досадно, что не пишет ко мне Веневитинов. Получил письмо от Веневитинова. Рад. И Козлов наш. Из «Годунова» можно печатать.

М. П. Погодин, Дневник.

Таланты молодого человека и его усердие к службе были скоро замечены гр. Лавалем, поручавшим его перу самые важные бумаги. По его же приглашению, Веневитинов разбирал сцену из «Бориса Годунова», назначая свой разбор в *Journal de St. Petersburg*, но еще нерешенная в то время участь Пушкина помешала этой статье явиться в полуофициальной газете. Когда же пронесся слух, что г. Улыбышев собирается бранить эту сцену, то Веневитинов надеялся опять приняться за перо. «Я очию перышко, — говорил он, — и мы переведаемся».

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 25.

Обедаю за общим столом у Andrieux...

Письмо Веневитинова брату, № 27.

¹ Нессельроде К. В. (1780 — 1862) — гос. канцлер, мин. ин. дел.

² Но он не долго пробудет с нами. У него смерть в глазах. Он скоро умрет.

Но возвратимся к нашей молодежи. Вот их имена: Одоевский, уже женагый, жил на Моховой, и вся группа презжала почты вместе с ним; братья Веневитиновы — Дмитрий был красивый юноша и уже написал много стихов...

А. О. Смирнова, Записки, «Федерация», М. 1929, стр. 191.

И дружусь с моими дипломатическими занятиями...

Письмо Веневитинова брату, № 31.

1326. Декабрь 16. Д. В. Веневитинов в письме из Петербурга к своей сестре С. В. Веневитиновой просит ее передать поклон Пушкину.

Из неизд. материалов, сообщено гр. В. Комаровским. Н. Держнер, Труды и дни Пушкина, изд. 2-е, СПб. 1910, стр. 453.

В зиму же 1826 — 1827 г. приехал из Москвы в Петербург молодой литератор Дмитрий Владимирович Веневитинов, человек с большими дарованиями, отлично образованный и весьма красивый собою. Он был у Дельвига, как в своей семье. Его очень любили, ласкали и уважали. Он, конечно, по молодости, очень увлекался молодыми и умными дамами, за что подсмеивались над ним прямо ему в лицо, но заочно не могли нахвалиться этим молодым человеком. Я его также очень любил.

Бар. А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. I, стр. 52—53.

Жены некоторых декабристов последовали за своими мужьями в Сибирь. Одними из первых были — княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, рожд. Лаваль, и Мария Николаевна Волконская, родная сестра тех самых Раевских, которые подружились в Крыму с сосланным на юг А. С. Пушкиным. В проезд через Москву в Сибирь княгини М. Н. Волконской, ее свояченица кн. Зинаида собрала у себя самых близких знакомых и друзей. Описание этого прощального вечера, составленное моим отцом, было напечатано мною в «Русской старине» (1875, I, стр. 822). Документ этот живо передает впечатление, произведенное женою декабриста и родственницею кн. Зинаиды. Тот же двойной интерес по всей вероятности отразился на моем дяде и по поводу кн. Трубецкой, тоже уехавшей в Сибирь к своему мужу.

М. А. Веневитинов, К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, т. I, стр. 121.

Таврический дворец, с своей знаменитой залой и садом, скоро сделался предметом частых посещений поэта; особенно, нравилась ему группа Лаокоона.

А. П. Пятковский, Биограф.
очерк, стр. 22.

Веневи́тинов одарен был талантами самыми увлекательными. Живопись и музыка, поэзия и философия обрабатываемы им были не по влечению суетности, но по врожденной склонности, которую оправдал он замечательными опытами. Верный и независимый вкус, благородный и открытый образ мыслей, светлый и живой ум, детское простосердечие и знание потребностей лучшего общества, дружелюбие и мечтательность так пленительно сливались и обнаруживались в нем, что, узнав его, нельзя было не любить. В его сердце, так же как и в уме, соединялось все лучшее.

По чистоте собственных чувствований он был доверчив и с удовольствием делился всеми благами души своей.

Такими были впечатления, которые произвел Веневи́тинов, окончив только воспитание и на короткое время явившись в Петербург. В продолжение зимы, которую здесь провел, он был самою занимательною новостью, украшением, милым гостем в каждом обществе, где только ценят или ум, или талант, или светский успех.

П. Плетнев, Д. В. Веневи́тинов, Энциклопед. лексикон Плюшара, СПб. 1837, т. IX, стр. 367 — 368.

Простудился ли Дмитрий Владимирович в том помещении, где был арестован, или подвергся другому какому-нибудь вредному влиянию, об этом не сохранилось точных семейных преданий, которые ограничиваются указанием на гигиенические условия места заключения как на главную причину окончательного расстройства в здоровье моего дяди... Кашель не покидал его, причиняя частые и сильные боли в груди. Доктора заставляли его постоянно носить грудной пластырь.

М. А. Веневи́тинов, «Рус. архив» 1885, № 1.

Скажите, прошу вас, Дмитрию Веневи́тинову, чтоб он извинил меня, как умеет, перед Козловым в поздней присылке

журнала [«Моск. вестник»]. Не знаю, впрочем, не другой ли уже экземпляр я посылаю ему.

М. П. Погодин — кн. В. Ф. Одоевскому 2/III 1827 г. Из переписки кн. В. Одоевского. Сообщ. И. А. Бычков, «Рус. стар.» 1904, III, стр. 706.

Хотелось бы для твоего исправления (от лени), чтобы ты пожил с нами здесь, посмотрел на Дмитрия. Это — чудо, а не человек; я перед ним благоговеею. Представь себе, что у него в 24-х часах, из которых составлены сутки, не пропадет ни минуты, ни полминуты. Ум и воображение и чувства в беспрестанной деятельности. Как скоро он встал, и до самого того времени, как он выезжает, он или пишет или бормочет новые стихи; приехал из гостей, весело ли ему было или скучно, опять за то же принимается, и это продолжается обыкновенно до трех часов ночи. На наше житье-бытье смешно смотреть: мы сидим в двух комнатах, одна подле другой, с открытыми дверями, часто в одной, и в целый день иногда двух слов не промолвим иначе, как за обедом или когда придет кто-нибудь к нам в гости. Он редко читает, гулять никогда не ходит, выезжает только по обязанности, то есть к тем, к кому имел рекомендательные письма. Я в большом был об нем беспокойстве на прошедшей неделе; у него сделалось вдруг воспаление в груди и в легких, так что принуждены были кровь пустить. В ночь перед кровопусканием он совсем не засыпал, хотя я у него свечи потушил, все стихи *ex-pro-ter-tu* говорил и, кажется, бредил, потому что разыгрывал один в постели какую-то комедию; поутру же, представь мое удивление, как скоро я проснулся, продиктовал мне пьесу, которую здесь прилагаю без всяких поправок. Это pendant к твоему «Сну», но получше, хотя в ней и виден несколько отпечаток горячки: через два часа принуждены были ему пустить кровь — истинно сочнителевская, она была, как чернила. Во время пребывания нашего здесь он уже шесть пьес в стихах написал, кроме огромной и занимательной переписки его с Москвою. Они все очень хороши и занимательны по обилию мыслей, по обдуманности хода и потому, что они составляют как бы журнал его, выражая всегда истинные его минутные чувства... Поэтому-то и переслать к тебе многих не могу — они секрет. Но в «Московском вестнике» прочтешь ты одну из них — «Поэт» — и может быть другую: вариацию на слова Шекспира: *life is tidions as a tale twin-told to the drowsy cas of a sleaper.*¹ Странно, что при всем этом он едва верит, что

¹ Жизнь скучна как сказка, дважды рассказанная засыпающему (стих. Веневитинова «Жизнь»).

У него есть талант стихотворный... Гостей к нам почти не ходит, кроме Балта и Одоевского, бывшего издателя.

...Веневитинова и Пушкина клеветы не понимают тебя; я понял. В Москве не говорить про болезнь Дмитрия; он никому об ней не писал.

Ф. Хомяков — А. С. Хомякову 3/XII 1826 г., «Рус. архив» 1884, № 5, стр. 223—225.

В Петербурге он встретил одну, тоже весьма привлекательную женщину, но сердце его уже не было свободно, и он говорил, что «любуется ею, как Ифигенией в Тавриде, которая, мимоходом сказать, прекрасна».

А. П. Пятковский, О жизни и соч. Д. В. Веневитинова, 1862, стр. 24.

Дельвиг жил на Владимирской улице близ коммерческого училища, в доме Кувшинникова. А. П. Керн жила в этом же доме.

А. Яценевич, Пушкинский Петербург, изд. О-ва «Старый Петербург», Л. 1930, стр. 98.

Как нелегко было усадить молодого поэта рядом с красивой и симпатичной, но еще малознакомой ему женщиной, как внезапно сказывалось это приятное соседство во всей фигуре юности: в робости его движений, в смягченных звуках голоса, в умных и ласковых глазах. Сюда применялось, впрочем, и другое свойство поэта — его почти детская стыдливость.

А. П. Пятковский со слов А. П. Керн. Кн. Одоевский и Веневитинов, СПб. 1901, стр. 128.

— Потом мы заговорили о Веневитинове, и он [Пушкин] сказал: «Il était aussi amoureux de vous n'est-ce pas?»¹ На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут кстати я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет...

А. П. Керн, Воспоминания. Ред. Ю. Верховского. «Academia», Л. 1929, стр. 266.

¹ Он был также влюблен в вас, не правда ли?

Милый мой, на-днях рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо...

А. Пушкин — А. Дельвингу 2/III 1827 г. Москва, Письма Пушкина, Гиз, 1928, т. II, стр. 27.

Спасаясь от горестных воспоминаний, он думал развлечь себя петербургскими маскарадами, сам ездил замаскированный к своим знакомым (причем всегда был узнаваем по необыкновенно массивным ступням), но все это нимало не усыпляло его жгучей боли, и на него находили даже минуты полнейшего отвращения к жизни...

А. П. Пятковский, Кн. Одоевский и Веневитинов, СИБ. 1901, стр. 129.

Изучение реальных наук на освободило его от того невольного мистицизма, которому подчинялись в то время весьма образованные люди, в том числе и наш знаменитый Пушкин. Так, например, Веневитинов, незадолго до своей смерти, в разговоре с одной молодой женщиной, мечтал о том, в каком виде предстанет он к ней из-за гроба...

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 11.

СМЕРТЬ

Раз у Ланских устроился маленький вечер с танцами, на который приглашен был и Веневитинов. После танцев, в которых принимал большое участие, поэт не постерегся и, распотевши, перебежал через двор в свою квартиру в едва накинутой шинели. В это время, ночью, стоял большой холод, с примесью обычной в Петербурге сырости — и балтийский климат наградил жесточайшим тифом неосторожного новичка.

А. П. Пятковский со слов кн. В. Ф. Одоевского, Биографический очерк, стр. 27—28.

Еще бедный поэт мечтал о поездке в мае месяце в Ревель и Финляндию, как вдруг неотразимая болезнь уложила его в постель.

А. П. Пятковский, Биографический очерк, стр. 27.

Едва прошло недели три с приезда его, как он занемог, и сначала болезнь казалась неважная, всего длилась восемь дней, и когда мы стали о положении его тревожиться, с предвидением опасности, врач удостоверил нас положительно, что он скоро выздоровеет и даже в день кончины подтверждал свое мнение. Через несколько часов все переменялось, и тот же врач объявил нам, что больной не проживет до другого дня.

Н. А. Муханов, Воспоминания об А. С. Хомякове, «Рус. архив» 1887, II, стр. 244.

Во время болезни Д. Веневитинова, за которым и днем и ночью мы ухаживали, я близко сошелся с А. С. Хомяковым, с которым я прежде был только знаком.

А. И. Кошелев, Записки, стр. 22.

Март 18. Говорят, что Вен[евитинов] болен. К брату и Рожалину. Правда, и отчаянно.

М. П. Погодин, Дневник.

За больным ухаживал Ф. Хомяков с большой заботливостью, говорит Кошелев, а нас, то есть своего брата и меня, он почти не впускал к больному, находя, что мы очень неровки и только тревожим его своим уходом. Друзья, собиравшиеся в квартире Хомяковых, живших вместе с Д. Веневитиновым, сидели в третьей комнате и от нечего делать много толковали и спорили о философии вообще и о Шеллинге в особенности, христианстве и других жизненных вопросах, тем более что болезнь Дмитрия Веневитинова вначале не предвещала печального конца. Врач, за несколько часов уверявший, что положение его не представляет опасности, вдруг объявил, что больной не проживет до другого дня. Тогда А. С. Хомяков должен был приготовить умирающего к сознанию своего положения. Хотя, — говорит Муханов в своих воспоминаниях, — «он был бледен, как смерть, но одна только тяжелая слеза выкатилась из его глаз, посреди всех присутствующих. Тут только я мог заметить силу этого характера, знал до какой степени нежно он его любил» (Воспоминания Н. А. Муханова, «Рус. архив» 1887, кн. 1).

Удрученное состояние духа Хомякова выразилось в стихотворении «Старость» («Моск. вестник» 1827, Соч. Хомякова, 1900, т. IV, стр. 401):

Скорей, скорей сомкните, очи;
Зачем вы смотрите на свет?

Часы проходят, дни и ночи
И годы за годами вслед.
А в мире все, что было прежде,
Желанье жадно, жизнь бедна,
И верят смертные надежде,
И смертным вечно лжет она.

П. Матвеев, А. С. Хомяков, Биогр. очерк, «Рус. стар.» 1904, V, стр. 459 — 463.

Мне сладко верить, что со мною
Не все, не все погибнет вдруг...

Веневитинов, Поэт и друг,
стр. 120.

Письмо твое ко мне или обо мне не дошло до меня, только оно дало пищу больному воображению несчастного друга. Он бредил об нем и все звал меня.

Из письма А. Дельвига к А. Пушкину 21/III 1827 г. Переписка Пушкина. Акад. изд., т. II, стр. 73.

Вот час последнего страдания.
Внимайте: воля мертвеца...

Веневитинов, Завещание,
стр. 116.

Перед смертью Веневитинова всего более мучило то, что он не мог писать к нежно-любимой им матери. «Ах, боже мой, как я виноват перед матушкой: не могу двух строк написать», — повторял он неоднократно.

А. П. Пятковский со слов В. Ф. Одоевского, Кн. Одоевский и Веневитинов, СПб., стр. 134.

Ты был открыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой...

Веневитинов, К моему перстню, стр. 114.

У него был перстень, найденный в гробнице в Геркулануме; он носил его на часах и называл своим талисманом; в своих очаровательных стихах, в которых он к нему обра-

щался, он говорил, что он его оденет или на свадьбу или перед смертью.

Хомяков, который это знал, одел ему кольцо на палец, когда он был уже в агонии.

В тот момент, когда он пришел в себя, он почувствовал перстень и спросил:

— Разве я женюсь?

— Нет, — отвечал торжественно Хомяков.

Тогда он залился слезами и умер спустя несколько часов.

И. П. Козлов — А. И. Тургеневу. Перевод с франц. письма. Лейпциг, 2/V 1827 г., «Рус. стар.» 1875, XII, стр. 748 — 749.

Доктор Раух, славный в то время в Петербурге, лечил больного, но без успеха, и 15 марта 1827 г. Веневитинов скончался на руках Ф. Хомякова и других близких людей.

А. П. Пятковский, Биограф. очерк, стр. 28.

..... Единственно к кому я ездила, так это к Вареньке Ланской.

В конце октября к ним приехал сын их ближней — Анны Николаевны Веневитиновой, рожденной княжны Оболенской. Молодой человек, начинающий поэт, которому Пушкин предсказал большую будущность. По приезде в Петербург, он был арестован, так как привез с собою из Москвы библиотекаря графа Лавала, француза Воше. Граф Лаваль был отцом молодой графини Трубецкой, последовавшей со своим мужем в Сибирь.

Француз Воше сопровождал в Сибирь княгиню Трубецкую, возвратившись оттуда он был в Москве, и княгиня Волконская, большой друг Веневитинова, попросила его ехать в Петербург вместе с Воше. Бедный молодой человек был арестован и его обвиняли в сообщничестве с декабристами. Я знала еще со слов Анненкова,¹ что Веневитинов принят в общество, что он вполне разделяет их благородные взгляды. Но он ничем не успел проявить себя. Во время его ареста мы боялись за него, хотя знали, что никто не проговорился об его принадлежности к обществу. Он был заключен в грязное и сырое помещение и, выйдя оттуда, долго хворал и не мог посещать

¹ Анненков И. А. (1801—1878) — декабрист, член Северного общества.

Архив коллегии иностранных дел, где он числился на службе.

Говорили, что он бежал из Москвы, страстно любя Зинаиду Волконскую, которая холодна к нему была, мы же знали другое. О принадлежности Веневитинова к обществу знали в Москве и кое-кто из судебной палаты, в особенности Л.¹

На самом деле все это так было.

Веневитинов жил у Лауских. Варенька² мне говорила, что он одарен разнообразными талантами.

Он прекрасно рисовал, любил музыку, был не только блестящим исполнителем, но и композитором. Стихи Пушкина, некоторые и свои он переложил на музыку.

Он читал в подлинниках творения латинских классиков. Способности его ко всему были поразительны.

Он долго поправлялся, так как был здоровья слабого, и я увидела его нескоро. . .

Это был красавец в полном смысле этого слова. Высокого роста, словно изваяние из мрамора. Лицо его имело кроме красоты какую-то еще прелесть неизъяснимую. Громадные глаза голубые, опущенные очень длинными ресницами, сияли умом. Голос его был музыкальным, в нем чувствовалось, что он очень хорошо поет, что потом и оказалося.

Он нам своим голосом, идущим из души, читал свои стихи.

В них он был весь — со своим блестящим, углубленным умом, ищущим познания истины, со своей чутко-нежной душой, возлюбившей все прекрасное.

Своим образованием, своим воспитанием он был обязан матери своей, женщине умной и очень хорошо образованной. У него были брат и сестра еще в Москве, он их горячо любил.

Дом его матери в Москве, на Мясницкой в переулке, был известен своими собраниями и вечерами. Дмитрий Владимирович рассказывал о чтении у них Пушкина своей трагедии «Бориса Годунова».

Столь разносторонне одаренный юноша был душой всех лучших наших обществ, где тогда приуныли душой, не считывая подле себя своих близких.

Я тогда уже не столько отдавала времени музыке и рисованию. Дома у нас были лихорадочные сборы Александры Григорьевны³ в Сибирь, но Веневитинов, страстно любя музыку, не раз просил меня у Лауских сыграть ему что-либо.

¹ Возможно гр. Ламбер, один из членов следственной комиссии, не раз намеками давал почувствовать это. Друзья Веневитинова посоветовали ему уехать в Петербург.

² Варвара Ивановна Лауская.

³ Муравьева А. Г., рожд. гр. Чернышева, жена декабриста Н. М. Муравьева.

У меня была тетрадь Бетховенских сонат, которые играл Грибоедов. Веневитинов впервые узнал их красоту. У Ланских Ленсберг тогда уже бывал чаще, чем у нас, и Веневитинов слышал его неподражаемое исполнение. У Строгановых устраивались музыкальные вечера, и там Веневитинов слышал 5-ю симфонию Бетховена в исполнении Ленсберга и моем.

Уже перед отъездом Александры Григорьевны в Москву, откуда она держала путь в Сибирь, Веневитинов опасно занемог, благодаря той еще незалечимой болезни, схваченной им в крепости, и умер.

Тело его было отправлено в Москву. Сколько скорби по поводу смерти этого великого юноши было!

В газетах и журналах была отдана дань молодому таланту. Ланские боялись за мать Веневитинова.

У Ланских сохранилось черновое неотправленное письмо Веневитинова к историку Погодину.

Когда я вышла замуж¹ и уезжала в Тверь, Варенька отдала мне его. Дельвиг просил его у меня себе на память, но я не отдала. Среди записок Грибоедова, писем Николая² и Василия,³ и моей дорогой, никогда не забвенной святой Александры Григорьевны храню я письмо это.⁴

Святостью, нездешним миром веяло от этого юноши, потому он так скоро и покинул этот мир.

Подозрительность нашей полиции была причиной его смерти, и они отдадут за него ответ творцу нашему.

Екатерина Федоровна⁵ хлопотала об отсылке его тела в Москву. Это женщина, сама потерявшая своих сыновей, правда живых.

Тело Веневитинова увезли. Варенька мне после сообщала, что за рассудок Анны Николаевны боялись.

Вспоминается мне этот юноша всегда грустный, душу его ела тоска. В каждом знакомом доме он видел горе родных и близких.

Отцы, братья, мужа были в крепости.

После того как забрали Сашу, Никиту,⁶ и всех прочих, я не знала дня радости. А когда Александра Григорьевна уехала к Никите, еще хуже стало. Мою радость унес Василий, после

¹ П. Н. Лаврентьева вышла замуж в 1828 г.

² Н. А. Бестужев (1791—1840) — декабрист.

³ В. В. Стремской, поручик л.-гв. Финляндского полка, жена — П. Н. Лаврентьевой, ум. в 1824 г.

⁴ Последнее письмо Д. В. Веневитинова (№ 43).

⁵ Е. Ф. Муравьева, рожд. бар. Колокольцева, жена М. Н. Муравьева.

⁶ А. М. и Н. М. Муравьевы — декабристы.

чего я не смеялась. Саша,¹ Николай,² Саша,³ я молюсь о вас, молю господа, чтоб он щадил вас, дойдет ли до него моя молитва?

Сколько раз говорил мне молодой Веневитинов, что он тоже был должен быть с вами в Сибири, а не жить в Петербурге, но Варенька всегда утешала его и говорила, что еще много членов общества не хотели открыть сидящие в крепости и не открыли. Помню его грустные глаза, его ресницы, какие едва нашлись бы еще в мире, и помню слезы, когда вспоминали о Рылееве. Он жил в флигеле у Ланских, к нему хаживал туда Дельвиг.

.....

Неизд. записки Полины Николаевны Лаврентьевой.
Собств. А. А. Бахрушина. Сообщено М. Ю. Барановской.

По поступлении моем в Военно-строительное училище путей сообщения, на первой неделе великого поста в 1827 г., Дельвиг мне прислал горестное известие о неожиданной смерти Веневитинова, умершего 15 марта, на 22 году от рождения. В первое воскресенье, когда я был отпущен из училища, я нашел Дельвига в большом горе.

Бар. А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. I, стр. 53.

М а р т 19. Приходит Рожалин и подает письмо. Неужели так! ревел без памяти. Кого мы лишились? Нам нет полного счастья теперь! Только что соединился было круг, и какое кольцо вырвано. Ужасно, ужасно!

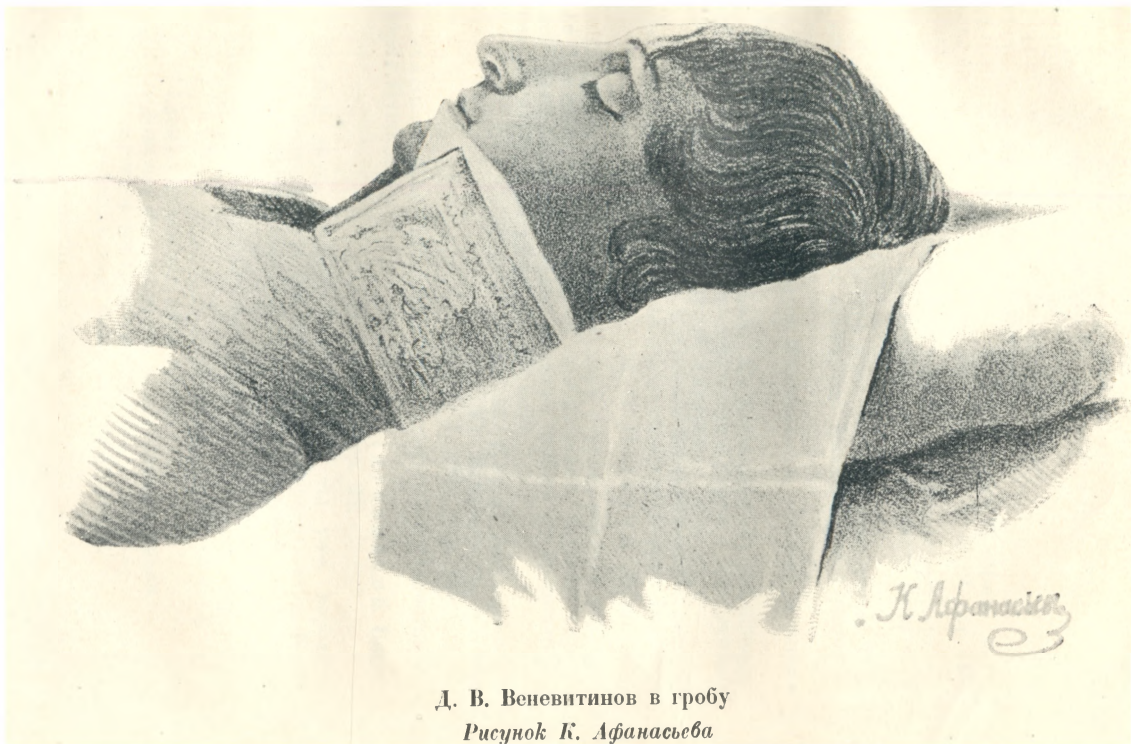
М. И. Погодин, Дневник. Барсуков, II, стр. 91.

Блеснул он мне, как луч прелестный мая,
Пронел он миг, как майский соловей,
И ни любви, ни славе не внимая,
Он воспарил в страну мечты своей.
Не плачь о нем, заветный друг поэта!
Вне жизни, он из мира не исчез:
Он будет луч божественного света,
Он будет звук гармонии небес.
Благословим без малодушных слез
Его полет в страны эфира,

¹ А. М. Муравьев.

² Н. А. Бестужев.

³ А. И. Одоевский, кн. (1803 — 1839)—поэт, декабрист.



Д. В. Веневитинов в гробу
Рисунок К. Афанасьева

Где вечна мысль, где воздух слит из роз,
И вечной жизнью дышет лира!
Друзья! он там как бы в семье родной,
Там ангелы его целуют,
Его поят небесною струей
И милым братом именуют.

В. Гуманский, «Моск. вестник» 1827, ч. 3, № 12, стр. 318.

Март 20. Соболевский был у меня — повторил ему горечь. Он зарыдал. Сказал А. И. Трубецкой. Его одного почитал я достойным иметь эту руку.

Март 21. Тоска. Печатное известие о Веневитинове. Чего лишились в нем наука и отечество? Какой чудный человек! бог мой! бог мой!

Март 23. К Ал[ексandre] Ив[ановне] и говорил о нашем Дмитрии с чувством.

Март 26. К Трубецким. С Ал[ександрой] Ив[ановной] «Дмитрий покажет мне все там, когда я умру». — Нет, это мое дело, я не уступлю никому. О Дмитрии.

Март 27. У Пушкина, у Алексея Веневитинова. С сестрой говорил. Корнелий рассказывал подробности о смерти Дмитрия.

М. П. Погодин, Дневник.

Я рассказала [Пушкину] о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт...

А. П. Керц, Воспоминания. Ред. Ю. Верховского, «Academia», Л. 1929, стр. 266.

«Comment donc l'avez vous laissé mourir?»¹ — с горечью говорил Пушкин.

А. П. Пятковский. Биограф. очерк, стр. 28.

Милый друг, бедного Веневитинова ты уже, вероятно, оплакал. Знаю, смерть его должна была поразить тебя. Какое соединение прекрасных дарований с прекрасной молодостью.

Дельвиг—Пушкину 21/III 1827 г. Пушкин, Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 73.

Сложил художник свой резец.
«Доволен я!» — гордясь своим произведением,
В восторге говорит творец.
«Все чисто в нем, совершено с умением:

¹ Как вы допустили его умереть?

И стиль, и форма... все! Достойным приношеньем
 Возможно мне почтить богов!..»
 Схватив фиал, он к храму поспешает,
 Свое созданье посвящает,
 И бог, почтенный им, склоняется с приветом
 Над жертвой дорогой, плодом его трудов.
 Идет во храм толпа, любуется предметом
 Искусства и в него кладет свои дары:
 Утехи чистые младенческой поры
 И звонкий смех забав и наслаждений.
 Мечта в него вверяет долгий взгляд
 Из-под тумана сновидений;
 Лучи того огня, которым светит гений,
 На нем искрятся и горят...
 Но все исполнено, и грозными шагами
 Смерть близится, стучащая костями.
 И перед ней со страхом все бежит.
 Пустеет храм... Безжалостной косою
 Все разрушается — и, жертвою святою
 Наполненный, фиал могилою сокрыт.

К. п. Зинаида Волконская,
 Перевод с франц. М. Веневитинова.

Горькими слезами омочили мы сие стихотворение.¹ Незабвенный друг наш чудесным образом предрек свою судьбу. Через неделю после отправления к нам из Петербурга «Элегия» он (на 22 году от роду) занемог нервной горячкою, которая в восемь дней низвела его в могилу.

Как знал он жизнь! Как мало жил!

Оставшиеся сочинения его показывают, чего ожидать от него должны были наука и отечество.

Друзьям его — не иметь уже полного счастья.

«Московский вестник» 1827,
 ч. II, № VII, стр. 220.

Душа разрывается. Я плачу, как ребенок.

К. п. В. Ф. Одоевский —
 В. Титову, А. П. Пятковский,
 Биогр. очерк, стр. 28.

Немудрено, что ты плачешь; я не привык плакать, но не могу вспомнить о нем без слез — чем больше о нем думаю, тем горче мне его потеря, — не думаю, чтобы мое счастье в жизни могло быть с этой поры без примеси грусти. Третьего дня сказали бедной матери — только нынче она начала

¹ «Поэт и друг», стих. Веневитинова (Элегия).

пикать. Именем покойного прошу тебя описать мне немедленно все подробности, что знаешь о последних его минутах, о болезни, о месте погребения. Все, что знаешь, опиши мне. Это для тебя будет тягостно — но тебя просят об этом все наши и его друзья; ты их и меня утетишь.

В. П. Титов — кн. В. Ф.
Одоевскому 22/III 1827 г.
Бумаги Одоевского, 1869.

Умирающий художник

На смерть Веневетинова

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились;
И музы юношей гордились,
И говорили: «он поэт!»
Но нет; едва лучи денницы
Моей коснулись зеницы —
И свет во взорах потемнел;
Плод жизни свеян недоспелой.
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною недопетой,
Не дозвучит в земных струнах,
И я, в нетление одетый —
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, — где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

Кн. А. П. Одоевский,
Стихотворения, изд. бар. Ро-
зена, 1883, стр. 36, 37.

Все впечатленья в звук и цвет,
И в слово стройное теснились;
И Музы юношей гордились
И говорили: он поэт!
Но только первую страницу
Заветной книги он прочел,
И вечный сон затмил зеницу,

Где мир так нежно, пышно цвел;
И замер вздох задумчивой печали
С вопросом жизни на устах.
Зачем же струны так дрожали?
Чего они не дозвучали,
Он допоет на небесах!
Но на земле, где в яркий пламень
Огня души он не излил,
Он умер весь, и грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На охладевший череп ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира
И не успел он в ясный звук
Излить его душой разгаданного мира.

Александр Одоевский
(Письмо к тетке из Сибири).

Какое глубокое и проникающее горе овладело Алексеем [Веневитиновым], когда он узнал о смерти Дмитрия Владимировича.

И. В. Киреевский, Полн.
собр. соч., М. 1911, т. II, стр.
290.

Эта смерть нас ужасно поразила и огорчила. Мы отнесли его у Николы Морского и тело его отравили в Москву.

А. И. Кошелев, Записки,
стр. 22.

Жаль Веневитинова и его бедной матери. Княгиня Зинаида всякой день у ней.

И. И. Дмитриев, 28/III
1827 г. «Москвитянин» 1844,
№ 7, стр. 49.

Как ты поживаешь, милая Софи? Хорошо ли спала мама? Погода так ужасна, что я не знаю — смогу ли я приехать сегодня; если она немного исправится, вы меня увидите, но не раньше обеда. Если же нет — то завтра наверное. Плакала ли она [мать]? Спали ли вы и отдохнул ли Алексей? Мы много говорили вчера о бедном Дмитрие. Это — общее сожаление. Целую вас от всего сердца.

З. В[локовская].

P. S. Вот письмо моей belle-mère Белосельской, которое, причиняя боль, делает вам лучше.



Могилы Д. В. Веневитинова в Симоновом монастыре
в Москве

Первоначальный памятник

Сообщите его маме.

Кн. З. А. Волконская —
С. В. Веневитиновой
(перев. с франц. письма). И. Ку-
басов, Литературные порт-
фели. «Атеней», СПб. 1923,
стр. 86 — 89.

Кусты акации густою стеной защищают с севера и юга огороженную железной решеткой площадку, на которой похоронен столь рано скончавшийся поэт.

Площадка находится почти рядом с южной стеной Никольского корпуса, а могила Д. В. Веневитинова лежит в северо-восточном ее углу.

На скошенной по сторонам большой плите из серого камня лежит массивная плита из розоватого камня, на верхней стороне которого широкими медными литерами, врезанными в поверхность камня, изображена надпись.

В. л. А н о ф р и е в, Могила рус-
ских писателей в Москве,
«Рус. вед.» 1915, № 223.

Под сим камнем погребено тело

Димитрия Владимировича
Веневитинова

Родившегося 1805-го года сентября 14-го дня

и

Скончавшегося 1827 года марта 15-го дня
в 5 часов утра

от роду ему было 21 год 6 месяцев и 1 д.

Как знал он жизнь
Как мало жил.

(Надпись на надгробной плите
сделана значительно позже. Пер-
вый памятник см. на снимке).

Здесь юноша лежит под хладною доской;
Над нею роза дышет —
А старость дряхлою рукой
Ему надгробье пшшет.

И. Дмитриев

Еще есть здесь одно место среди гробов... много на нем про-
шло чрез душу мою дум и чувств: то место в изголовьи
поэта Веневитинова, который так мало жил и знал так жизнь;

здесь я помню вечно свежий венок на его могиле, и помню слезы, которые окропили ее и канули в вечность...

Венок из свежих цветов с начала весны до глубокой осени сменяется другим венком. — и я никогда не видал его над гробного камня без этого поэтического украшения.

В. В. П а с с е к, Истор. описание Моск. Симонова монастыря, М. 1843, стр. 36—37, 113.

Сбылись пророчества поэта,
И друг, в слезах, с началом лета
Его могилу посетил.
Как знал он жизнь, как мало жил!

Венеvитинов, Поэт и друг,
стр. 120.

Апрель 7. У Веп[евитиновых] читал оставшиеся стихи Дмитрия.

М. П. П о г о д и н, Дневник,
стр. 159.

Желанные подробности сообщил мне Хомяков. Теперь должно думать о сочинениях умершего; за издание их, кажется, возьмется Рожалин. Память Венеvитинова должна соединить нас еще крепче... Прощай, покуда, друг Одоевский; не унывай, и мы не унываем: в несчастии и должно показать себя.

В. П. Т и т о в — В. Ф. О д о е в с к о м у 12/IV 1827 г. Бумаги кн. Одоевского, 1869.

Май 1. Поминал о милом Дмитрии,

М. П. П о г о д и н, Дневник,
стр. 160.

Неисповедимы пути судеб! Венеvитинову все дала природа; жизнь обещала ему радости, счастье — и могила была уделом его, уносившего во гроб надежды отечества, радость родной семьи и всех знавших его.

«Моск. телеграф» 1829, № 2,
стр. 223.

Разговор на гробе поэта

Посетитель

Веди меня, честной отец,
На гроб священный, где певец
Уснул так рано вечным сном.

Пустынный

Но говорите вы о ком?

Посетитель

Где Веневитинова гроб?

Пустынный

Ну, как не знать! да, вот сугроб...

Вон, за решеткою простой,

Весь снегом занесенный камень.

Посетитель

И не горит священный пламень

На гробе том, где ты сокрыт,

Любимец девственных Харит!

Пустынный

Ведь он схоронен здесь недавно,

Нам матушка его исправно

Гостицы возит, дай бог ей!

М. Лихонин, «Телеграф»
1829, № 9, стр. 40.

При сем найдете стихи Димитрия. Вы знаете, что он ощущал часто в себе необходимость выражаться стихами, или лучше — каждую минуту жизни обращать в поэзию. Стихов прилагаемых ни у кого нет, кроме меня. Один написал он, встречая у меня новый год;¹ другие на моей нотной книге, на которой Скарятин нарисовал богиню с пятью звездами.² Могу также доставить музыкальное произведение Димитрия. Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства.

Кн. В. Ф. Одоевский — М. П.
Погодину, Барсуков, П,
стр. 91.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

А. П. Керн, Воспоминания.
Ред. Ю. Верховского, «Academia», Л. 1929, стр. 266, 268.

¹ «На новый (1827) год».

² К изображению «Урании».

14 декабря слишком глубоко отделило прошедшее, чтобы можно было продолжать предшествовавшую ему литературу.

Уже на другой день этого великого дня мог притти молодой человек, полный фантазии и идей 1825 г., Веневитинов. Отчаяние, как и боль от раны, наступает не тотчас. Но едва только он произнес несколько благородных слов, как исчез, подобно цветам под более теплым небом, умирающим от мерзлого дуновения Балтийского моря.

Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере. Нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи; нужно было с детства привыкнуть к этому резкому и непрерывному холодному ветру; надо было приспособиться к неразрешимым сомнениям, к горчайшим истинам, к собственной немоцности, к постоянным оскорблениям каждого дня; надобно было с самого нежного детства приобрести навык скрывать все, что волнует душу, не растерять того, что хранилось в ее недрах, — наоборот, надо было дать вызреть в немом гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из-за гуманности, надо было обладать беспредельною гордостью, чтобы высоко держать голову, имея цепи на руках и ногах.

А. И. Герцен, Литература и общественная мысль после 14 декабря 1825 г., Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, П. 1919, т. VI, стр. 372—373.

Недалеко от могилы Вадима [Васильевича Пассек] покоится другой прах, дорогой нам, прах Веневитинова.

А. И. Герцен, Былое и думы, Соч., т. XII, стр. 134.

В альбоме моем, сделанном для портрета Веневитинова и подаренном мне его приятелем Хомяковым после его смерти, Дельвиг написал мне свои стихи к Веневитинову: «Дева и роза».

А. П. Керн, Воспоминания, «Academia», Л. 1929, стр. 331.

Д е в а

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался!
Розе подобный красой, как Филомела, ты пел,
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен.
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Р о з а

Дева! не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим;

Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила.
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой!

А. Дельвиг, 1827. На
смерть Веневитинова. Под-
линник в Пушк. Доме, «Сев.
цветы» 1828.

О к т я б р ь 9. Обедал у Веневитиновых. За обедом думал
о Дмитрие. Ах, боже мой, кого недостает у них в семействе

М. П. П о г о д и н, Дневник.

Н а н о в ы й 1828 г о д

Пробил полночи час туманный,
Сын времени свершил свой ход,
И вот в приют мой, гость незванный,
Спустился тихо новый год.
Слетая в мир, он ждал привета
И света плеском встречен был.
Но что же? Стройный глас поэта
Его досель не освятил?
И он с улыбкою лукавой:
«Чего ты просишь?» мне сказал,
«Я подружу тебя со славой,
Дам кучу злата!» Я молчал.
«Я утолю твои печали»,
Шепнул он с ласковым лицом,
«И сердца грустные скрижали
Забвенья смою я ручьем.
Ты вспоминая прежние утраты,
Как помнят сон с восходом дня:
И вновь, надеждами богатый,
Полюбишь жизнь!» Оставь меня.
Ты слышишь там рукоплесканья,
Веселье, шумные пиры:
Поди там сыпать обещанья,
Там расточай свои дары.
Давно ль, когда твой брат коварный
Мне те же речи говорил
Я жертвой песни благодарной
Его приход благослови?
И что ж? Питомец вдохновенья,
Мой друг, мой брат был взят землей,
И чистый гений песнопенья
Любимый храм покинул свой.
Но многим горесть утолится,
Ты многим счастье можешь дать;

Но что в груди певца таится,
Того не в силах ты отнять.
Не как другие дни проводит
Душа, любимица мечты:
В ней как в воде резец проходит,
Как в камне вечны в ней черты.

А. С. Ломяков

В марте 1828 г. Пушкин уже был в Москве, и день годовщины смерти Дмитрия Владимировича Веневитинова провел в семействе покойного, где был и Погодин.

Барсуков, II, стр. 184.

На кончину Веневитинова

Отри слезу, мой друг, я с небом примирен,
Земный ярем упал с моих рамен,
К лучам нетленные денницы
На крыльях светлых голубицы,
В полете цепи сокруша,
Царит бессмертная душа.
Прости! в шал певец, в болезненном шептанье
Из сердца вырвалось о ма ери стенанье.
На трепетных устах дрожащий замер глас,
И в голубых очах последний луч погас, —
Не плачь о нем, о, друг, навек осиротель,
Завиден юноши прекрасного удел!
От бранные земли, как лебедь снего-белый,
Стремился в жизни он в таинственный предел.
И песнью звучною кончину предвещая,
На сетующий мир воззрел с улыбкой он.
И жертва чистая — к лугам родного края,
Как лебедь улетел твой кроткий Агатон.

П. Ободовский, «Славянин»
№ 32, стр. 179. 1829, ч. XI,
№ 31 — 32, стр. 179. «Галатея»
1829, ч. IV, № 18.

15 марта 1829 г. В Симонов монастырь, на могилу Дмитрия, молился об его упокоении, звал дух его к себе и Сашеньке. Обедали вместе у Алексея. Читали письма Дмитрия, говорили о нем.

М. П. Погодин, Дневник.
Барсуков, II, стр. 306.

14 апреля 1829 г. Напишу я письмо к ней¹ еще. Что она не пишет, бессовестная? Подарил ей сочинения Дмитрия

¹ Кн. А. И. Трубецкой.

Веневитинова в именины, с собственным завещанием, нет — жертвоприношением.¹

М. П. Погодин, *Дневник*.
Барсуков, II, стр. 322.

Вдох на могиле Веневитинова

Какие думы в глубине
Его души таились, зрели?
Когда б они сказались вполне —
Кого б мы в нем, друзья, узрели?
Но он, наш северный поэт,
Как юный лебедь величавый
Средь волн, тоскуя, песню славы
Едва начал и стих среди юных лет.

А. В. Кольцов, 1830. Стихотворения, 1880, стр. 164.

Однажды, обедая вместе с Трубедкими у Черткова, Погодин захватил с собою стихотворения Д. В. Веневитинова, в которых подчеркнул слова:

«Не отдавай души своей на жертву»² и подарил их княжне Трубедкой, а та хотела подчеркнуть для него несколько стихов из «Поэта», но сие несколько не помешало ему сознавать, что она к нему «охладела».

Барсуков, II, стр. 324.

Слезы навертываются на глазах при мысли, какого человека лишилась Россия, и притом в таком возрасте, когда ум его только что начинал укрепляться в самостоятельности, после трудного и примерного чтения. Мы, как сквозь светлый покров, видели в сочинениях Веневитинова ум его, обогащенный любознательностью, и сердце, пламеневшее любовью к человечеству и отечеству. Во всех отрывках его отражаются начитанность и глубокое познание предметов, на которые наше юношество обращает внимание весьма слабое. Веневитинов был, поистине, феномен в наше время. С ним исчезло много надежд. Память его должна быть священной для русского сердца!

Ф. Б[улгарин], «Сев. пчела»
1831, № 75.

Могилы поэта

Посвящается памяти Веневитинова

Путник, узнай: здесь лежит Аонид вдохновенный питомец
Грудь молодую певца огонь вдохновения сжег.

¹ Стихотворения Веневитинова: «Завещание» и «Жертвоприношение».

² Цитата не точна. Следует: «Не отдавай души моей» (стих. «Моя молитва»).

Путник! Бессмертные дорого ценят небес достоянье!
Тяжко страдал Прометей, хищник святого огня!

М. Л. Деларю, «Сев. цветы»
1831, стр. 80.

Рядом с Пушкиным также стоит другой Ленский: то был Веневитинов, чистая поэтическая душа, задуманная в двадцать два года грубыми тисками русской жизни.

А. И. Герцен, Полн. собр.
соч. под ред. М. К. Лемке, II,
1919, т. IV, стр. 357.

Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или регистр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распутившись, спеша оставить жизнь.

*Là sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente a cui il morir non duolo*¹

Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет. «Горе, — говорит писание, — народам, которые побивают камнями своих пророков», — но русскому народу нечего бояться, так как ему нечего прибавлять к своей несчастной судьбе.

А. И. Герцен, Полн. собр.
соч. под ред. М. К. Лемке, II,
1919, т. IV, стр. 359.

Не умер ли Бестужев-Рюмин? Говорят, холера уносит пьяниц. С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов² жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным.

Перечитывал я на-днях письма Дельвига, в одном из них пишет он мне о смерти Д. Веневитинова: «Я в тот же день встретил Хвостова, — говорит он, — и чуть не разругал его: зачем он жив?» Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово: Хвостов и меня переживет. Но в таком случае именем нашей дружбы заклинаю тебя его зарезать — хоть эмиграндой.

А. Пушкин — Плетневу
3/VIII 1831 г., Соч. Пушкина
под ред. Морозова, СПб. 1887,
т. VII, стр. 286—287.

¹ Там, в дни короткие и туманные, рождается народ, которому умирать — не горе.

² Хвостов, Дм. Ив., гр. (1757—1835).

Поэт! и я цветок надгробный
На ранний гроб твой принесу;
Твоей души святой, не злобной,
Я понял тихую красу;
От любопытных наблюдений,
Как луч небесный, ускользнул
Твой кроткий, твой бесстрастный гений
.....

Как в улье неповитый рой,
Твои мечты в тебе звучали,
И взор небесно голубой
Сиял, как ангел без печали.
Так Волга, добрая река,
Тиха, светла и глубока.
А я... я признаком бессилья
Твое спокойствие почел.
Но ты в гнезде скрывал, орел,
Неоперившиеся крылья:
Твой миг настал — ты к небесам —
И я орла увидел там!..

Три лунный, «Литер. газет» 1831, т. II, № 22, стр. 177.

Я никогда не позабуду одной ночи, проведенной мною в лагерях.¹ Все вокруг меня спало, все было тихо; луна освещала все дальнейшее пространство, покрытое лагерем. Я с одним из товарищей своих, с которым мы занимали одну палатку, стал читать стихи покойного Веневитинова и письма его к какой-то графине.² Эта чудная ночь, это небо, покрытое звездами, трепетный и таинственный блеск луны и стихи этого высокого, благородного поэта потрясли меня совершенно. Все это наполняло меня каким-то грустным, каким-то томительным блаженством.

Мих. Бакунин — отцу, 1833.
А. Корнилов, Молодые годы
М. Бакунина, изд. Сабашниковых,
М. 1915, стр. 54.

Чудесный жребий песнопенья
Младую жизнь его венчал,
И дольней жизни огорченья
Небесным светом прояснял.
Любил он чары вдохновенья,
Его делал чудный сон,

¹ Бакунин был произведен в офицеры в 1833 г.

² Гр. N. N. — кн. А. И. Трубецкой (о философии).

И светлые его виденья
Невинны были — как и он.
Объят невольною тоскою
Под сенью кипарисных дров,
Как часто там ночной порою
Он слушал соловья напев.
Там он мечтал, как вдохновенный,
И слышен был невнятный стон...
Его мечты не стоит он,
Сей свет, развратом упоенный.
Ах, рано времени рука
В нем прояснила ум игривый;
С тех пор невольная тоска
Терзала дух самолюбивый,
И он угас в своей весне!..
Его манил незримый гений
Толпой приветливых видений
К своей надзвездной вышине,
На землю брошенный судьбою,
Он музе жизнь свою дарил
И непритворною мечтою
Венец бессмертия купил.
У рощи, где его гробница,
Я видел утренней порой
Поет пернатая певича
И плачет друг его молодой.

А. II[—й]

«Мое новоселье», альманах на
1836 г., изд. В. Крыловским,
1836, стр. 115 — 117.

Кубенский¹ был решительно поэт,
Каких еще немного мы видали;
Умен, учен и двадцати трех лет
Он понял жизнь, на мир глядел глубоко,
Великое и доброе постиг:
Трудолюбив, прочел он груды книг,
Знал языки, стоял бы он высоко
В словесности. Ах, братцы, жаль его!
Нежданная, ужасная утрага!
Мы все его любили так, как брата,
Как гения, поэта своего!
И вдруг он умер!..
.....

¹ Под именем Кубенского выведен Д. Веневитинов.

Кубенский был нам честь и прославленье
Роскошный цвет привольного житья;
Он сочетал в себе познание света
С ученостью, свободу юных дней
И верный взгляд на жизнь и на людей
С веселостью и пылкостью поэта!
Был чист душой — пусть встретит радость там!..
Хвала ему и мир его костям!..

Н. М. Языков, «Встреча нового года» [Отзыв о Веневитинове], 1840.

Природа вновь цветет и роза негой дышит
Где ж юный наш певец? — увы! под сей доской;
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет.

И. Дмитриев, «Москвитянин» 1842, т. II, № 4, стр. 294.

Могила Веневитинова

Твой гроб меж чуждыми гробами
Едва знаком одним друзьям,
Поклонники к твоим костям
Не собираются толпами;
Никто не шел твоей стезей
В пустынях суетного света,
На зов души, на голос свой
Ты не нашел себе ответа.
С последним ропотом струны
Пред говорливою молвою
Сокрылась песнь твоя с тобою
Под кров могильной тишины.
Но не падет престол поэта;
На нем воссядет новый царь,
И простоит до смерти света
Тобой воздвигнутый алтарь.

«Москвитянин» 1842, т. IV, № 8,
стр. 245.

Двадцать пять лет собирались мы остальные в этот роковой день 15 марта в Симонов монастырь, служили панихиду, и потом обедали вместе, оставляя один прибор для отбывшего друга.

М. П. Погодин, Дневник.
Барсуков, II, стр. 92 — 93,

Любезный друг, Михаил Петрович!

15 марта оставшиеся в живых друзья покойного брата Дмитрия Владимировича собрались в сороковой раз в церкви для совершения заупокойного служения и в тот же день обедали у меня. Мы послали к вам, московским друзьям, телеграмму, подписанную Вяземским, Титовым, Комаровским, Ознобишиным и мною. Телеграмма, отправленная по адресу Одоевского, обращалась к нему, к тебе, к Соболевскому, Кошелеву и А. П. Елагиной. Не знаю — доставлена ли она всем вам по принадлежности. Между тем, вот стихи, прочтенные Д. П. Ознобишиным по сему случаю:

Нас всех собрала здесь утрата;
Десятки лет с тех пор прошли;
Но память милого собрата,
Певца мы память сберегли.
Кружок друзей его столь тесен:
Одни вдали, других уж нет!
Но вечен мир высоких песен
И с ними вечно жив поэт;
Сегодня церковь совершила
О нем молитвенный обряд —
Не все ж с собой взяла могила!
Душа бессмертна... Вслух звучат
Для нас воздушной арфы струны,
Знакомый слышится нам глас
И, мнится, сам он, свеж и юный,
Как бы присутствует среди нас!..
Смирим же скорбь, и PROVIDENЬE
За жизнь его благословим;
За то, что мы, хоть на мгновенье,
Могли порадоваться им!

А. В. Веневитинов — М. П.
Погодину 15/III 1867 г., жур-
нал «Русский» 1867, № 7 и 8,
стр. 110 — 111.

СУДЬБА МОГИЛЫ ВЕНЕВИТИНОВА

Века промчатся, и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит.

Д. В. Веневитинов

Ставший в 1930 г. перед Сектором Науки НКП вопрос о разрушении и сносе Симонова монастыря для постройки на его месте Дворца Культуры поставил перед Комитетом по охране памятников выдающихся деятелей вопрос о пере-

носе останков Д. В. Веневитинова на новое кладбище б. Ново-Девичьего монастыря.

Симонов монастырь в конце января 1930 г. был взорван и снесен. После получения вышеназванным Комитетом разрешения на эксгумацию праха Веневитинова, 22 июля 1930 г. было приступлено к вскрытию останков.

Прибывшие с утра в этот день на место Симонова монастыря для извлечения праха Веневитинова начали взламывать фундамент надгробной плиты. Плита при взрыве и сносе монастыря была разбита и сброшена с места.

Больших трудов стоило освободить могилу от фундамента, и только в 1 час дня приступили к разрытию.

На протяжении 2½ аршин в глубину могила была засыпана кирпичным щебнем. Только в 2 часа 30 минут приступили к пробивке склепа. В выбрасываемой почве попадались остатки газетовой обивки гроба. По извлечении грунта, обильно заполнившего могильный склеп, обнаружилась свинцовая крышка гроба, совершенно вдавленная внутрь.

В 4 часа дня извлекли на веревке свинцовый гроб с частично сохранившейся крышкой. Гроб находился на глубине значительно большей, чем обыкновенно. Снятие крышки обнаружало в гробу прекрасно сохранившийся костяк. В ногах лежали две кожаных подошвы от туфель. Череп хорошо сохранился, за исключением нижней челюсти. Обратили внимание хорошо сохранившиеся прекрасные белые зубы. Череп Веневитинова удивил антропологов своим сильным развитием. Руки были вытянуты и лежали вдоль бедер. Поразила музыкальность пальцев. С безымянного пальца правой руки был снят бронзовый перстень, принадлежавший поэту.

Праха Веневитинова вместе со свинцовым гробом, прикрытый остатками свинцовой крышки, был положен в специально для того заготовленный, просмоленный и наполненный опилками ящик-гроб.

В 4 часа 15 минут работа по извлечению праха была закончена. В 5 часов вечера подвода, присланная из крематория, с ящиком-гробом Веневитинова, выехала со двора монастыря по направлению к б. Ново-Девичьему монастырю.

В 7 часов вечера подвода прибыла в ограду Ново-Девичьего кладбища и остановилась у приготовленной утром могилы. На останки были возложены цветы. В 7 часов 30 минут гроб Веневитинова опустили в могилу.

М. Ю. Барановская

КОММЕНТАРИИ



Д. В. Вепевитишов
Портрет работы А. Брызгалова

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ

1. К друзьям

Стихотворение написано в 1821 г., т. е. когда Веневитинову было 16 лет. Если не считать переводов из Вергилия и других, написанных еще ранее, — является первым стихотворным опытом поэта. Напечатано впервые после смерти автора, в собр. соч. Д. В. Веневитинова, изд. 1829 г., ч. I, стр. 1. Текст дается нами по этому собранию.

2. Два отрывка из неоконченной поэмы

Сюжет поэмы заимствован из истории г. Зарайска (уезд. город б. Рязанской губ. при р. Осетре, притоке Оки), жестоко пострадавшего в первое нашествие татар. В раннем детстве Веневитинов был в Зарайске и воспользовался устным преданием для своей поэмы: зарайскому князю Федору Батый предложил отдать ему в наложницы молодую жену князя Евпраксия. В случае несогласия Батый грозил ему разорением города. Федор не согласился, был бой, и Федор был убит. Евпраксия, не дожидаясь позора, сбросилась с городской стены вместе с младенцем. Материалы об этом имеются в «Истории государства Российского» Карамзина (А. П. Пятковский, «Биографический очерк Д. В. Веневитинов», в собр. соч. 1862 г., стр. 9—10). Напечатано впервые в собр. соч. Д. В. Веневитинова, изд. 1829 г., стр. 10 (первый отрывок) и 12 («второй» отрывок) под датой 1824. А. Пятковским отнесено к 1822 г., что верно

3. К друзьям на новый год.

Стихотворение написано на 1823 г. Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 6—7. Упоминание о «Петропольских затеях» относится, по видимому, к тем из друзей Веневитинова, которые по окончании университета перешли на службу в Петербург.

4. Освобождение скальда. Скандинавская повесть.

Напечатано впервые с подлинной рукописи, хранившейся

у А. П. Пятковского, Н. Лернером в журн. «Рус. стар.» 1914 г., № 4, стр. 120—127. Рукопись занимает тетрадь в 7 листов в четвертку. Текст белой, с немногочисленными поправками. На первой стр. — «Освобождение скальда», на третьей — «Освобождение Эгила». По содержанию, по форме стиха, еще неумелого, но уже кое-где содержащего блесками таланта, принадлежит к ранней молодости Д. Веневитинова. От поэмы веет полудетской наивностью и вообще она — из последних отголосков литературной чувствительности, самым сильным проводником которой в России был Оссиан, с его меланхолическими богатырями, мечтательными певцами, нежными девами и т. д. Между «Освобождением скальда» и другим «оссиановским» стихотворением Веневитинова — «Песнь Кольмы», написанным в 1822 г., разница во всех отношениях так ощутительна, — говорит Н. Лернер, — что мы едва ли ошибемся, если отнесем поэму к 1818—1820 гг., когда Веневитинову было 14 или 15 лет. Несмотря на всю авторитетность Н. О. Лернера, мы склонны относить время написания этой поэмы к 1822—1823 гг., т. е. к тому времени, когда Веневитинов интересовался Макферсоном и переводил из него. В собр. соч. Веневитинова включено нами впервые. См., кроме того, прим. к стих. «Песнь Кольмы» на стр. 447.

Скальд — древне-скандинавский народный певец.

Аврора (лат., утренняя заря) — римское имя греч. богини Эос.

Перун — древне-славянский бог грома и молнии.

Бард — певец и слагатель песен у кельтских племен.

Борей — северный ветер у древних греков и его мифическое олицетворение — крылатый бог.

5. *К. И. Герке* (при послании трагедии Вернера).

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 33—35 (даты нет.) В собр. соч. 1862 г. помещено А. П. Пятковским среди стихотворений 1824 г., где оставляем его и мы.

Герке — гувернер Веневитинова.

Вернер Захария (1768—1823) — немецкий писатель-романтик, автор многочисленных исторических драм и стихотворений.

6. *Послание к Рожалину* («Я молод, друг мой...»).

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 36—37, под датой 1825. Отнесено А. П. Пятковским к 1821 г., что, по нашему мнению, вероятнее. Рожалин Н. М. (1805—1834) — знаток греческой, латинской и немецкой литературы, близкий друг Веневитинова, в начале знакомства оказывал на поэта большое влияние. Некоторые произведения свои Веневитинов написал по его совету, напр., отрывок «Европа» из Геерена. Рожалин сам переводил Геерена («О древней торговле», «О Ма-

забарате», напечатано в «Моск. вестнике» 1827 г.), а также Гёте (роман «Страдания молодого Вертера» напечатан в изд. А. Елагина 1828—1829 гг.). Послание к Рожалину «носит на себе признаки какого-то наследственного байронизма, — говорит А. П. Пятковский, — что объясняется тем, что поэт был действительно обманут одним близким человеком, долго скрывавшим свой настоящий характер» (Биограф. очерк к собр. соч. Д. Веневитинова, изд. 1862 г., стр. 11).

7. *Смерть Байрона* (четыре отрывка из неоконченного пролога).

План этого пролога неизвестен (примечание к нему в собр. соч. изд. 1829 г., на стр. 22), но «самая мысль, — как говорит А. П. Пятковский, — заставить умереть Байрона в борьбе за свободу чуждой нации, показывает, что Веневитинов умел видеть его в самом поэтическом свете, как бойца за угнетенное человечество» (Собр. соч. Веневитинова, изд. 1862 г., стр. 10). Отрывки, за исключением разве первого из них, очевидно набросаны вчерне, на скорую руку.

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 22—26, под датой 1825. А. П. Пятковским отнесено к 1823 г.

Байрон, лорд Джордж-Ноэль-Гордон (1788—1824) — английский поэт, отправился в Грецию для участия в национально-освободительной войне против Турции в 1823 г., умер же в 1824 г., почему мы считаем хронологию посмертного собр. соч. более правильной.

Э в р — восточный ветер.

А л ь б и о н — древнее кельтское название Англии.

Б е р е г Х и о — остров Хиос в Эгейском море.

8. *Песнь Грека*

По сюжету и времени написания примыкает к стихотворению «Смерть Байрона». Напечатано впервые в альманахе «Северные цветы» на 1827 г., изданы бар. Дельвигом, СПб. 1827 г., стр. 292—294, за подписью «Д. Веневитинов». В собр. соч. изд. 1829 г. датировано 1825 г., А. П. Пятковским же отнесено к 1823 г. Мы думаем, что первое вернее. В строке 5-й слово «турков», исправленное в собр. соч. изд. 1829 г. на «турок», мы сочли возможным оставить в том написании, как оно было напечатано впервые (при жизни автора). В строке 20-й слово «им» было ошибочно заменено в посмертном собрании на «вам» и так перепечатывалось в дальнейшем. Мы исправляем теперь эту ошибку.

9. *Любимый цвет*

Написано 13 августа 1825 г. Напечатано впервые в альманахе «Северная лира» за 1827 г., изд. Раичем и Ознобишиным, М. 1827 г., стр. 425—427, за подписью «Д. Веневитинов».

Текст сверен нами по автографу, хранящемуся в бумагах С. В. Веневитиновой, в Гос. ист. музее, в Москве (арх. № 1041, инв. № 64083).

Автограф белой написан чернилами, на белой бумаге, формата $\frac{1}{4}$ листа, и занимает четыре страницы. Без подписи. Рука Д. Веневитинова удостоверяется А. В. Орешниковым, старшим хранителем музея, со слов внучатного племянника поэта, Вл. Ал. Комаровского, а также характерным написанием отдельных букв. Автограф имеет следующие разночтения с печатными текстами: в строке тридцатой «улыбкой нежною» вместо «милою» и в последней строке — «он цвет денницы» вместо «то цвет денницы».

Софья Владимировна Веневитинова — родная сестра поэта (1808 — 1876), замужем за гр. Егором Евграфовичем Комаровским (1823 — 1886).

10. Сонет («К тебе, о чистый дух»).

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 19, под датой 1825 г. А. П. Пятковским отнесено без всякой мотивировки к стихотворениям 1824 г. Поэтому мы оставляем дату последнего собрания.

11. Сонет («Спокойно дни мои двели...»).

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 20 — 21 (без даты). А. П. Пятковский относит время написания к 1825 г., руководствуясь, как он говорит в предисловии к собр. соч. Д. Веневитинова изд. 1862 г., хронологическими указаниями родных и знакомых Веневитинова (стр. 60).

12. К Скарятину (при посылке ему водевиля).

По словам А. П. Пятковского, водевиль этот состоял из нескольких отрывочных сцен и был написан для домашнего спектакля. Он хранился долгое время у А. В. Веневитинова (собр. соч. 1862 г., стр. 83). Возможно, что это «русский водевиль», отрывок из которого мы включили в настоящее собрание.

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 16 — 18, под датой 1825. Слово «завучат» в строке 55-й в следующих изданиях печаталось «зашумят».

Скарятин Ф. Я. — даровитый художник, основавший московскую школу живописи и ваяния. Одно время служил в военной службе (см. слова: «Твои товарищи, драгуны удалые»), умер в Италии.

Беллона — богиня войны у древних римлян.

13. Импробизация

Племянник поэта, М. А. Веневитинов, в «Ист. вестнике» (1884 г., № VIII) указывает, что стихи только переписаны Веневитиновым, но не принадлежат ему. С. А. Соболев-

ский же, со слов которого стихи были впервые опубликованы, утверждает, что это восьмистишие Д. В. Веневитинов импровизировал однажды у него за ужином («Рус. архив» 1866, № 2, стр. 259 — 260). На основании этого показания стихи были включены в издания А. С. Суворина и «Жизнь для всех». Относятся скорее всего к концу 1825 г., к периоду той острой политической возбужденности, в которой пребывала в то время «левая» часть любомудров.

14. *Новгород*

Написано в 1826 г. под впечатлением проезда через Новгород из Москвы в Петербург, куда перевелся на службу Веневитинов. Посвящено княжне Александре Ивановне Трубецкой, которой и было вручено М. П. Погодиным 30 декабря 1826 г. по просьбе Веневитинова (Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, СПб. 1889, стр. 57 и 410). См. об этом также в своде биогр. данных, стр. 408, и письмо Веневитинова № 34.

Княжна А. П. Трубецкая — ученица М. П. Погодина, за которой ухаживал одно время Веневитинов.

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 43, с подзаголовком «Посвящено К. А. П. Т.»

Намн положен в основу текст, запрещенный цензурой 7 февраля 1828 г., автограф которого не сохранился, но который является наиболее полным и авторитетным текстом произведения. Посланный в цензуру текст в двух местах был явно смягчен предусмотрительными друзьями-издателями: стр. 9 — «Отчизна славы и торговли!» вместо «Свободы, славы и торговли» (правильное чтение впервые указано в изд. 1862 г.); стр. 52 — «Когда твой голос бич врагов» вместо «бич князей» с соответственным изменением рифмующей строки: «На глас отца сзывал сынов» вместо «Сзывал послушных сыновей». Мы восстанавливаем смягченные места в их первоначальном виде. Приводим извлечения из чрезвычайно интересной статьи Ю. Оксмана, «Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове» («Литературный музей», II. 1921, стр. 340 — 347). Цензурный список «Новгород» занимает два листа почтовой бумаги большого формата, причем в стихе одиннадцатом от конца слово «ц в е т у щ е и» надписано над зачеркнутым «м и н у в ш е и». Произведение подверглось действию § 68 «Устава о цензуре» 10/VI 1826 г., в силу которого «всякое сочинение или перевод, в котором прямо или косвенно порицается монархический образ правления, подвергается запрещению». 2 февраля 1828 г. министр народного просвещения Шишков, по представлению Главного цензурного комитета, приказал «не пропускать к печати» «Новгород» и «Завещание», чем было задержано издание сочинений Веневитинова до отставки Шишкова и устранения некоторых

«возмутительных» деталей из обоих произведений. В 1829 г. оба стихотворения увидели свет, но в тщательно процензурованном самими издателями виде.

Первопечатный текст 1829 г. имеет следующие особенности: слова ямщика заключены в кавычки; отсутствуют интереснейшие строки: «Молчи, мой друг» и т. д. до «чего ишу я здесь безумной». Следующие строки имеют подчеркнутые разрядкой различия: 9. «Довольства, славы и торговли». 11. «Холмы рассеянных обломков». 19. «Хоть сам собою». 21. «... он перед тобою». 52. «... бич князей». 55. «Сзывал послушных сыновей». 57. «Карал Ливонию и шведа».

Этот текст был воспроизведен с незначительными опечатками в изд. А. Смирдина 1855 г., стр. 40 — 42, причем строки, между которыми находились запрещенные четыре стиха и обозначенные пробелом в первом издании, оказались здесь сдвинутыми. Тем не менее, ни очевидный дефект текста, благодаря которому стихи 31 и 36 остались без рифм, ни неестественный пробел после 33 стиха в первом издании не обратили на себя внимания последующих издателей и комментаторов Веневитинова. В третьем издании 1862 г., под редакцией А. П. Пятковского, в основу текста «Новгорода» положена первопечатная редакция произведения, но характерный пробел ее не сохранен, посвящение не точно расшифровано, и дано новое чтение 9 стиха — «Свободы, славы и торговли», а прежнее чтение «Довольства, славы и торговли» дается под строкою, как «вариант». Нельзя здесь же не отметить, что посвящен «Новгород» не *княгине*, как обозначается вслед за А. П. Пятковским всеми издателями Веневитинова, а *княжне* А. И. Трубецкой (в замужестве кн. Мещерская).

Интересно отметить, что в экземпляре этого издания Веневитинова, хранящемся в Москве, в Публ. библ. СССР и принадлежавшем племяннику поэта М. А. Веневитинову, весь текст «Новгорода» испещрен многочисленными поправками его, в которых он указывает и запрещенные цензурой строки. Например, в строке 20-й слово «золотой» исправлено им вместо «голубой», как печаталось всюду.

Несмотря на отсутствие изменений в тексте, перепечатка первого издания Веневитинова через двадцать пять лет снова встретила решительные возражения со стороны цензуры. Так, 14 июля 1853 г. цензор Пейкер довел до сведения председателя С.-Петербургского цензурного комитета, что «при рассмотрении сочинений Веневитинова в двух частях, которые книгопродавец Смирдин предлагает напечатать, он нашел, что как в той, так и в другой части находится много мест, не соответствующих цензурным правилам». К этому присоединился цензор Шидловский: «Я согласен, —

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.



МОСКВА.

Въ Типографіи Семена Селивановскаго.

1829.

Титульный лист посмертного собрания стихотворений

Д. В. Веневитинова. 1829

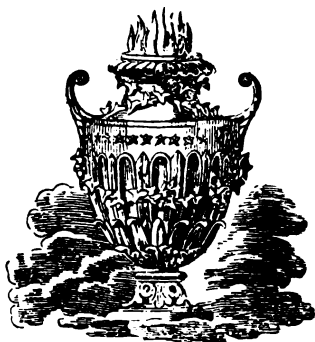
СОЧИНЕНІЯ

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПРОЗА.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ СЕМЕНА СЛАВАНОВСКАГО.

1831.

Титульный лист собрания сочинений Д. В. Веневитинова
(проза). 1831

дал он 4 декабря, — с мнением цензора Пейкера, исключая только немногих означенных им в книгах мест на стр. 18, 56, 57, 63, 71 первой части, которые, по моему мнению, могут быть напечатаны. Стихотворение «Новгород» на стр. 43—45 первой части я полагал бы неудобным к напечатанию, а равно и «сцены из Эгмонта»...».

Но предположению председателя комитета, оба цензора произвели совместное исследование текста Веневитинова, «отметив красными чернилами места, которые подлежат исключению», по осведомленный о цензурных новеллах Смирдин предпочел на время от плана своего отказаться и, как видно из резолюции на его прошение, 21 декабря получил сочинения Веневитинова назад «без одобрения к напечатанию» (Дело СПб. цензурного комитета о рассмотрении для нового издания сочинений Веневитинова и о возвращении их книгопродавцу Смирдину без одобрения. Началось 17 июля 1853 г., № 70), и только через два года, 13 мая 1855 г., сочинения Д. В. Веневитинова были «дозволены к новому изданию вполне, не делая никаких изменений против печатного экземпляра оных».

15. Родина

Опубликовано впервые С. Шпицером в статье «Неизданные стихотворения Д. Веневитинова» («Жизнь искусства» 1924 г., № 6, стр. 19). По личному сообщению С. М. Шпицера, за которое, пользуясь случаем, приносим нашу благодарность, список стихотворения был обнаружен им в архиве М. И. Семевского, в тетради под заглавием, написанным рукою Семевского: «Сборник поэтических и прозаических произведений различных авторов. Часть V. Составил Мих. Ив. Семевский. СПб. 1857 г.». Содержание этой V части следующее: 1) Записки о древней и новой России, Н. М. Карамзина (стр. 1—241); 2) Дом сумасшедших, поэма А. Ф. Воейкова (стр. 241); 3) «Родина», стих. Веневитинова (стр. 279); 4) двадцать стихотворений Баркова и А. Полежаева (стр. 281); 5) 17-я годовщина польской революции, речь Мих. Бакунина (стр. 313) и т. д. Не датировано. По предположению С. Шпицера, было написано в Петербурге в 1826 г., в период сближения Веневитинова с бар. Дельвигом: здесь молодой поэт часто бывал у своего нового друга и в это время увлекался эпиграммами и шутками, о чем и упоминает в одном из своих писем к брату в Москву, относящемся к 5 января 1827 г.

Нам кажется, не будет ошибкой предположить, что стихотворение написано несколько раньше знакомства с Дельвигом, а именно — сразу после переезда в Петербург, под впечатлением дороги, проделанной «на почтовых». Сравни описание путешествия из Петербурга в Москву современ-

ника Веневитинова маркиза де Кюстина: в его нашедшей в свое время книге «La Russie en 1839»: «Что за страна. Бесконечная, плоская, как ладонь, равнина, без красок, без очертаний; вечные болота... и вдоль дороги — серые, точно вросшие в землю лачуги деревень... От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Зима и смерть, чудится вам, бесценно царят над этой страной» (цитируем по русскому переводу. «Николаевская Россия», М. 1930 г., стр. 246 — 247).

Принимая во внимание настроение, с которым Веневитинов покинул Москву, можно представить впечатление, полученное им от путешествия. В собр. соч. Веневитинова включается нами впервые.

16. *Послание к Рожалину* («Оставь, о друг мой, ропот твой...»)

См. прим. к первому посланию Рожалину.

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 49 — 52, под датой 1826—1827. А. П. Пятковский закрепляет дату 1826. Единственный «друг», который, по словам поэта, остался у него, это — Шекспир, изучать которого настойчиво советовал ему Рожалин. Веневитинов изучал Шекспира по переводам Авг. Шлегеля, так как английского языка не знал.

17. *К моей бошине*

На рукописи этого стихотворения сделана автором следующая приписка:

«Cette piece est très imparfaite, je le sens moi-même; mais c'est une de ces peroclutions auxquelles on ne touche pas deux fois. Elle est dédiée à ma divinité, et cette dédicace n'est pas seulement poétique. La raison a son Dieu qu'elle cherche, qu'elle trouve et qu'elle admire; pourquoi le coeur n'aurait-il pas sa religion?»

(Эта пьеса очень несовершенна, я это чувствую сам; но это одно из произведений, к которым не прикасаются два раза.

Оно посвящено моему божеству, и это посвящение — не только поэтическое. Разум имеет своего бога, которого ищет, которого находит и которым восхищается; почему сердцу не иметь своей религии?)

Приписка эта была опубликована С. Шпидером (русский перевод, не совсем точный) в «Голосе минувшего» 1914 г., № 1, стр. 279. Французский текст сообщен Н. Лернером там же, в № 5, стр. 312).

Стихотворение написано в Петербурге, в 1826 г., повидному, вскоре по приезде, что можно заключить из восхищения Невой и тоски по возлюбленной, оставленной в Москве.

Перед напечатанием в собр. соч. вносилось на обсуждение Цензурного комитета 31 января 1828 г. (см. прим. к «За-

вещанию»). В стихотворении замечены цензором следующие стихи:

И дана раболепной службы
Носить кумиру суеты.

Комитет определил: «оное дозволить к напечатанию, поелику выражение в оном «раболепная служба» не может относиться к службе государственной». (Дело по журналам комитета о различных статьях и сочинениях, в пропуске которых господа цензоры находили затруднение и о коих было представляемо г. министру и делаемы были сношения по оным с разными лицами и присутственными местами. Начато 1 сентября 1827 г., кончено 17 апреля 1828 г., № 94, лист 88). См. об этом у Ю. Оксманна, «Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове» («Литературный музей»). Пгг. 1921 г., стр. 344 — 345).

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 81 — 83.

18. Элегия

Стихотворение посвящено кн. З. Волконской, предмету страстной любви Веневитинова. Наверяно рассказами Волконской о путешествии своем в Италию, «дивную страну счарованья» и «отчизну вдохновенья» для всех поэтов начала XIX века. Кн. Зинаида Александровна Волконская, рожд. княжна Белосельская, дочь кн. Александра Михайловича Белосельского-Белозерского (1752 — 1809), род. 3 декабря 1792 г. в Турине, ум. в феврале 1862 г. в Риме; поэтесса, новеллистка, музыкантша, певица, по прозвищу «Северная Коринна», «царица муз и красоты», как называл ее Пушкин. Объединяла вокруг себя всех виднейших представителей искусства и науки. В литературном салоне ее в Москве, на Тверской, бывали Пушкин, Адам Мицкевич, кн. П. Вяземский, Погодин, Шевырев, Киреевские, Хомяковы и др. Ей посвятили свои стихи: Пушкин при посылке поэмы «Цыганы», («Среди рассеянной молвы при толках виста и бостона»), Веневитинов («Элегия», «Италия», «К моей богине»), Боратынский, Мицкевич («Греческая комната») и др. Замужем за кн. Никитой Григорьевичем Волконским (1782—1870), от которого имела сына Александра. О ней см. также свод биогр. данных, стр. 372—374, 386. Ее сочинения вышли отдельными изданиями: 1) *Quatre nouvelles*, М. 1819 г.; 2) *Giovanna d'Arco*, Roma 1821 г. (опера была поставлена в Риме, кн. Волконская пела сама заглавную роль); 3) *Tableau Slave du V-me siècle*. Paris. 1824 г.; 4) Посмертное собр. соч. в 2-х томах, 1865 г., и др. Брак ее был несчастлив, она не любила мужа и не была ему верна. Молва считала ее, и быть может не без оснований, любовницей имп. Александра I.

Литература: Н. Белозерская, «Кн. З. А. Волконская», «Ист. Вестник», 1897 г., III, стр. 939 — 972; IV, стр. 131 — 164;

Д. Л. Мордовцев, «Русские женщины нового времени». СПб. 1874 г., стр. 257—268; кн. Е. Г. Волконская, Род князей Волконских. СПб. 1900 г., стр. 716—717, гр. М. Д. Бутурлин, «Рус. архив» 1897 г., I, стр. 640; II, стр. 177—178.

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 79—80.

19. Италия

Относится к кн. З. Волконской и навеяно ею, почему и помещено нами вслед за «Элегней».

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., П, стр. 311—312 (№ VIII) за подписью «В». Текст дается по этому журналу.

См. прим. к стих. «Элегия». Как пример восторженного воспеваия Италии поэтами начала XIX века, можно привести следующие стихи поэтессы Е. Ростопчиной (гр. Евд. Петр. Ростопчина, ур. Сушкова; 1805—1858): «Италия!.. Страна воспоминаний, страна гармонии, поэзии, любви, отчизна гения, возвышенных делний, царяца падшая былых владык земли... О древний край чудес, издавна мной любимый, узрю ли я тебя, предмет надежд моих? К тебе с пристрастием, с тоской невыразимой, как часто я стремлюсь в восторге дум живых!» Италию воспевали Боратынский, Козлов, Туманский, Бенедиктов, Гоголь, Огарев, Пушкин и мн. др.

Т а с с [о], Torquato Tasso (1544—1595) — итальянский поэт.

20. Моя молитва

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., ч. 1, январь, № 2, стр. 93, за подписью «Д. Веневитинов». Поправку Веневитинова к этому стихотворению см. в письме № 29.

21. Домовой

Одно из немногих нелирических стихотворений Веневитинова. Написано зимой 1826 г. в Петербурге. Посылая это стихотворение «к святкам» брату в Москву, Веневитинов просил его в письме «не показывать этой пьески в дамском обществе».

Впервые напечатано в собр. соч., изд. 1829 г., стр. 62—63. Текст дается по этому собранию.

22. Три розы

Напечатано впервые в альманахе «Сев. цветы» на 1827 г., изд. бар. Дельвигом, стр. 229—230, за подписью «Д. Веневитинов» (ошибка).

В прим. к стих. Пушкина «Есть роза дивная» (соч. Пушкина, под ред. Венгерова, т. IV, стр. XXXII) Н. О. Лернер отмечает связь, имевшуюся, по его мнению, между этим стихотворением и стихами Д. Веневитинова «Три розы».

В строке 10-й слово «ее» было в собр. соч. Д. В. Веневитинова изд. 1829 г. заменено на «цветок» и так перепеча-

тывалось в дальнейших изданиях. Мы придерживаемся в данном случае журнального текста.

23. К любителю музыки

Напечатано впервые, с пропуском строк 15—22, в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 67—68. Строки 15—22 «Тогда б душа твою, немая», кончая «перед святыней наслажденья», впервые опубликованы С. Шпидером в газ. «День» 1913 г., № 219. В собр. соч. полностью вводится нами. Веневитинов был не только страстным поклонником музыки, но и сам играл и композиторствовал.

В строке 3-й с конца слово «втайне» исправлено рукою М. А. Веневитинова на «тайно», в экземпляре сочинений, изд. 1862 г., принадлежавшем ему.

24. К изображению Урании

Это стихотворение Веневитинов написал на потной книге кн. В. Ф. Одоевского, на которой Скарятин нарисовал богиню Уранию с пятью звездами (Письмо В. Ф. Одоевского М. П. Погодину, см. свод биогр. данных, стр. 413). Напечатано впервые в собр. соч., изд. 1829 г., стр. 73. Текст дается по этому изданию.

Ура н и я — одна из девяти муз, представительница астрономии.

25. Поэт

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., II, № V, стр. 34, за подписью «Д. Веневитинов». Текст дается по этому журналу. Строка 11-я «безумный крик, нескромный смех» имеет вариант: «безумный крик, холодный смех» (собр. соч., 1829 г., стр. 41). Разночтения в строках: 2-й и последней — ни то же д муз; 10-й — б у н т у е т ветряная младость; 14-й — спо кой но он взирает; 22-й — его боязни о ж и д а н ь я.

26. К Пушкину

Знакомство Веневитинова с Пушкиным произошло в 1826 г., после возвращения Пушкина из ссылки. Свидание поэтов устроил С. А. Соболевский, у которого остановился Пушкин в Москве, под предлогом литературного вечера. Пушкин читал «Бориса Годунова» у Соболевского и затем у Веневитинова, на которого произвел глубокое впечатление. В свою очередь Пушкин, по свидетельству А. В. Веневитинова, одобрил критическую статью Веневитинова, появившуюся в «Сыне отечества» и направленную против отзыва Н. Полевого о «Евгении Онегине».

В послании к Пушкину Веневитинов обращает его внимание на Гёте, этого «великого мастера смирять все страсти», которого до сих пор еще не воспел Пушкин. Для Веневити-

тинова, ревностного почитателя Гёте, казалось странным, что Пушкин, воспевший Байрона («тоской измученный поэт») и Андрея Шенье («у муз похищенного галла»), не посвятил своих строк «наставнику» Гёте. Веневитинов призывает Пушкина «доплатить Каменам долг вдохновенья и воспеть великого старца!». Существовали предположения, что ответом на это послание явилась «Сцена из Фауста» Пушкина (Фауст и Мефистофель. Берег моря, 1826, напечатано в «Моск. вестнике» 1828 г., № 9). В настоящее время выяснено, что «Сцена из Фауста» написана Пушкиным еще в 1825 г.

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 64 — 66. Текст — по этому изданию.

Камены — здесь в смысле музы.

А. Шенье (Chénier) (1762 — 1794) — французский поэт и публицист, крупнейший представитель неоклассицизма, погибший вовремя французской революции 1789 г. Стихи его вышли в свет в 1819 г.

Литература: Н. Котляревский, «Пушкин и Веневитинов. Старинные портреты», СПб. 1907 г., А. Горнфельд, «Сцена из Фауста», соч. Пушкина, под ред. Венгерова, СПб. 1908 г., т. II, стр. 408 — 410; П. Лернер, «Сцена из Фауста», IV, стр. XV.

27. На новый (1827) год

Это стихотворение Веневитинов написал у кн. В. Ф. Одоевского, при встрече нового года. См. об этом свод биографических данных, стр. 413. Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1828 г., VIII, № 5, стр. 3 — 4, с подписью «Д. Веневитинов» и датой «Полночь на 1-е Января». Текст дается по этому журналу. Ср. стихотворение «Три участи», где Веневитинов сетует о том, что рок не дал ему удела лени и беспечности. Здесь же поэт упрекает себя в ленивой беспечности, которой не находит оправданий, и клянется наверстать упущенное.

28. Три участи.

Одно из нескольких произведений Веневитинова, в которых поэт проводит сравнительные параллели между изображаемыми предметами. К числу таких относятся: «Три розы», отчасти три периода в стих. «Жизнь», отрывок «Три эпохи любви», статья «Скульптура, живопись и музыка» (три истины) и др.; «Три участи» написаны в 1827 г., судя по письму Веневитинова к брату от 14 февраля 1827 г., в котором он, между прочим, пишет: «Попробуй отдать мои «Участи» в цензуру». Возможно, что последний не успел исполнить просьбы, или стихи залежались в цензуре, но увидеть поэту напечатанными их не пришлось. В печати появилось впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 60 — 61. Текст — по этому изданию.

29. [Экспромпт]

Опубликовано С. Шпидером в статье «Д. В. Веневитинов и его «шалости пера» в журн. «Солнце России» 1913 г., № 26/177, стр. 16, 17. К кому относится экспромпт — неизвестно. Время написания — видимо начало 1827 г., когда Веневитинов жил в Петербурге и проводил свой досуг у Дельвига (см. об этом письме Веневитинова к брату из Петербурга в Москву, от 5 января 1827 г. В собр. соч. Веневитинова включается нами впервые.

30. Она мила

Написано, можно думать, приблизительно в то же время, что и «Экспромпт».

Опубликовано С. Шпидером в бесплатном приложении № 16, от 16 августа 1913 г., к № 219 газ. «День», вместе с «Кинжалом». В статье «Неизданные стихи Д. В. Веневитинова» С. Шпидер говорит: «Стихи «Кинжал», «Она мила» и «Тогда б душа твоя» (из стихотворения «К любителю музыки») сохранялись у М. А. Веневитинова, который передал их А. П. Пятковскому для второго издания сочинений Веневитинова, к которому тот готовился в 80-х годах». В собр. соч. Веневитинова включается нами впервые.

31. [Эпиграмма на историка Арцыбашева]

Написана, видимо, в то же время, что и два предыдущие стихотворения.

Опубликована впервые С. Шпидером в журн. «Солнце России» 1913 г., № 26/177, стр. 16, 17, в статье «Д. В. Веневитинов и его «шалости пера».

«Эти шалости пера не могут относиться к перворазрядным, но какими они становятся характерными, когда выходят из-под минорного пера этого задумчивого, нежного и грустного лирика», — замечает С. Шпидер.

Извлечена из архива, куда близкие Веневитинова передали оставшиеся после его смерти бумаги.

В собр. соч. Веневитинова включена нами впервые.

Арцыбашев, Н. С. (1773 — 1841) — историк.

32. Четверостишие (на И. И. Дмитриева)

Написано в начале января 1827 г. Приведено в письме № 39 из Петербурга в Москву. Опубликовано впервые Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 77) в 1889 г. под заголовком «Эпиграмма на И. И. Дмитриева».

В собр. соч. Веневитинова включено нами впервые.

Текст приводится нами по подлиннику.

Дмитриев, И. И. (1760 — 1837) — знаменитый в свое время соратник Карамзина, поэт, баснописец. Написал на смерть Веневитинова эпитафию (см. стр. 411 и 421).

Камены — древне-италийские божества (римские поэты перенесли название Камены и на греческих муз).

33. *Я чувствую, во мне горит.*

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 84 — 85, по которому и дается текст стихотворения. По содержанию связано с аналогичными вещами — «Поэт», «Жертвоприношение», «Поэт и друг», в которых выразились взгляды Веневитинова на свое назначение как поэта.

34. *Жертвоприношение*

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., II, № VI, стр. 119, за подписью «В». В строке 7-й в собр. соч. 1862 г. и следующих слова «но» заменено «да». Ответом на это стихотворение Веневитинова явилось напечатанное в «Дамском журнале» следующее стихотворение неизвестного автора («Дамский журнал» 1827, № 7, стр. 58) на смерть Веневитинова:

Нет! жизнь, коварная сирена,
Не заключила дней твоих
В оковы гибельного плена
И ангел смерти сбросил их
На утренней заре предместной,
Сиявшей на твоём челе;
И гений твой, иль дух небесный,
Не мог принадлежать земле:
Он видел всю её ничтожность,
Все обольщение, всю ложность,
Все блага жизни оценил —
И юными от нас крылами
В свою отчизну воспарил!..
Но ты пребудешь вечно с нами:
Жизнь у тебя не отняла
Любви, надежды, вдохновений;
Их спас, спасет высокий гений;
Твой дар богиня приняла
Наверно с клятвою взаимной:
Хранить на жертвеннике муз!..
Она с твоей девицей дивной
Ввек не прервут священных уз!

35. *Крылья жизни*

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1828 г., VII, стр. 13 — 14, без подписи, но с примечанием издателя: «Это одна из пьес покойного Д. В. Веневитинова, которые скоро издадутся в полном собрании его сочинений». Текст — по этому журналу.

36. Жизнь

Написано, повидимому, в декабре 1826 г. в Петербурге, когда Веневитинов жил вместе с Ф. Хомяковым — см. письмо последнего к брату А. С. в Москву от 3 декабря 1826 г., в котором он говорит о пьесе Веневитинова — «Вариации на слова Шекспира» (Свод биогр. данных, стр. 398). Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., I, № 3, стр. 168, за подписью «Д. Веневитинов». По содержанию открывает собою цикл стихотворений Веневитинова, посвященных теме прощания его с жизнью. Переведено Фидлером на немецкий язык («Das Leben»).

37. Кинжал

Впервые опубликовано С. Шпидером в бесплатном приложении от 16 марта 1913 г., к № 219 газ. «День», стр. 1—3, в статье «Неизданные стихи Д. В. Веневитинова».

Стихотворение сохранялось у М. А. Веневитинова и было передано им А. П. Пятковскому для второго издания сочинений поэта. Издание, к которому Пятковский готовился в 80-х годах, не осуществилось. Стихотворение не отделано. Заглавие «Кинжал», повидимому, относится к словам: «Взгляни — вот где моя надежда», при которых вздрагивает его возлюбленная. Стихотворение предназначалось для альманаха «Сев. цветы» 1827 г., но было запрещено цензурой 21 января 1827 г., когда «г. цензор, надворный советник Гаевский, читал главному ценсурному комитету предназначаемое для альманаха «Северные цветы» стихотворение под заглавием «Кинжал», соч. Д. Веневитинова», причем комитет нашел, что произведение это «не может быть дозволено к напечатанию потому, что автор, представляя в оном человека, преднамеревающегося совершить самоубийство, заставляет его произносить ложные мысли об аде». . . «Дело по журналам комитета о различных статьях и сочинениях, в пропуске которых гг. цензоры находили затруднение и о коих было представляемо господину министру. Начато 21 января 1827. Кончено 10 января 1828 г., № 94 лист I» (Ю. Оксман, «Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове». «Литературный музей». П. 1921 г., стр. 343—344). В собр. соч. Веневитинова включено нами впервые.

38. К моему перстню

Перстень был подарен Веневитинову ки. З. А. Волконской при отъезде его в Петербург (см. об этом в своде биогр. данных, стр. 390). По преданию, перстень был отрыт при раскопках Геркуланума. «Но не любовь теперь тобой благословила пламень вечный, — говорит поэт. — . . . Нет, дружба в горький час прощанья любви рыдающей дала тебя залогом состраданья». В стихотворении ясно выражены страдания влюбленного поэта, разлученного со своею возлюбленной,

которая, к тому же, не могла отвечать на его любовь (см. свод биогр. данных, стр. 390). Поэт призывает перстень быть его талисманом и хранить «от тяжких ран, и света, и толпы ничтожной, от едкой жажды славы ложной, от обольстительной мечты и от душевной пустоты». Ср. у Пушкина стих. «Талисман» о перстне, подаренном ему кн. Воронцовой. (Кстати, в последних словах чувствуется влияние Пушкина, ср. «Евгений Онегин», гл. VI, стр. XLVII:

Среди холодных приговоров,
жестокосердой суеты,
среди досадной пустоты...)

У поэта начинают бродить мысли о самоубийстве, и в борьбе с собой он обращается опять-таки к своему перстню-талисману: «И от груди моей мятежной свинец безумства отврати». Дальнейшие слова о том, что в час смерти он умолит друга оставить перстень на его руке — «чтоб нас и гроб не разлучал» — исполнились в точности. Перед самой смертью поэта Ф. С. Хомяков одел ему перстень на палец (см. об этом стр. 403). Слова «века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит и в нем тебя отроет вновь», благодаря стечению обстоятельств, в известной мере, подтвердились в 1930 г., т. е. когда «промчался» целый век, и когда была вскрыта могила Д. В. Веневитинова, после разрушения Симонова монастыря. Перстень был снова снят с пальца и хранится теперь в Москве, в Публ. библ. СССР им. Ленина. См. об этом в своде биогр. данных, статью «Судьба могилы Веневитинова».

Стихотворение напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 56 — 57, по которому и дается текст.

Литература: М. А. Веневитинов, «К биографии поэта Д. В. Веневитинова», «Рус. архив» 1885 г., № 1, стр. 124; Н. Фатов, «Любовь и смерть Д. В. Веневитинова», Варшава 1914, стр. 18 — 19.

39. *Завещание*

Стихотворение написано в 1827 г., с явным предчувствием приближающейся смерти. По смыслу тесно связано со стих. «К моему перстню». В последнем поэт еще не уверен в близкой кончине и говорит о ней неопределенно: «Когда же я в час смерти буду прощаться с тем, что здесь люблю...» Здесь же — завещание умирающего, которое выражается вполне определенными словами: «Вот час последнего страданья». Далее поэт прощается с друзьями: «Друзьям — привет и утешенье», еще далее — с возлюбленной. В целом стихотворение — редкий пример поэтического предсмертного завещания.

При издании первого собр. соч. Веневитинова, перед напечатанием, вносилось на обсуждение Цензурного комитета

31 января 1828 г. три стихотворения: «Завещание», «Новгород» и «К моей богине». Из них в первом цензор титулярный советник Семенов, затруднился в рассуждении двух последних стихов в следующем отрывке:

Теперь могут тебя лобзать,
Как с первой радостью привета
В раю лик ангелов святых
Устами б чистыми лобзали
Когда бы мы в восторге их
За гробом сумрачным встречали.

Комитет разрешил к печати все стихотворение, поскольку «в последующих стихах содержится самим автором произносимое опровержение и порицание одного» места (Ю. Оксман, «Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове», «Литературный музей», П. 1921 г., стр. 344).

Напечатано впервые в альманахе «Сев. цветы» на 1829 г. СПб. 1829 г., стр. 73 — 75, за подписью «Веневитинов». В первой строке слово «час» было заменено в собр. соч. 1829 г. и следующих на «глас». Слова «больный дух», как «нецензурные», заменены на «вечный дух». Нами дается здесь текст по цензурному списку, с поправками М. А. Веневитинова («темный ропот»; «и о я, как червь не отпаду» — вместо «тайный ропот»; и «а я, как червь не отпаду»).

40. Утешение

Написано, повидимому, незадолго до смерти, в 1827 г., в близком ее предчувствии. Поэт утешается сознанием того, «что в душевной глубине, — того не унесет могила... слово из груди вырвется твоей. Уронишь ты его не даром; оно чужую грудь зажжет, в нее как искра упадет, а в ней пробудится пожар». Связано по содержанию — предчувствием смерти — со стихотворениями «Завещание», «К моему перстию» и др.

Напечатано впервые в собр. соч. изд. 1829 г., стр. 69 — 70.

Прометей (по правописанию Веневитинова «Промифей») — мифологический герой у древних греков, сын Иапета и Климены, даровавший людям огонь, похищенный с небес, против воли богов. В наказание был прикован Зевсом к скале на Кавказе, где орел клевал ему печень. Освобожден Геркулесом.

Пигмалйон (миф.) — знаменитый скульптор, воспламенивший страстью к Галатее, статуе своей работы. Венера ее оживила, и Галатеея стала женою художника.

41. Поэт и друг

Написано незадолго до смерти, в 1827 г., с явным предчувствием ее и с полным сознанием значения своего для литературы. Последняя фраза этого стихотворения была вы-

резана на могильном камне Веневитинова. В печати это стихотворение появилось одновременно с некрологом Д. Веневитинова в «Моск. вестнике» 1827 г., № VII, стр. 217—220, где непосредственно под стихами помещены слова редактора жури. М. П. Погодина: «Горькими слезами омочили мы это стихотворение...» (См. в своде биогр. данных, стр. 408).

Напечатано впервые с подзаголовком «Элегия», выпускавшимся в дальнейших изданиях, и за подписью «Д. Веневитинов». Строка «и в грудь для сладостной любви» печаталась «для пламенной любви»; «и смелый стих» печаталось «и сильный стих»; «ты часто слышал их привет» исправлено М. А. Веневитиновым вместо «ты гордо слышал».

42. [Последние стихи]

Судя по названию, данному, очевидно, не самим Веневитиновым, а его братом А. В., подготовившим к печати первое издание его сочинений, и помещению изданием 1829 г. в конце отдела оригинальных стихотворений, данное восьмистишие является самым последним стихотворением Веневитинова. В строке 6-й слово «власти» поставлено вместо «тайны», как всюду печаталось, М. А. Веневитиновым на принадлежащем ему экземпляре собр. соч. Веневитинова, хранящемся в Публ. библ. им. Ленина.

ПРОЗА

Скульптура, живопись и музыка

Прочитано Веневитиновым в рукописи на литературном вечере в своем философском кружке (А. П. Пятковский, «Биогр. очерк, при собр. соч. изд. 1862 г.», стр. 15). Напечатано впервые в альманахе «Сев. лира» на 1827 г., стр. 315—323, за подписью «Веневитинов». В библиографии жури. «Моск. вестник» произведение имеет подзаголовок «Три истины». Текст дается нами по «Сев. лире».

Утро, полдень, вечер и ночь

Написано, повидимому, в 1825 г. (см. письмо к Погодину № 17). Прочитано Веневитиновым в рукописи на литературном вечере в своем философском кружке (А. П. Пятковский, «Биогр. очерк при собр. соч. изд. 1862 г.», стр. 15). «Содержание отрывков само показывает многосторонность и живой интерес этих дружеских бесед, запечатленных вполне юношеским характером, и придавших этот характер и отрывкам» (ibid.). Напечатано впервые в альманахе «Урания», карманная книжка на 1826 г., издаваемая М. Погодиным для любителей и любителей русской словесности». М. 1826 г., стр. 74—81, за подписью «Веневитинов». Текст выправлен нами по этому изданию.

Анаксагор

Прочитано Вeneвитиновым на литературном вечере в своём философском кружке. «Платон и Анаксагор», где высшая поэзия полагается в философии, для нас интереснее других [отрывков], потому что в нем обнаруживаются разом и напряженность философских знаний поэта, и сила поэтического дара, которым он мог оживлять самые отвлеченные мысли (А. П. Пятковский, Собр. соч. 1862 г., стр. 15). Напечатано впервые в альманахе «Денница» 1830 г., изд. М. Максимовичем, стр. 100 — 109, под заглавием «Анаксагор» и с подзаголовком «Беседа Платона», за подписью: «сочинение покойного Д. В. Вeneвитинова». Текст дается по этому изданию.

Платон (427 — 328 до нашей эры) — греческий философ.
Анаксагор (ок. 500 — 428 до нашей эры) — греческий философ, изгнанный по обвинению в безбожии.

Фидиас — древне-греческий скульптор.

Аполлон (Феб, Мусагет) — греческий бог поэзии, сын Зевса и Летоны, предводитель муз.

Золотой век — в древне-греческой мифологии время блаженного существования первобытных людей. Греки относили его ко времени владычества бога Кроноса, когда на земле дарил всеобщий мир и счастье.

ПЕРЕВОДЫ

Знамена перед смертью Цезаря

Один из первых поэтических опытов Вeneвитинова. Переводы Горация, так же как и переводы «Прометея» Эсхила, к сожалению, не сохранились (см. об этом также свод биогр. данных, стр. 357). Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 3 — 5, под датой 1823. В издании А. Смирдина 1855 г. (стр. 14) год сохранен. А. П. Пятковский в собр. соч. 1862 г. изменил год написания стихотворения на 1819, «руководствуясь указаниями родных и знакомых Д. Вeneвитинова». Мы склонны считать эту замену правильной.

Публий Виргилий (правильнее — Вергилий) **Марон** (70 — 19 г. до нашей эры) — римский поэт, автор «Энеиды» (перев. на русский А. Фета и др.).

Георгики — дидактическая поэма о сельском хозяйстве, в 4-х книгах. Строка «Кровавым облаком чело твое покрыл» исправлена М. А. Вeneвитиновым, вместо «чело свое» (экз. соч. изд. 1826 г. в Публ. библ. СССР).

Веточка

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 8—9, под датой 1823. А. П. Пятковским отнесено к 1821 — 1822 гг., что вернее. По примеру большей части современных ему писателей,

Веневетинов, прибавив в конце пьесы четыре собственных стиха, считал себя в праве печатать ее под своим именем. Поэтому в собр. соч. 1829 г. оно помещено без указания заимствования. Между тем, стихотворение является довольно близким переводом из французского поэта Грессе (Gresset, «Jean Baptiste», 1709 — 1777), оригинальные стихи которого мы здесь приводим:

En promenant vos rêveries
Dans le silence des prairies,
Vous voyez un faible rameau
Qui par les jeux du vague Fole
Détaché de quelque arbrisseau,
Quitte sa tige, tombe et vole
Sur la surface d'un ruisseau.
Là, par une invincible pente,
Forcé d'errer et de changer,
Il flotte au gré de l'onde errante
Et d'un mouvement étranger
Souvent il paraît, il surnage;
Souvent il est au fond des eaux
Je rencontre sur son passage
Tous les jours des pays nouveaux:
Tantôt un fertile rivage,
Bordé de côteaux fortunés;
Tantôt une rive sauvage
Et des déserts abandonnés.
Parmi ces erreurs continues,
Il fuit, il vogue jusqu'au jour,
Qui l'ensevelit à son tour
Au sein de ces mers inconnues
Où tout s'abîme sans retour.

Gresset,

«Galerie littéraire par I. V. Maigrot».

Курсивом отмечены те строфы или отдельные выражения, которые переданы Веневетиновым особенно близко. Как видно из оригинала и перевода, у Грессе — 24 строки, у Веневетинова — 30.

В русской литературе конца XVIII и начала XIX века Грессе был очень популярен. Ему подражали В. Пушкин, Батюшков, кн. Вяземский, А. Пушкин («Моему аристарху») и др.

Веневетинов же больше склонен был к греческим классикам, и ни в детстве, ни в позднейших годах у него не лежало сердце к французским поэтам. Только Грессе и Мильвуа одно время нравились ему.

Литература: А. П. Пятковский, «О жизни и сочинениях Д. В. Веневетинова», Материалы для биографии, Сборник,

изд. студентами Петерб. университета, СПб. 1860, вып. II, стр. 213 — 234.

Песнь Кольмы

Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 14 — 15, под датой 1824. А. П. Пятковским в собр. соч. 1862 г. отнесено к 1822 г. Макферсон Джемс, — издавший в 1760 г. поэмы барда Оссиана, жившего в III веке нашей эры в Сев. Шотландии. Поэмы Оссиана вышли у нас в 1792 г. в переводе Кострова с французского перевода Летуэрера. «Кольна Донна» — наиболее жизнерадостная из этих поэм, чем отличается от остальной оссиановской поэзии. А. Пушкин написал, пользуясь переводом Кострова, именно эту поэму (подражание Оссиану), что характерно как показатель жизнерадостности Пушкина-юноши. Но это же характеризует и Веневитинова в первом периоде его творчества. Совпадение выбора тем для переводов и подражаний у Пушкина и Веневитинова — чрезвычайно интересно, хотя у последнего переведен только один эпизод (Ночь), которого нет у Пушкина. Перевод Веневитиновым выполнен с французского текста.

Литература: Пушкин, Соч., под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауз-Ефрон, 1907 г., т. I, стр. 88 — 90.

Земная участь художника

Перевод «Künstlers Erdewallen» Гёте («Земная жизнь художника»). Драма в двух сценах. 1774). Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 95 — 101. Гёте (Goethe) Иоганн-Вольфганг (1749 — 1832) был любимым поэтом Веневитинова, из которого он перевел две драмы в стихах («Земная участь», «Апофеоза художника»), две сцены из «Эгмонта» и три отрывка из «Фауста». Несмотря на вольность перевода и не везде соблюденные размер и стиль гётевского подлинника, представляет интерес как с точки зрения переложения на условный язык русского классицизма 20-х годов XIX столетия, так и в смысле автобиографической передачи душевного настроения поэта (см. слова: «Тебя живой восторг, художник, награждает...»).

Перевод помещен в юбилейном издании сочинений Гёте, по случаю столетия со дня его смерти (ГИХЛ, М.—Л. 1932 г., т. II, стр. 96—100).

Апофеоза художника

Перевод «Апофеоза художника» («Künstlers Apotheose») Гёте, написанного им в 1788 г. на ту же тему, что и «Обоготворение художника» («Des Künstlers vergötterung», редакция 1774 г.). См. прим. к «Земной участи художника». Напечатано впервые в собр. соч. 1829 г., стр. 102 — 116.

Отрывки из Фауста

Написано в 1827 г. к юбилею Гёте. См. письмо Веневитинова № 38. «Рассматривая переводы Веневитинова из Гёте, надо вообще сказать, что таких русских переводчиков Гёте было немного, и что мало кто у нас приступал к передаче пьес Гёте с такой любовью, с таким пониманием, с таким умением и подготовкою, как этот юноша-поэт, безвременно угасший...» Так отзывается о переводах Веневитинова проф. Е. А. Бобров в статье «Д. В. Веневитинов как переводчик» («Изв. отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук», СПб. 1910 г., т. XV, кн. I). Из «Фауста», на котором пробовали свои силы столь многие русские поэты, Веневитинов перевел всего три отрывка: 1) Фауст и Вагнер за городом (vor dem Thor, по ремарке Гёте); взято только место из второго прихода Фауста с Вагнером (стихи №№ 711—788 по счету немецкого оригинала Гёте); 2) «Песня Маргариты» (Gretchens Stube, стихи №№ 3018—3056), и 3) по расположению подлинника третий отрывок предшествует второму: это — монолог Фауста в пещере (Wald und Höhle, Faust allein), стихи №№ 2861—2894. Все три места принадлежат к наилучшим во всем «Фаусте». Из всех трех отрывков в техническом отношении слабее других перевод песни Маргариты, где в последнем куплете не выдержан принятый размер (пять строк вместо четырех).

Лучше остальных — монолог Фауста в пещере, напечатанный впервые в «Моск. вестнике» 1827, № 1, стр. 11—12, под заглавием «Монолог Фаустов в пещере (из Гёте)» и за подписью «Д. Веневитинов». Текст монолога дается по этому журналу, остальных отрывков — по собр. соч. 1829 г. (стр. 119—129).

Сцены из Эгмонта

В первом акте пятиактной трагедии Гёте «Эгмонт» (написан в 1787 г., приспособлен для сцены Шиллером в 1796 г.) три сцены (1-я — стрельба, 2-я — дворец правительницы, 3-я — мещанский дом). Все три сцены написаны прозой, только в третью вставлена солдатская песенка. Веневитинов перевел последние две сцены, прозою же, со включением песенки, переданной стихами.

В первой сцене перевода правительница Нидерландов, Маргарита Пармская, дочь Карла V, жалуется своему приближенному Махнавелю на Эгмонта, покровительствующего народным волнениям в Нидерландах (граф Эгмонт, принц Гаврский, сторонник короля Филиппа, казнен Альбой в 1568 г.); во второй сцене участвует возлюбленная Эгмонта, Клара, ее мать и влюбленный в Клару Бракенбург, «мещанский сын». Клара отсылает Бракенбурга и обсуждает с матерью свое положение; Бракенбург решается на самоубийство. Перевод

Веневитинова, по замечанию Е. А. Боброва, «точен и правилен. Но шедевром переводческого искусства надо признать перевод солдатской песенки, которую поют Клара с Бракенбурггом. Нам кажется, что лучше и вернее передать смысл и тон этой Soldatenliedchens, mein Leibstück, как называет ее Клара, чем это сделал Веневитинов, нельзя».

Включение «Сцен из Эгмонта» в собр. соч. Веневитинова послужило, между прочим, поводом к цензурным затруднениям с изданием собрания в 1835 г., когда С.И.Б. Цензурный комитет обратился в Главное управление цензуры со следующим представлением:

Министерство
Народного Просвещения
Санктпетербургский
Цензурный Комитет
С. Петербург
7 Апреля 1835 года
№ 257

В Главное Управление
Цензуры

На рассмотрение С.-Петербургского цензурного комитета поступила предназначенная к новому изданию книга покойного автора, Веневитинова, под заглавием: «Сочинения Д. В. Веневитинова. Часть первая: Стихотворения и часть вторая: Проза».

Рассматривавший эту книгу г. цензор Пейкер донес, что он полагаал бы: 1) исключить зачеркнутые в книге красными чернилами (двумя чертами) мысли и слова в первой части на страницах: IV, II, 37, 41, 50, 64, 88, 90, 96, 97, 109, 115, 116, 120, 122, 123, 127 и 129; второй части — на страницах: IX, XII, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 65, 80 и 90-й; и 2) статьи под заглавием: «Новгород» (1-й части, стр. 43 — 45) и «Сцены из Эгмонта» (2-й части, стр. 15 — 120) подвергнуть запрещению.

Комитет, находя, что за исключением упомянутых мест, сочинения покойного Веневитинова могли бы быть дозволены к новому изданию, имеет честь представить о том на благоусмотрение Главного управления цензуры, с приложением при сем поименованной книги, на основании Высочайшего повеления, изъясненного в предложении бывшего министра народного просвещения от 16-го февраля 1832 года за № 232.

Председатель М. Муши-Пушкин
Секретарь А. Ярославцев

(Дело СПб. Цензурного комитета о рассмотрении сочинений Д. В. Веневитинова для дозволения к новому изданию. Началось 10 декабря 1854 г., № 10; ср. Дело канц. министра нар. просв. по представлению СПб. цензурного комитета о книге под заглавием «Сочинения Д. В. Веневитинова». Часть 1-я. Стихотворения, и часть 2. Проза. Начато апреля 8 дня 1855 года, № 97). Архив мин нар. просв. № 150880. «Вся эта трагедия Гёте согласно предложения г. министра народного просвещения от 12 декабря 1832 г., № 405, не может быть одобрена к напечатанию», писал цензор Ю. Е. Шидловский еще ранее, 4 декабря 1853 г.

Главное управление цензуры, рассмотрев «все места из сочинений Веневитинова, найденные сомнительными, не признало в сих местах ничего предосудительного, почему и определило: сочинения Д. В. Веневитинова дозволить к новому изданию вполне, не делая никаких изменений против печатного экземпляра оных» (отношение А. С. Норова на имя попечителя СПб. учебного округа от 13 мая 1855 г., № 835).

Такого конца следовало ожидать, ибо, вычеркивая страницы, указанные цензором, нужно было бы запретить всего Веневитинова, а во-вторых, «печатный экземпляр» уже имел в себе цензурные изменения.

См. об этом также в примечании к стихотворению «Новгород» и в статье Ю. Оксмана «Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове», «Литературный музей», П. 1921 г., стр. 346, 347.

Напечатано впервые в собр. соч. 1831 г., стр. 95—120.

«Песнь Клары» напечатана впервые ранее, в 1830 г., в альманахе «Денница», изд. М. Максимовичем, стр. 64—65, за подписью «Дм. Веневитинов» и с подзаголовком «Из трагедии Гёте: Егмонд».

Орден золотого руна — почетнейший знак отличия Германской, потом Австрийской империи.

Что пена в стакане, то сны в голове .

В письме от 28 января 1827 г. из Петербурга Веневитинов писал: «Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофмана и докончите его. Повесть славная, лучше всех, у нас рус[ских] напечатанных» (см. письмо № 38 и примеч. к нему).

Этим переводом была повесть «Что пена в стакане, то сны в голове» (Träume sind Schäume). Оригинал Гофмана: Магнетизер. Семейная хроника. Напечатан в т. I, ч. II, соч. Гофмана на нем. яз., изд. 1819. См. также E. T. A. Hoffmann, «Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit. Träume sind Schäume. Samtliche Werke», изд. Г. Мюллер. Мюнхен — Лейпциг, 1908, ч. I, стр. 187—233. Почему Веневитинов не кончил перевода — неизвестно. Рукопись его обрывается на половине фразы. Вероятно; в виду этого, а также потому, что перевод закончен был

не им, эта вещь не входила в собр. соч. Веневитинова. В течение ста лет, протекших с его смерти, вышло десять изданий сочинений Веневитинова и большая литература о нем, но нигде и нигде не было упомянуто об этой его работе.

Автограф Веневитинова находится в Рукоп. отд. Гос. публ. библ. в Ленинграде. Написан характерным мелким почерком Веневитинова, чернилами, на восьми страницах, формата полулиста, плотной белой бумаги. За исключением отдельных исправлений и мелких вставок, написан почти начисто. Без подписи и даты. Рукопись вшита в сборник автографов из Погодинского древлехранилища, содержащий всего 77 листов, в числе которых находятся исключительно статьи, помещенные в «Моск. вестнике»: 1. «Таинство дружбы» (Будущему другу); 2. «Валленштейнов лагерь»; 3. «Что пена в стакане»; 4. *La description de Côtes de la mer d'Azov et du Bosphore Cimmerien de Stralon, commentée par J. Klapproth*; 5. Петр Ал-н. Киев; 6. Четвертое письмо к издателю «Моск. вестника». П. Строев; 7. Третье письмо к издателю «Моск. Вестника» 2 августа 1828; 8. Несколько слов на замечания г. Ардыбашева, перепечатанных в «Моск. вестнике» 1828 г.; 9. «Мизантроп». Драм. отрывок, соч. Шиллера (перевод).

Рукопись кончается словами: «Другая дверь — единственный (sic!) выход из комнаты». На этих словах и заканчивается работа Д. Веневитинова, остальную часть перевел, возможно, брат его Алексей, переводивший с немецкого, напр., Шлегеля.

Повесть была напечатана впервые в «Моск. вестнике» 1827 г., ч. V, стр. 244 — 301, под заглавием «Что пена в вине, то сны в голове». Повесть (из Гофмана), без подписи. В оглавлении V части журнала, перед заглавием, фамилия автора обозначена буквой «В». Возможно, что это сделано было потому, что переводили повесть оба брата Веневитиновы, причем оба подписывались часто одной буквой В.

Ввиду высказанного отзыва Веневитиновым об этой повести, как о лучшей из напечатанных, мы сочли возможным привести здесь ее текст полностью, с той разницей, что первая часть дается по рукописи Веневитинова, остальная (см. ниже) — по журн. «Моск. вестник».

Ввиду наличия большого количества разночтений в рукописи и печатном тексте, приводить их здесь было бы затруднительно.

Мы оставляем заглавие и текст пословицы (*Träume sind Schäume*) таким, каким оно вышло из-под пера Д. Веневитинова.

В собр. соч. Гофмана на русском языке повесть не входила. Гофман, Эрнст-Теодор-Амадей (1776 — 1822) — немец, писатель-романтик.

«Ученики в Саисе» — намек на произведение под этим названием немецкого писателя-романтика Новалиса (1772 — 1801), где он развивает теорию «магического идеализма», по которой поэт-маг обладает способностью претворять идеи в действительность, а действительность — в идею.

Продолжение повести

Главные двери, которыми майор должен был пройти в сад, были также заперты и заложены, как накануне вечером. Звали, кричали, не было ответа; наконец, вломилась в спальню, и что ж увидели? — с одепенелым ужасным взглядом, с кровавою пеною у рта, со шпагою в сжатой, окостенелой руке лежал майор мертвый на полу, в своем датском красном мундире! Все усилия возратить его к жизни были тщетны.

Барон умолк. Отмар хотел было что-то сказать, но остановился и, потирая лоб рукою, казалось, хотел сперва привести в порядок мысли, возбужденные этой повестью. Мария прервала всеобщее молчание. «Какое ужасное приключение! — сказала она; — мне кажется, я теперь вижу страшного майора в его датском мундире, вижу, как он устремил на меня взгляд свой. Ах! чувствую, что мне не спать этой ночи». Живописец Франц Бикерт, истинный друг семейства, который лет пятнадцать жил в доме барона, по своему обыкновению не принимал, казалось, участия в разговоре, но, сложив руки за спиною, ходил взад и вперед по комнате, кривляя лицо и делал иногда смешные прыжки на паркете. Наконец, подошел он к беседующим с своими замечаниями. «Баронесса правду говорит, — сказал он, — к чему рассказывать перед самым сном такие ужасные приключения? По крайней мере, это несогласно с моей теорией, которая основана на нескольких миллионах опытов. Ежели барону всю жизнь снилось только страшное, то единственно потому, что он не знал моей теории и, следовательно, не мог с ней сообразиться. Говори себе Отмар, что хочет, о магнетическом влиянии, о действии планеты — быть может, он не совсем ошибается; но только моя теория может дать человеку такой щит, которого не пробьет никакой луч месячный...» — Хотелось бы, очень бы хотелось узнать, что за чудесная теория — сказал Отмар. «Пускай говорит наш Франц! — закричал барон, — он скоро убедит нас, в чем захочет». Живописец сел напротив Марии; с большими приготовлениями, с пренежной улыбкой понюхал табак и начал следующим образом:

«Почтенное собрание! Что пена в вине, то сны в голове — это старинная, коренная немецкая пословица,¹ но Отмар

¹ Träume sind Schäume.

так хитро растолковал ее, что пока говорил, я точно чувствовал в голове своей те пузырьки, которые от вещественного стремятся к началу духовному. Теперь надобно спросить: нашли ум приготовляет ту влагу, от которой отделяются эти тончайшие части? Отвечают: вся природа со всеми своими явлениями не столько служит человеку, сколько отверзает ему поприще, на котором он, называя себя ее господином, действует, как простой работник, для ее же целей. Со всеми внешними предметами, со всею природою мы находимся в самой тесной физической и нравственной связи; отделившись от них, — если б это было возможно, — мы перестали бы существовать. Наша, так называемая, внутренняя жизнь зависит от внешней; она как вогнутое зеркало: в ней отражаются все явления, но в неправильных размерах и странном виде. И потому утверждаю смело: не приходило человеку в голову, не снилось ничего такого, что бы своих стихий не имело в природе: вон из природы он не может сделать ни шагу. Исключаю некоторые внешние, неотвратимые впечатления, которые возмущают нашу душу, дают нашей фантазии противуестественное направление; таковы, например, внезапный страх, сильная горечь и пр.; но уверен, что если б наш ум умел удерживаться в назначенных ему пределах, то очень удобно мог бы из приятнейших явлений жизни извлекать ту влагу, из которой, по словам Отмара, выскакивают пузырьки, образующие приятную пену снов. По крайней мере я, будучи вечером всегда в преселом расположении духа, — чего верно никто не оспорит, — я действительно przygotowляю себе сны на ночь, думая о всяких дурачествах, которые моя фантазия во время сна представляет мне в самом забавном виде. Особенно смешат меня мои театральные вымыслы...» — Как? — спросил барон. — «Точно так, — отвечал Бикерт: давно уже заметил один остроумный стихотворец, что во сне мы отличные драматики и отличные актеры: всякой характер со всеми тончайшими чертами его мы понимаем верно, и отменно верно выражаем их. Я держусь этого правила: часто приходят мне в голову разные комические приключения, случавшиеся со мной в путешествиях, разные комические лица, с которыми мне случалось жить вместе: и ночью — моя фантазия, представляя мне эти лица со всеми их смешными качествами и дурачествами, рисует для меня презабавное зрелище. Вечером я как будто сочиняю простой очерк такой пьесы; ночью все пламенно оживляется по произволу поэта. Я заключаю в самом себе и труппу актеров, и публику, и стихотворца. Из этого рода снов, почти произвольно возбуждаемых, исключаются, как я сказал уже прежде, все те, коим поводом служит какое-нибудь чувство, порожденное внешним случаем, какое-нибудь внешнее физическое впечатление. Кому например инво-

гда не казалось, что он падает с высокой башни, что ему рубят голову, и пр.? Все такие сны происходят от физической боли, которую ум, действуя во сне независимее от тела, толкует по-своему и находит ей причину фантастическую. Я помню, мне когда-то снилось, будто я пуншевал в веселом обществе; уда-
лый офицер, мне коротко знакомый, беспрестанно задирает одного студента, так что, наконец, сей последний швырнул ему в лицо стаканом; завязалась общая драка, я хотел мирить был жестоко ранен в руку, сильная боль разбудила меня—и что ж? кровь действительно текла по руке—я оцарапал ее большою булавкою, которая была воткнута в одеяло...» — Ага, Франц! — закричал барон, — не совсем же приятный сон ты себе приготовил. — «Увы!» — сказал живописец жалобным голосом, — кто же виноват в том, что судьба иногда посылает нам в наказание? И я видал сны ужасные, мучительные— обливался потом, выходил из себя...» — Рассказывай же скорее, — прервал Отмар, — хоть бы от того рушилась вся твоя теория. — Ах! ради бога, сжаляться надо мною, — сказала Мария. — «Нет! нет! — отвечал Бикерт, — к чорту вся жалость! Не меньше других я навидался снов ужасных. Как же? Раз приглашает меня к чаю принцесса Амальдафонджи; я надеваю прекрасный кафтан с галунами, шитый жилет; говорю самым чистым итальянским языком *lingua Toscana in bocca Romana*; как настоящий художник, влюбляюсь в красавицу; употребляю самые высокие, небесные, пиитические выражения; вдруг она взглянула наискось, и я, к своему ужасу, увидел, что одевшись так шегольски, сидел перед ней без галстука и грудь параспашку: боже мой! мало ли еще других адских снов могу рассказать вам? Однажды я мечтою перенесся в двадцатый год своей жизни; давали бал; я располагался натанцоваться досыта с милыми барышнями; как в хлопотах велел вывернуть свой старый фрак, чтоб он казался поновее; купил себе пару белых шелковых чулков, истратил на это последние деньги; вот уж подожу к залу — там сияют тысячи свечей, кипит толпа модного народа — отдаю билет; вдруг проклятый швейцар отворяет какую-то заслонку и говорит с убийственной учтивостью: «не угодно ли вам в печку? а там пройдет в залу».

Но все это безделки в сравнении с тем ужасным сном, который мучил меня вчерашнюю ночь. Представьте — я как-то вдруг превратился в лист веленовой бумаги, и кто-то — как бишь зовут этого чорта? он неизвестный поэт — короче, этот кто-то держал в руке предлинное, предурно очиненное, зубчатое перо индейского петуха, писал свои гадкие стихи и нещадно царапал меня бедного. А то еще когда-то душегуб анатом вздумал рассекать меня на части и делать надо мною всякие догадки, например, каково было бы, если б на

сшине выросла у меня нога, если б правая рука моя приросла к левой коленке!! Барон и Отмар прервали Бикерта громким хохотом; все развеселились, и барон сказал: «Не даром говорю я, что в нашем семейственном кругу Франц настоящий maître de plaisirs. Каким патетическим тоном начал он свое рассуждение на тему, нами заданную! Тем приятнее, тем неожиданнее были шутки, которыми кончилась речь его, которые, как сильный залп, разрушили нашу торжественную важность. В одно мгновение перенес он нас из мира отвлеченного к веселой, живой действительности». — «Не думайте, — отвечал Бикерт, — чтобы я хотел быть вашим паяцом и думал только развеселить вас. Нет! эти гадкие сны в самом деле меня мучили. Быть может, я сам виноват, сам себе невольно приготовил их...» Отмар прервал Бикерта. «Наш Франц, — сказал он, — доказывает свою теорию опытами; но мне не нравится его изложение: я не вижу связи в его выводах. К тому же есть другие сны, рода высшего...» «Видите, — сказал барон, — Отмар тотчас опять поскачет в эту неизвестную страну, которую мы, неверующие, по его словам, можем видеть только издали, как Моисей обетованную землю. Но мы его попросим как-нибудь повести нас за собою. — Теперь дурная осенняя ночь; не худо бы нам еще часочек посидеть вместе. Велик-ка развести огонь в камине, а Мария пусть приготовит нам вкусного пуншу: мы его признаем за того духа, который сохранит нашу веселость». Взоры Бикерта прояснились, он возвел их к небу, глубоко вздохнул и, приняв умоляющее положение, низко поклонился Марии.

Мария до того времени долго сидела в задумчивости, не говоря ни слова; но, увидев смешную фигуру старого живописца, рассмеялась от души и тотчас вскочила приготовить все по желанию барона. Бикерт хлопотливо за все брался, помогал Гаспару носить дрова, стал на одно колено, нагнулся набок, начал раздувать огонь в камельке и беспрестанно просил Отмара показать себя достойным его учеником, срисовать его в этом положении, не упуская из виду действия огня, который ярко освещал лицо его. Старый барон становился все веселей и — что случилось только тогда, когда он бывал в самом веселом расположении духа — велел себе подать свой длинный турецкий чубук, украшенный редким янтарным мундштуком. Когда же тонкий дым турецкого табака наполнил залу, и Мария, наколовши сахару, выжала на него лимонный сок в пуншевую чашу, — тогда всем показалось, что какой-то благой дух парил над ними, наполняя их таким живым наслаждением, что они чувствовали одно настоящее, забывая и прошедшее, и будущее.

«Странно, — сказал барон, — что Марии так хорошо удается приготовление пунша: другого я почти пить не могу. Как она ни объясняет составные его части и пр., а никто такого не сделает. Однажды при мне делала пунш наша забавная Катинька точно по тем же правилам, но я не мог выпить и стакана. Подумаешь, что Мария напешивает какие-нибудь слова, которые придают ему такую волшебную силу». — «И может ли быть иначе, — возразил Бикерт, — это очарование красоты, которое оживляет все, к чему прикасается Мария: стоит только посмотреть, как она prepares пунш, и пунш покажется бесподобным». — «Бикерт очень учтив, — прервал Отмар; — но не совсем прав, с твоего позволения, сестрица! Я согласен с батюшкой: что ты ни сделаешь, что ни пройдет через твои руки, все то получает какую-то приятность, производит во мне внутреннее довольство. Франц находит тому причину в красоте твоей; он обожал тебя еще на осьмом году твоей жизни; но я ищу причины более глубокой. . .» «Что вы хотите из меня сделать сегодня? — воскликнула Мария веселым тоном: — едва перестали тревожить меня своими страшными рассказами, и уж брат во мне самой находит что-то таинственное; едва я перестала думать об этом страшном майоре, и уж должна бояться, чтоб самой не превратиться в привидение, должна пугаться своего собственного изображения в зеркале». «Это в самом деле было бы слишком жестоко, — сказал, рассмеявшись, барон, — шестнадцатилетней девушке не сметь посмотретья в зеркало, без того, чтоб не принять своего лица за привидение! — Но отчего вы сегодня отспать не можем от этого мечтательного бреда?» — «И что всего страннее, батюшка, — заметил Отмар, — вы сами невольно подаете мне повод распространяться о таких предметах, о которых всякое розыскание почитаете бесполезным, даже преступным. Признайтесь, что вы именно за такие рассуждения не любите моего доброго Альбана. Но что же делать? Сама природа вложила в нас эту страсть к наследованиям, эту неутолимую жажду познания, и чем сильнее в нас действует это побуждение, тем мы способнее достигнуть совершенства. . .» «Да! и когда думаем, что стоим уже высоко на этой лестнице высшего совершенства, — тогда со стыдом с нее падаем, и бесчисленные недоумения уверяют нас, что легкий воздух этих горных стран совсем негоден для наших тяжелых голов». — «Не понимаю, Франц, что с тобою случилось, — отвечал Отмар, — с некоторых пор ты совсем переменялся, и именно с того времени, как Альбан поселился в нашем доме. Прежде — ты страстно любил все чудесное, старался растолковать себе яркие пятна, странное образование крыльев бабочки, цветов, камней; ты. . .» «Остановись ради бога, — воскликнул барон, — а то мы опять перейдем к

старой материи. Все, что вы с своим мечтательным Альбаном ни берете из углов своей умственной кладовой для сооружения мудреного здания без всякой прочной основы, все-то мне кажется мечтательным сном, а сны я сказал уже — то же, что пена в вине. Нет в ней твердости, нет вкуса. И это высший результат усилий ума вашего! Это стружки, откакивающие от резца токарного: случайно принимают они известную форму, но никогда не бывают целью трудов художника. Впрочем Бикертова теория так ясна, что я постараюсь испытать ее на практике. . .» — «Мы все-таки не перестаем говорить о снах, — сказал Отмар, — так позвольте же мне сообщить вам одно происшествие, о котором я недавно слышал от Альбана. Мой рассказ сохранит нас в том же расположении духа». — «С условием, — отвечал барон, — верить словам моим и позволить Бикерту прерывать тебя своими замечаниями. . .» — «Я только что хотела просить о том же, — сказала Мария. — Рассказы Альбана, если не всегда ужасные, то по большей части так странно напрягают внимание, что становятся утомительны». — «Сестре не за что будет на меня пожаловаться, — отвечал Отмар, — Бикерта попрошу я оставить покуда свои замечания, ибо рассказ мой покажется ему подтверждением его теории, а вам, батюшка, докажу я вашу несправедливость в отношении к Альбану». — «Что до меня касается, — сказал Бикерт, — то я стану пуншем смывать каждое замечание, которое будет у меня на языке. Зато позвольте мне делать столько гримас, сколько захочу». — «В этом тебе никто не помешает», — воскликнул барон, и Отмар начал свое повествование без дальнейшего предисловия.

«В Г. . . ском университете Альбан познакомился с одним молодым человеком, которого благородная наружность невольно пленяла всякого и который потому везде был хорошо принят. Оба учились медицине; еще в самых юных годах отличались перед всеми прилежанием; первые приходили в класс; всегда вместе сидели. Скоро связь их сделалась теснее и превратилась, наконец, в взаимную, крепкую дружбу. Теобальд (так называл Альбан своего друга) предался ей от чистого сердца, всей душою. С каждым днем яснее обнаруживался его тихий, почти женский характер, его юный энтузиазм к прекрасному, над которым смеялась большая часть его товарищей. Один Альбан умел оценить эту нежность нрава, он один следовал за другом в блестящие цветники его мечтаний; но часто увлекал и за собою в бурное море жизни действительной, раздувая каждую искру твердости, которая тлелась в душе его. Он это почитал своим долгом; по его мнению, только в летах юных Теобальд мог приобрести ту силу, которая так нужна для борьбы с несчастием, так часто, так неожиданно нас встречающим. Теобальд составил план своей жизни, и его желания,

согласные с его образом мыслей, ограничивались предметами самыми близкими. Он кончил курс учения, получил степень доктора и располагался ехать на родину, там жениться на дочери своего опекуна, с которою вместе вырос, и владея значительным имением, жить единственно для себя и для науки, не занимаясь практикою. Тогда воскресало учение о животном магнетизме; он пристрастился к нему; под руководством Альбана ревностно изучал все, что было писано о сем предмете, поверял свои познания опытом и скоро обратился к древнейшей школе спиритуалистов, отвергая всякое физическое посредство, как противное истинному понятию о силах природы, действующей единственно психическими средствами. . .»

Едва Отмар успел произнести слово магнетизм, как лицо Бикерта стало изменяться, сперва немного, потом все больше и больше, так что, наконец, задрожали и скорчились все мускулы, и самая странная рожа представилась глазам барона, который едва мог удержаться от смеха. Бикерт вскочил с места, хотел уже начать возражения, но Отмар подал ему стакан пунша; живописец проглотил его с досадою, и Отмар продолжал рассказ свой: «Прежде нежели распространилось учение о магнетизме, Альбан был всей душою привержен к магнетизму, допуская самые жестокие кризисы, которые с ужасом отвергал Теобальд. Разность мнений часто подавала им случай спорить. Альбан не мог опровергнуть многих опытов Теобальда, увлечен был его высокими мыслями о чисто психическом влиянии, мало-помалу стал переходить на сторону психического магнетизма и, наконец, совершенно предался новейшей школе, соединяющей обе теории. Теобальд, напротив того, никак не хотел отстать от своей прежней системы и отвергал всякое физическое посредство. Всю жизнь хотел он посвятить исследованию психических действий; Альбан многого ожидал от своего благородного друга, утверждал его в намерении, и когда настало Теобальду время возвратиться на родину, то последним словом Альбановым было: «останься верен своей мысли».

Скоро получил Альбан письмо от Теобальда, и недостаток связи показывал отчаяние, внутренний мятеж его сердца. «Все счастье моей жизни рушилось, — писал он, — мне надо на войну. Из родного края туда летят мысли той, которую люблю так пламенно. Разве одна смерть исцелит мои мучения». Альбан немедленно поехал к другу. После многих тщетных стараний ему удалось несколько успокоить несчастного. Мать Теобальдовой любезной рассказала ему, как все случилось: чужие войска проходили чрез их землю; в доме их остановился один италиянский офицер; с первого взгляда пламенно влюбился в дочь ее; смутил ее этой горячностью, свойственной его народу, и одаренный всем, что пленяет сердце женщины, в немного дней поселил в ней страсть такую сильную;

что она, забыв бедного Теобальда, стала думать единственно об италианце. Ему надобно было ехать за армией, и тогда образ возлюбленного стал всюду ее преследовать. Она беспрестанно его видела лежащим в крови на страшном поле сражения, умирающим, произносящим ее имя с последним вздохом. . . Наконец ум ее так расстроился, что когда Теобальд возвратился, надеясь прижать к сердцу радостную невесту, она даже не узнала его.

Едва успев несколько облегчить страдания больного Теобальда, Альбан сообщил ему средство, им выдуманное, для возвращения прежней любви его возлюбленной, и совет Альбана показался ему столь согласным с его собственным убеждением, что он ни мало не усомнился в счастливом успехе. . . »

Тут Отмар прервал повесть свою. «Знаю, Бикерт, — сказал он, — знаю, что у тебя вертится на языке, чувствую твои мучения, и мне весело видеть отчаяние, с которым ты хватаешь из рук Марии стакан пунша. Но умоляю тебя — не говори ни слова: горькая улыбка яснее выражает мысль твою, нежели все замечания, все острые шутки, которые ты мог бы рассыпать мне в досаду. Моя повесть занимательна; ты сам примешь живейшее участие в моем рассказе; слушай. А вы, батюшка, согласитесь, что я исполняю все условия данного обещания». Барон откашлялся на сии слова, а прекрасная Мария с любопытством глядела прямо в глаза Отмару, небрежно опираясь головой на руку, по которой вились длинные русые кудри ее и доставали до локтя.

«Если дни этой несчастной девушки были мучительны, ужасны, — продолжал Отмар, — то ночи проводила она в мучениях еще ужаснейших. Призраки, пугавшие ее днем, являлись ночью страшнее. Кровавый труп беспрестанно мечтался глазам ее, и всякому раздирала она сердце стонами, тем жалобным голосом, которым призывала имя любезного. И когда сии сны тревожили несчастную, мать подводила к ее постели Теобальда: он садился подле, всей силою воли останавливал на ней мысли, не сводил с нее устремленного взора. Повторив несколько раз этот опыт, он заметил, что впечатление снов ее становилось слабее. Она уже не так сильно произносила имя италианца; голос ее не имел прежнего тона, потрясавшего душу; вздохи становились тише, продолжительнее, и стесненная грудь дышала свободнее. Потом Теобальд стал класть на нее свою руку и тихо шептал ей свое имя. Это имело надлежащее действие. Она называла италианца уже прерывистым голосом, останавливалась на каждом слове; как будто нечто постороннее втеснялось в ряд ее представлений. Скоро она совсем перестала говорить и только изредка шевелила губами: казалось, хотела что-то сказать, но другое, внезапное впечатление оста-

навливало ее. Такое состояние продолжалось несколько дней, и тогда Теобальд, сжимая руки ее в своих, начал говорить ей тихо, расстановочно напоминал прежнее время, переносил ее память в годы их младенчества. В эту счастливую эпоху он резвился вместе с Кларою (только теперь вспомнил я имя этой девушки) в саду ее дяди: Теобальд доставал ей лучшие вишни, искусно отводя от них взоры лакомых товарищей; докучал старику-дяде, часто прося у него богатой книги с изображением разных народов и костюмов; получив ее, облокотясь на стол, прилежно пересматривали они вместе все листы ее: там для изображения каждого народного костюма всегда представляемы были мужчина с женщиной, и детям казалось, что все это были Теобальд с Кларой. Им всегда хотелось быть вместе в этих чужих краях, в этих странных одеждах. . . Как удивилась мать Клары, когда однажды ночью она стала говорить, входя совершенно в мысли Теобальда. Она сама возвращалась к восьмому году своей жизни, вспоминая свои игры с Теобальдом, вспоминала такие обстоятельства, которые особенно выражали характер ее детства. Она была свойства пылкого и часто ссорилась с старшей сестрою, которая была немножко зла от природы, нападала на нее за всякие безделицы, и между ними часто происходили трагикомические сцены. Например, в один зимний вечер дети сидели все трое вместе; старшая сестра была тогда своеюравнее обыкновенного и не переставала мучить бедную Клару, так что последняя заплакала с досады. Теобальд, по своему обыкновению, рисовал разные фигуры, хотел снять со свечи и нечаянно потушил ее. Клара воспользовалась этим случаем, чтобы отомстить сестре за все обиды, и больно ее ударила. Та с воплем немедленно побежала к отцу, жалуясь на Теобальда, который, по словам ее, погасил свечу и прибил ее. Дядя Теобальдов поспешил на место преступления и бранил племянника за его злобу. Теобальд знал виноватую, но не оправдывался. Сердце Клары раздиралось от горести, когда она слышала, как обвиняли Теобальда, будто он для того, чтоб всю вину сложить на нее, прежде потушил свечу, а потом уже начал драться. Но чем более она плакала, тем более утешал ее отец, уверяя, что виноватый найден, и вся хитрость его осталась тщетною. Когда же Теобальдов дядя прибегнул к строгому наказанию — Клара не вытерпела, обвинила сама себя и во всем призналась; но в этом сознании отец видел только следствие чрезмерной ее привязанности к Теобальду; а твердость последнего, который почитал себя счастливым, что терпит за Клару, казалась ему просто закоснеостью порока. Горе Клары было невыразимо: с тех пор изменился гордый, повелительный нрав ее, и она вся отдалась в волю тихого, скромного Теобальда: он мог, не

боясь рассердить ее, располагать ее игрушками и ломать их. По мере того, как приверженность Клары возрастала ежедневно, обида, претерпенная за нее Теобальдом, странным образом усилила и его к ней привязанность и превратила ее в любовь, самую горячую. Дядя все замечал и, впоследствии, узнав все подробности этого случая, несчастного для Теобальда, не сомневался уже во взаимной любви их и охотно благословил неразрывную связь, которую они обещали себе на целую жизнь свою. Это самое происшествие занимало теперь сонную Клару. До тех пор она днем всегда была молчалива и задумчива; но в утро, последовавшее за этой ночью, неожиданно открылась она матери, что с некоторого времени видит сны веселые, видит Теобальда, и жаловалась, что он так долго не едет, даже не пишет к ней. Ее желание видеть Теобальда беспрестанно усиливалось, и наконец последний решился явиться к ней, как будто только что приехал с дороги: ибо с того ужасного дня, как Клара не узнала его, он ни разу ей не показывался. Клара приняла его с живейшими изъявлениями пламенной любви; скоро призналась со слезами в своей неверности, чистосердечно рассказала, как чужеземец странным образом умел пленить ее, и она, как бы увлекаемая тайною силою, совершенно потеряла рассудок; как, наконец, образ Теобальда, являясь ей в веселых снах, остановил это враждебное влияние. Она клялась, что не может уже вспомнить и паружности италианца и один Теобальд живёт в ее сердце. Друзья уверились наконец, что действительное расстройство ума Клары совершенно прошло и ничто не мешает соединению...

Так хотел кончить Отмар свою повесть, как Мария, вскрикнув, упала без чувств на руки подоспевшего Бикерта. Барон остолебенел от испуга. Отмар подскочил на помощь к Бикерту, и оба положили Марию на диван. Она лежала, покрытая бедностью смерти; все следы жизни исчезли на лице ее, и судорога свела все ее мускулы. «Она умерла!» — отчаянно вопил барон. «Нет! — говорил Отмар. — Альбан ей поможет». — Едва он произнес эти слова, как дверь отворилась, и Альбан вошел в комнату. С важным, повелительным видом приблизился он к бесчувственной Марии. Барон глядел ему в глаза с лицом, пламеневшим от гнева. Никто не мог вымолвить ни слова. Альбан, казалось, обращал все свое внимание на Марию и вверил на нее свои взоры. «Мария! что с вами случилось?» — спросил он ясным, торжественным голосом, и все нервы ее затрепетали. Он взял ее руки, и, не сводя с нее глаз, продолжал: «Что могло так испугать вас, господа? пульс бьет слабо, однако ровно. Но комната наполнена дымом. Отворите окно. Скоро пройдет этот ничтожный нервический припадок». Бикерт отворил окно. Тогда Мария открыла

Глаза: взор ее встретил Альбана. «Оставь меня, ужасный человек: я хочу умереть без мучений» — произнесла она слабым, едва слышным голосом и, отвернувшись от Альбана, скрывая лицо в подушках, крепко заснула, как это приметно было по еще тяжелому дыханию. Странная, ужасная улыбка пробежала по лицу Альбана. Барон вскочил, хотел, повидимому, что-то сказать с гневом; но Альбан сильно устремил на него взгляд свой и с тоном важным, но в котором отзывалась насмешка презрения, сказал барону: «Успокойтесь! ваша дочь немного нетерпелива, но как скоро очнется от этого благотворного сна — что неминуемо случится в шесть часов утра — пусть примет двенадцать этих капель, и все будет забыто». — Он подал Отмару скляночку, которая была у него в кармане, и тихим шагом вышел из залы.

«Чудо-доктор! — воскликнул Бикерт, когда сонную Марию отнесли в спальню и Отмар также удалился. — Этот взгляд глубокомысленный, проникающий в душу, — эта торжественная поступь, — эта уверенность даже в часе, когда проснется Мария, эта склянка с удивительным лекарством... я ждал уже, что он исчезнет в воздухе, как Шведенбург, или, по крайней мере, вошедши сюда в черном фраке, выйдет в красном...» — «Бикерт! — прервал барон, который до того времени не мог вымолвить ни слова и, как вкопанный, сидел в креслах, — Бикерт! вот как кончился веселый наш вечер. Но я предчувствовал, что меня сегодня постигнет какое-то несчастье и что я по необыкновенному случаю увижусь с Альбаном. — Не умею объяснить себе тех странных, невольных чувств, которые исполняют меня, когда он ко мне подходит. Глубокая ученость сделала его энтузиастом; его старательность, успехи приобрели ему общее уважение; но я его уважаю тогда только, пока не вижу: вблизи он мне является с чертами искаженными, наполняющими меня ужасом. Отмар привез нам в первый раз этого друга месяца три тому назад, — мне казалось, что я его где-то видел. Его учтивость, ловкость мне понравилась, но вообще я не был им доволен. Когда он поселился в нашем доме — ты знаешь, Мария скоро занемогла странною болезнью, и когда, наконец, призвали в помощь его искусство, Альбан занялся лечением с таким беспримерным старанием, с такою любовью, с таким успехом, что невольной покорила мою признательность: я хотел бы осыпая его золотом, но тяжело было сказать слово благодарности. Мне иногда казалось, что если б он вывел меня из крайней опасности, то и такой услугой несколько не выиграл бы в моем расположении. Его самодовольный вид, его мистический тон, его шарлатанство, например, когда он магнетизирует деревья, или, распростерши руки к северу, вбирает, по его словам, новые в себя силы — все возбуждает во мне и него-

дование и презрение. Но заметь, Бикерт!.. Странно, очень странно, что с тех пор, как Альбан здесь, датский майор, о котором я говорил сегодня, чаще прежнего мне приходит в голову. И теперь еще, когда он так презрительно, так адски улыбнулся, так сильно устремил на меня свои большие, черные глаза, мне казалось, что предо мною стоял майор. Он, точно он! Сходство удивительное!»

«Ну так разгадал же я причину твоего отвращения к Альбану, — прервал барона Бикерт, — не Альбан, но датский майор тебя тревожит, а бедный Альбан терпит за свой орлиный нос, да за свои черные, огненные глаза. Успокойся; прогони свои мрачные грезы. Альбан энтузиаст, фанатик — пусть так! Но он хочет добра, делает добро. За это можно простить ему хвастливость и шарлатанство — это невредная игрушка. Уважай в нем искусного, дальновидного медика...» Барон вскочил и, схватив обе руки Бикерта, сказал: «Франц! ты теперь говорил против собственного убеждения: ты хотел меня успокоить... но в душе моей глубоко врезалось чувство, что Альбан — враждебный дух мой. Франц! умоляю тебя! будь внимателен, советуй, помогай — поддерживай. Если увидишь, что мое зыбкое семейное счастье колеблется... ты понял меня... более ни слова».

Друзья обнялись. Уже давно пробил полночь. В задумчивости, с чувствами беспокойными каждый из них пошел в свою комнату. Ровно в шесть часов проснулась Мария, приняла двенадцать капель предписанных, и через два часа с лицом веселым и свежим вошла в гостиную, где приняли ее барон, Отмар и Бикерт. Альбан заперся в своей комнате и велел сказать, что нужные письма задержат его целый день.

Письмо Марии к Адельгунде

Итак ты, наконец, спаслась от бури, от ужасов военных и нашла безопасное, спокойное пристанище. Нет! не могу тебе выразить, любезный друг, всего, что я чувствовала, когда после долгого, долгого ожидания снова увидела твой мелкий милый почерк. От нетерпения едва не изорвала я письма, слишком крепко запечатанного. Сперва я его читала, читала и все не могла понять написанного, пока не успокоилась, и тогда с восхищением узнала, что твой дорогой брат, мой любезный Ипполит, здоров и что я скоро его увижу. Итак ты не получила ни одного из моих писем? Ах, любезная Адельгунда! твоя Мария была очень, очень больна. Теперь я опять здорова, хотя моя болезнь была так странна, так мне самой непонятна, что я до сих пор ужасаюсь, когда об ней только подумую: впрочем, Отмар и доктор уверяют

меня, что этот страх есть не что иное, как продолжение болезни, которую надобно искоренить совершенно. Не требуй, чтоб я тебе изъяснила, в чем именно она состояла; я сама этого не знаю. Я не чувствовала ни боли, ни страдания, а, несмотря на то, мое спокойствие, моя веселость исчезли. Все изменилось в глазах моих. Заговорят ли бывало несколько громко, пройдут ли по комнате — мне колет в голову, как бы иглами. Иногда казалось, что все, меня окружавшее, даже вещи неодушевленные, все имело голос, издавало звуки, говорило мне слова удивительные. Странные мечты выводили меня из жизни действительной. Поверишь ли, Адельгунда? все глупые детские сказки о жар-птице и пр., которыми те-тушка так хорошо умела забавлять нас, — все они снова приходили мне на память и ужасно пугали меня: мне казалось, что я сама сделалась жертвою злости черного волшебника. Смеюсь, когда подумаю, как сильно действовали на меня эти грезы, но я с каждым днем слабела и становилась хуже. Каждая безделица могла огорчить меня, безделица приводила в восторг. Многие вещи, на которые прежде я не обращала внимания, не только приходили мне на мысль, но и сильно тревожили мое воображение. Например, я получила такое отвращение от лилий, что, увидев этот цветок, всегда падала в обморок. Но напрасно я стараюсь, любезная Адельгунда, дать тебе понятие об этом состоянии. Я не назвала бы его болезнью, если бы, изнуря и слабея более и более, я наконец не увидела смерти перед собою. Перейду к другому предмету и стану говорить о моем выздоровлении. Я одолжена жизнью пречестному человеку, которого Отмар ввел в наш дом и который в здешней столице славится тем, что один из докторов умеет вылечивать болезни, подобные моей. Странно, что прежде во сне я всегда видела молодого человека, красавца, величавого, который внушал мне какое-то к себе почтение; одетый всегда в длинный плащ с алмазным вендом на голове, он казался каким-то романтическим царем духов и избавлял меня от злого чародейства. Ах, любезная Адельгунда, как я испугалась, когда с первого взгляда узнала в Альбане этого царя снов моих. Альбан — тот самый доктор, тот друг Отмара, которого брат мой привез из столицы. Сначала я была к нему очень равнодушна; когда же он был призван лечить меня, тогда я сама себе не могла дать отчета в тех чувствах, которые он произвел во мне. В своем образовании, в своем обращении Альбан имеет что-то важное, даже повелительное, что заставляет его уважать преимущественно пред всеми. Когда он вперил на меня строгий, пронзительный взгляд, мне показалось, что я должна повиноваться ему, что ему для успеха стоит только твердо пожелать моего выздоровления. Отмар сказал мне,

что я должна всею надеяться от магнетизма и что Альбан известными средствами приведет меня в такое состояние, в котором я сама узнаю причину своей болезни и назначу способ лечения. Эти средства были употреблены и, несмотря на мой страх, на мое отвращение, имели благотворное действие. Моя свежесть, веселость возвратились; безумные сны мои исчезли: иногда только мне кажется, что если б Альбан потребовал, я могла бы с закрытыми глазами различать краски, металлы, читать и т. п.; иногда он велит мне рассмотреть мою внутренность и пересказать ему все, что увижу, и я исполняю это в точности; иногда я невольно должна о нем думать, вижу его пред собою и впадаю в глубокую задумчивость. Не знаю, Адельгунда, не кажусь ли я тебе странною, сумасбродною? Понимаешь ли ты слова мои? не шепчешь ли про себя имени Ипполита? Ах, поверь, что я никогда его так искренно не любила, как теперь, и часто поминаю в своей молитве. Да отвратит от него небо все убийственные удары, угрожающие ему на поле сражения. С тех пор, как Альбан сделался моим повелителем, мне кажется, что я сильнее могу любить Ипполита, могу лететь к нему душою, как ангел осенить его своей молитвой, как крылами серафима, и разрушить все замыслы смерти... Я недавно узнала сердце Альбана, — но поверишь ли, когда была больна и до крайности раздражительна, в уме моем часто восставали низкие против него сомнения. Ах, Адельгунда! Они ужасно меня мучили. Смейся сколько хочешь над моей откровенностью, но мне часто приходило в голову: «Альбан хочет уловить тебя в свои сети, под видом чудного лечения хочет возжечь в тебе любовь земную». Ах, Ипполит!.. Недавно батюшка, брат, старый Бикерт и я, мы все вместе сидели вечером: Альбан, по своему обыкновению, еще не возвращался с прогулки. Зашла речь о снах; батюшка и Бикерт рассказывали много чудесного и смешного. Отмар также рассказывал: как по совету и наставлениям Альбана, один друг его успел поселить к себе любовь в одной молодой девушке, обращая на себя все ее мысли во время ее сна, посредством магнетизма. Батюшка и старший, верный Бикерт говорили и против магнетизма, и против Альбана так горячо, как я еще не слыхивала. Во мне пробудились с большею силою все мои сомнения. Я подумала: что если он пользуется тайными, злыми способами, для того чтобы положить на меня свои оковы? что если он хочет, чтоб его одного носила я в мыслях и в сердце, чтоб забыла Ипполита? Чувство, дотоле незнакомое, обуяло меня мучительным страхом; мне представился Альбан в своей комнате, окруженный странными инструментами, гадкими животными, растениями, камнями, блестящими металлами; он обво-

Дли руками странные круги в воздухе, вздрагивая в судорожных движениях: его лицо, обыкновенно спокойное и важное, было ужасно, и в кровавых глазах быстро извивались василиски. . . вся кровь во мне застыла. Я вышла из этого состояния, подобного обмороку, и что же? Альбан стоял пред мною. Боже! то был не он, то было страшилище, порожденное моей фантазией! На другое утро, как я стыдилась самой себя! Альбан наверно знал мои мысли, но ничего мне не сказал о том, приписывая мой припадок дыму турецкого табака, который батюшка курил в тот вечер. Хотелось бы мне, чтоб ты видела, с каким снисходительным отеческим попечением он старался меня вылечить! И не об одном моем теле он заботится, нет! он и душу возносит к миру вышешему.

Ах, если бы могла ты, Адельгунда, насладиться вместе с нами той истинно-счастливой жизнью, которую мы проводим в этом приюте спокойствия! Бикерт все такой же веселый старик; только батюшка часто бывает в странном несогласии с Отмаром; впрочем — эта однообразная жизнь, для нас пленительная, не годится для деятельных, беспокойных мужчин. Альбан прекрасно говорит о сказаниях и мифах древних египтян и иудейцев. Часто, задумываясь об этом предмете, я погружаюсь в глубокий сон, под огромным буком нашего сада, и, просыпаясь, как будто оживаю снова. Тогда я сравниваю себя с Мирандою в «Буре» Шекспира, которую Проспер тщетно убеждает выслушать рассказ свой. Наднях очень справедливо сказал мне Отмар словами Проспера: не противься своей усталости, это было бы тщетно.

Теперь ты имеешь понятие об моей жизни, Адельгунда: я тебе все высказала; это облегчило мне сердце. Прилагаемое письмо отдай Ипполиту и пр.

Отрывок из письма Альбана к Теобальду

. . . Так называемые добрые дела суть, по большей части, пустой обман. Иногда мы стараемся обольстить ими других; еще чаще стараемся ослепить сами себя этими лучами мнимого величия. Я презираю нравоучения наших бабушек: они только стесняют свободные порывы потока жизни. Быть властелином внешнего, возвысить силы физические и умственные — вот прямая цель человека. И неужели в твоей собственной груди не пробуждались такие чувства, которые не согласуются с тем, что по одной привычке ты признаешь добрым, называешь мудрым?..

Но я слишком много распространяюсь об этом; я вспомнил, что в последнем письме описал тебе мое положение в доме

барона тоном слишком торжественным, и ты, быть может, не совсем меня понял. Повторю кое-что о моем первом знакомстве с бароновым семейством: ежели это письмо застанет мирного Теобальда в порыве мыслей, более смелом, ежели он обратит должное внимание на рассказ мой, — то я наверное оправдан.

Отмар — один из множества тех людей, которые не лишены здравого смысла, одарены даже некоторою живостью ума и скоро понимают все новое в области науки; но они довольствуются одним познанием. Это конечная цель их. Нельзя отказать им в чувстве, но оно не имеет глубокости. Ты знаешь, что Отмар ко мне прилепился; я видел в нем корифея нынешних молодых людей и в то же время забавлялся его ребячским простодушием. Он входил ко мне в комнату с таким благоговением, как будто бы она была самой тайной святисшоу Саисского храма. Он добровольно склонился пред моим скипетром, захотел быть учеником моим: я вверил ему некоторые невинные игрушки, которые он после с торжеством показывал своим товарищам, хвастаясь любовью учителя. Я уступил его неоднократно просьбам, поехал с ним в деревню отца его и нашел в бароне своенравного старика, неразлучного с другим стариком, живописцем, иррава отменно всеелого и насмешливого. Не помню, что я говорил тебе о впечатлении, которое произвела на меня Мария; но теперь чувствую, что не могу говорить так, чтоб ты совершенно меня понял. Впрочем, ты меня знаешь; ты должен быть уверен, что легкий воздушный стан, голубые глаза, которые, обратясь к небу, ищут, кажется, ясной лазури, закрытой от них облаками, — словом, что сам ангел красоты не приведет меня в состояние нежного, вздыхающего любовника. Одно познание взаимного душевного отношения между Мариною и мною исполнило меня неописанного восторга. Но с внутренним блаженством соединялась досада, произведенная сопротивлением Марии. Посторонняя враждебная сила удерживала мое влияние, увлекала за собой ее мысли. Напрягая все умственные мои способности на этого врага, я скоро открыл его, и тогда в борьбе с ним, как в зажигательном стекле, старался я сосредоточить все лучи горячности, которые стремились ко мне от души Мариной. Старый живописец замечал за мною больше прочих. Он, казалось, разгадал внутренний раздор, который поселила во мне Мария. Быть может, взоры обнаружили мои чувства. Вот единственная зависимость души от тела: ее малейшие движения, потрясая нервы, изменяют нашу наружность, по крайней мере изменяют взгляды. Как я смеялся потом над простодушием живописца! он беспрестанно говорил о графе Ипполите, обрученном женихе Марии, с гордостью развертывал передо мною цестрый список его добродетелей, — но для меня не довольно тех отношений, которые

люди называют связью. Духовно соединить со мною Марию, соединить так, чтобы разлука ее уничтожила — вот мысль, которая веселит меня! Это теснейшее сочетание с женщиной превосходит блаженством все чувствительные наслаждения и достойно жреца Изиды. Ты знаешь мою систему: мне не нужно распространяться. Женщина есть существо страдательное во всех своих склонностях: она добровольно отдается чужой силе, желает единственно чужого, внешнего, признает свою зависимость — и вот в чем состоит нрав их, истинно детский, и верх блаженства — обладать таким нравом. Ты знаешь, что я на несколько времени уезжал из деревни барона, но душевно я был с Марию. Она скоро впала в состояние мечтательности. Отмар принял его за нервическую болезнь, и я, как доктор, снова был призван в дом. Довольно было моего твердого взгляда, чтобы навести на нее так называемый сомнамбулизм и заставить жить в моей сфере. Теперь Мария вся живет одним мною, и покойна и счастлива. Образ Ипполита остался в душе ее как слабый очерк; и тот скоро изгладится. Барон и живописец смотрят на меня неприязненно, но тут-то и обнаруживается вся сила, данная мне природою. Противясь мне, они должны признать власть мою неволью...

Ипполит служит в армии полковником. Он теперь на войне. Я не желаю его смерти. Пусть приедет! тем блистательнее будет торжество мое, ибо победа несомненна. Если же противник мой сильнее, нежели я думал, то, зная мои силы, будь уверен, что и пр...

Пустынный замок

Гроза прошла. Солнце заходило и, догорая пурпурным огнем, проглядывало сквозь темные облака, которые бродили по небосклону. Вечерний ветерок веял крылами, и теплый воздух был наполнен благоуханьем дерев и цветов. Я выезжал из леса, и передо мною лежало красивое селение, о котором мне говорил мой жокей. Готические башни замка возвышались величаво, солнце отражалось в окнах, и здание, казалось, горело внутри. До меня долетал звон колоколов и пение; вдали торжественное погребальное шествие тянулось по улице от замка к церкви. Я подъехал; но между тем умолкло пение, пастор прочитал свою проповедь, и собирались на гроб наложить крышку. Я подошел и взглянул в лицо усопшему — то был человек престарелый; лицо его было покойно, как у спящего. Старый крестьянин стоял подле гроба с видом тронутым и, наконец, сказал тихо: «Так-то почил добрый Франц наш! Пошли господи и нам такую кончину». Простое торжество казалось мне достойным доброго человека, и когда опустили гроб, когда с глухим шумом посыпались на него

глыбы земли, меня объяло горькое увыние, как будто заветный друг моего сердца лег в сырую землю. Я хотел взобраться на гору, где стоял замок. Пастор подошел ко мне и сказал: «вы вероятно путешествуете; я заметил вас на кладбище». Я расспросил его о покойнике и узнал, что умерший был живописец Бикерт, который три года жил один в опустевшем замке. Я хотел войти туда: до прибытия уполномоченного от наследника, пастор держал ключи у себя, и я не без ужаса вошел в обширные, пустые комнаты, где прежде жила веселость, где теперь царствовала тишина мертвая. В последние три года своей жизни Бикерт не переставал заниматься своим искусством. Он начал расписывать верхний этаж в готическом вкусе, и с первого взгляда в фантастическом соединении странных фигур, своеобразном характеру зодчества готического, можно было видеть глубокомысленные аллегории. Часто встречалось на стенах изображение дьявола, наблюдающего за спящей девушкой. Я показал пастору свое полномочие от наследника, поселился в замке, и в свободные часы с любопытством пересматривал бумаги Бикерта. Скоро нашел я два листа, где кратко замечания, наподобие дневных записок, объясняли несчастную катастрофу, погибель целой отрасли знаменитой фамилии. Прилагаем их к нашей повести.

Из записок Бикерта

Если б Альбан мог читать во глубине души моей, много прочел бы себе в урок и наказание! Все черты настоящего дьявола, эти черты, которые так резко вывела моя пылкая фантазия... ими искажен в душе моей образ Альбана. Но он жив! здоров! цветет, как цвет майской, — кудри Аполлона, высокое чело Юпитера, осанка посланника богов — Гамлет Шекспиров. Но Марии нет! она в светлых пространствах неба. Ипполит и Мария: какая чета!

Нет, не могу ему верить. Зачем запирается в своей комнате? зачем тихо бродит ночью, как убийца коварный? не могу доверять ему! Иногда хотелось бы как можно скорее, в одно мгновение ока пронзить его шпагой и сказать насмешливо: *pardonnez!* — не могу ему верить!

Странный случай! В одну ночь много говорил я с другом моим; мы говорили от чистого сердца; иду за ним по коридору в его спальню; вдруг сухая фигура, в белом шлафроке, с свечой в руках, мимо нас промчалась. Барон закричал: майор! Франц, это майор! Но я уверен, что то был Альбан: свет,

падая на лицо его снизу, делал его старым и ужасным. Он выходил, казалось, из комнат Марии. Мы пошли туда с бароном. Она спала покойно, как ангел божий. Завтра наступит, наконец, желанный день! Счастливый Ипполит! Но это явление наполняет меня ужасом, хотя и стараюсь уверить себя, что то был Альбан. Неужели злой дух, тревожив юность барона, должен снова явиться ему в жизни и разрушить его счастье? Но оставим эти мрачные мысли! Уверься, Франц! страшные призраки суть часто произведение испорченного желудка...

Боже мой! она умерла — я должен вас уведомить, как это случилось. Но я не имею таланта историка; могу сказать вам просто: в ту минуту, когда Ипполит хотел вести ее к алтарю, она мертвая пала на землю. Все кончилось! Все рассудит судья вышний.

Ты, ты виновник! Альбан! коварный сатана! ты умертвил ее своими адскими обаяниями. Сам бог открыл глаза Ипполиту! Ты бежал — беги, скройся в средоточии земного шара: найдет, найдет тебя мщение.

Нет! не могу простить тебе, Отмар! ты вдался в сети злодея, от тебя востребует Ипполит возлюбленной своего сердца! Они сегодня слишком горячо говорили друг с другом: дуэль неминуема!

Ипполит пал! Счастлив! он с нею увиделся. Бедный Отмар! Бедный отец!

Вечный мир усопшим! сегодня в полночь умер друг мой на руках моих. От чего я так утешен? ах! я чувствую, что скоро с ним увижусь. И Отмар высоким подвигом наказал себя за вину свою: он геройскою смертью погиб в сражении: это известие разорвало последнюю нить, которая к земле еще привязывала дух мой. Останусь здесь в замке; буду бродить по комнатам, где они жили и любили меня, часто будет мне слышаться их голос — прозвучит иногда ласковое слово милой Марии, откровенная шутка незабвенного друга, и эти звуки, как призвание ангелов, поддержат меня крепко на ногах моих, и я перенесу бремя жизни. Для меня нет уже настоящего: только счастливые дни прошедшего примыкают для глаз моих к отдаленной стране новоселья, откуда в чудесных снах часто улыбаются мне дорогие друзья мои, одетые кротким сиянием. О! когда же водворюсь с вами!

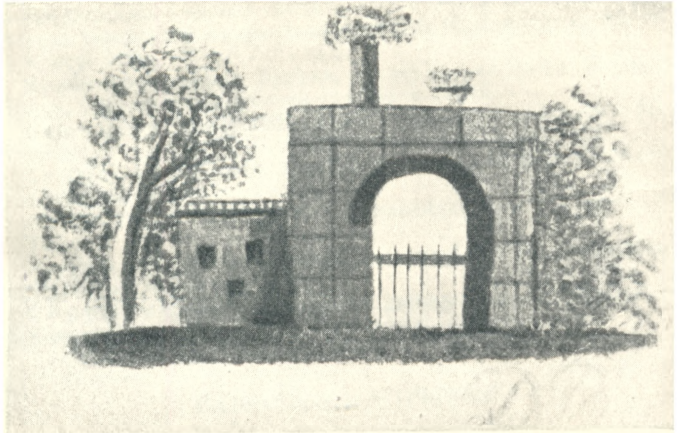


Рисунок Д. В. Венеитинова
Акварель

И нет Бикерта!

Неожиданный праздник. Неоконченная пьеска для домашнего спектакля на французском языке, хранилась у Л. Е. Комаровской. Перевод любезно предоставлен для настоящего издания И. А. Кубасовым и публикуется впервые. Даты нет. Одна фраза из этой пьесы (перевод неточный) была приведена С. М. Шпидером в статье «Д. В. Веневитинов, Материалы для биографии. Неизд. отрывки и заметки», «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 265. В действующих лицах были указаны исполнители предполагавшихся ролей: в роли поэта — Д. Веневитинов, музыкант — кн. Вл. Ф. Одоевский, художник — кн. Мещерский, учитель танцев — брат поэта, Алексей. Французский текст этой фразы был сообщен Н. Лернером, там же, № 5, стр. 312.

Кашмир — горная страна, в верховьях реки Инда, в Индии, с очень плодородной горной долиной.

Лафонтен Жан (1621—1695) — французский поэт и баснописец.

Капитолий — кремль древнего Рима, с храмом Юпитера, главным святилищем римлян.

«Женитьба Фигаро» — знаменитая комедия Бомарше (1771).

Зефир — у древних греков западный ветер, приносящий весну.

Семирамида — легендарная царица, основательница вилона.

НАБРОСКИ И ОТРЫВКИ

[Из русского водевиля]

Опубликовано С. Шпидером в статье «Д. В. Веневитинов и его шалости пера» в журн. «Солнце России» 1913 г., № 26/177, стр. 16—17. Не окончено и скорее всего является отрывком из водевиля, посланного Скарятину. В собр. соч. Веневитинова включено нами впервые.

13 август

Публикуется впервые по автографу, хранящемуся в Гос. ист. музее в Москве (арх. № 1041, инв. № 64082).

Автограф представляет собою тетрадь белой бумаги, в $\frac{1}{4}$ листа, из 6-ти сшитых листов. Переписано начисто каллиграфическим почерком, без даты и подписи. Рука Д. В. Веневитинова свидетельствуется старшим хранителем музея А. Б. Орешниковым со слов внучатного племянника поэта, Вл. Ал.

Комаровского, и совершенным совпадением начертания отдельных букв как русских, так и французских с почерком Веневитинова. Посвящена сказка или повесть, как называет ее автор, С. В. Веневитиновой, сестре поэта, причем в лице Пленеры рисуется, конечно, она же. «13 август» — день рождения Софьи Владимировны Веневитиновой (род. в 1808 г.). Семнадцать лет ей исполнилось в 1825 г., следовательно, время написания сказки следует отнести к 1825 г.

Tous les contes ne sont pas des fables — сказки — не басни.

Il dolce far niente — приятное ничегонеделание, безделье.

Четыре боги

Публикуется впервые по автографу, хранящемуся в Гос. ист. музее, в Москве.

Отрывок написан в альбом Софьи Владимировны Веневитиновой, на стр. 9—10 (лист 5-й, формат 13×18); не окончен, без подписи и даты. Рука Д. Веневитинова подтверждается как характерным почерком его, так и подписью внизу страницы карандашом, сделанной старшим хранителем музея А. В. Орешниковым, со слов влиятельного племянника поэта Вл. Ал. Комаровского (см. факсимиле).

Три эпохи любви

Этот отрывок относится к наброскам задуманного Веневитиновым и неоконченного романа, над которым он работал в последний год жизни. В письме 14 февраля 1827 г. он писал брату из Петербурга: «Авось окончу в скором времени большое сочинение, которое решит, должен ли я следовать влечению к поэзии или побороть в себе эту страсть». Очевидно роман являлся для Веневитинова пробным камнем в смысле перехода на художественную прозу. Отрывок впервые был напечатан с подзаголовком «Отрывок из неоконченного романа» в альманахе «Сев. цветы» на 1829 г., стр. 231—234, под датой «1826 года» и за подписью «Дм. Веневитинов». Текст дается нами по этому изданию, за исключением взятого в прямые скобки: в виду возможного включения этих слов в собр. соч. 1829 г. непосредственно с рукописи, мы решили не исключать их совсем, а привести в скобках.

Как содержание романа, известное нам в передаче редактора первого собрания прозаических сочинений Веневитинова (М. 1831), так и самый отрывок содержит в себе некоторые автобиографические черты. Эпоха восторгов — ранний период творчества Веневитинова, когда он был «певцом лесов», как называет он себя в стих. «К друзьям» 1821 г. (Н. Фатов, «Любовь и смерть Д. В. Веневитинова», Варшава 1914, стр. 9). Вторая эпоха — первая любовь поэта, по указанию М. П. По-

година, — кн. А. П. Трубецкая (Дневник 1826 г., 3/VII, 20/VIII, 24/IX; Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 40 и прим. 63, стр. 140) — нежная, чистая, юношеская любовь, «лучший миг в жизни». Третья эпоха — разочарование, вторая любовь — к кн. З. А. Волконской. Эта любовь полна страданий.

Вот что сказано об этом отрывке в предисловии к первому изданию прозаических сочинений Веневитинова (М. 1831):

«Отрывок под заглавием: «Три эпохи любви», принадлежал к неоконченному роману, коего некоторые главы отчасти набросаны, но здесь не помещены, потому что вне связи с целым они теряют свое достоинство и показались бы неуместными. В замену мы по возможности сообщим из романа все, что автор нам изустно передал об его плане, никогда не написанном, но коего общие черты были определены в его уме: ибо роман сей был главным предметом мыслей Д. Веневитинова в последние месяцы его кратковременной жизни».

«Владимир Паренский, единственный сын богатого пана польского, известного голосом своим на сеймах, был поручен отцом, перед его смертью, под опеку и воспитание старому его другу, Фриденгейму, который жил вблизи одного из знаменитейших университетов Германии и сделался впоследствии начальником медицинской академии. В доме опекуна своего провел Владимир счастливые годы молодости. Часы ребяческого досуга разделял он с дочерью своего воспитателя, Бентою, и с ранних лет началась между ними тесная, неразрывная дружба, заронилось неясное предчувствие страсти более пламенной, более губительной. Настало для Паренского время посещения публичных курсов в университете. Вскоре удивил он своих наставников успехами неожиданными. С равною легкостью и жаром следовал он за различными отраслями наук, и, хотя не принадлежал к медицинскому отделению, но, по собственному желанию, не пропускал ни одной из анатомических лекций своего наставника и получил со временем весьма основательные понятия о сей науке. Он любил погружаться в глубокие размышления о начале жизни в человеческом теле. Он удивлялся стройности, расположению, бесконечности частей, его составляющих. Он старался разгадать этот малый мир, проникнуть в сокровенное, узнать тесную, но тайную связь души и тела. Мысли его стремились далее и далее. В нем родились сомнения. С тайною радостью, может быть, с тайною надеждою взирала Бента на быстрые успехи Паренского, на первенство, которое он возымел над товарищами, на удивление и любовь его наставников, на это видимое предназначение в нем человека необыкновенного, высшего».

«Пробывши несколько лет в университете, Паренский вздумал путешествовать. Гонимый сомнениями, тревожимый мучительною жаждою познания, он надеялся, что жизнь деятельная, другое направление душевных способностей рассеют в нем неукротимые порывы мечты; что успехи светские, честолюбие, слава, пленяющая людей, вознаградят его нравственные мучения и даруют ему успокоение, блаженство. Со вниманием и любопытством проехал он многие страны, и, наконец, прибыл в Россию, где его связи и дарования вскоре доставили ему значительное и блестящее место по службе. Здесь познакомился он с одною молодою девушкою, которая уже была сговорена за другого. Паренский почувствовал к ней тайное влечение. Не стараясь победить сего чувства, он стал часто посещать ее дом, но вскоре заметил, что, несмотря на ласковое с ним обхождение, та искренняя дружба, которую ему оказывали, не отвечала его усилившейся пламенной любви. Гордость его была обижена. В нем родилась ревность. Предавшись с отчаянием сему пагубному чувству, он дерзнул на злодеяние. Он более сблизился с своим соперником, бывшим товарищем его в университете, не смея очернить его пред своею возлюбленною. В притворной дружбе с ним он подарил ему образ, в котором сокрыт был яд, — и через несколько времени избавился от него. Он надеялся, что отчаяние молодой девушки укротится, что участие, которое он, повидимому, принимал в ее положении, мнимая скорбь об умершем друге, наконец, самая дружба с ним и собственные преимущества пред ним мало-по-малу вытеснят его память из ее сердца, и что она невольно предастся в расставленные им сети. Но здоровье ее приметно стало слабеть, сильный недуг обуял ее, и Владимир, однажды поутру войдя в ее дом, видит ее холодный труп, лежащий на столе среди комнаты. С отчаянием узнает он образ на ее груди. — Что это? — вскрикивает он. Ему отвечают, что этот образ был снят перед смертью покойным ее женихом с собственной его груди и ей завешан с тем, чтобы она его всегда носила на себе в знак памяти. Для Паренского все открыто. Он сам убийца своей возлюбленной. Он спешит оставить край, где две грозные тени всюду его преследуют».

«Снова объезжает он многие страны, но нигде не встречает успокоения души, укрощения совести. Разочарованный, он в Германии опять хочет приняться за любимую свою науку — анатомию. В первый раз как он после многих лет входил в анатомическую залу, она еще была пуста, слушатели не собирались, профессор еще не приходил. На столе лежало покрытое тело, приготовленное для лекции. Паренский без дели, в раздумье, подходит к столу, и рассеянно поднимает покрывало. Пред ним труп прекрасной женщины и возле нее лежат

инструменты для вскрытия тела. С судорожным движением он отворачивается. Это зрелище взволновало в нем воспоминание, страх, совесть. В огромной зале он один пред обнаженным мертвым телом. Для него и все в мире мертво. Он клянется никогда не возвращаться в сие место».

«Он приезжает в дом доктора Фриденгейма, где все ему знакомо, и ничто не может возбудить прежних чувств. Бента не понимает его перемены. Он бежит от людей, он страшится и ее беседы. Однажды вечером проходит он без цели, по обыкновенному своему, по дорожкам сада, и, отягченный думами, усталый бросается на скамью. Все тихо, одна луна плывет на небосклоне, и изредка звезды мелькают в синеве. Владимир чувствует, что кто-то сзади подходит к нему; он оборачивается и узнает Бенту. Она тихо следовала за ним по тропинкам, собираясь уже давно изведать от него причины его мрачности и равнодушия к ней. С робостью, в первый раз произносит она слово любви, и пламенные уста Паренского горят на груди дочери благодетеля. От сей минуты утратилось невинное счастье Бенты. Владимир, ее демон-соблазнитель, оторвал от сердца ее покой, и вскоре стыд и скорбь низводят ее в могилу».

«Таким образом, влекомый от преступления к преступлению, мучимый совестью, новыми страстями, Владимир Паренский, одаренный от природы качествами необыкновенными, проводит молодые свои годы. Что же стало с ним впоследствии? Со временем все страсти в нем перегорели, душевные силы истощились; все действия его были без намерения; он сделался человеком обыкновенным; люди простые почитали его даже добродетельным, потому что он не творил зла. Но он живой был уже убит, и ничем не мог наполнить пустоту души».

Роман этот, по словам автора предисловия, долженствовал составить довольно пространное сочинение.

Нужно ли прибавить, что промежутки, отмечаемые между сими отрывочными сценами, были бы пополнены автором. . . К сожалению, он не сообщил нам или мы не упомянули более сего. Предоставляем другим судить об его цели и окончании: но мы передали здесь только то, что слышали от самого сочинителя, когда он с пламенным красноречием о нем рассказывал.

Лаокоон — знаменитая античная мраморная группа, изображает Лаокоона и его двух сыновей в борьбе с громадными змеями.

Омир (Гомер) — автор эпопеи «Илиада» (IX век до нашей эры).

Петрарка Франческо (1304 — 1374) — итальянский поэт.

СТАТЬИ

Разбор рассуждения Мерзлякова

Написано в 1825 г. См. письмо к Погодину № 9 и прим. к нему и письмо к Кошелеву № 10. Напечатано в «Сыне отечества» 1825 г., № XII, стр. 101. Многочисленные ошибки и различия выправлены нами по этому журналу. Фраза «Как? поэзия, получившая свое существование от случая, должна сверх того влачить оковы рабства от самой колыбели?» (стр. 211) была выпущена, повидимому, цензурой. Восстановлена в посм. собр. соч. 1829 г. по рукописи. В фразе «мы видим, что Солон...» и т. д. (стр. 211) слова «к отечеству, свободе и славе» были заменены цензурой на «отечеству, независимости и славе».

Amicus Plato magis amica veritas (лат.) — Платон мне друг, но истина — еще больший друг.

Икар — герой древне-греческого мифа, безумец, пытавшийся на скрепленных воском крыльях подняться к солнцу; крылья от зноя растаяли, он упал в море и погиб.

Бахус (Вакх) — одно из названий бога вина и экстаза в греч. и римск. мифологии.

Шапельен Жан (1595 — 1674) — французский поэт.

Солон (ок. 605 — 527 до нашей эры) — афинский законодатель.

Пизистрат (ок. 605 — 527 до нашей эры) — древне-греч. гос. деятель. Пизистратиды — сыновья Пизистрата, Гипсий и Гипсарх.

Эсхил (525 — 456 до нашей эры) — древне-греческий драматург, автор трилогии «Орестейя».

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий философ и поэт, идеолог романтизма в Германии.

Агамемнон — предводитель греков в Троянской войне, герой трагедии Эсхила.

Эврипид (480 — 406 до нашей эры) — древне-греческий автор трагедии «Алкеста» (см. ниже).

Софокл (ок. 495 — 406 до нашей эры) — древне-греческий драматург, автор трагедий «Эдип царь», «Антигона» и др.

Эдип Колонейский — Эдип в Колоне, трагедия Софокла.

Амалтея (миф.) — коза, питавшая Зевса на о. Крите, где он скрывался от бога Кроноса (Сатурна). Книга проф. латинской словесности Харьковского университета И. Я. Кронберга (1788 — 1838). «Амалтея или собрание сочинений и переводов, относящихся к изящным искусствам и древней классической словесности», Харьков, ч. I—II, 1825—1826. О Кронберге см. Густа в Шпет, «Очерк развития русской философии», 1 ч., Пгг. 1922, стр. 324 — 333.

Алкеста, **Алкеста** или **Алкеста** — в греческой мифологии дочь царя Пелия, который обещал выдать ее замуж за того, кто запряжет в колесницу львов. Этот подвиг совершил Адмет, который и женился на Алкесте.

Ифигения — героиня трагедии Эврипида, спасает своего брата Пилада и его друга Ореста, которых, как чужестранцев, ждет смерть на берегах Тавриды.

Кассандра — прорицательница из древне-греческой мифологии, дочь Троянского царя Приама и Гекубы, зловещим предсказаниям которой никто не верил.

Одиссея — древне-греческая поэма о возвращении из-под Трои героя Одиссея. Приписывается Гомеру.

Тезей — легендарный царь древних Афин, убивший Прокруста в Критском лабиринте, из которого выбрался сам, следуя размотанной нити, данной Ариадной.

Антигона — дочь Эдипа, героиня одноименной трагедии Софокла.

Исмения — в греческой мифологии дочь Эдипа от Иокасты или Евриганей.

Несколько мыслей в план журнала

Прочитано Веневитиновым в рукописи на литературном вечере в своем философском кружке, в качестве программы задуманного им журнала, осуществленного под заглавием «Московский вестник» в 1827 г. (см. об этом в своде биогр. данных).

Напечатано впервые в собр. соч. 1831 г., стр. 24 — 32.

Шиллер (Schiller) Фридрих (1759 — 1805) — знаменитый немецкий поэт.

Разбор статьи о «Евгении Онегине»

Написано в 1825 г. Напечатано впервые в журн. «Сын отечества» 1825 г., ч. 100, № 8, за подписью «— вЪ». Первая глава «Евгения Онегина» вышла в свет 15 февраля 1825 г. Статья Полевого была помещена в «Моск. телеграфе» 1825 г., № 5. Про статью Веневитинова Пушкин отзывался так: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное — или брань, или переслащенная дичь». (А. П. Пятковский, со слов А. В. Веневитинова, «Биогр. очерк к собр. соч. 1862 г.», стр. 21). На эту статью Веневитинова последовал ответ Полевого в «Моск. телеграфе» 1825 г., № XV, после которого Веневитинов в свою очередь выступил с ответом Полевому» (см. стр. 228).

Ввиду интереса полемики между Веневитиновым и Полевым, приводим здесь статью Полевого полностью.

Ответ Полевого Веневитинову

Прелесть нового творения Пушкина, несправедливость наших журналистов, которые, воздавая неумеренные похвалы

своим содрузам, с холодностью, мимоходом, упомянули об издании «Онегина»; желание показать читателям, какими причинами можно оправдать издание одной песни «Онегина» и отвлечь обвинения в подражании, чем укоряют «некоторые» критики и словесно и печатно нашего поэта, — вот что руководствовало мною, когда я писал небольшие, больше библиографические, нежели критические, замечания на «Онегина»! Расположение и слог моих замечаний доказывают, что я не сочинял полного и подробного разбора. Дозволив себе шутки насчет уклончивых критиков, я слегка упомянул о так называемой многими «романтической поэзии», определил сочинение Пушкина, представляя в пример очерк живописца и особенный род музыкальных произведений, называемый *sergiccio*; наконец говорил о содержании и красотах поэмы. На мои замечания отвечал г. — в строгими суждениями в № 8 «Сына отечества», призывая на помощь математику и что-то доказывая — «что-то» повторяю: прочитав несколько раз статью г. — в, я не мог добиться, чего он точно хочет. Я благодарил бы его за некоторый род одобрения «Телеграфу», ибо другие журнальные критики без пощадки бранят меня, и читая их рецензии, право можно подумать, что «Телеграф» хуже покойного «Журнала для милых»; г. — в отдает «Телеграфу» справедливость; но в то же время не упускает заметить, что я хвалю Пушкина из корыстолюбивых видов, стараясь получить от него стихов, что я представляю Пушкина товарищем Байрона и пр. и пр. Да простит ему критика такие замечания и прибавки. Пропустим мелочные привязки и коснемся того, что он называет «ошибками, которые могут распространять ложные понятия о Пушкине и вообще о поэзии». Г. — в начинает восклицаниями: «кто отказывает? Кто не восхищался? Кто не сознается (речь о Пушкине), что он «подарил нашу словесность прелестными произведениями»? Во-первых: некоторые, к счастью немногие, думают о Пушкине совсем иначе; во-вторых: принимаясь уличать другого в ошибках и распространении «ложных понятий», не худо самому быть осторожнее. Г. — в, например, «олицетворяет словесность отдельно» и заставляет Пушкина дарить ее прелестными произведениями.

Обозначив поэмы и стихи Пушкина прилагательным — прелестные, он совсем не выразил характера его творений и забыв, что творения Пушкина есть часть нашей словесности, напомнил мне того русского прозаика, который, описывая вшествие царя Михаила Федоровича в Москву, говорит, что «Москва выбежала к нему навстречу, поставила трон с дарем себе на голову — и внесла в Кремль!»

«Но для чего же всегда сравнивать его с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежа не одной Англии, а на-

шему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века и еслиб мог изгладиться в истории частного рода поэзии, то вечно остался бы в летописях ума человеческого?» — Но для чего же обвинять меня в том, чего я никогда не говорил? Я выше сказал, и опять честь имею повторить, что никогда не называл Пушкина равным Байрону и не делал их общниками одинаковой славы! Для чего же опять, на зло грамматическому и логическому порядку сочинять период, в котором нет связи? После слов: «принадлежит не одной Англии» вероятно г. — в хотел сказать — «но целой Европе», ибо Англия и время не могут быть равноположными понятиями. «Сосредоточить в душе своей стремление целого века» Байрону было также невозможно, ибо слово целый может относиться к слову век тогда, если мы примем его в смысле столетия. Г. — в верно хотел сказать — «соединил (или положим хоть сосредоточил) наклонность своего века» и здесь можно бы понять, что Байрон был, так сказать, отпечаток нынешнего времени. Наконец, из расположения слов: еслиб мог изгладиться... в истории поэзии, то остался бы в летописях ума, выходит, что Байрон тогда только остался бы в летописях ума, когда изгладился бы в истории поэзии. Но история поэзии разве не часть летописей ума человеческого? Разве Тредьяковский может изгладиться в сих летописях? Никогда! он будет в них, как памятник стремления к поэзии без таланта. История поэзии повторит все имена, только неравно о всех отзовется. Наконец, что такое «частный род поэзии?» Г. — в, желая придать своей статье вид порядка, определяет потом характер Байрона как поэта: «Все произведения Байрона носят отпечаток одной глубокой мысли о человеке в отношении к окружающей его природе, в борьбе с самим собою и с предрассудками и в противоречии с своими чувствами». Ансильон говорит, что в творениях Гёте отражается вся природа, в творениях Шиллера отражается он сам, и что от того происходит разнообразие Гёте и однообразие Шиллера — мысль понятна! Но как разгадать мысль г. — ва? Если бы должно было выразить характер Байрона, то всего лучше, повторяю, можно назвать его творения эмблемою нашего века. Я очень понимал, что говорю, когда неопределенным, неизъяснимым состоянием сердца человеческого хотел означить сущность и причину романтической поэзии. Байрон изображал не человека вообще: он изображал ненавистное чувство, охлаждавшее, мрачившее в душе его всю вселенную, даже всякий идеал. «Говорят: в его поэмах мало действия. Правда: его цель не рассказ; характер его героев не связь описаний». Опять сбивчивость в словах и понятиях! Кто из поэтов имел рассказ, т. е. исполнение поэмы целью и даже кто из прозаиков в творении обширном? В Тристраме

Шанди, где, повидимому, все заключено в рассказе, рассказ совсем не цель сочинения. Характер героев можно и не можно почтеть связью описаний, но в этом случае каждая поэма Байрона есть противоречие словам г. — *ва*. «Он (Байрон) описывает предметы не для предметов самих... но с намерением выразить впечатления их на лицо, выставленное им на сцену». Я не знаю ничего неопределеннее этих слов г. — *ва*! И в каких же поэтических творениях, кроме бездушной описательной поэзии, описываются предметы для предметов самих? Сии описания всегда должны относиться к впечатлениям, сделанным предметами на действующие лица поэмы; но, с другой стороны, кроме Чайльд-Гарольда и Шильонского узника, где Байрон описывал предметы единственно для описания впечатлений на героя поэмы, где заметил у него бездействие г. — *в*? Описав Байрона, г. — *в* вдруг делает вопрос: «теперь повторяю вам (т. е. мой) вопрос: что такое «Онегин»? Он вам знаком, вы его любите. Так! но этот герой поэмы Пушкина, по собственным словам вашим, шалун с умом, ветренник с сердцем и ничего более». Есть ли тут связь понятий? Описать характер творений Байрона и вдруг спрашивать: что такое «Онегин»?.. Шалун, и ничего более! Если бы г. — *в* хотел поддержать взведенное на меня мнение, что я равняю Пушкина Байрону, он должен бы противопоставить например Дон-Жуану Онегина, а потом допрашивать меня: равняется ли произведение Пушкина Байронову, или описать характер Байроновой поэзии, противопоставить ей также характер поэзии Пушкина и говорить о сравнении; а что выходит теперь из слов г. — *ва*?

Но точно, что-то подобное, как я предполагаю, имел в виду г. — *в*, делая свой вопрос. Заключаю из следующего: «теперь, м. г., позвольте спросить: что вы называете новыми приобретениями Байронов и Пушкиных?» Неужели из слов моих выведено странное предположение, что я равняю Байрона Пушкину, предположение, на котором движется вся критика г. — *ва*? Я сказал, что «Онегин» принадлежит к тому самому роду, к которым принадлежат поэмы Байрона и Гёте; что поэму, подобную «Дон Жуану» и «Беппо» (прошу заметить), нельзя назвать ни эпической, ни дидактической, и прибавил — «это уже дело холодного рассудка прискивать на досуге: почему написанное не по известным правилам хорошо и на всякий новый опыт поэзии прибирать лад и меру. Не поэту же спрашивать у пиитиков: можно ли делать то или то! Его воображение летает, не спрашиваясь пиитик; падает он, тогда торжествуйте победу школьных правил; если же полет его изумляет сердца и души, дайте нам насладиться новым торжеством ума человеческого: всякое новое приобретение Байронов или Пушкиных делает и нам честь, ибо делает честь стране, которой они принадлежат, и веку, в котором живут». Надобно

ли объяснение, что имена Байрона и Пушкина, употребленные мною в множественном числе, есть троп, известный в Риторике под именем синекдохи, и что имена сии поставлены не для показания равенства их, но как подлежащее к сказуемому, т. е. к новым приобретениям, которые делал Байрон по-своему, а Пушкин делал, делает и будет делать по-своему? Г.—в и сам говорит: «Байроном гордится новейшая поэзия, характер его произведений истинно новый. . . Пушкин имеет неоспоримые права на благодарность своих современников, обогатив русскую словесность красотами доселе (?) ей неизвестными». Красота, дотоле неизвестная в нашей литературе — разве не приобретение? Впрочем, здесь в многословном изложении является настоящее мнение г.—ва о Пушкине: «Признаюсь, я не вижу в его творениях приобретений, подобных Байроновым, делающих честь веку. Пушкин только не отстал от своего века. Мы не утверждаем определительно, что наш стихотворец заимствовал из Байрона планы поэм, характеры лиц, описания; но скажем только, что Байрон оставляет в его сердце глубокие впечатления, которые отражаются во всех его творениях. Я говорю смело о г. Пушкине». Смело: это правда, но не искренно. Для чего закрывать столькими словами мысль, ясно видимую, состоящую в том, что г.—в почитает Пушкина не великим поэтом, а просто подражателем Байрона? Я сказал прежде, что в «Онегине» есть стихи, которыми одолжены мы памяти поэта, скажу, что и в других его поэмах такие стихи попадаются; но пусть как угодно укоряют меня пристрастием, а я, несмотря на г.—ва, утверждаю, что в Пушкине виден свой собственный, великий талант, что Пушкин не подражатель, но творец: его собственные незанятые приобретения — описание русской старицы в «Руслане и Людмиле», «Демон», «Прощание с морем» и множество других превосходных сочинений, подобных которым не находим ни у одного из современных русских поэтов; наконец, его новая, чудная поэма: «Цыгане»! Не желанье достать стихов Пушкина в «Телеграфе», не жалкое подслуживанье Пушкину внушает мне похвалы, но чистое наслаждение его поэзией. Странное дело, что сделалось с критиками «Сына отечества»: один утверждает, что у нас есть поэты выше, гораздо выше Жуковского, другой винит Жуковского в присвоении чужой собственности, а г.—в силится доказать, что Пушкин подражатель! «На них чужой успех как поща тяготее...»

«Что за сравнение поэмы эпической и «Онегина» с очерком?», говорит г.—в. Я сказал, что в очерках Рафаэля виден художник, способный к великому. «Как, говорит г.—в, в очерках Рафаэля вы видите только способность к великому» — тут, опровергая мои слова, что художнику надо приняться за кисть и великое изумит наши взоры, г.—в продолжает: «а мне

кажется, что первое достоинство великого художника есть сила мысли, сила чувств». Далее он соглашается, что и колорит необходим для подробного (?) выражения чувств; но что он только распространяет мысль главную, всегда отражающуюся в характере лиц, в их расположении. Г.—в, видя сначала вопрос: «Зачем Пушкин не пишет поэм в силу правил эпопей?», думал, что слова мои об очерках относятся к этому вопросу; но напрасно это показалось г.—ву. Вопрос решал я, или, по крайней мере, казалось мне, что решал, известным выражением нашего поэта, которое выразил я в прозе так: «поэт не волен в направлении своего восторга: что ему поется, то он и поет». Очерк употребил я для сравнения живописи вообще с поэзией, в поэмах, подобных «Дон-Жуану», и тут понятие об очерке нимало не противоречит моим словам; например, в рассуждении «Онегина», пусть г.—в обозначит, что Рафаэль, решившись писать картину из многих лиц, сделал очерк одной головы, и он увидит, что мои слова не без смысла сказаны.

Новый переход! В каком отношении Байрон к Попу, в таком Пушкин (разумеется в «Онегине») к прежним сочинителям русских шуточных поэм — так сказал я, и г.—в математически доказывает, что я унизил Пушкина, ибо сказал прежде, что у нас не было ничего сколько-нибудь сносного. В математическом примере г.—в сделал просто ошибку, а что касается до напоминания о «Модной жене» и «Душеньке», скажу ему, что я разумел шуточные поэмы, коих предмет взят из общежития. «Модная жена» — сказка, а не поэма; «Душенька» нейдет в сравнение, ибо предмет ее взят из мифологии: «Дон-Жуану» и «Беппо» я противопоставлял «Похищенный локон» Попа; что же противопоставляется у нас «Онегину»? — «Игрок ломбера», «Расхищенные шубы»?

Скрытное предубеждение г.—ва против Пушкина сильно обнаруживается в упреке, который делает он мне за то, что я нахожу народность в «Онегине». «Я не знаю, что тут народного, говорит г.—в, кроме имен петербургских улиц и ресторанов. И во Франции, и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театр и на балы». — Вот разительный пример, что значит смотреть на сочинение косыми глазами предубеждения! Надобно думать, что г.—в полагает народность русскую в русских черевичках, лаптях и бородах, и тогда только назвал бы «Онегина» народным, когда на сцене представлялся бы русский мужик с русскими поговорками, побасенками и пр. Народность бывает не в одном низшем классе; печать ее видна во всех званиях и везде. Наши богачи подражают французам. Петербург, более всех русских городов, похож на иностранный город; но и в быту богачей, и в Петербурге, никакой иностранец совершенно не забу-

дется, всегда увидит предметы, напоминающие ему Русь: так и в «Онегине». Общество, куда поставил своего героя Пушкин, мало представляет отпечатков русского народного быта, но все сии отпечатки подмечены и выражены с удивительным искусством. Ссылаюсь на описание петербургского театра, воспитание Онегина, поездку к Талону, похороны дяди, не исчисляя множества других черт народности. Впрочем, через страничку, сам г.—в называет поэму Пушкина «полною картиною петербургской жизни»; но кто вполне изобразил Петербург, тот разве не изобразил народности?

Заключенные критики достойно начала. Я затруднялся в приписывании ошибок у Пушкина; г.—в не так разборчив. «Целое произведение может иногда быть одною ошибкою» — говорит он и тотчас прибавляет: «я не говорю этого насчет «Онегина». Понимаю: это Альцестовское je ne dis pas cela и прошу г.—ва вперед или не делать таких намеков, или скрывать их искуснее! Эпilog г.—ва читатели благоволят прочитать сами; в нем опровергать нечего: это результат всей статьи, а мы видели, что в ней нет ни одной строки, которая бы удержалась при взгляде беспристрастия. Что касается до советов, мне преподаваемых, то, в отплату за них, я прошу г.—ва припоминать их самому себе, когда придет ему опять охота советовать другим.

Ваттеух Шарль, аббат (1713 — 1780) — французский теоретик и критик литературы и искусства.

Аристарх (II век до нашей эры) — александрийский грамматик, автор комментариев к греческим писателям.

Аристотель (384 — 322 до нашей эры) — греческий ученый и философ.

Рафаэль Сандио (1483—1520) — итальянский художник.

Поп (Роу) Александр (1688 — 1744) — английский поэт, переводчик «Илиады».

«Модная жена» **И. И. Дмитриева** — сказка, где молодая жена «ставит рога» своему мужу.

Богданович И. Ф. (1743 — 1803) — поэт, автор «Душеньки», повести в стихах (1775), выдержавшей 15 изданий.

Ответ Полевому

Написано в 1825 г. в ответ на статью Полевого, помещенную в «Моск. телеграфе» 1825 г., № XV (приведено выше). Напечатано впервые в журн. «Сын отечества» 1825 г., № XXIV (прибавление).

Тредьяковский В. К. (1703 — 1769) — стихотворец, переводчик и теоретик литературы.

Тристрам Шенди — роман английского писателя Лоренса Стерна (1713 — 1768).

Ансильон (1767—1837) — проф. истории.

Делиль (Delille Jacques, 1738 — 1813) — французский поэт.

Вона фиде (лат.) — добросовестно, искренно.

Сильфы — по средневековым поверьям духи природы.

Гномы — сказочные карлики, хранители подземных сокровищ.

Об «Евгении Онегине»

Написано в декабре 1826 г. (см. письмо Погодину № 24). Вторая глава «Евгения Онегина» вышла в свет 20 октября 1826 г. Автограф находится в Рукоп. отд. Гос. публ. библ. СССР им. Ленина в Москве, в собр. писем к М. П. Погодину (иншфр 3515, письмо № 54), по которому и дается текст.

Начало статьи до слов «С Онегиным давно познакомилсь», вместе с подстрочным примечанием, не печаталось (в подлиннике зачеркнуто). Слова «Характер Ленского и Татьяны» до «продолжения романа» — тоже. Некоторые издания, напр., смирдинское и др., давали статью, начиная со слов «Вторая песнь» и т. д. Заглавие статьи печаталось так: «Несколько слов о второй песне «Евгения Онегина». Мы исправляем его теперь по подлиннику.

Напечатано впервые в «Моск. вестнике» 1828 г., ч. VII, № 4, стр. 468—469, без подписи, с такой редакторской надписью: «Кстати — поместим здесь несколько строк о второй песне Онегина», присланных к нам покойным Д. В. Веневитиновым через несколько времени после появления ее в свет, для помещения в «Вестнике».

Чайльд-Гарольд — герой поэмы Байрона.

Analyse d'une scène détachée de la tragédie de mr. Pouchkin

Отрывок из «Бориса Годунова» — «Келья в Чудовом монастыре» — был напечатан в № 1 «Моск. вестника» 1827 г.

Статья Веневитинова написана в 1827 г. в Петербурге, и предназначалась для издававшегося в Петербурге Journal de St. Pétersbourg (по предложению гр. Лавалля), почему и была написана по-французски. Когда же пронесся слух, что Улыбышев собирается бранить эту сцену, то Веневитинов наелся опять приняться за перо. «Я очию перышко, — говорил он, — и мы переведаемся» (А. П. Пятковский, «Биограф. очерк к собр. соч. 1861 г.», стр. 25).

Напечатано впервые на французском языке в собр. соч. Веневитинова, изд. 1831 г., стр. 73—78. У Пятковского в собр. соч. 1862 г. приведен подстрочный перевод статьи (статья дана на французском языке, за исключением стихов, приведенных по-русски). Перевод дается по этому изданию.

Мельпомена (греч. миф.) — покровительница трагедии.

Клио (греч. миф.) — муза истории.

Об «Абидосской невесте»

«Моск. вестник» ожидал от Веневитинова разбора «Абидосской невесты» довольно долгое время, но Веневитинов только обещал (см. письмо Веневитинова к Погодину от 17 ноября 1826 г.: «Абидосской невесты разбор сделаю...»), но потом отказался (письмо к Погодину от 19 декабря 1826 г.): «Ты верно сердит на меня за то, что я отказался писать об ней разбор. Письмо мое к Рожалину докажет тебе, что отказываюсь не без причины. Кто-нибудь из вас потрудится написать эту рецензию, а в конце, если считаешь за нужное, то припечатай несколько замечаний, здесь прилагаемых». Таким образом время написания заметки относится к 1826, а не 1827 г., как указывал С. Шпицер («Голос минувшего» 1914, № 1). Заметка носит схематический характер. Веневитинов хотел только указать редакции, в каком духе следует ответить рецензенту «Сев. пчелы», неосновательно выбравшему перевод Козлова. Опубликовано С. Шпицером в «Голосе минувшего» 1914, № 1. стр. 265. В собр. соч. Веневитинова включается нами впервые.

А б и д о с с к а я н е в е с т а — турецкая повесть в 2-х песнях Байрона. Изд. 1913 г. Пер. Нв. Козлова.

А б и д о с — город на азиатской стороне Геллеспонта, Сест — на европейской. Античный миф об абидосском юноше Леандре и сестянке Геро, жившей в башне, куда переплывал к ней каждую ночь Леандр; однажды в бурю, когда факел в башне потух, Леандр утонул, а Геро, найдя его труп у берега, утопилась.

Б а й р о н, будучи в Геллеспонте, проездом в Константинополь, переплыл из Абидоса в Сест два раза (был хороший пловец, первый раз его отвесло течением, второй раз он поборол его) и получил лихорадку.

Sine qua non (лат.) — неперемный.

Письмо к графине N. N.

Веневитинов намеревался в ряде писем развить всю систему философии: «представить, как все науки сводятся на философию и из нее обратно выводятся».

Напечатано впервые в собр. соч. 1831 г., стр. 5.

Элевзинские таинства — мистерии в древности, в г. Элевзине близ Афин, участникам которых обещалась вечная жизнь, причем все виденное ими должно было храниться в тайне.

Бетховен Людвиг (1770—1827) — немецкий композитор, особенно любимый Веневитиновым (ср. его восторженную характеристику в письме Веневитинова к Погодину от 7 марта 1827 г.).

[Письмо о философии]

Второе письмо из серии писем о философии.

Опубликовано С. Шпидером («Голос минувшего» 1914, № 1, стр. 265) в статье «Д. В. Веневитинов. Материалы для биографии. Неизданные отрывки и заметки». Н. О. Лернер, изучавший автограф, в № 5 этого журнала сообщил, что считать адресатом письма кн. А. И. Трубецкую нет оснований. Однако можно предполагать, что письмо предназначалось именно ей (см. предисловие к собр. соч. 1831 г., ч. II, стр. VI). В собр. соч. Веневитинова включается нами впервые.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОТРЫВКИ

О математической философии

Статья представляет собою перевод ответа немецкого философа Вагнера (Wagner, Иоганн Яков, 1775 — 1834) г-ну Блише, помещенного в философском журнале, издаваемом Окемом в 1820 г. Время написания относится к 1825 г., когда Веневитинову удалось на короткое время получить журн. «Isis», приведший его в восторг своими статьями. В письме к А. И. Кошелеву (№ 12) Веневитинов, посылая журнал, особенно хвалит «ученый спор между славными математиками-идеалистами, Вагнером и Блише», который он перевел специально для Кошелева. Статья переведена не полностью, как рассказывает об этом Веневитинов в своем письме, и сделана наскоро, но он тут же ручается, что она верно передаст мысли автору.

К переводу Веневитинов добавил свои замечания в начале и в конце статьи и большое подстрочное примечание.

Перевод публикуется впервые по списку, сделанному М. П. Погодиным, хранящемуся в его архиве, в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина в Москве (шифр 3508).

Европа

Время написания неизвестно: есть предположение, что отрывок предназначался Веневитиновым для журн. «Моск. вестник» (Е. А. Бобров, «Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий», «Изв. отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук», СИБ. 1910, т. XV, кн. 1, стр. 92). Отрывок взят из курса истории Герена, который Веневитинов штудировал по совету Н. М. Рожалина (см. прим. к «Посланию к Рожалину»).

В отрывке трактуется о причинах исторически сказавшегося перевеса Европы над другими частями света: этот вопрос автор решает преимущественно в том смысле, что Европа таким своим перевесом, кроме условий климатических и географических, обязана «усовершенствованию семейной образованности», а именно учреждению моногамии.

Напечатано впервые в собр. соч. 1831 г., стр. 79 — 94.

В фразе «У них семейственное общество...» (стр. 262) слова «и если рабство и водворялось между ними, то с другой стороны они одни его уничтожили, познавши его несправедливость» были в этом издании выпущены, повидимому, цензурой.

В фразе «Тогда как Азия при всех переменах...» (стр. 262) слова «зерно политической свободы...» и т. д. были заменены на: «зерно представительных правительств в самых разнообразных формах, которые оттуда были перенесены и в другие части света» также, повидимому, цензурой.

Следующие издания повторяли эти искажения. Мы здесь приводим текст из собр. соч. Д. Веневитинова изд. «Жизнь для всех» 1913 г.

Геерен (Heeren) Арнольд-Людвиг (1760 — 1842) — немецкий историк. «Европа» — из «Geschichte des europäischen Staatens Systems».

Индус, **Инд** — река в Индии.

Тацит Корнелий (ок. 55 — 120) — римский историк.

Гиббон Эдуард (1737 — 1794) — английский историк и политический деятель.

Кант Иммануил (1724 — 1803) — немецкий философ, идеалист, основатель критической философии.

Гангес, **Гоанго** — реки в Индии.

Карл Мартел (Молот) (688 — 741) — франкский майордом, сын Пипина Геристальского.

Колумб Христофор (1446 — 1506) — знаменитый испанский мореплаватель, открывший Америку.

Васко де Гама (1469 — 1524) — португальский мореплаватель, открывший путь в Индию.

Осман (1288 — 1326) — основатель турецкого государства. По его имени стали называться турки (османами).

Кекропс — основатель и первый царь афинского государства.

Гесперия — древне-греческое обозначение стран Запада, то ограничивалось Испанией, то распространялось на всю Зап. Европу. Употреблялось александрийскими поэтами.

Помона — римская богиня древесных плодов.

Номады — народы-кочевники.

О Зороастре и его вероучении

Состоя на службе в азиатском департаменте, Веневитинов интересовался языками, религией и историей восточных народов. Все что встречалось интересного в иностранных книгах он переводил на русский. В бумагах Веневитинова сохранился перевод отрывка из статьи «О Зороастре и его вероучении», опубликованный С. Шпидером в «Голосе минувшего» 1914 г., № 1, со следующими примечаниями:

1. Ранее стояли и потом зачеркнуты слова: «умеренной», «ограниченной» [монархии].

2. В одном месте при слове «деспот державы» зачеркнут красными чернилами эпитет «обширной».

В собр. соч. Веневитинова включено нами впервые.

Заратустра (у греков Зороастр) — мифический пророк, реформатор древней персидской религии за 7 веков до нашей эры.

Джемшиды — полукочевая иранская народность в Афганистане (язык — персидский).

ПИСЬМА

№ 1. А. Н. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, любезно предоставленной для настоящего издания И. А. Кубасовым, как и остальные письма из деревни. Переводы этих писем предоставлены им же. Написано в имении Веневитиновых, с. Животишном, 6. Воронежской губ. и уезда, на левом берегу р. Дона, в 25 верстах от Воронежа.

Данила Иванович — повидимому, управляющий имением.

Герке — губернёр Веневитинова.

Андрей (Филимонов) — служащий Веневитиновых.

№ 2. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым. **Милле Софи** — дочь Дорера, губернатора Веневитиновых.

№ 3. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

Пегас — в древне-греческой мифологии крылатый конь.

Иппокрена — чудесный источник, забивший под ударом копыта коня Пегаса, вода которого давала вдохновение поэтам.

Геншта — композитор, учитель музыки Веневитиновых.

Орфей — в древне-греческой мифологии певец, приводивший в движение голосом деревья и скалы.

№ 4. С. В. Веневитиновой

Дата определяется упоминанием о «дне св. Наталии», приходившемся на 26 августа.

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 5. А. Н. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 6. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

Мещерские — князя Платон и Александр, приятели Веневитинова.

Оленина Е. М. (1768 — 1838), рожд. Полторацкая, — родная тетка А. П. Керн. В семье Олениной бывали: Пушкин, Жуковский, Крылов, кн. Вяземский, Козлов и др. За дочерью Е. М. — Анной — ухаживал Пушкин и посвящал ей стихи.

№ 7. А. Н. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 8. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

Танаис (Tanais) — древнее название р. Дона. При устье Танаиса находилась одноименная греческая колония (на месте нынешнего Азова).

№ 9. М. П. Погодину

Публикуется впервые по подлиннику, находящемуся в собрании писем к М. П. Погодину, в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515, письмо № 16). Написано чернилами на листе белой бумаги, формата $\frac{1}{8}$ листа, характерным почерком Веневитинова, но с не совсем обычной подписью: полностью имя и росчерк под фамилией.

Именно эта книга Мерзлякова послужила Веневитинову материалом для его статьи «Разбор рассуждения Мерзлякова». Полное название книги: «А. Ф. Мерзляков, «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев», ч. 1, М. 1825. В университетск. типографии. Печ. разр. 28/V 1824». К книге дано предисловие: «О начале и духе древней трагедии и о характерах трех греческих трагиков [Сократе, Эсхиле, Эврипиде]».

№ 10. А. И. Кошелеву

Публикуется по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР (шифр 3508), над которым, так же как и над следующими (№ 11, 12, 13 и др.) одновременно с нами работала К. П. Богаевская. Частично было опубликовано в «Биографии А. И. Кошелева», изд. О. Ф. Кошелевой, СПб. 1889, т. 1, кн. II, стр. 114, 115.

Летом, когда Веневитинов и Кошелев разъезжались по своим усадьбам, между друзьями происходила оживленная переписка.

Шеллинг Фридрих (1775 — 1854) — немецкий философ, идеалист, создатель «натурфилософии». О влиянии его на Веневитинова и кружок Любомудров см. в своде биогр. данных.

Франкер (François, Луи-Бенжамен, 1773 — 1849) — французский математик.

Мещерский — один из «архивных юношей».

Трудился над годом своим — служащие в архиве иностр. дел обязаны были составить «год дипломатических сношений с каким-нибудь государством».

Кн. В. Ф. Одоевский, про которого говорится, что он «отделал» Дмитриева, написал статью «Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова» («Моск. телеграф» 1825, ч. III, № X, май, Антикритика, стр. 1—12).

Дмитриев Мих. А. (1796 — 1834) — стихотворец.

Кн. Черкасский П. Д., впоследствии губернатор. О нем см. свод биогр. данных, стр. 361.

Статья против Мерзлякова — «Разбор рассуждения Мерзлякова» — см. прим. к письму № 9.

№ 11. А. И. Кошелеву

Публикуется впервые по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в его архиве в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3508).

№ 12. А. И. Кошелеву

Публикуется по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в его архиве в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3508). Частично было опубликовано в виде двух писем в «Биографии А. И. Кошелева», т. I, кн. II, стр. 115, 116. Дата определяется редакционным примечанием: «одно из последующих писем» (после № 11).

Вагнер (Wagner, Иоганн Яков, 1775 — 1834) — немецкий философ, последователь Шеллинга, выступивший со своей математической философской теорией (Mathematische philosophie, Эрланг 1811).

Ученый спор между Вагнером и Блише — см. «О математической философии» и прим. к ней.

Письмо А. И. Кошелева не сохранилось. О Платоне и золотом веке — см. прим. к «Анаксагору».

№ 13. А. С. Норову и А. И. Кошелеву

Публикуется впервые по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в его архиве в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина.

Норов Александр Сергеевич — внучатный брат А. И. Кошелева, приятель Веневитинова, брат Абрама Норова, стихотворца, впоследствии министра.

№ 14. А. И. Кошелеву

Публикуется полностью впервые, по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в его архиве в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина. Частично было опубликовано в «Биографии А. И. Кошелева», т. 1, кн. II, стр. 117—119. Замечания Кошелева касались статьи Веневитинова «Разбор рассуждения Мерзлякова». Кошелев, видимо, не вполне согласился с тем, что Гомер был философом, как это доказывал Веневитинов в своей статье.

Пиндар (522—448 до нашей эры) — греческий лирический поэт.

Клопшток (Klopstock, Фридрих Готлиб, 1724—1803) — немецкий поэт, написал эпопею «Мессиаду», пер. прозой А. Кутузова, 2-е изд., М. 1821.

№ 15. А. И. Кошелеву и А. С. Норобу

Публикуется полностью впервые, по списку, сделанному М. П. Погодиным и хранящемуся в его архиве в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина. Отрывки опубликованы в «Биографии А. И. Кошелева», т. I, кн. II, стр. 119. Дата определяется статьей Полевого в «Телеграфе», помещенной в № 5 за 1825 г., статьей Веневитинова в «Сыне отечества» за 1825 г. и ответом Полевого Веневитинову — там же.

«Ничтожны й журнал» — «Сын отечества».

Письмо Рожалина было напечатано в «Вестнике Европы» за 1825 г., т. 144, № 14, под заглавием «Нечто о споре по поводу «Евг. Онегина», за подписью «Н. Р — ин».

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский романтический поэт, политический деятель и историк.

Тартюф — название комедии Мольера.

Литература: В. Стратен, Пушкин и Веневитинов. Пушкин и его современники, вып. 37—39, стр. 233.

№ 16. А. И. Кошелеву

Публикуется полностью впервые, по списку, сделанному М. П. Погодиным, хранящемуся в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3508). Отрывок опубликован в «Биографии А. И. Кошелева», т. I, кн. II, стр. 110, с прим., что в письме Веневитинов пишет о том, что он не успел в течение лета приняться за чтение «Натурфилософии» Шеллинга.

Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий философ, представитель «натурфилософии». Перевод Веневитинова из «Теософии» Окена не сохранился.

№ 17. М. П. Погодину

Публикуется впервые по подлиннику, находящемуся в собр. писем к М. П. Погодину, в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515). Написано чернилами на листке белой

бумаги характерным почерком Веневитинова. Фразы из пьесы «Утро, полдень, вечер и ночь» подчеркнуты самим Веневитиновым. Слова «еще» и «то» вставлены после написания письма им же. ПросимаЯ Веневитиновым поправка была сделана.

Даты на письме нет. Время написания можно отнести, судя по расположению писем в тетради Погодина, к ноябрю 1825 г.

№ 18. М. П. Погодину

Публикуется полностью впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым. Отрывок был опубликован Н. Барсуковым в «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 27. Повесть Погодина, в которой он выводил кн. А. И. Трубецкую под именем Адели (см. об этом свод биогр. данных, стр. 375).

Валленштейн — «Валленштейнов лагерь» Шиллера.

G ä t z — «Гец фон Берлихинген», драма Гёте (1773), переведенная в 1826 г. М. П. Погодиным.

№ 19. Родным

Публикуется полностью впервые, по копии, сообщенной И. А. Кубасовым. Отрывок (перевод) опубликован в «Рус. архиве» 1885 г., № 1. Написано осенью 1826 г. в г. Торжке, при переезде из Москвы в Петербург.

О Воше — см. свод биогр. данных, стр. 391—393.

Сведения, находящиеся в письмах Веневитинова с дороги и из Петербурга, приготавлил к печати М. А. Веневитинов («Рус. вед.» 1899, № 143), но, к сожалению, намерение его не осуществилось. Архив М. А. Веневитинова остается до сих пор закрытым для исследователей.

Федор — Ф. С. Хомяков, с которым ехал в Петербург Веневитинов.

№ 20. А. В. Веневитинову

Вписка из подлинных писем Д. Веневитинова, опубликована А. П. Пятковским в собр. соч. Веневитинова, изд. 1862 г., стр. 22.

№ 21. С. В. Веневитиновой

Публикуется полностью впервые, по списку, сообщенному И. А. Кубасовым. Опубликовано частично в «Голосе минувшего» 1914, № 1.

Хитрово — возможно Е. М., — дочь фельдмаршала Кутузова, приятельница Пушкина.

Нессельрод К. В., граф (1780 — 1862) — гос. канцлер, министр ин. дел.

Окуловы (сестры) — знакомые Веневитиновых.

Marcello Бенедетто — итальянский композитор (1686 — 1739); написанные им на один и несколько голосов псалмы вызывали всеобщее восхищение своей поэзией и музыкальной мыслью.

Начало письма, до слов: «Дельвига по сих пор не мог видеть», публикуется впервые по подлиннику, хранящемуся в собр. писем к М. П. Погодину в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515, письмо № 48).

Отрывок из письма был опубликован Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II), причем упоминание об «Абидосской невесте» было выпущено. Также были выпущены слова Веневитинова «теперь что будет!! Молитесь за меня». В связи с существующими догадками о причинах переезда Веневитинова в Петербург вследствие начавшейся слежки за ним жандармов, как за членом тайного общества (декабристов), эти слова его, опущенные Барсуковым, становятся особенно интересными. Что жандармы следили за Веневитиновым и его приятелями, показывает, например, донесение директора канцелярии фон Фока шефу жандармов гр. Бенкендорфу от 9 августа 1826 г.: «между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновнидына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг» («Рус. стар.» 1881, ч. IX, стр. 191), а также обвинительная записка против Полевого, поданная в III Отделение 23 августа 1827 г. (правда, в это время Веневитинова уже не было в живых): «Все замеченные в якобинстве москвичи: Титов, Киреевский, Соболевский — сотрудники «Телеграфа». Покровители оного кн. Вяземский и бывш. проф. Давыдов, самый отважный якобинец... Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Атаманы: кн. Вяземский и Полевой; приятели: Титов, Шевырев, Рожалин и др. москвичи... (М. И. Сухоминов, «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», СПб. 1889, т. II, стр. 390—391). Можно думать, что, будь Веневитинов в живых, его имя стояло бы в этом списке.

Дальнейшие строки письма, до приписки, также публикуются впервые.

«Мнемозина» — журнал, издававшийся В. Кюхельбекером и В. Одоевским (1824).

В письмо идет речь об отрывке из «Бориса Годунова» А. Пушкина, посланном в Петербург на разрешение цензуры и возвращенном Веневитиновым обратно, в Москву, для представления в Моск. ценз. комитет. Отрывок этот «Келья в Чудовом монастыре» был напечатан в «Моск. вестнике» за 1827 г., № 1.

Карбонберг — вероятно, цензор СПб. ценз. комитета.

Соц В. И. — секретарь особ. денз. комитета при министерстве полиции.

17 ноября Веневитинов переехал на новую квартиру, в дом В. С. Ланского, Мойка, № 82.

№ 23. С. В. Веневитиновой

Публикуется полностью впервые, по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 24. М. П. Погодину

Публикуется впервые, по подлиннику, представляющему собой рукопись статьи Веневитинова «Об Евгении Онегине», с приложением нескольких строк к Погодину. Написано чернилами на бумаге формата $\frac{1}{4}$ листа, без подписи. Хранится в собр. писем к М. П. Погодину в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515, письмо № 54).

№ 25. С. А. Соболевскому

Опубликовано в «Рус. стар.» 1875 г., т. XII, стр. 821.

Кн. В. Ф. Одоевский женат был на О. С. Ланской.

№ 26. А. В. Веневитинову

Опубликовано А. П. Пятковским в Биогр. очерке собр. соч. Веневитинова, изд. 1862 г., стр. 23.

№ 27. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

К а т е н и н П. А. (1792 — 1853) — поэт.

Л а в а л ь — граф, отец Ек. Ив. Трубецкой, жены декабриста, начальник Веневитинова.

М у р а в ь е в А. И. (1806 — 1874)' — автор трагедии «Битва при Тивериаде», в 1825 — 1826 гг. печатал в журналах стихи.

№ 28. М. П. Погодину

Коллективное письмо Веневитинова и Одоевского. Подлинник находится в Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина, в собр. писем к М. П. Погодину (шифр 3515), адресовано, кроме Погодина, Рожалину, Соболевскому, Титову и Шевыреву. Опубликовано Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 66—68), за исключением строк: «Описывайте мне подробнее всякий помер» и до конца. Здесь приводится текст, писанный только рукою Веневитинова. Просимая Веневитиновым поправка в стихотворении «Моя молитва» была сделана.

№ 29. М. П. Погодину

Опубликовано Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 65—66).

К о з л о в Н. П. (1779 — 1840) — поэт, друг Веневитинова.

Порядок, в котором хотел напечатать свои стихи Веневитинов, к сожалению, не сохранился.

«Вадим» — неоконченная поэма Пушкина на тему о борьбе Вадима за древнюю новгородскую «вольность».

№ 50. *А. В. Веневитинову*

Письмо написано через два месяца по приезде в Петербург. Бутенев — начальник Веневитинова по службе, начальник переводной экспедиции мин. иностр. дел.

Журнал, о котором просит писать Веневитинов — «Московский вестник». В другом месте этого же письма (не опубликовано) Веневитинов просит передать Погодину, что не худо было бы пригласить в сотрудники журнала «Мидкевича, слышущего за знатока литовских древностей, латышского и древнеславянского языков». Также предлагал он «сразить вконец трехглавую петербургскую гидру: «Пчелу», «Архив», «Сын отечества», мира с которыми, по его мнению, не могло быть». В полемике с «Телеграфом» он советовал быть осторожнее, указывая на особенные достоинства этого журнала (А. П. Пятковский, Биогр. очерк при собр. соч. Веневитинова, 1862 г., стр. 16). Опубликовано в «Голосе мишувшего» 1914, № 1.

№ 51. *М. П. Погодину*

Публикуется впервые, по подлиннику, хранящемуся в собр. писем к М. П. Погодину в Рукоп. отд. Гос. публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515, письмо № 59). Написано чернилами, в манере Веневитинова — без обращения и подписи.

Мальцов И. С. (1805 — 1880) — литератор, друг Веневитинова.

№ 52. *А. В. Веневитинову*

Опубликовано А. П. Пятковским (Биогр. очерк, стр. 24), повторно С. Шпидером («Жизнь искусства» 1924, № 6).

Греч Н. И. (1787 — 1867) — реакционный журналист, издатель «Сев. пчелы» и «Сына отечества».

Булгарин Ф. В. (1789 — 1859) — реакционный писатель.

№ 53. *М. П. Погодину*

Публикуется полностью впервые, по подлиннику. Автограф хранится в бумагах М. П. Погодина в Публ. библ. СССР им. Ленина (шифр 3515, письмо № 60). Написано чернилами на почтовой бумаге, на двух страницах, без обращения и подписи. Отрывок от слов «О первом номере «Вестника...» до «их влияние» был опубликован Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 76). Интересен отзыв Веневитинова о Булгарине, не могущий быть напечатанным в то время по цензурным соображениям.

Quos ego! (лат.) — я вас! Так грозный бог морей Нептун обращается к ветрам в «Энеиде» Вергилия.

№ 34. С. В. Веневитиновой

Публикуется полностью впервые, по подлиннику. Автограф хранится в бумагах С. В. Веневитиновой, в Ист. музее, в Москве (арх. № 1041, инв. № 64081).

Написан на французском языке (орфография того времени) на листе почтовой бумаги обычного формата, мелким почерком (см. факсимиле), в характерной манере Веневитинова, без обращения и подписи. Принадлежность Веневитинову определяется как содержанием и почерком, так и свидетельством хранителя музея, А. В. Орешникова, со слов внучатного племянника поэта В. А. Комаровского. Отрывки из письма публиковались [начало, от слов «уже несколько дней» до «Прецюза Вебера» и конец, от слов «я хожу обыкновенно в Казанский собор»] в «Голосе минувшего» 1914 г., № 1.

Пушкин, упоминающийся в этом письме, — не поэт, а его брат, Лев Сергеевич.

Вебер (Weber) Карл (1786 — 1826) — немецкий композитор. «Прецюза» Вольфа, муз. Вебера.

Виельгорский (Велеурский) М. Ю., гр. (1788—1856). Его дочь Анна (Апполинария, «Полина») (1818—1884) замужем за Алексеем Веневитиновым.

Завадовская Ел. Мих., гр., рожд. Владек — известная красавица, воспета Козловым и Вяземским.

№ 35. С. В. Веневитиновой

Публикуется полностью впервые, по списку, сообщ. П. А. Кубасовым.

Л[ев] Пушкин — брат А. С. Пушкина.

№ 36. А. Н. Веневитиновой

Публикуется впервые, по списку, сообщенному П. А. Кубасовым.

№ 37. А. В. Веневитинову

Опубликовано А. П. Пятковским в Биогр. очерке собр. соч. 1862 г., стр. 16 — 17. Автограф неизвестен.

№ 38. Неизвестному

Подлинник находится в Рукоп. отд. Гос. публ. библ. СССР им. Ленина в собр. писем к М. П. Погодину (шифр 3515, письмо № 66). Написано на четырех страницах белой бумаги формата $\frac{1}{4}$ листа, чернилами, без обращения. Отрывки по несколько строк из этого письма публиковались Н. П. Барсуковым («Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 76 — 77) и др., причем адресатом указывался Погодин. По содержанию же письма видно, что Погодин упоминается в нем в третьем лице и, повидимому, оставил его после прочтения в своих бумагах. Поскольку в письме упоминаются следующие друзья Веневитинова — Шевырев, Рожалин, Титов, Мальцов,

а также брат его Алексей, остается предположить, что адресатом письма был или С. А. Соболевский, которому Веневитинов писал 14 декабря 1826 г., тоже о журнальных делах, или один из братьев Киреевских (А. И. Кошелев был в это время в Петербурге) или А. С. Норов. В пользу первого предположения говорят следующие данные, кроме упомянутого письма от 14 декабря: в письме М. Погодину от 19 декабря Веневитинов писал: «Соболевскому скажи, что я к нему буду на-днях писать». Правда, это «на-днях» растянулось на целый месяц, но начало письма № 38 показывает, что к этому были свои причины — занятия, которым посвящал поэт большую часть дней своих. Кроме того, как видно из того же начала, получив письмо от Соболевского, Веневитинов не мог долгие медлить и в тот же день ответил ему: «Я даже предупредил бы тебя, — пишет он, и дальше: «мне давно хотелось поговорить с тобой». Нужно иметь в виду, что С. А. Соболевский был одним из членов редакции «Моск. вестника» и деятельным сотрудником (см. письмо Веневитинова от 14 декабря). Кстати, в последнем письме он так же называет его «мой друг».

Cousin Victor (В. Кузен, 1792 — 1867) — французский философ-электик. «Прекрасная книга Кузена» — повидимому, «Fragments philosophiques», 1826 г.

Abbé Mérian — аббат Андра Мерриан, учитель З. Волконской.

Klaproth I. — Генрих Юлий Клапрот, путешественник и ориенталист.

Гулянов И. А. — член Российской Академии, египтолог.

Сенковский О. И. (1800 — 1856) — критик, журналист и беллетрист, изучил в совершенстве арабский язык во время путешествия по Сирии и Египту, преподавал в Петерб. университете.

Веллингтон — выяснить, кого имел в виду Веневитинов, не удалось.

Ланжунне Жан Делис, гр. (1753—1827) — французский политик и публицист.

Тик (Tieck), Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик.

Перевод из Гофмана — повесть «Что пена в стакане, то сны в голове» (см. стр. 176), не законченный Веневитиновым.

Переводы Веневитинова из Шиллера и иностранных журналов не сохранились.

Роман Веневитинова — повидимому, тот самый, над которым он работал все последнее время и отрывок из которого, «Три эпохи любви», см. стр. 203.

Ф «Валленштейнов лагерь» Шиллера, перевод Шевырева, напечатан в «Моск. вестнике» 1828 г., ч. IX, № XII.

Послание к Рожалину — стихотворение Веневитинова.

Переводы из Шлегеля А. Веневитинова, напр., «О трех единствах в драме», напечатаны в «Моск. вестнике» 1827 г., № X, XI.

Жандр А. А. (1789 — 1873) — переводчик, сотрудник «Сына отечества», друг А. С. Грибоедова.

Объявление о «Северной лире» — в «Моск. вестнике», ч. I, на стр. 138, было помещено содержание этого альманаха на 1827 г., в котором, между прочим, была напечатана статья Д. Веневитинова «Скульптура, живопись и музыка».

№ 39. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые, по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 40. С. В. Веневитиновой

Публикуется впервые, по копии, сообщенной И. А. Кубасовым.

№ 41. А. В. Веневитинову

Большое сочинение — роман, задуманный Веневитиновым еще в Москве. От него сохранился только отрывок «Три эпохи любви» (см. стр. 203). Фабула романа, со слов самого Веневитинова, была впервые изложена в предисловии к его прозаическим сочинениям (М. 1831 г.), приведена здесь на стр. 472. «Участи» — стихотворение Веневитинова «Три участи» (см. прим. к этому стихотворению). Отрывок из «Фауста» был напечатан в «Моск. вестнике» 1827 г., № 1, стр. 11.

№ 42. М. П. Погдину

Публикуется впервые, по списку, составляющему собственность и любезно сообщенному нам М. Ю. Барановской. Является последним письмом, написанным Д. Веневитиновым перед смертью, уже в состоянии болезни.

О поездке в Персию Веневитинов мечтал еще в начале своей службы в Петербурге и хотел отправиться туда с первой же дипломатической миссией (см. письмо брату, № 30).

Интересен отзыв Веневитинова о Бетховене (Беетгофен), его любимом композиторе, показывающий, каким тонким музыкальным чутьем обладал поэт, уже в то время угадавший в Бетховене гения. Этот отзыв, от слов «Соничке скажи...» до «письма к тебе» был прочитан В. Л. Львовым-Рогачевским на вечере по поводу столетия кончины Д. Веневитинова, 15 марта 1927 г., в доме Герцена в Москве, перед исполнением *Adagio* из сонаты Бетховена, Op. 31, № 1.

Письмо это не дошло до Погодина. Свидетельством этому служит запись его («Веневитинов написал мне письмо, которое я не получил»), найденная внуком М. П. Погодина в бумагах последнего (сообщено М. Ю. Барановской). В записках П. Н. Лаврентьевой также есть упоминание об этом письме, как о черновом и не отправленном по назначению (см. свод биографических данных, стр. 405).

БИБЛИОГРАФИЯ

От составителя

Библиография Д. В. Веневитинова до настоящего времени была почти не разработана. Публиковавшиеся в свое время краткие библиографии — В. И. Межова, А. В. Мезьер и др. — не были систематическими и носили большей частью случайный и неаучный характер. Между тем «Веневитиниана» за прошедшее со времени смерти поэта столетие чрезвычайно обширна и представляет благодарный материал для исследователя.

Составленная нами библиография включает в себя литературный, архивный и музейный фонд Д. В. Веневитинова и разделяется на следующие отделы: хронологический перечень собраний сочинений Д. В. Веневитинова; алфавитный перечень произведений Д. В. Веневитинова; литература о нем: биографическая и критические материалы; иконография.

Перечень произведений Д. В. Веневитинова составлен по алфавиту первой строки, причем в скобках дается заглавие произведения. Прозаические произведения даны в перечне по алфавиту заглавий и набраны разрядкой; в скобках приведены подзаголовки, если они имеются. В перечне указаны условными обозначениями все публикации данного произведения как в периодике, так и в собраниях сочинений: римскими цифрами обозначены собрания сочинений по хронологическому перечню, буквами — журналы, антологии и другие публикации (цитаты, конечно, не приводятся), цифрами — года, номера журналов и страницы. Например, обозначение «VIII-79» означает, что произведение напечатано в целом виде в Полном собрании стихотворений Веневитинова, изд. А. С. Суворина 1901 г., на стр. 79; обозначение «Н. № 7, 1335» показывает, что произведение напечатано в журнале «Нева» 1912 г., № 7, стр. 1335, и т. д. В перечень вошли все произведения как включенные в собрания сочинений, так и не вошедшие в них и публиковавшиеся отдельно (несобранный Веневитинов); в последнем случае перечень указывает, естественно, только одну эту публикацию; из «неопубликованного Веневитинова» в перечень вошли произведения, публикуемые

первые в настоящем собрании сочинений. Для удобства читателя перечень отнесен в конец книги, с приложением ключа, по которому можно найти данное произведение. Таким образом этот ключ служит одновременно и оглавлением и библиографическим описанием настоящего собрания. Дополнением к этому перечню служит составленный нами список «не сохранившихся произведений Д. В. Веневитинова», со ссылками на соответствующую биографическую и эпистолярную литературу.

Биографические и критические материалы подобраны в алфавитном порядке и разделяются на опубликованные в отдельных изданиях и в периодике: встречающиеся обозначения — обычно принятые в подобного рода работах и отдельно не расшифрованы («Ист. Вестник» — «Исторический вестник», «Рус. Стар.» — «Русская старина» и т. п.); здесь же приводятся *Rossica* (книжки, изданные за границей) и безыменные статьи в хронологическом порядке.

В заключение считаем своим долгом поблагодарить В. В. Смиренского, чутко относившегося к нашей работе и много помогавшего своими советами, а также Н. П. Дмитриева и Д. Д. Благого, сделавших ряд существенных указаний.

В. Смиренский

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ

I. Соч. Д. В. Веневитинова. Часть первая. Стихотворения. С краткой биографией. В тип. Семена Селивановского. М. 1829, 8°, стр. VI + 11 + 129.

II. Соч. Д. В. Веневитинова. Часть вторая. Проза. С предисловием. В тип. Сем. Селивановского. М. 1831, 8°, стр. XVI + 120.

III. Полн. собр. соч. русских авторов. Соч. В. Л. Пушкина и Д. В. Веневитинова (в одном томе). Изд. Ал-дра Смирдина. Тип. Акад. Наук. СПб. 1855, стр. 225 + 2 нен. (соч. Д. В—ва) и 157 + 2 нен. (соч. В. П—на).

IV. Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова. Изд. под ред. А. П. Пятковского. С прил. портрета, факсимиле и статьи редактора о его жизни и сочинениях. В тип. О. И. Бакста. СПб. 1862, 8°, стр. 263.

V. Полн. собр. стихотворений Веневитинова с биографией и портретом его. Изд. и тип. А. С. Суворина. СПб. 1884, 12°, стр. VIII — 84. 4100 экз. (Дешевая библиотека).

VI. Полн. собр. стихотворений Веневитинова с биографией и портретом его. Изд. 2-е. Изд. и тип. А. С. Суворина. СПб. 1886, 12°, стр. X + 11 + 90. 10300 экз. (Дешевая библиотека).

VII. Полн. собр. стихотворений Веневитинова. Изд. книгопр. Ф. А. Иогансона. Тип. И. Чоколова. Киев. 1892, 32°, стр. V + + 258, 5050 экз. (Библиотека «Крошка», № 45). Издание представляет в настоящее время библиографическую редкость.

VIII. Полн. собр. стихотворений Веневитинова с биографией и портретом его. Изд. 3-е. Изд. и тип. А. С. Суворина. СПб. 1901, 12°, стр. X + 90. 5000 экз. (Дешевая библиотека).

IX. Родные поэты. Д. В. Веневитинов (1805 — 1827). Биограф. очерк русского поэта с прилож. его стихов. Изд. и тип. Общ. распростр. полезн. книг. М. 1901, 16°, стр. 64, 3600 экз.

X. Е. Боратынский и Д. Веневитинов. Собр. соч. со вступительными статьями В. С. (Дороватовской) и 2-мя портретами (в одном. томе). Изд. «Жизнь для всех» СПб, тип. «Двигатель», 1913, 8°, стр. 140 (соч. Д. В—ва) и 268 (соч. Е. Б—го).

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Отдельные издания

Анненков П. В., Материалы для биографии Пушкина, стр. 177, 184 — 185.

Аронсон М. и Рейсер С., Лит. кружки и салоны.

Под ред. Б. М. Эйхенбаума. «Прибой», Л. 1929, стр. 125 — 132, 152, 153, 155, 159, 260, 266 — 271, 276, 303, 307.

Арсеньев А. В., Д. В. Веневитинов. Словарь писателей средн. и нов. периодов рус. лит. XVII—XIX вв. Изд. Е. П. Муравьевой, СПб. 1887, § 153, стр. IX, XVI, 221—222.

Ашукин Н. С., Пушкинские места в Москве и ее окрестностях. Изд. т-ва В. Думнов. М. 1924, стр. 5, 40, 41, 43, 45—47.

Барсуков Н. П., Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб. 1889.

Т. I, стр. 186, 281, 301, 302 — 303.

Т. II, стр. 13, 27, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46 — 48, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64 — 68, 75 — 79, 82, 84, 89 — 93, 122, 127, 134 — 135, 151, 166, 184, 186 — 187, 222, 306, 318, 322, 324, 326.

Т. III, стр. 49, 66, 77, 92, 240, 312.

Т. IV, стр. 19, 141, 142, 246 — 247, 304.

Т. V, стр. 163, 240.

Т. VI, стр. 62, 64, 345.

Т. VII, стр. 131.

Т. VIII, стр. 75, 206, 236, 313.

Т. IX, стр. 81, 467.

Т. XI, стр. 118, 141, 494.

Т. XII, стр. 1, 59.

Т. XIV, стр. 137, 575.

Т. XVI, стр. 234, 408.

Т. XIX, стр. 378, 464.

Батюшков Ф. Д., Борис Годунов. Соч. А. С. Пушкина. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1908, т. II, стр. 306.

Белюсов Иван, Писательские гнезда. Моск. т-во писателей. М. 1930, стр. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Благой Д., Веневитинов. Лит. энци. Изд. Ком. академия, М. 1929, т. II, стр. 155 — 157.

Боборыкин П. Д., За полвека (Мои воспоминания). Ред., предисловие и прим. Б. П. Козьмина. ЗИФ, М.—Л. 1929, стр. 117, 169, 290, 363.

Бобринский А., гр., Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссий. империи, СПб. 1890, стр. 91 — 92, 771.

Болдаков И., Веневитинов. Энци. словарь Брокгауз-Ефрон, 1891, т. V, стр. 901, — 903 и 1892, т. V-а, стр. 901 — 903.

Нов. энци. словарь Брокгауз-Ефрон, 1905, т. X, стр. 101—104.

Бранловский С., Вас. Ив. Туманский. «Пантеон литературы» 1890, т. IX, стр. 3.

Бродский Н. Л. (ред.), Лит. вечера и салоны. Первая половина XIX в. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 172, 175, 567.

Бродский Н. Л., Ранние славянофилы, М. 1910, стр. VI, XIII.

Брюсов Валерий, Из жизни Пушкина. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Ред. Н. К. Пиксанова. ГИЗ, М.—Л. 1929, стр. 17.

Венгеров С. А., Веневитинов. Источники словаря рус. писателей. СПб. 1900, т. I, стр. 538, 539.

Критико-биограф. словарь рус. писателей и ученых, изд. 2-е, Пгр. 1915, т. I, вып. 1 — 3, стр. 121, 433.

Вейнберг П. И., Веневитинов. Крат. биография. Рус. поэты, Карман-хрестоматия. Изд. дешев. библи. А. С. Суворина, СПб. (1904), т. II, стр. 85 (дата установлена С. Венгеровым).

Веневитинов М., О чтениях Пушкиным «Бориса Годунова» в 1826 г. в Москве, М. 1899.

Верховский Ю. Н., А. П. Керн и ее среда. А. П. Керн, Воспоминания. «Academia», Л. 1929, стр. XXXIII.

Верховский Ю. Н. Поэты Пушкинской поры. Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1919, стр. 4, 6, 17, 92, 160—171, 329, 332, 342, 344, 345—349, 353—356, 359—363.

Волконская М. Н., кн., Записки. Пер. с франц. А. И. Кудрявцевой, с прим. П. Е. Щеголева. «Прометей», Пгр. 1913, стр. 174.

Вяземский П. А., кн., Собр. соч., т. VII, стр. 328.

Геннадии Г., Веневитинов. Справоч. словарь о рус. писателях и ученых. Берлин 1876, т. I, стр. 142.

Гербель Н. В., Д. В. Веневитинов. Рус. поэты в биографиях и образцах. СПб. 1873, изд. 1-е. То же, изд. 2-е, СПб. 1880. То же, изд. 3-е, СПб. 1888, под ред. П. Полевого, стр. 255, 270, 276, 280, 293, 311, IV.

Герцен А. И., Собр. соч. Под ред. М. К. Лемке, II. 1919, т. VI, стр. 357, 359, 372—373; т. XII, стр. 134; т. XIII, стр. 574.

Гессен Сергей, Лит. доходы Пушкина. Книгоиздатель Александр Пушкин. «Academia». Л. 1930, стр. 78.

Гессен С. и Модзалевский Л., Разговоры Пушкина. «Федерация», М. 1929, стр. 72, 73, 97, 168, 277, 303.

Дельви́г А. А., бар., На смерть Веневитинова. Соч., изд. Смирдина, 1850, стр. 15.

Дельви́г А. И., бар., Мои воспоминания, Лит. вечера и салоны. Первая половина XIX в. Ред. и прим. Н. Л. Бродского. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 181.

Дельви́г А. И., Полвека русской жизни. Воспоминания (1820—1870). Под ред. С. Я. Штрайха. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 74—75.

Добры́в А. П., Веневитинов. Биографии рус. писателей. СПб. 1900, стр. 62—63.

Дороватовская [В. С.], Очерк жизни и лит. деятельности Д. В. Веневитинова. Собр. соч. Е. Боратынского и Д. Веневитинова. «Жизнь для всех», СПб. 1913, стр. 273—281.

Ежов Ив., Альманахи и сборники. Лит. энц. Изд. Ком. академия, М. 1929, т. I, стр. 102.

Займо́вский С. Г., Крылатое слово. Справочник цитаты и афоризма. ГИЗ, М.—Л. 1930, стр. 110, 174, 226, 238, 297, 308, 451.

Замоти́н И. П., Очерк истории журналистики, за 1-ю пол. XIX в. История рус. лит. XIX в. Изд. «Мир», М. 1911, т. II, стр. 390.

Золотаре́в С. А., Расцвет и смерть Веневитинова. Общедоступные очерки по истории рус. лит. Изд. т-ва Думнова, М. 1924, стр. 204.

Игна́тов И., Д. В. Веневитинов. Галерея рус. писателей. Изд. С. Скирмунта, М. 1901, стр. 119.

Калла́ш В. В., Д. В. Веневитинов. Очерки по истории нов. рус. лит. Изд. ки. маг. Думнова, М. 1911, стр. 11, 14—19, 48, 347, 348, 349.

Кара́тыгина-Коло́сова А. М., Мое знакомство с Пушкиным. Письма женщины к Пушкину, с прил. воспомин. о нем, ред. Л. Гроссмана. «Соврем. проблемы», М. 1928, стр. 145.

Кара́тыгина-Коло́сова А. М., Мое знакомство с Пушкиным. П. А. Кара́тыгин, Записки, т. II, «Academia», Л. 1930, стр. 283, 436.

Керн (Маркова-Виноградская) А. П., Воспоминания. Л. Майков. Пушкин. Биогр. материалы и историко-лит. очерки. Изд. Л. Ф. Пантелеева, СПб. 1899, стр. 248—249, 261.

Керн А. П., Воспоминания о Пушкине. Письма женщины к Пушкину, с прил. воспомин. о нем, ред. Л. Гроссмана. «Соврем. проблемы», М. 1928, стр. 169, 180.

Керн А. П., Воспоминания. Под ред. Ю. Н. Верховского. «Academia», Л. 1929, стр. 266, 268, 269, 287, 466.

Кирпични́ков А. И., проф., А. С. Пушкин. Энциклопедический словарь, Брокгауз-Ефрон, 1898, т. XXV, стр. 839, 850,

Кирпичников А. И., проф., А. С. Пушкин. Зелинский В. Русская критич. лит. о произведениях Пушкина. М. 1901, изд. 3-е, ч. 1, стр. XXVII, XXXI.

Кольцов А. В., Стихотворения. Под ред. П. Быкова. СПб. 1893, стр. 5, 15, 125.

Кольцов А. В., Полн. собр. стихотворений и писем. Под ред. А. Введенского. СПб. 1895, стр. 133.

Кольцов А. В., Полн. собр. соч. Изд. Акад. Наук, СПб. 1911, стр. XXIV, 48, 337, 354, 359, 386, 448, 457, 460, 464.

Колупанов Н., Биография А. И. Кошелева. СПб. 1889, изд. О. Ф. Кошелевой, т. I, ч. II.

Кози А. Ф., Первое сватовство Пушкина. Соч. Пушкина. Под ред. С. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 185.

Корнилов А. А., Молодые годы Мих. Бакунина. Изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1915, стр. 110 — 114.

Котляревский Н., Веневитинов. Очерк его жизни. Лит. направления Александровской эпохи. Изд. 2-е, СПб. 1913, стр. 250 — 252; то же, изд. 3-е, Л. 1921.

Кошелев А. И., Записки (1812 — 1883). Берлин 1884, стр. 8 — 12 и др.

Кошелев А. И., Кружок «архивных юношей». Лит. вечера и салоны. Ред. и прим. Н. Л. Бродского. «Academia», М. — Л. 1930, стр. 136 — 137.

Кошелев А. И., Кружок Любомудров. Лит. вечера и салоны. «Academia», М. — Л. 1930, стр. 141, 143, 145, 147.

Кубасов И. А., Кн. Волконская. Лит. портфели. «Атеней» 1923, вып. 1, стр. 86 — 89.

Лернер Н. О., Прим. к стихотворениям Пушкина 1826 г. Соч. Пушкина. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1910, т. IV, стр. I, XII, XV, XXXV — XXXVI.

Лернер Н. О., Пророк России. Рассказы о Пушкине. «Прибой», Л. 1929, стр. 98.

Лернер Н. О., Пушкин после ссылки в Москве. Соч. Пушкина. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 340 — 343.

Лернер Н. О., Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е, исправлен. и доп., Акад. Наук, СПб. 1910, стр. 140, 142, 147, 152, 453, 499.

Майков Л., Воспоминания Шевырева о Пушкине. Пушкин. Биограф. материалы и историко-лит. очерки. Изд. Л. Ф. Пантелеева СПб. 1899, стр. 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 344, 351, 438.

Мартов Н., Д. В. Веневитинов, Галерея рус. писателей и художников с Пушкинской эпохи до наших дней. СПб. 1901, изд. Н. Ф. Мертца, стр. 18, 19.

Межов В. И., История рус. и всеобщ. словесности. Библиогр. материал за 1855—1870 гг. Изд. Книжн. торг., СПб. 1872, стр. 285, 314.

Мезьер А. В., Журналы XIX—XX вв. в России. Словарный указатель по книговедению. «Колос», СПб. 1924, стр. 284.

Модзалевский Б. Л., А. П. Керн. Соч. Пушкина. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 599—600.

Модзалевский Б. Л., Дельвиг и Пушкин. Пушкин и его современники, СПб. 1907, т. V, стр. 143.

Модзалевский Б. Л., Письмо Пушкина к бар. Дельвигу. Лит. портфели. «Атеней», т. I, СПб. 1923, стр. 80.

Морозов П. О., Прим. к стихотворениям Пушкина 1830 г. Соч. Пушкина. Изд. Брокгауз-Ефрон, т. V, стр. LI.

Муравьев А. Н., Знакомство с рус. поэтами. Киев 1871.

Мякотин В. А., Мицкевич, его жизнь и лит. деятельность. Биогр. библ. Павленкова, СПб. 1891, стр. 38.

Некрасов Н. А., Русские женщины (Кн. Волконская). Стихотворения под ред. К. И. Чуковского. ГИЗ, П. 1920, стр. 258, 562.

Овсяннико-Куликовский Д. Н. (ред.), История рус. лит. Изд. т-во «Мир», М. 1911, т. I, стр. 430; т. II, стр. 425, 426, 429; т. V, стр. 486, 576, 579.

Одоевский А. И., кн., Умиравший художник. На смерть Веневитинова. Стихотворения, изд. бар. Розена, 1883, стр. 37. То же, соч. К. Ф. Рыльева и А. И. Одоевского. СПб. 1913, стр. 466. То же, Поэты-декабристы. Под ред. Ю. Верховского. ГИЗ, М. 1926, стр. 258—259.

Орлов В. Н., Хмельницкий С. И. (ред.), Прим. к дневнику. Дневник Кюхельбекера. Материалы к истории рус. лит. и обществ. жизни 10—40-х гг. XIX в. Предисл. Ю. Н. Тынянова. «Прибой», Л. 1929, стр. 344, 364.

Плетнев П., Веневитинов, Энцикл. лексикон, изд. А. Плюшара, СПб. 1835—1838 гг., т. IX, стр. 357—368.

Погодин М. П., Воспоминание о Ст. П. Шевыреве. СПб. 1869, стр. 7—14.

Погодин М. П., Кружок Веневитинова. Лит. вечера и салоны. Ред. и прим. Н. Л. Бродского. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 161, 162, 163, 166, 168, 171.

Полевой К. Ал., Записки. Изд. А. С. Суворина, СПб. 1888, стр. III, 102, 136, 137, 152, 584.

Полевой К. А., Кружок Н. А. Полевого. Лит. вечера и салоны. Ред. и прим. Н. Л. Бродского. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 151.

Полевой П. Н., Д. В. Веневитинов. История рус. словесности с древнейших времен до наших дней. Изд. А. Ф. Маркса, СПб. 1900, т. III, стр. 171, 172, 174, 182, 187, 199, 201, 359, 397, 404, 685, 693.

Пушкин А. С., Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. Труды Пушк. Дома Акач. Наук. ГИЗ, М.—Л. 1928, т. II, стр. 27,

184, 187 — 189, 199, 203, 222, 223, 228, 229, 230 — 231, 259, 274, 293, 298, 3^ю8, 329, 374, 414.

Пятковский Ал., студ., О жизни и соч. Д. В. Веневитинова, Тип. II отд. соб. с. в. канцелярии. СПб. 1859, 8^ю, стр. 24.

Пятковский А. П., О жизни и соч. Д. В. Веневитинова. Материалы для биографии Веневитинова, Сб. студентов СПб. унив., СПб. 1860, вып. 2, стр. 213—234.

Пятковский А. П., О жизни и соч. Д. В. Веневитинова. Полн. собр. соч. Д. В. Веневитинова. СПб. 1862, стр. 1—60.

Розанов И. Н., Д. В. Веневитинов, Путеводитель по рус. лит. XIX в., «Работ. просвещ.», М. 1928, стр. 40, 75, 388.

Розанов И. Н., Дельвиг. Поэты 20-х гг. XIX в., ГИЗ, М. 1925, стр. 41, 51, 53, 54.

Руммель, В. В. и Голубцов В. В., Родословная Веневитиновых. Родословный сборник рус. двор. фамилий. Изд. А. С. Суворина, СПб. 1886, т. I, стр. 172—175.

Садовской Борис, Д. В. Веневитинов, Русская камена. Статьи. «Мусагет». М. 1910, стр. 53—69, 106, 107, 157.

Сакулин П. Н., Любомудры. Истор. лит. хрестоматия, ч. IV, XIX в. (лит. направления первых десятилетий). Сост. Н. Бродский, Н. Мендельсон, Н. Сидоров. ГИЗ, М.—Л. 1923, стр. 400.

Сальников А. Н., Веневитинов. Рус. поэты за 100 лет. Изд. В. Губинского, СПб. 1901, стр. 68.

Сергеевич Александр, Д. В. Веневитинов. История рус. лит. Изд. А. Каспари, СПб. S—d, стр. 182, 186, 188—189.

Смирнова (Россет) А. О., Записки, дневники, воспоминания, письма, со статьей и прим. Л. Крестовой. Под ред. М. Цявловского. «Федерация», М. 1929, стр. 191, 256, 412.

Соловьев (Андреевич) Евг., Очерки из истории рус. лит. XIX в., изд. 3-е, со вступ. статьей П. Пильского. Изд. П. Карбасникова, СПб. 1907, стр. 41.

Суворин А. С. (изд.), Д. В. Веневитинов. Собр. стихотворений Д. В. Веневитинова. Изд. и тип. А. С. Суворина, СПб. 1884, стр. I—VIII. То же, изд. 2-е, СПб. 1886, стр. III—X. То же, изд. 3-е, СПб. 1901, стр. I—X.

Толль Ф. (ред.), Веневитинов, Пастольн. энц. словарь для справок по всем отраслям знания. Под ред. Ф. Толля. СПб. 1863, т. I, стр. 437.

Троцкий И., Веневитинов, Больш. сов. энц., М. 1928, т. X, стр. 133.

Фатов Н., Любовь и смерть Д. В. Веневитинова. Тип. Варшавск. уч. округа. Варшава 1914, стр. 23.

Фелонин А. В., Д. В. Веневитинов. Крит.-биогр. очерк. (I. Биография. II. Веневитинов как философ. III. Веневити-

нов как критик. IV. Веневитинов как поэт). Тип. Э. Пороховщиковой. 8°, СПб. 1902, стр. 52, тир. 600 экз.

Хмыров М. Д., Биография Д. В. Веневитинова. Сто биографий. Портретная галерея рус. деятелей. Изд. А. Мюнстера, СПб. 1869, т. II, стр. 35 — 36, 165, 252.

Хомяков А. С., На новый 1828 г., Стихотворения. Изд. А. С. Суворина, СПб. S — d, стр. 27.

Хомяков А. С., На новый 1828 г. (о Д. В. Веневитинове). Стихотворения, выписанные из журналов В. Белинским. Полн. собр. соч. В. Белинского. Под ред. С. Венгерова. СПб. 1900, т. I, стр. 28 (неполностью; начала нет, на стр. 25 — начало, приписанное неправильно С. Шевыреву. — *Б. С.*).

Хомяков А. С., Послание к Веневитиновым. Стихотворения. Изд. А. С. Суворина, СПб. S — d, стр. III, 1, 127.

Цехновицер Орест, Силуэт (В. Ф. Одоевский). В. Ф. Одоевский, Романтические повести. «Прибой», Л. 1929, стр. 9, 69.

Цявловский М. А., Пушкин по документам Погодинского архива. Пушкин и его современники. Изд. Акад. Наук, вып. XIX—XX, стр. 45, 73.

Чулков Н. П., Пушкин-москвич. Пушкин в Москве. Сб. статей с предисл. М. Цявловского. М. 1930, стр. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59.

Шингарев А. И., Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономич. исследования двух селений Воронежск. уезда. СПб. 1907, изд. 2-е, стр. 18, 19, 20.

Щеголев П. Е., Подвиг кн. М. Н. Волконской, Записки кн. М. Н. Волконской. Изд. «Прометей», СПб. 1913, стр. 37—40.

Щеголев П. Е., Хомяков А. С. Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон, СПб. 1903, т. XXXVI-а, полутом 75, стр. 543.

Энгельгардт Н., История рус. лит. XIX ст. Изд. А. С. Суворина, СПб. 1902, т. I, стр. 256, 257, 263 — 269, 306, 380, 381, 382.

Языков Н. М., Встреча нового года, Бобров Е. А., Из ист. лит. XVIII и XIX ст., Изв. рус. яз. Акад. Наук 1916, т. XV, кв. 1.

Яцевич А., Пушкинский Петербург. Изд. О-ва «Старый Петербург», Новый Ленинград. Л. 1930, стр. 98.

Rossica

Элиасберг А. и Д. «Русский Парнас» (Антология рус. поэзии) Insel-verlag, Leipzig. Bibliotheca-Mundi 1920. Стихотворения Д. В. Веневитинова помещены на стр. 94, 95, 96, 97, 319, 329. Стихотворениям предпослана краткая вводная заметка.

Периодика

Анофриев Вл., Могилы рус. писателей в Москве. Симонов монастырь. Д. В. Веневитинов. «Рус. вед.» 1915, № 223.

Бартенев П., А. П. Елагина. «Рус. архив» 1888, т. II, стр. 492.

Бартенев П., А. М. Веневитинова, Некролог, «Рус. архив» 1884, № 5, стр. 240 — 241.

Белозерская Н. А., Кн. З. А. Волконская, «Ист. вестник» 1897, III, т. 67, стр. 954, 956, 957, 958, 959, 964, 966, 968, 969. То же, «Ист. вестник» 1897, IV, т. 68, стр. 131, 132, 138, 142, 156.

Бестужев-Рюмин М., О Веневитинове и его соч., «Сев. звезда» 1829.

Бобров Евг., проф., А. А. Фукс и казанские литераторы 30 — 40-х гг. «Рус. стар.» 1904, VII, стр. 9.

Брюсов Валерий, Из жизни Пушкина. «Новый путь» 1903, VI, стр. 84 — 102.

Буслаев Ф. П., Римская вилла кн. З. А. Волконской, «Вест. Евр.» 1896, № 1, стр. 5 — 30.

Быков П., Памяти Д. В. Веневитинова, «Бирж. вед.» 1902, № 72.

Бычков И. А., Из переписки кн. В. Ф. Одоевского, «Рус. стар.», 1904, III, т. 117, стр. 706, 715.

Бычков И. А. (сообщ.), Из переписки кн. В. Ф. Одоевского, «Рус. стар.» 1904, IV, т. 118, стр. 203 (о брате Д. В.).

Веневитинов М., К биографии поэта Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1885, № 1, стр. 113 — 131.

Веневитинов М., К биографии Д. В. Веневитинова, «Ист. вестник» 1884, № VIII, стр. 468 — 470.

Веневитинов М., О чтении Пушкиным «Бориса Годунова» в 1826 г., в Москве. «Рус. вед.» 1899, № 143.

Глинский Б. Б., Рэздвоившаяся редакция «Москвитянина». «Ист. вестник» 1897, IV, т. 68, стр. 241, 242.

Делларю М. Д., Могила поэта. Посв. памяти В..ва, «Сев. цветы» 1931, стр. 80.

Дельвиг А. А., бар., Дева и роза, На смерть Веневитинова. «Сев. цветы» 1828.

Дмитриев И. И., Эпитафия, «Москвитянин» 1842, II, № 4, стр. 294.

З. Ф., Д. В. Веневитинов, «Жив. обзор.» 1902, № 10.

Замотин И. И., Обществ. и лит. эпохи рус. жизни XIX в. «Рус. филол. вест.» 1906, I — II, стр. 92 — 94, 127, 128.

Ильин В. В., Воспоминания о кн. А. Н. Волконском, «Рус. архив» 1878, т. III, № 10, стр. 252.

Каратыгина (Колосова) А. М., Мое знакомство с Пушкиным. «Рус. стар.» 1880, кн. VII, стр. 556 — 574.

Керн А. П., Воспоминания о Пушкине. «Библ. для чтения» 1859, III, т. 154, стр. 111 — 144.

Книголюб, Д. В. Веневитинов. По поводу 100-летия со дня рождения. «СПБ. вед.» 1905, № 221.

Кольцов А. В., Вздох на могиле Веневитинова, «Листок». Изд. Артемьева, М. 1831, № 22.

Комаровская Л. Г., гр., Пушкин и его современники. Изд. Акад. Наук. Вып. XI, стр. 120.

Кошелев А. И., Записки. «Вс. вест.» 1906, № 8, стр. 23 — 146.

Матвеев П. А., А. С. Хомяков. Биограф. очерк, «Рус. стар.» 1904, V, стр. 459, 460, 462, 463, 472.

Муханов Н. А., Воспоминания. «Рус. архив» 1887, кн. 1.

Ободовский П. Г., «Отри слезу, мой друг». На кончину Веневитинова. «Славянин» 1829, XI, № 31 — 32, стр. 179.

Ободовский П. Г., На кончину Веневитинова. «Галатея» 1829, ч. VI, № 18.

Ознобишин Д. П., В память о Д. В. Веневитинове (с прим. М. Погодина). «Рус. журн.» 1867, № 7 — 8.

П(-й) А., Чудесный жребий песнопенья. Мое новоселье. Альманах на 1836 г., изд. В. Крыловского, стр. 115 — 117.

Погодин М. П., В память о Дм. Вл. Веневитинове. «Русский» 1867, № 7, стр. 110 — 111.

Погодин М. П., Воспоминание о Шевыреве, «Журн. мин. нар. просв.» 1869, № 2, стр. 399.

Полевой Кс., Записки, «Ист. вестник» 1887, т. IV, № 28, стр. 146.

П—ро, Д. В. Веневитинов (К 100-летию со дня смерти). «Веч. Москва» 1927, № 69.

Пятковский А., Биография кн. В. Ф. Одоевского. «Ист. вестник» 1880, т. 1, стр. 512.

Садовской Борис, Д. В. Веневитинов. «Весы», 1905, № 11.

С.—т. Юноша-поэт, К 100-летию со дня рождения, «Моск. вед.» 1905, № 252.

Соболевский С. А., «Импровизация» Д. В. Веневитинова, «Рус. архив» 1866, № 2, стр. 259, 260.

Т—в. С., Поэт мысли. «Семья» 1905, № 36.

Тригунный, «Поэт! и я цветок надгробный». «Лит. газета» 1831, III, № 22, стр. 117.

Туманский В. И., «Блеснул он мне, как луч». «Моск. вестник» 1827, ч. III, № 12, стр. 318.

Устимович Петр, Лит. заметки. «Рус. стар.» 1887, т. 55, № 8, стр. 460 — 461.

Устимович Петр., Поэт Д. В. Веневитинов. «Рус. стар.» 1887, т. 54, № 5, стр. 404.

Устимович Петр, Стихотворение на смерть Д. Веневитинова. «Рус. стар.» 1887, т. 53, № 1, стр. 202.

Фатов Н. Н., Любовь и смерть Д. В. Веневитинова, «Рус. филол. вест.» 1914, № 3—4, стр. 23 и сл.

Филиппов М. М., Судьбы рус. философии. «Рус. боготство» 1894, № 8, стр. 118.

Хин М. М., Жены декабристов. «Ист. вестник» 1884, т. XVIII, стр. 657.

Хомяков А. С., Послание к Веневитиновым. «Моск. вестник» 1830, V, № 21 — 24, стр. 28 — 32.

Че бышев А. (сообщ.), Материалы для истории рус. лит. XIX в., «Рус. стар.», 1911, VIII, стр. 335.

Шаликов П. И., кн. (изд.), «Нет, жизнь коварная сирена». «Дамский журнал» 1827, № 7, стр. 58.

Шенрок В., Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. «Вест. Евр.», 1894, № 8, стр. 630.

Шпидер С., Д. В. Веневитинов. Материалы для биографии. Неизд. отрывки и заметки. «Голос минувшего» 1914, № 1, стр. 265.

Щеголев П. Е., Подвиг кн. М. Н. Волконской. «Ист. вестник» 1905.

Безыменные биографические статьи (В хронологическом порядке)

Некролог, «Моск. вестник» 1827, VII.

Некролог, «Сев. пчела» 1827, № 33.

Кратк. биография Д. В. Веневитинова, Собр. соч. Д. В. Веневитинова, ч. 1, М. 1829, стр. I—VI.

Предисловие к ч. II соч. Д. В. Веневитинова, М. 1831, стр. V—XVI.

Могла Веневитинова. «Москвитянин» 1842, IV, № 8, стр. 245.

Кратк. статья о Веневитинове и 10 стихотворений его. «Библ. для воспитания» 1844, отд. 1, ч. 1, стр. 1—21.

Общий гербовник Всерос. империи, т. IV, стр. 87.

Юноша-поэт, Критико-биограф. очерк. Памяти Д. В. Веневитинова. «Прав. вестник» 1902, № 67.

Веневитинов, Больш. энцикл. Изд. библиотечного института (Мейер) в Лейпциге и Вене и Книгоизд. т-ва «Просвещение», СПб. 1904, т. IV, стр. 626 — 628.

Веневитинов, Энцикл. словарь. 7-е перераб. изд. т-ва бр. Гранат и К^о, т. IX, стр. 437.

Веневитинов, Мал. энцикл. словарь Брокгауз-Ефрон, СПб. 1907, т. 1, стр. 779 — 780.

Веневитинов, Энцикл. словарь рус. библиотечного института. Изд. Гранат, 11-е стереотипн., т. IX, стр. 457 — 458.

Через 100 лет, «Красн. нива» 1926, № 46, стр. 20.

Памяти поэта Д. В. Веневитинова. «Красн. нива» 1927, № 42, стр. 18.

Веневитинов, Мал. сов. энцикл. Изд. акц. о-ва Сов. энцикл. М. 1929, т. II, стр. 86.

Суханово (подмосковная усадьба кн. Волконских), Вокруг Москвы, «Работн. Просвещ.», М. 1930, стр. 176.

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отдельные издания

Айхенвальд Ю. Н., Веневитинов. Силуэты рус. писателей. Изд. «Научное слово», М. 1910, вып. III, стр. 9—14, 19.

Айхенвальд Ю. Н., Д. В. Веневитинов, История рус. лит. XIX в. Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Изд. т-ва «Мир», М. 1911, т. II, ч. 2, гл. VII, стр. 43—47.

Аничков Е. В., Очерк Пушкинского периода. История России в XIX в. Изд. т-ва бр. Гранат и К^о, ч. 1, т. II, стр. 403, 405, 409, 422, 439, 440, 619.

Белецкий А. И., Очередные вопросы изучения русского романтизма. Русский романтизм. Материалы и исследования по истории рус. лит. XIX в. Сб. статей под ред. А. Белецкого. «Academia», Л. 1927, стр. 17.

Белинский В. Г., Лит. мечтания. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского. Под ред. С. А. Венгерова. СПб. 1900, т. I, стр. 369.

Белинский В. Г., Сто русских литераторов. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского. Под ред. С. А. Венгерова. СПб. 1903, т. VI, стр. 210.

Белинский В. Г., Собр. соч. Под ред. Иванова-Разумника. Лит. изд. отд. НКП. Пгр. 1919, т. I, стр. 73, 74, 178, 284, 914, 964, 1019.

Белинский В. Г., Соч. кн. В. Ф. Одоевского. Собр. соч. Белинского. Под ред. Иванова-Разумника, Пгр. 1919, т. II, стр. 862.

Белинский В. Г., Рус. лит. с 1844 г. Ibid., стр. 910, 911.

Белинский В. Г., Соч. Александра Пушкина. Ibid., т. III, стр. 198.

Бестужев-Рюмин К., Погодин. Биографии и характеристики. СПб. 1882, стр. 244.

Благой Д., Веневитинов Д. В., Лит. энц. Изд. Ком. академии, М. 1929, т. II, стр. 155—157.

Бобров Евг., Поэзия Д. В. Веневитинова в связи с его жизнью. Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки. Казань 1901, т. I, ч. 1, стр. 1—83.

Болдаков П., Веневитинов. Энци. словарь Брокгауз-Ефрон, 1891, т. V, стр. 901—903. То же, 1892, т. V-а, стр. 901—903.

Болдаков П., Веневитинов. Нов. энци. словарь Брокгауз-Ефрон, 1905, т. X, стр. 101—104.

Бороздин А. К., Журналист двадцатых годов (Н. А. Полевой), Лит. характеристики. Изд. Пирожкова. СПб. 1903, т. I, стр. 226. То же, 2-е изд., СПб. 1911, т. I.

Бродский Н., Мендельсон Н., Сидоров Н., Д. В. Веневитинов. Историко-лит. хрестоматия, ч. IV, XIX в. ГИЗ, М.—Л. 1923, стр. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 440.

Венгеров С. А., Прим. к соч. В. Г. Белинского. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского. Под ред. С. А. Венгерова. СПб. 1900, т. I, стр. 5, 6, 418, 423, 424, 435.

Венгеров С. А. (ред.), Пушкин. Изд. Брокгауз-Ефрон, т. III, стр. 611, 614.

Веселовский А., Кружок Веневитинова. Западное влияние в новой рус. лит. Сравнительно-историч. очерки, 2-е перераб. изд., М. 1896.

Веселовский А., Западное влияние в новой рус. лит., изд. 4-е, М. 1910, стр. 168, 173, 181, 183, 187, 189, 211, 213, 223, 258.

Войтоловский Л., История рус. лит. XIX и XX вв., ГИЗ, М.—Л. 1926, ч. 1, стр. 154.

Горюфельд А. Г., Сцены из Фауста, Соч. А. С. Пушкина. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1908, т. II, стр. 408—410.

Давидович М. Г., Женский портрет у русских романтиков первой половины XIX в. Русский романтизм. Материалы и исследования по истории рус. лит. XIX в. Сборн. статей под ред. Белецкого. «Academia», Л. 1927, стр. 88, 89.

[Дороватовская] В. С., Очерк жизни и лит. деятельности Д. В. Веневитинова. Собр. соч. Е. Боратынского и Д. В. Веневитинова. Изд. «Жизнь для всех», СПб. 1913, стр. 273—281.

Дружинин А. В. Соч. В. Л. Пушкина и Д. В. Веневитинова. Собр. соч. Под ред. Н. В. Гербея. СПб. 1865—1867, т. VII.

Замотин И. И., Романтический идеализм в рус. лит. 20—30-х гг. Воззрения романтиков на искусство и т. д. В. А. Жуковский. Его жизнь и соч. Сб. истор.-лит. статей. Сост. В. Покровский, изд. 3-е, М. 1912, стр. 96—97.

Замотин И. И., Романтизм 20-х гг. XIX ст. в рус. лит., Варшава 1903, стр. III, V, 41, 101, 102, 103—111, 120, 122, 145, 174, 197, 275, 356, XXI. То же, СПб. 1908, стр. 105—108. То же, изд. 2-е, 2 тома. СПб. 1911—1913.

Замотин И. И., Лит. течения и лит. критика 30-х гг. История рус. лит. XIX в., Изд. «Мир», М. 1908, т. I, ч. 2, стр. 283, 287, 296, 313, 322.

З а м о т и н И. И., Романтический идеализм в рус. обществе и лит. 20—30-х гг. XIX ст. СПб. 1908, стр. 99, 124—127, 364, 371—373.

З е л и н с к и й В., Рус. критич. лит. о произведениях Пушкина. Хронологич. сборник крит.-библиогр. статей. М. 1887—1899. То же, изд. 2-е. То же, изд. 3-е, ч. II, М. 1904, стр. 227, 229, 230. То же, изд. 3-е, ч. III, М. 1907, стр. 243.

З е л и н с к и й В., Борис Годунов. Соч. А. Пушкина. Рус. критич. лит.-ра о произведениях Пушкина, ч. III, изд. 3-е, М. 1907, стр. 207.

И в а н о в И., История рус. критики. Изд. «Мир божий», СПб. 1898, т. 1, ч. II, стр. 383, 385, 390, 391, 402, 413, 417, 421—426, 428, 430, 432, 433, 451.

И в а н о в-Р а з у м н и к Р. В., История рус. общественной мысли, изд. 5-е, т-ва «Революционная мысль», ч. II, От 20 до 40-х гг. Пгр. 1918, стр. 174, 179, 182, 184, 186, 188, 189.

И в а н о в-Р а з у м н и к Р. В., Общественные и умственные течения 30-х гг. и их отражение в русской литературе. История рус. лит. XIX в. Изд. «Мир», М. 1908, т. I, ч. 2, стр. 252, 255, 257—259, 261, 275.

К о р н и л о в А. А., Молодые годы Мих. Бакунина. Изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1915, стр. 54, 130.

К о т л я р е в с к и й Н., Пушкин и Веневитинов. Старинные портреты. СПб. 1907, стр. 92—132.

К о т л я р е в с к и й Н., Мысли о поэзии и о призвании поэта и их выражение в лирике Веневитинова. Общая оценка поэзии Веневитинова. Литературные направления Александровской эпохи. Изд. 2-е, СПб. 1913, стр. 35, 219, 250—262, 371, 406. То же, изд. 3-е, II. 1921.

К р о п о т к и н И., Записки революционера, М. 1925, стр. 83.

К у л ь м а н (ред.), Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. Архив Тургеневых, вып. 6, II. 1921, стр. 61, 441.

Л е р н е р Н. О., Прим. к стихотворениям Пушкина 1826 г. Соч. Пушкина. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз-Ефрон. СПб. 1910, т. IV, стр. 1, XXXII, XLII, LX.

Л ь в о в-Р о г а ч е в с к и й В., Введение в изучение литературы дореформенной России. ГИЗ, М.—Л. 1925, стр. 8, 49, 51, 53, 54, 89, 164.

М а р т ь я н о в П. К., Веневитинов Д. В. Цвет нашей интеллигенции. Словарь-альбом. СПб. 1890, стр. 44.

М и х а й л о в Д., Очерки рус. поэзии XIX века, Тифлис 1904, стр. 9, 46, 367.

М о р о з о в П. О., Русская лит. в XIX в. Минувший век. Лит. очерки. Изд. журн. «Образование»: СПб. 1902, стр. 141, 142.

М о р о з о в П. О., Из истории рус. лит. критики. Ibid., стр. 314, 315, 316, 317.

Н. Н., Замечания на статью «Нечто о споре по поводу Оне-

гина», помещен. в № 17 «Вест. Евр.». Зелинский В. Русская критич. лит. о произведениях Пушкина, ч. II, изд. 3-е, М. 1904, стр. 43, 45, 48.

Назаренко Я. А., Ист. рус. лит. XIX в., 8-е перераб. изд., ГИЗ, М.—Л. 1929, стр. 108.

Незеленов А. И., Дмитрий Владимирович Веневитинов, История рус. словесности. Под ред. В. В. Калаша, Вып. III, изд. кн. маг. Думнова. М. 1909, стр. 11, 14, 19, 48, 347, 348, 349.

Некрасов Н. А., Суд. Стихотворения. Под ред. К. П. Чуковского. ГИЗ, П. 1920, стр. 191.

Некрасов Ф. Д., В. Веневитинов как поэт и критик. «Моск. вестник», журн. рус. шеллингианцев Веневитиновского кружка и А. Пушкин. Пушкинский сборник студентов Моск. унив. Под ред. проф. А. И. Кирпичникова, М. 1900.

Овсянко-Куликовский Д. Н., А. С. Пушкин. Произведения в стихотворной форме. История рус. лит. XIX в. Изд. т-ва «Мир», М. 1908, т. I, ч. 2, стр. 344, 375.

Овсянко-Куликовский Д. Н., «Евгений Онегин» во второй половине двадцатых годов. Сб. выдающихся статей русской критики за 100 лет. Сост. Л. О. Вейнберг. М. 1913, т. I, стр. 464—466.

Оксман Ю. Г., Д. В. Веневитинов. Неизвестная редакция «Новгорода». Текст, запрещенный цензурой 7/II 1828 г. «Лит. музей», цензурные материалы Гос. архивн. фонда, т. I, под ред. А. С. Николаева и Ю. Оксмана. СПб. 1921, стр. 19—23, 340—347, 411.

Острогорский В. П., Веневитинов. Русские писатели как воспитательно-образовательный материал, изд. 3-е, М. 1891.

Пигарев К., Тютчев — переводчик Гёте. Уралия. Тютчевский альманах. 1803—1928. Под ред. Е. Е. Казановича. Л. «Прибой», 1928, стр. 108, 109, 303.

Плеханов Г. В., В. Г. Белинский. История рус. лит. XIX в. Изд. т-ва «Мир», М. 1911, т. II, стр. 250.

Полевой Н. А. Толки о «Евгении Онегине» (ответ Веневитинову). Зелинский В., Русская критич. литература о произведениях А. С. Пушкина, ч. II, изд. 3-е, М. 1904, стр. 26—35.

Полевой Н. А., Ответ Веневитинову, Собр. соч. Веневитинова под ред. А. П. Пятковского. СПб. 1862, стр. 206, 212.

Полевой Н. А., История рус. словесности с древнейших времен до наших дней. Изд. А. Ф. Маркса, СПб. 1900, т. III, стр. 171, 172, 174, 182, 187, 199, 201, 359, 397, 404, 685, 693.

Поссе Т. В., Жизнь и творчество Рыльева и Одоевского в связи с обществ. и лит. течениями начала XIX в. Соч. К. Ф. Рыльева и А. И. Одоевского. Изд. журн. «Жизнь для всех», СПб. 1913, стр. 28.

Пуришев Б. И., Гёте, «Лит. энци.», М. 1929, т. II, стр. 524.

Пыпин А. Н., Сверстники Пушкина: Д. В. Веневитинов и др. История рус. лит., СПб. 1899, т. IV, гл. XLIII.

Пыпин А. Н., История рус. лит., изд. 2-е, СПб. 1903, т. IV, стр. 419, 447, 455, 461, 465, 466, 474, 475, 538, 643.

Пятковский А. П., О жизни и соч. Д. В. Веневитинова. Собр. соч. Д. В. Веневитинова. Под ред. А. П. Пятковского. СПб. 1862, стр. 1—60.

Пятковский А. П., Из истории нашего лит. и обществ. развития. СПб. 1876, т. I, стр. 160; т. II, стр. 230.

Пятковский А. П., О жизни и соч. Д. В. Веневитинова. Кн. В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. Истор. лит. характеристики. С прил. 2-х портретов. Изд. 3-е, ред. «Наблюдателя». СПб, 1901, стр. 103, 167.

Пятковский А. П., Кн. В. Ф. Одоевский. Ibid., стр. 3, 13, 18, 19, 20, 63, 64, 65, 66, 90.

Р — ин И., Нечто о споре по поводу «Онегина». Письмо в ред. «Вест. Евр.». Зелинский В. Русская критич. лит. о произведениях А. С. Пушкина, ч. II, изд. 3-е, М. 1904, стр. 36, 38, 40.

Розанов И. Н., Поэзия 20-х гг., ее почва и атмосфера. Поэты 20-х гг. XIX в. ГИЗ, М. 1925, стр. 5, 12, 23.

Розов В. А., Пушкин и Гёте. Киев 1908, стр. 117, 119.

Садовской Борис, Д. В. Веневитинов «Русская Камена». Книгоизд. «Мусaget». М. 1910, стр. 53—69, 106, 107, 157.

Сакулин П. Н., Лит. течения в Александровскую эпоху. История рус. лит. XIX в. Изд. т-ва «Мир», М. 1908, т. I, ч. 1, стр. 89.

Сакулин П. Н., Из истории рус. идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский Мыслитель-писатель. М. 1913, т. I, ч. 1, стр. 97, 104, 106, 112, 114, 135, 151, 153, 154, 166, 170, 175, 186, 189, 207, 242, 274, 298, 305, 306, 310—312, 315, 318, 321, 324, 325, 376, 448, 482, 541, ч. II, стр. 5, 236, 309, 436, 463.

Сакулин П. Н. Русская литература до Пушкина. История России в XIX в. Изд. т-ва Бр. Гранат и К^о, т. II, ч. 1, стр. 401.

Сакулин П. Н., Русская литература во второй четверти XIX в. Ibid., т. II, ч. 1, гл. XIII, стр. 462, 474.

Семевский М. И., Прогулка в Тригорское. А. М. Вульф. Дневники. «Федерация», М. 1929, стр. 87.

Скабичевский А., Сорок лет русской критики. Соч. СПб. 1903, т. I, стр. 217, 219, 220, 237, 239, 253—256, 259—261, 263, 296, 302.

Сперанский М. Н., проф., Русская литература начала XIX в. Изд. О-ва взаимном. студентов Моск. унив., М. 1913, стр. 169, 202, 206, 212—216, 219—220, 224, 233, 276, 313.

Стеблев А. П., Пушкин и его предшественники. Историч. обзор рус. лит. XVIII и первой четверти XIX в., Изд. Сабина, М. 1912, стр. 497.

- Тродкий П., Веневитинов. Больш. сов. энцикл., М. 1928, т. X, стр. 133.
- Тынянов Юрий, О Хлебникове. Архаисты и новаторы. «Прибой», Л. 1929, стр. 594.
- Тынянов Юрий, Пушкин и Тютчев. Ibid., стр. 334, 344—346.
- Тынянов Юрий, Вопрос о Тютчеве. Ibid., стр. 373.
- Фатов Н. Н., Любовь и смерть Д. В. Веневитинова, тип. Варшавского уч. округа, Варшава 1914, 23 стр.
- Фелонин А. В., Д. В. Веневитинов, Крит.-биограф. очерк. (I—Биография, II—Веневитинов как философ, III—Веневитинов как критик, IV—Веневитинов как поэт). Тип. Э. Пороховщиковой, 80, СПб. 1902, 52 стр., 600 экз.
- Фишер Вл., Учебник по истории рус. лит. «Задруга», М. 1916, стр. 86, 88.
- Фомин А. Г., Пушкин и журнальный триумвират 30-х гг. Соч. Пушкина. Под ред. Венгерово. Изд. Брокгауз-Ефрон. СПб. 1911, т. V, стр. 457.
- Чернышевский Н. Г., Соч. СПб. 1906, т. II, стр. 577.
- Юрский Н., Литература как фактор общественно-организационной работы. Изд. «Книга», Пгр. 1923, стр. 113.
- Энгельгардт Н., История рус. лит. XIX ст. Изд. А. С. Суворина, СПб. 1902, т. I, стр. 256, 257, 263, 269, 306, 380—382. То же, изд. 2-е, Пгр. 1915, т. II, стр. 41, 518, 613, 665, 673.

Периодика

- Александров Ан., Рецензия на книгу А. Пятковского «Кн. В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов». «Ист. вестник», 1901, III (т. 83), стр. 1205.
- Белинский В. Г., Русская литература в 1844 г. «Отеч. зап.» 1844, VIII.
- Бобров Е. А., проф., А. И. Полежаев об А. С. Пушкине. Пушкин и его современники, 1907, вып. V, стр. 85.
- Бобров Е. А., Материалы, исследования и заметки по истории рус. лит. и просвещения в XVIII и XIX ст. Учен. записки Казанск. унив., 1899, XII, 1900. V—VI.
- Бобров Е. А., Из истории рус. лит. XVIII и XIX ст. Изв. отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук, 1910, т. XV, кн. 1, стр. 83, 88, 91—99.
- Булгарин Ф. В., Рецензия на II часть соч. Д. Веневитинова. «Сев. пчела» 1831, № 75.
- Бухштаб Б., Русские переводы из Гёте. «Лит. наследство» 1932, 4—6, стр. 966.
- Веневитинов М., О стихотворениях Веневитинова. «Рус. стар.» 1887, т. 53, стр. 710.
- Дружинин А. В., Рецензия на Смирдинское изд. соч.

Д. Веневитинова. «Библия для чтения» 1856, т. СХХХV, отд. V, стр. 1—24.

Дурыйлин С., Русские писатели у Гёте в Веймаре. «Лит. наследство» 1932, 4—6, стр. 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 431, 432, 447, 452, 454, 481, 487, 488.

Жирмунский В. Гёте в русской поэзии. Ibid., стр. 509, 527, 531, 569, 573, 574, 575, 578, 610, 626.

Иванов П., История рус. критики, ч. II, «Мир божий», СПб. 1897, XI, стр. 210, 214, 218—226, 228.

Киреевский И. В., Обзорение словесности за 1829 г. «Денница» 1830, стр. XXIV—XXVII.

Кони А. Ф., Памяти Тургенева, Изв. II отд. Акад. Наук, 1909, т. XVI, кн. 4, стр. 17.

Котляревский Н., Пушкин и Веневитинов. «Журн. мин. нар. проsv.» 1906, VII.

Лернер Н. О., Неизданная поэма Д. В. Веневитинова. «Рус. стар.» 1914, № 4, стр. 120.

Лонгинов М. П., Рецензия на соч. Д. Веневитинова. «Соврем. летопись» 1862, № 4.

Надеждин Н. И., Соч. Д. В. Веневитинова, ч. II, проза. «Телескоп» 1831, II.

NN, Замечание на статью «Нечто о споре по поводу «Онегина», помещ. в № 17 «Вест. Евр.», «Моск. телеграф» 1825, VI, № 23.

Овсянко-Куликовский Д. Н., Пушкин как художественный гений. Вопросы теории и психологии творчества. 1902, стр. 25.

Пиксанов Н., Несостоявшаяся газета Пушкина. Пушкин и его современники, 1907, вып. V, стр. 31, 32.

Погодин М. П., От издателя «Моск. вестник» 1830, VI, стр. 233.

Полевой Н. А., Рецензия на соч. Д. Веневитинова (ч. I). «Моск. телеграф» 1829, т. II, № 25, стр. 229, 230.

Полевой Н. А., Толки о «Евгении Онегине» (Ответ Веневитинову). «Моск. телеграф» 1925, № XV. Особ. прибавление.

Пятковский А. П., Ответ на ред. «Книжного вестника» о собр. соч. Д. Веневитинова. Под ред. Пятковского. «Книжный вестник» 1862, № 6, стр. 332.

Р—в П., Поэт-философ Веневитинов и биограф-критик Пятковский, «Рус. слово» 1862, № 2, стр. 28, 41.

Р—ни [Рожалин] П., Нечто о споре по поводу «Онегина». «Вест. Евр.» 1825, 144, № 17, стр. 23, 24.

Рыбкин Н., Белинский и Лермонтов. «Ист. вестник» 1881, т. 6, стр. 371.

Садовской Б., О поэзии Веневитинова. «Весь» 1905, XI.

Семевский М. И., Прогулка в Тригорское. «Спб. вед.» 1866, № 163.

Сомов П. М., Обзор российской словесности за 1827 г. «Сев. цветы» 1828, стр. 20, 21.

Стратен В. В., Д. В. Веневитинов и «Моск. вестник». «Изв. отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук» 1924, т. XXIX, стр. 227—253.

Струйский Д. Ю., Рецензия на соч. Веневитинова (ч. II), «Литер. газета» 1831, т. 3, № 22, стр. 177—179.

Т—в С., Поэт мысли, «Семья» 1905, № 36.

Шевырев С. П., Обзорение рус. словесности за 1827 г., «Моск. вестник» 1828, 7, № 1, стр. 68, 69.

Шпицер С. М., Неизданные стихотворения Веневитинова. «День» 1913, № 219, прил. № 16, стр. 1—3.

Шпицер С. М., Неизданные стихотворения Веневитинова. «Жизнь искусства» 1924, № 6, стр. 19.

Шпицер С. М., Д. Веневитинов и его шалости пера. «Солнце России» 1913, № 26/177, стр. 16, 17.

Безыменные статьи

(В хронологическом порядке)

Несколько строк о Веневитинове. «Моск. вестник» 1822, № 1, стр. 74.

Рецензия на ч. I соч. Д. В. Веневитинова. «Сев. пчела» 1829, № 21—24.

Рецензия на ч. I соч. Д. В. Веневитинова. «Галатей» 1829, ч. II, № 7, стр. 38—41.

Рецензия на ч. II соч. Д. В. Веневитинова. «Моск. телеграф» 1831, т. 5, № 38, стр. 101.

«Борис Годунов», соч. А. Пушкина. «Моск. телеграф», 1833, 49, № 1 и 2.

Рецензия на соч. В. Пушкина и Д. Веневитинова. «Современник» 1855, т. LIV, стр. 14—19.

Рецензия на соч. Д. Веневитинова, изд. 1862 г. «Отч. зап.» 1862, № 6, т. CXLII, отд. III, стр. 214—219.

Рецензия на соч. Д. Веневитинова, изд. 1862 г. — «Книжный вестник» 1862, № 1, стр. 5. То же, 1862 г. № 6, стр. 151—152.

Рецензия на соч. Д. Веневитинова, изд. 1862 г. Сб. мнений Ученого комитета мин. нар. просвещ., СПб. 1869, стр. 53—54.

Рецензия на соч. Д. Веневитинова, изд. 2-е, Суворина. «Русская мысль» 1884, № 7, стр. 11—12.

Рецензия на соч. Д. Веневитинова, изд. 2-е, Суворина. «Журн. мин. нар. просвещ.» 1885, № 7, стр. 25—26.

Рецензия на книгу А. Пятковского «Кн. Одоевский и Веневитинов». «Моск. вед.» 1901, № 4.

Юноша-поэт. Памяти Д. В. Веневитинова. «Прав. вестник» 1902, № 67.

Рецензия на книгу А. Фелонна «Д. В. Веневитинов». Лит. прил. к «Ниве» 1903, III.

Рецензия на книгу А. Пятковского. «Кн. Одоевский и Веневитинов». «Изв. отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук» 1903, т. VIII, кн. 3, стр. 383 — 393.

Развитие критики в XIX в. Народная энциклопедия научн. и прикладн. знаний. М. 1911, стр. 515.

Д. В. Веневитинов, Мал. сов. энци., М. 1929, т. II, стр. 86.

НЕСОХРАНИВШИЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

I. Литературные произведения

1. Перевод отрывков из «Прометея» Эсхила. 1818—1819.

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, Собр. соч., 1862, стр. 3.

2. Переводы Горация, 1819.

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, Собр. соч., 1862, стр. 5.

3. Перевод «Теософии» Окена, 1825.

Письмо Д. В. Веневитинова А. И. Кошелеву, осенью 1825 г.

4. Разбор книги Виктора Кузена «Fragments philosophiques. 1826», 1827.

Письмо Д. В. Веневитинова от 28 января 1827 г.

5. Переводы из иностранных журналов, 1827, Ibid.

6. Перевод из Шиллера (совместно с Хомяковым), 1827. Ibid.

7. Разбор альманахов. 1827. Ibid.

8. Роман, 1827.

А. П. Пятковский. Биогр. очерк, Собр. соч., 1862, стр. 27. Письмо Д. В. Веневитинова от 28 января 1827 г. Письмо Д. В. Веневитинова брату от 14 февраля 1827 г.

9. Переводы из Ксенофонта, 1827.

План переводов греческих писателей, составленный С. Шевыревым и хранящийся в бумагах М. П. Погодина. «Греки. Из Геродота — Шевырев; из Фукидида — Титов; из Ксенофонта — Веневитинов; из Плутарха — Рожалин».

Рукоп. отд. Публ. библ. СССР им. Ленина.

II. Музыкальные произведения

Переложения стихотворений на музыку (в ранней молодости).

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, Собр. соч., 1862, стр. 4.

Переложения стихотворений А. Пушкина и своих на музыку.

Записки П. П. Лаврентьевой (см. стр. 403).

Музыкальные пьесы. Одну из них видел А. П. Пятковский у А. В. Веневитинова.

А. П. Пятковский, Биогр. очерк, стр. 4. Письмо В. Ф. Одоевского к М. П. Погодину (см. стр. 413).

ИКОНОГРАФИЯ

I. Художественные портреты

Афанасьев К., Д. В. Веневитинов в гробу, 1827. В мундире Коллегии иностранных дел. Оригинал: карандаш. Размер: 16 × 19. Москва, Гос. ист. музей. См. П. Н. Полевой, История рус. словесности, т. III, стр. 174.

Брызгалов А., Портрет Д. В. Веневитинова. Плечевой, en face. С факсимиле. Снимок с гравюры меддо-тинто. См. Б. Садовской, «Русская Камена», М. 1910, стр. 52.

Боровиковский В. Л. (?), Портрет Д. В. Веневитинова, 1825 (?). Из собр. И. С. Остроухова. Оригинал: итальянский карандаш, сангина. Москва, Третьяковская галерея. См. «Лит. наследство» 1932, № 4—6, стр. 575.

Теребениев, Портрет Д. В. Веневитинова. Оригинал: акварель. Ленинград. Собр. И. И. Ясинского.

Неизв. художник, Силуэт Д. В. Веневитинова. Оригинал: собств. гр. Л. Е. Комаровской. См. П. Столпянский и Сувениры. «Столица и усадьба» 1915, № 44, стр. 9.

Неизв. художник, Портрет Д. В. Веневитинова на фоне книг, до пояса. Наиболее известный портрет лица. Размер: 18 × 24. Собр. ИРЛИ (б. Пушк. Дом Акад. Наук). См. И. Кнебель (иконографическая редкость).

Неизв. художник, Портрет Д. В. Веневитинова (плечевой, en face). Оригинал: акварель, 18 × 24. Москва. Третьяковская галерея. См. Литогр. А. Мюнстера: D. Wenewitinow, 40 × 27. Editeur Imp. Lith. A. Munster. St. Pbg. С факсимиле. Портретная галерея изд. Мюнстера. СПб. 1869, т. II, стр. 35—36.

Неизв. художник, Портрет Д. В. Веневитинова во весь рост, сидя на стуле, в $\frac{3}{4}$, левая рука на спинке, в правой держит на колене книгу. В черном сюртуке и белом обычном воротничке, лицо в профиль. Оригинал: масло. Ленинград. Собр. ИРЛИ (б. Пушк. Дом Акад. Наук).

Неизв. мастер, Портреты А. Н. Веневитиновой и ее детей: Дмитрия (профиль), Алексея и Софьи. Оригинал: миниатюра на кости. Москва. Третьяковская галерея.

II. Картины

Мясоедов Г. Г., Пушкин и его друзья слушают декламацию Адама Мидкевича в салоне кн. З. Волконской. Д. Веневитинов сидит налево за столом. Оригинал: масло. Ленинград. ИРЛИ (б. Пушк. Дом Акад. Наук). См. фототипия А. Ф. Дресслера в Собр. соч. Пушкина. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 352.

Кардовский Д. Н., проф. Бал в Москве 20-х гг. 1911. Оригинал: масло. Д. Веневитинов виден до пояса, стоит направо у двери. Ленинград, ИРЛИ (б. Пушк. Дом Акад. Наук). См. С. А. Князьков, Картины по рус. истории. Изд. Гроссман и Кнебель, М. 1913; 66 × 88.

Larergsche (Лаперш), За клавесинами. Д. В. Веневитинов стоит слева от сестры. Оригинал: карандаш; 13 × 18. Из альбома С. В. Веневитиновой (лист 22). Опубликовано впервые нами на стр. 364.

Larergsche (Лаперш, ученик Давида), Семья Веневитиновых. В доме Веневитиновых в Москве, в Кривоколенном переулке. Оригинал: тушь. Размер: 13 × 18. Из альбома С. В. Веневитиновой (лист 28). Гос. ист. музей. Москва. Арх. № 1040. Инв. № 64080. Опубликовано впервые нами на стр. 368.

III. Карикатуры

Пушкин А. С., Карикатура на Д. В. Веневитинова. Оригинал: карандаш. Из коллекции И. С. Остроухова. См. Собр. соч. Пушкина. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 347.

IV. Памятники

Памятник на вилле кн. З. А. Волконской в Риме (урна).

Описание: Буслаев Ф., Римская вилла кн. Волконской. «Вест. Евр.» 1896, № 1, стр. 30.

Могила в Симоновом монастыре в Москве (до 1930 г.).

Описание: Анофриев Вл., Могилы рус. писателей в Москве. «Рус. вед.» 1915, № 223. Белоусов Ив., Писательские гнезда. М. 1930, стр. 26. *

Мемориальная доска на доме Веневитиновых в Москве в Кривоколенном пер. (с 1927 г.).

Могила в Новодевичьем монастыре в Москве (с 1930 г.).

V. Иллюстрационные материалы

Дом Веневитиновых в Москве. «Красн. нива» 1926, № 46, стр. 20.

Мемориальная доска на доме Веневитинова. «Красн. нива» 1927, № 42, стр. 18.

Дом Веневитиновых. Фотография П. С. Касаткина, 1927. Пушкин в Москве. Труды О-ва изуч. Моск. области., вып. 7, М. 1930, стр. 48.

Могилы Д. В. Веневитинова в Симоновом монастыре в Москве (первоначальный памятник). Фототипия М. А. Веневитинова. Опубликовано впервые нами на стр. 410.

Перстень Веневитинова. Москва. Публ. Библ. СССР им. Ленина. Опубликовано впервые нами на стр. 115.

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д. В. ВЕНЕВИТНОВА

Условные обозначения

Римские цифры I—X — Собрания сочинений по хронологическому перечню

- Б — Бобров Е., Из истории рус. лит. Известия отд. рус. яз. Акад. Наук, 1910, т. XV, кн. 1.
- БВ — Библиотека для воспитания. Изд. А. Семена, М. 1844, отд. 1.
- Б.1 — Букет лилий. Собр. рус. стихотворений. Для детей среднего возраста. Собрал и издал С. И. Я. СПб. 1856.
- В — Русские поэты. Карманная хрестоматия. Сост. П. И. Вейнберг. Изд. А. С. Суворина (1904), СПб.
- Г — Гербель Н., Русские поэты в биогр и образцах. СПб. 1888.
- ГМ — «Голос минувшего» 1914.
- Д — «Денница». Альманах 1830.
- ЖИ — «Жизнь искусства».
- З — Зелинский В., Русская критич. лит. о произведениях Пушкина. Изд. 3-е, М. 1904, ч. II.
- ИРЛ — Войтоловский Л., История рус. лит. XIX и XX вв. ГИЗ, М. — Л. 1926. То же, изд. 2-е, 1927.
- К — Котляревский Н., Старинные портреты. СПб. 1907.
- К₂ — Котляревский Н., Лит. направления Александровской эпохи. Изд. 2-е, СПб. 1913.
- .1М — Литературный музей. Пгр. 1921.
- М — Портретная галерея русских деятелей. Изд. Мюнстера, СПб. 1869, т. II.
- МВ — «Моск. вестник».
- Н — «Нева» 1912.
- НБ — Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб. 1889.
- О — Острогорский В., Родные поэты для чтения в классе и дома. Изд. 6-е. СПб. 1916.
- П — Полевой П. П., История рус. словесности. СПб. 1900, т. III.

- ЦВ — «СПБ. вед.».
- ПЦП — Верховский Ю. Н., Поэты Пушкинской поры. Изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1919.
- РА — «Рус. архив» 1866, № 2.
- РМ — Русская муза. Худ. ист. хрестоматия. Перераб. и дополненн. изд. СПб. 1908.
- РП — «Русский Парнас». Сост. А. и Д. Эмисберг. Insel-Verlag. Leipzig 1920.
- РС — «Русская старина».
- С — Сальников А. Н., Русские поэты за 100 лет. СПб. 1901.
- Серг. — Сергеевич А., История рус. литературы.
- СЛ — «Северная лира». Альманах 1827.
- СО — «Сын отечества».
- СР — «Солнце России» 1913.
- СС — Сборник стихотворений 54 рус. поэтов. СПб. 1881, т. II.
- СЦ — «Северные цветы». Альманах. Изд. бар. Дельвига.
- У — «Уrania». Карманная книжка на 1826 г.
- Ф — Фатов Н. Любовь и смерть Д. В. Веневитинова. Изд. «Рус. филол. вестн.», Варшава 1914.
- Фел — Фелонин А. В., Д. В. Веневитинов. Крит.-биогр. очерк. СПб. 1902.
- Э — Энгельгардт Н., История рус. лит. XIX ст. Изд. А. С. Суворина, СПб. 1902, т. I.

Литературные произведения

1. Анаксагор (Беседа Платона), II—16; IV—151; X—354; III—130; Д—100—109. 133
2. Analyse d'une scène détachée de la tragédie de mr. Pouchkin, insérée dans un Journal de Moscou. (Разбор отрывка из трагедии Пушкина, напеч. в «Моск. вестнике»). II—73; III—181 (Франц.); IV—191. 239
3. Апофеоза художника (из Гёте). I—93; III—77; IV—127; V—63; VI—68; VII—176; VIII—66; X—330 147
4. Ардыбашев — историк чудный. (Эпиграмма на Н. С. Ардыбашова). СР 1913, № 26/177, стр. 16—17 . . . 104
5. Блажен, кому судьба вложила («Утешение»). I—69; III—57; IV—111; V—43; VI—47; VII—137; VIII—44; IX—57; X—316; С—72; К₂—256; Г—279—80; В—87; О—181. 118
6. Блажен, кто не отверг надежды. (Отрывки из Фауста). МВ—27, № 1—11; I—119; III—101; IV—141; V—76; VI—82; VII—235; VIII—79; IX—63; X—341. 157
7. Валай, ямщик! да говори («Новгород»). Посвящено кн. А. И. Трубецкой. I—43; III—40; IV—86; V—19;

VI—21; VII—61; VIII—20; IX—37; X—297; БВ—13—16; II № 7—1335; ЛМ—19—23	82
8. В бесценный час уединенья («Веточка», из Грессе). I—8; III—17; IV—65; V—55; VI—59; VII—167; VIII—57; IX—28, X—323; O—180	140
9. В вечерний час уединенья (К. П. Герке). При послышке трагедии Вернера. I—33; III—35; IV—80; V—12; VI—14; VII—40; VIII—13; IX—34; X—292	67
10. В глухую степь земной дороги («Три розы»). СЦ—27—229—30; I—58; III—51; IV—98; V—30; VI—36; VII—57; VIII—31; X—306; В—90; ППП—168	94
11. Волшебница! Как сладко пела ты («Элегия»). I—79; III—64; IV—96; V—28; VI—31; VII—91; VIII—29; X—304; Ф—12—13; Фел—42—43; ППП—167	90
12. Вот час последнего страданья («Завещание»). I—53; III—47; IV—110; V—41; VI—45; VII—131; VIII—43; X—314. СЦ 29—73	116
13. Друзья, настал и новый год («К друзьям на новый год»). I—6; III—16; IV—72; V—5; VI—5; VII—15; VIII—5; IX—26; X—284; O—181	59
14. Души невидимый хранитель («Моя молитва»). I—46; III—43; IV—90; V—22; VI—25; VII—72; VIII—23; IX—41; X—300; МВ—27, № 2—93; К ₂ —253; СС—459; В—89; O—181; БВ—3	92
15. Европа (Отрывок из Герена). II—79; III—187; IV—229; X—388	262
16. Земная участь художника (из Гёте). I—93; III—77; IV—121; V—58; VI—62; VII—176; VIII—60; X—326	142
17. Известно мне, доступен гений («К Пушкину»). I—64; III—54; IV—101; V—33; VI—36; VII—106; VIII—34; IX—46; X—308; ППП—170—171	99
18. Из русского водевиля (неоконч.). СР—1913, № 26/177, стр. 16—17	197
19. Италия, отчизна вдохновения («Италия»). МВ—27, II, № VIII—311; I—77; III—63; IV—97; V—29; VI—32; VII—94; VIII—30; IX—45; X—305; Г—279; Ф—14; БВ—10—11	91
20. К тебе, о, чистый дух («Сонет»). I—19; III—26; IV—82; V—14; VI—16; VII—45; VIII—15; X—293; Г—279; К ₂ —256; В—89; БЛ—3; Фел—44—45; Н № 7—1336	77
21. К тебе стремился я, страна очарованной («Смерть Байрона»; четыре отрывка из незаконченного пролога). I—22; III—28; IV—73; V—6; VI—6; VII—18; VIII—6; X—287	70
22. Люби питомца вдохновенья («Последние стихи»). I—90; III—73; IV—118; V—50; VI—54; VII—157; VIII—51; X—321; С—73; П—186; Серг.—188; К ₂ —256;	

	М—35; РП—97; О—182; БВ—21; БЛ—1; Фел—52; Э—382; ППП—160; РМ—84	123
23.	Молю тебя, не мучь меня («К любителю музыки»). I—67; III—56; IV—100; V—32; VI—35; VII—103; VIII—33; IX—48; X—307; РП—94; О—181	95
24.	На легких крылышках («Крылья жизни»). МВ—28; VII—13; I—75; III—61; IV—105; V—37; VI—40; VII—118; VIII—38; IX—51; X—311	110
25.	На небе все цветы прекрасны («Любимый цвет»). СЛ—425—427; I—30; III—33; IV—78; V—11; VI—12; VII—34; VIII—11; IX—32; X—291; БВ—11—13	75
26.	Не даром шамшанское пеной играет («Импровизация»). V—49; VI—53; VII—156; VIII—50; X—321; РА—259	81
27.	Не думы гордые вздымают («К моей богине»). I—81; III—65; IV—94; V—26; VI—29; VII—84; VIII—27; X—303	88
28.	Нежданный праздник (неоконч.). Публикуется впервые	183
29.	Не плод высоких вдохновений («К Скарятину», при послышке ему водевиля). I—16; III—24; IV—83; V—16; VI—18; VII—51; VIII—17; X—295.	79
30.	Несколько мыслей в план журнала. II—24; III—137; IV—164; X—361	217
31.	Об Абидосской невесте. ГМ, 1914, № 1, стр. 265	247
32.	Об «Евгении Онегине». II—57; III—166; IV—225; X—378; 3—90, 91; МВ—28, VII, № IV, стр. 468, 469	240
33.	О жизнь, коварная сирена («Жертвоприношение»). МВ—27, II, № VI, 119; I—71; III—59; IV—104; VI—39; VII—114; VIII—37; IX—50; X—310; С—70; П—183; К ₂ —254; ППП—165	109
34.	О Зароастре и его вероучении. ГМ 1914, № 1, стр. 265	271
35.	О математической философии. (Ответ Вагнера г-ну Блише). Публикуется впервые	258
36.	Она мила, о том ни слова. «День» 1913, № 219	104
37.	Освобождение скальда. Скандинавская повесть. РС 1914, № 4, т. 158, стр. 120—127.	60
38.	Оставь меня, забудь меня («Кинжал»). «День» 1913, № 219, стр. 1—3	113
39.	Оставь, о друг мой, ропот твой («Послание к Ро- жалину»). I—49; III—44; IV—91; V—23; VI—26; VII—76; VIII—24; IX—42; X—301	85
40.	Ответ г. Полевому. СО 1825, № XXIV, т. 104, прибавл. № 1—25—31; IV—206	228

41. О, Феб, тебя ль дерзнем (Знамения перед смертью Цезаря — отрывок из <i>Виргилиевых Георгик</i>). I—3; III—14; IV—63; V—53; VI—57; VII—161; VIII—55; X—322	139
42. Письмо к графине NN. II—5; III—121; IV—174; X—348	249
43. Письмо о философии. ГМ 1914, № 1, стр. 265	255
44. Под небом Аттики богатой («Песнь грека»). СЦ—27—292—294; I—27; III—31; IV—76; V—9; VI—10; VIII—9; IX—30; X—289; СС—457; БВ—79	73
45. Природа наша, точно, мерзость («Родина»). ЖИ 1924, № 6, стр. 19; ИРЛ 1926, ч. 1, стр. 154; ИРЛ 1927, стр. 157—158	84
46. Пусть искатель гордой славы («К друзьям»). I—1; III—13; IV—64; V—1; VI—1; VII—3; VIII—1; IX—26; X—283	55
47. Пять звезд увенчали чело («К изображению Урании»; в альбом). I—73; III—60; IV—103; V—34; VI—38; VII—111; VIII—36; X—309; БВ—16; ППП—167	96
48. Разбор рассуждения Мерзлякова о начале и духе древней трагедии и проч., напечатанного при издании его подражаний и переводов из греческих и латинских стихотворцев. СО—25, № XII—101; II—58; III—168; IV—181; X—379	207
49. Разбор статьи о «Евгении Онегине», помещенной в 5-м № «Моск. телеграфа» на 1825 г. СО—25, № VIII; II—45; III—156; IV—198; X—371; 3—19—26	220
50. Скульптура, живопись и музыка. СЛ—315—323; II—38; III—149; IV—157; X—358	127
51. Сначала жизнь пленяет нас («Жизнь»). МВ—27, № 3—166; I—48; III—44; IV—107; V—39; VI—43; VII—124; VIII—40; IX—54; X—313; К ₂ —253; РП—96—97; Фел—48; РМ—83	112
52. Спокойно дни мои двели («Сонет»). I—20; III—27; IV—86; V—18; VI—20; VII—58; VIII—19; X—296; К ₂ —255; Фел—45—46	78
53. Стучат барабаны (Песня Клары из «Эгмонта» Гёте). II—106; III—201; IV—251; V—83; VI—90; VII—257; VIII—87; X—397; Б—98; Д—64, 65	170
54. Сцены из «Эгмонта» Гёте. II—95; III—201; IV—240; X—347	163
55. Так снова год, как тень, мелькнул («На новый (1827) год»). МВ—28, VIII, № 5—3; I—74; III—60; IV—103; V—35; VI—38; VII—112; VIII—36; IX—49; X—309; БВ—6—7	101
56. Тебе знаком ли сын богов («Поэт»). МВ—27, II,	

	№ V—3—4; I—38; III—39; IV—89; V—21; VI—23; VII—68; VIII—22; IX—39; X—299; C—69; Г—279; K ₂ —260; B—86; БВ—4—6	97
57.	Ты будешь славный полицейской («Экспромпт») СР 1913, № 26/17, стр. 16—177	103
58.	Ты был открыт в могиле пыльной («К моему перстню»). I—56; III—49, IV—108; V—40; VI—43; VII—126; VIII—41; IX—55; X—313	114
59.	Ты в жизни только расцветаешь («Поэт и друг») Впервые напечатано с подзаголовком «Элегия». МВ—27, II, № VII—217—220; I—86; III—69; IV—114; V—46; VI—50; VII—146; VIII—47; IX—60; X—318; БВ—17—20; ППП—162—164; РМ—83	120
60.	Три участы в мире завидны, друзья («Три участы») I—60; III—52; IV—106; V—38; VI—42; VII—121; VIII—39; IX—53; X—312; ППП—166	102
61.	Три эпохи любви. (Отрывок из неконченного романа). СЦ—29, II—43; III—154; IV—170; X—370; Ф—9—10	203
62.	Ужасна ночь («Песнь Кольмы», из Макферсона). I—14; III—22; IV—70; V—56; VI—60; VII—170; VIII—58; X—324	141
63.	Утро, полдень, вечер и ночь. У—74—81; II—33; III—145; IV—160; X—366	130
64.	Четыре богини. Публикуется впервые	202
65.	Что пена в стакане, то сны в голове. МВ—27, № V, 244—301	176
66.	Что ты, Параша, так бледна («Домовой»). I—62; III—53; IV—99; V—31; VI—34; VII—100; VIII—32; X—306; ППП—169	93
67.	Шумы, Осетр! (Два отрывка из неконченной поэмы). I—10; III—19; IV—67; V—2; VI—2; VII—6; VIII—2; IX (только 2-й)—27; X—284	56
68.	Я молод, друг («Послание к Рожалину»). I—36; III—38; IV—82; V—15; VI—16; VII—47; VIII—15; IX—36; X—294	69
69.	Я слышал, Камены тебя воспитали (Четверостишие, на И. И. Дмитриева). НБ 1889, т. II, 77	106
70.	Я чувствую, во мне горит. I—84; III—67; IV—113; V—44; VI—48; VII—141; VIII—46; IX—58; X—317; C—71; K ₂ —258; ПВ—905, № 221; РП—95—96; ППП— 160—161; РМ—82—83	107
71.	13 август. Публикуется впервые	198

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Портрет Д. В. Веневитинова. Гравюра на дереве Э. Будогоского | Фрон-
тиспис |
| 2. Кн. Зинаида Волконская. Портрет Пьеро Бенвенути (Флоренция), фототипия: Москва. Гос. ист. музей. Публикуется впервые | 20—21 |
| 3. Д. В. Веневитинов. Портрет неизв. художника. Оригинал: масло; 18 × 24. Ленинград. ИРЛИ. Публикуется впервые | 48—49 |
| 4. Перстень Д. В. Веневитинова. Москва. Публ. библ. СССР им. Ленина. Публикуется впервые. | 115 |
| 5. Факсимиле Д. В. Веневитинова («Четыри богини»). Автограф: Москва Гос. ист. музей. Публикуется впервые | 202—203 |
| 6. Факсимиле Д. В. Веневитинова (письмо сестре, франц.). Автограф: Москва. Гос. ист. музей. Публикуется впервые | 340—341 |
| 7. Д. В. Веневитинов. Портрет неизв. художника. Оригинал: масло. Изд. И. Кнебель. Иконографическая редкость | 346—347 |
| 8. Кн. Матрена Семеновна Оболенская, рожд. Музина-Пушкина, бабушка Д. В. Веневитинова (со стороны матери), умерла в 1823 г. Рис. карандашом Ланерш (ученик Давида). Из альбома С. В. Веневитиновой. Публикуется впервые | 352—353 |
| 9. Владимир Петрович Веневитинов, отец поэта. Оригинал: миниатюра неизв. художника. Москва. Лит. музей Оргкомитета Союза сов. писателей. Дом Герцена. Публикуется впервые | --- |
| 10. Владимир Петрович Веневитинов в молодости. Оригинал: миниатюра неизв. художника. Москва. Гос. ист. музей. Публикуется впервые | — |
| 11. Дом Веневитиновых в Москве, в Кривоколенном пер. (фасад). Фототипия М. А. Веневитинова | 356—357 |
| 12. Дом Веневитиновых (вид со двора). Фототипия М. А. Веневитинова | — |
| 13. Анна Николаевна Веневитинова, рожд. кн. Оболенская, мать поэта. Портрет П. Ф. Соколова. Оригинал: акварель; 13 × 18. Москва. Третьяковская галерея. См. литогр. К. Поля, Морозов, Каталог рус. портретов, стр. ХСV | 360—361 |

14. Дмитрий, Алексей и София Веневитиновы за клавирами. Рис. карандашом Лаперш. Из альбома С. Е. Веневитиновой. Публикуется впервые. 364—365
15. Семья Веневитиновых. Рис. Лаперш. Из альбома С. В. Веневитиновой. Публикуется впервые . . . 368—369
16. Рисунок Д. В. Веневитинова. Оригинал: тушь; 13 × 18. Москва. Гос. ист. музей. Из альбома С. В. Веневитиновой. Публикуется впервые . . . 372—373
17. Кн. Зинаида Волконская в роли Танкреда. Рисунок Д. В. Веневитинова. Оригинал; карандаш; 15 × 20. Москва. Гос. ист. музей. Публикуется впервые —
18. Кн. Трубеткой в костюме Aman Esther Racine'a из любительского спектакля в Москве 20-х гг. Рисунок Д. В. Веневитинова. Оригинал: масло, 18 × 24. Из архива П. С. Воробьевой-Владимировой. Москва. Лит. музей Оргкомитета Союза сов. писателей. Дом Герцена. Инв. № 5570. Публикуется впервые 376—377
19. Кн. Трубеткая в костюме Esther Racine'a. Рисунок Д. В. Веневитинова. Оригинал: масло, 18 × 24. Из архива П. С. Воробьевой-Владимировой. Москва. Дом Герцена. Инв. № 5571. Публикуется впервые —
20. Бал в Москве 20-х гг. Картина проф. Д. Н. Кардовского. Оригинал: масло. Ленинград. ИРЛИ. См. Князьков С. А., Картины по русской истории. Изд. Гроссман и Кнебель, М. 1913; 66 × 88 . . . 386—387
21. Карикатура А. С. Пушкина на Д. В. Веневитинова. Из коллекции И. С. Остроухова. См. Собр. соч. Пушкина. Изд. Брокгауз-Ефрон, СПб. 1909, т. III, стр. 347 390—391
22. Д. В. Веневитинов в гробу. Рис. К. Афанасьева (1827). Москва. Гос. ист. музей. См. П. Н. Полевой. История рус. словесности, т. III, стр. 174 406—407
23. Могила Д. В. Веневитинова в Симоновом монастыре в Москве (первоначальный памятник). Фототипия М. А. Веневитинова 410—411
24. Д. В. Веневитинов. Портрет А. Брызгалова . . . 426—427
25. Титульный лист посмертного собрания стихотворений Д. В. Веневитинова, 1829 432—433
26. Титульный лист Собр. соч. Д. В. Веневитинова (проза) 1831 —
27. Рисунок Д. В. Веневитинова. Оригинал: акварель. 5 × 13. Москва. Собств. М. Ю. Барановской. Из альбома С. В. Веневитиновой. Публикуется впервые 470

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Благой.</i> — Подлинный Веневитинов	7
<i>Б. Смирнский.</i> — От редактора текста	47

Художественные произведения

Стихи

1. К друзьям	55
2. Два отрывка из неоконченной поэмы	56
3. К друзьям на новый год	59
4. Освобождение скальда	60
5. К. И. Герке (При послании трагедии Вернера)	67
6. Послание к Рожалину (Я молод, друг мой)	69
7. Смерть Байрона	70
8. Песнь грека	73
9. Любимый цвет	75
10. Сонет (К тебе, о чистый Дух. . .)	77
11. Сонет (Спокойно дни мои двели. . .)	78
12. К Скарятину (При посылке ему водевиля)	79
13. Импровизация	81
14. Новгород. (Посвящено княжне А. И. Грубецкой)	82
15. Родина	84
16. Послание к Рожалину (Оставь, о друг мой.)	85
17. К моей богине	88
18. Элегия (Кн. З. Волконской)	90
19. Италия	91
20. Моя молитва	92
21. Домовой	93
22. Три розы	94
23. К любителю музыки	95
24. К изображению Урании (В альбом)	96
25. Поэт	97
26. К Пушкину	99
27. На новый (1827) год	101
28. Три участи	102

29. [Экспромпт]	103
30. Она мила, о том ни слова	104
31. [Эпиграмма на историка Н. С. Ардыбашева]	105
32. Четверостишие (На И. И. Дмитриева)	106
33. Я чувствую, во мне горит	107
34. Жертвоприношение	109
35. Крылья жизни	110
36. Жизнь	112
37. Кинжал	113
38. К моему перстню	114
39. Завещание	116
40. Утешение	118
41. Поэт и друг (Элегия)	120
42. [Последние стихи]	123

Проза

Скульптура, живопись и музыка	127
Утро, полдень, вечер и ночь	130
Анаксагор. Беседа Платона	133

Переводы

Переводы в стихах

Знамена перед смертью Цезаря (Виргилий)	139
Веточка (Грессе)	140
Песнь Кольмы (Макферсон)	141
Земная участь художника (Гёте)	143
Апофеоза художника (Гёте)	147
Отрывки из Фауста (Гёте)	157

Переводы в прозе

Сцены из Эгмонта (Гёте)	163
Что пена в стакане, то сны в голове (Гофман)	176
Неожиданный праздник	184

Наброски и отрывки

Из русского водевиля	197
13 август	198
Четыре богини (Отрывок)	202
Три эпохи любви (Отрывок из неоконченного романа)	203

Статьи

Критические статьи

Разбор рассуждения г. Мерзлякова	207
Несколько мыслей в план журнала	215

Разбор статьи о «Евгении Онегине»	220
Ответ г. Полевому	228
Об «Евгении Онегине»	238
Analyse d'une scène détachée de la tragédie de mr. Pouchkin	239
Об «Абидосской невесте»	247

Статьи на философские темы

Письмо к графине NN [Княжне А. И. Трубецкой] [Письмо о философии]	249 255
--	------------

Переводные отрывки

О математической философии (Ответ Вагнера г-ну Блише)	258
Европа (Отрывок из Герена)	262
О Зароастре и его вероучении	271

П и с ь м а

1824 г.	275
1825 г.	297
1826 г.	309
1827 г.	327

Свод биографических данных о Д. В. Веневитинове

<i>Б. Смирнский.</i> — От составителя	347
Хронологическая канва	349
Генеалогия Д. В. Веневитинова	353
Свод биографических данных	—
Часть I. В Москве	—
Часть II. В Петербурге	392

К о м м е н т а р и и

Примечания

Стихи	427
Проза	444
Переводы	445
Наброски и отрывки	471
Статьи	476
Переводные отрывки	486
Письма	488
Библиография	500
Хронологический перечень собрания сочинений	502

Биографические материалы	503
Критическая литература	513
Несохранившиеся произведения Д. В. Веневитинова	522
Иконография	524
Алфавитный перечень произведений Д. В. Веневитинова	527
Перечень иллюстраций	533

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Надо читать</i>
132	13 сверху	лютиб	любит
234	16 снизу	мысль	мысль
259	12 сверху	если жо	если же
—	14 »	атсолютной	абсолютной
338	16 снизу	(см. стр. 109).	(см. стр. 106).
386	11 »	собаний	собраний
400	16 сверху	на освободило	не освободило
410	3 снизу	В[локонская].	В[олконская].
431	16 сверху	стр. 408	стр. 392
—	17 »	№ 34	№ 33
433	11 снизу	Петербурге	Петербурге
443	5 сверху	могут	могу
471	17—16 сн.	вилона	Вавилона
486	21 снизу	мысли автору	мысли автора
490	17 сверху	стр. 361	стр. 363
523	6 снизу	стр. 403).	стр. 404).
525	15 »	Волоконской	Волконской
528	11 »	. . . 104	. . . 105
529	20 »	. . . 142	. . . 143
530	19 »	. . . 183	. . . 184
—	19 »	. . . 240	. . . 238

В перечне иллюстраций портреты В. П. Веневитинова под №№ 9 и 10 указаны между страницами 352—353, надо 360—361.

Редактор Л. Б. Каменев. Худож. редакция М. П. Сокольников. Техн. редактор Г. Л. Гилес.

*

Сдана в набор 31-III-33. Подписана к печати 20-IV-34. Вышла в свет III-34. Тираж 5.300. Уполном. Главлита № Б-24044. Индекс. А-О. Изд. № 87. Бумага 82 × 110 в ¹/₃₂. Печ. л. 33,75 + 19 приклеек. Бумажных листов 6,875 по 140 000 знаков в листе.

*

Отпечатано во 2-й типографии треста „Полиграфкнига“ „Печатный Двор“, Ленинград, Гатчинская, 26.

*Цена Р. 8. —
Переплет Р. 2.50*